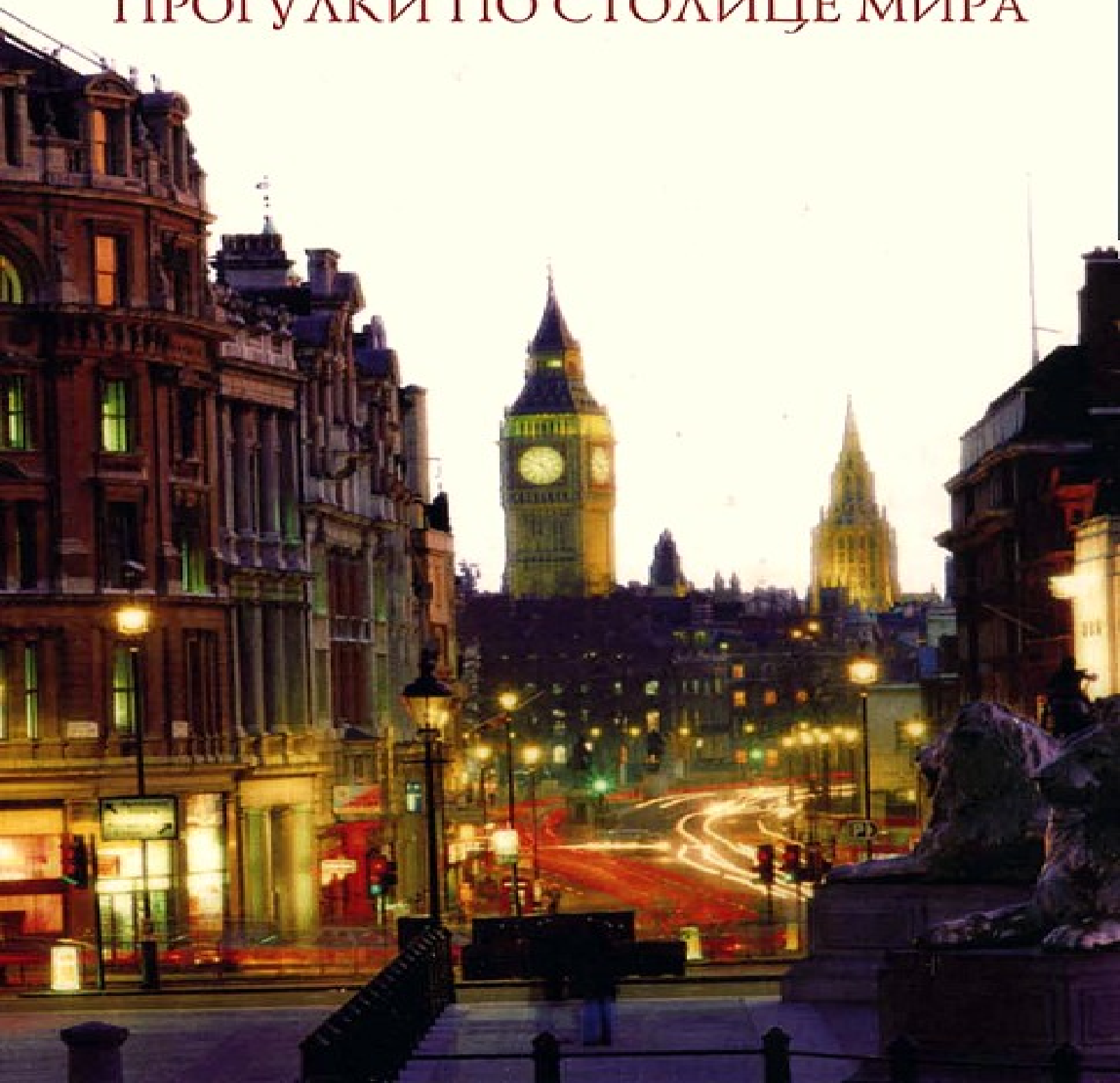


Б И О Г Р А Ф И И   В Е Л И К И Х   С Т Р А Н

Г Е Н Р И   В .   М О Р Т О Н

# ЛОНДОН

ПРОГУЛКИ ПО СТОЛИЦЕ МИРА



## Annotation

О Лондоне написано множество книг, каждая из которых открывает читателям свой собственный Лондон. Среди всех, кто писал об этом городе, Генри В. Мортон — едва ли не самый обстоятельный и, вне сомнения, самый поэтичный автор. По выражению британского обозревателя К. Филдса, «в кем сочетались зоркость журналиста, восторженность поэта и горячая любовь к своей стране, ее прошлому и настоящему». «Лондон» Мортон — книга, от которой невозможно оторваться, пока не дочитаешь до конца.

---

- [Генри В. Мортон](#)
  - 
  - [В поисках Лондона](#)
  - [Глава первая](#)
  - [Глава вторая](#)
  - [Глава третья](#)
  - [Глава четвертая](#)
  - [Глава пятая](#)
  - [Глава шестая](#)
  - [Глава седьмая](#)
  - [Глава восьмая](#)
  - [Глава девятая](#)
  - [Глава десятая](#)
  - [Глава одиннадцатая](#)
  - [Глава двенадцатая](#)
  - [Благодарности](#)
  - [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)

- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)

- [40](#)
  - [41](#)
  - [42](#)
  - [43](#)
  - [44](#)
  - [45](#)
  - [46](#)
  - [47](#)
  - [48](#)
  - [49](#)
  - [50](#)
  - [51](#)
  - [52](#)
  - [53](#)
  - [54](#)
  - [55](#)
  - [56](#)
  - [57](#)
  - [58](#)
-

**Генри В. Мортон  
Лондон. Прогулки по столице  
мира**

ГЕНРИ В. МОРТОН

# ЛОНДОН

ПРОГУЛКИ  
ПО СТОЛИЦЕ МИРА



## **В поисках Лондона**

Гигантский мегаполис, целый мир, а не просто город; одновременно завораживающий и подавляющий, чопорный и экстравагантный, внушающий робость и дарящий ощущение свободы; город дворцов и соборов, музеев и картинных галерей, пабов, китайских и индийских ресторанчиков, всемирно известных отелей и магазинов, «Арсенала» и «Челси»; город Плантагенетов и Тюдоров, Стюартов и Ганноверов — и город Шекспира, Байрона, Диккенса, Теккерея, Уайльда и Элиота, а также — Дика Уиттингтона, Джека-Потрошителя, Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Все это — Лондон, город с двухтысячелетней историей, настоящая столица мира.

Названия лондонских улиц откладываются в памяти с детства. Бейкер-стрит, Даунинг-стрит, Флит-стрит, Пэлл-Мэлл, Стрэнд... Лондонские достопримечательности заочно знакомы даже тем, кто никогда не бывал в этом городе: Трафальгарская площадь, собор Святого Павла, Вестминстерское аббатство, Букингемский дворец, Биг Бен, Чаринг-Кросс... Лондонские приметы — красные телефонные будки и почтовые ящики, черные такси, полисмены с их традиционными шлемами, величественные омнибусы — известны далеко за пределами Великобритании.

О Лондоне написано множество книг, каждая из которых открывает перед читателем свой собственный Лондон. Однако среди этого изобилия, в котором так легко заплутать, есть несколько книг, посвященных Лондону в целом и рисующих портрет этого невероятного города «в полный рост». К числу подобных книг принадлежит, несомненно, и сочинение Генри Мортон.

Писатель и журналист, начинающий карьеру на Флит-стрит (он был сотрудником газет «Ивнинг Стандарт» и «Дэйли Мэйл»), Генри Канова Воллам Мортон в одночасье сделался мировой знаменитостью — благодаря своим репортажам о раскопках гробницы Тутанхамона в Луксоре. На протяжении нескольких лет он публиковал в «Дэйли Мэйл» краткие зарисовки — «виньетки» — Лондона; колонка, которую вел Мортон, сделалась самой популярной рубрикой в газете. Эти «виньетки» стали началом долгого путешествия Мортон «в поисках Англии» — путешествия длиной в жизнь.

Пожалуй, среди тех, кто писал о Лондоне, Мортон — едва ли не самый обстоятельный и, вне сомнения, самый поэтичный автор. По выражению британского обозревателя К. Филдса, «в нем сочетались зоркость журналиста, восторженность поэта и горячая любовь к своей стране, ее прошлому и настоящему». Это сочетание качеств, вкупе с характерным, легко узнаваемым «мортоновским» стилем, обеспечили книгам Генри Мортон заслуженную популярность у читателей во всем мире.

«Лондон» Мортон — книга, от которой невозможно оторваться, пока не дочитаешь до конца. Без преувеличения, Мортону удалось создать еще одну лондонскую достопримечательность, достойную встать в ряд с Гайд-парком и Ковент-Гарденом, Пиккадилли и Риджент-стрит, Темплом и Тауэром. И, чтобы повидать эту достопримечательность, не нужно пересекать Ла-Манш — она сама идет навстречу.

Приятного путешествия по столице мира!

**ЛОНДОН:**  
**прогулки**  
**по столице мира**





# Глава первая

## На поиски Лондона

*Я отправляюсь на поиски Лондона, посещаю то место, где находился Лондон в эпоху римского завоевания, осматриваю здание Английского банка, дом лорда-мэра и Лондонскую биржу, направляюсь на Чипсайд и исследую руины, оставшиеся после воздушных налетов в районе между Чипсайд и Мургейтом. Воскресным утром я направляюсь в Ист-Энд.*

### 1

Когда авиалайнер оказался над Темзой, пассажиры прильнули к иллюминаторам, чтобы посмотреть на раскинувшийся внизу Лондон. Они увидели серебряную нить реки, петлявшей среди темных массивов городских строений. Автомагистрали и железнодорожные линии, кварталы жилых домов и фабрик, сотни отдельных городских районов со своими церквями, административными и торговыми центрами — все это представляло собой единый массив кирпичных строений, который, казалось, раскинулся от горизонта до горизонта. Пассажиры смотрели вниз, и, возможно, некоторые из них испытывали благоговейный трепет при виде этого проявления неукротимой человеческой энергии.

Внезапно то там, то здесь стали появляться легко различимые ориентиры. Лондонский Тауэр и Тауэрский мост... собор Святого Павла и мост Блэкфрайарз... здание парламента и Вестминстерский мост...

Самолет продолжал парить над Лондоном, и под его крыльями один за другим скользили пока еще не

поддающиеся опознанию сверху пригороды, главные улицы, автомагистрали, игровые площадки, равно как тысячи и тысячи небольших, на две семьи, особняков, каждый с собственным садиком.

Я тоже смотрел вниз, размышляя о том, что Шекспир умер всего лишь триста сорок шесть лет тому назад — не столь уж давно в сравнении с короткой человеческой жизнью. Но случилось так, что, начиная с шекспировской эпохи, этот растянувшийся на сто семнадцать миль, запутанный пейзаж стал называться Лондонским графством. Триста лет назад он выглядел совсем иначе.

Шекспировский Лондон был маленьким, обнесенным стеной городом, ворота которого закрывались с наступлением темноты. Современницы Барда ходили за цветками боярышника и собирали первоцвет там, где теперь снуют трамваи и стоят газометры. Вероятно, Шекспир считал лондонцем того, кто родился под звон церковных колоколов, трудился и отдыхал, не покидая окруженного древними стенами Лондона, и кому, вероятно, суждено было умереть в этом городе и быть погребенным на одном из церковных кладбищ. Три столетия тому назад Лондон был крохотным поселением внутри крепостной стены, и в центре его, разумеется, находился собор. Жители этого поселения могли без труда осмотреть и обойти весь город, как можно обойти, например, Йорк или Честер.

Примерно в миле от него находился город Винчестер, где жил король. Туда можно было добраться двумя способами: либо по самой Темзе, либо по ее берегу. К северу от Стрэнда находились луга и живые изгороди. Ковент-Гарден, Лонг-Эйкр и другие поля тянулись в направлении узкой сельской дороги, которая вела в Рединг и которой суждено было получить странное имя Пиккадилли. С какой-нибудь возвышенности любой лондонец мог рассмотреть поля и леса, а также шпили приходских церквей, которые

указывали местоположение окрестных деревушек и маленьких ярмарочных городков, таких живописных местечек, как Степни и Кларкенвелл, Излингтон, Бетнал-Грин и Камбервелл.

Затем на город обрушилась лавина кирпича и известкового раствора. В течение трехсот лет она распространялась во всех направлениях, превращая живые изгороди в обочины дорог, связывающих расположенные в нескольких милях поселки, деревушки и маленькие городки. И вот расположенный на холме старый, обнесенный стеной город стал возвышаться над морем окружавших его дымовых труб. Живший три столетия тому назад лондонец считал Лондоном только район Сити. Для нас Лондон — это сотня различных мест. Всегда сложно выяснить точное значение используемого слова. И действительно, на вопрос: «Что такое Лондон?» не найти исчерпывающего ответа, если не согласиться с тем, что Лондон — тот самый обнесенный стеной маленький город, который до сих пор существует. Здесь находятся собор Святого Павла, дом лорда-мэра, ратуша, Английский банк и Лондонский мост. Днем здесь работают тысячи людей, но никто из них не ночует в Сити. Исключение составляют лорд-мэр Лондона и несколько сотен сторожей. Тем не менее материальные границы этого древнего города вполне различимы. До сих пор можно пройти вдоль римской стены, которая столетия тому назад ограничивала площадь Лондона одной квадратной милей. Что касается административного управления, то Лондон всегда противился любым переменам, поэтому им до сих пор управляет единственный в своем роде муниципалитет — точно такой же, каким он был в Средние века.

Этот город, который ночью становится призрачным и безлюдным, до сих пор является единственным подлинным, историческим Лондоном. За исключением

Вестминстера, все раскинувшиеся на сотни миль вокруг Сити кирпичные постройки являются лишь дополнительными площадями, пригородами, спальными районами. Странно, что лондонский Сити никогда не имел территориальных притязаний к своим колониям. У него, например, никогда не возникало желания сделать так, чтобы шпиль собора Святого Павла доминировал над зданием муниципалитета Уондзуорта. Лорд-мэр Лондона — один из немногих монархов, которые никогда не испытывали желания расширить пределы своих владений.

Всей этой огромной территорией, площадь которой составляет сто семнадцать квадратных миль и которая как в административном, так и в житейском смысле считается Лондоном, управляет Совет Лондонского графства. Однако в самом центре этой территории имеется одна квадратная миля подлинного Лондона. Этот независимый маленький город является государством, которое, по-видимому, существует с незапамятных времен.

«Скаймастер» приземлился на самой окраине Лондона, и нам пришлось почти полтора часа добираться до того места, откуда мы смогли рассмотреть купол собора Святого Павла.

## 2

На смену летним дождям внезапно пришла немилосердная жара. В мгновение ока Лондон стал совсем другим. В безоблачном небе светило солнце, и панорама зданий отличалась фотографической четкостью работ Каналетто.

Лондонский климат весьма изменчив, и поэтому им невозможно пресытиться. Посреди зимы вдруг наступает весенний денек, который вообще может

оказаться лучшим днем в году. В промежуток между двумя ливнями может вклиниться целая неделя жары, что, впрочем, тоже покажется вполне уместным. Однажды, во время одного из таких метеорологических переходов, я подумал, что Лондон никогда не выглядел столь изумительно, как под снежным покровом.

Эта неожиданная жара, которая наступила после нескольких дождливых недель, не могла не придать городу особого очарования. Небо над Риджент-стрит и Пиккадилли было таким же ясным, как небо над Римом. Ставший в то утро и вправду римским городом, Лондон имел гордый и величественный вид. В эпоху, когда империи уже вышли из моды, он выглядел как имперский город.

Я сел в омнибус на Пиккадилли и поехал к Английскому банку.

С Хэймаркет мы выехали на Кокспэр-стрит. В тот момент, когда мы проезжали мимо Национальной галереи, механик в служебном помещении под Трафальгарской площадью включил фонтаны. Две струи взметнулись в залитое солнечным светом небо и, достигнув расчетной высоты, с шумом обрушились вниз. Это повторяющееся изо дня в день событие испугнуло голубей, таких же откормленных и пухлых, как голуби с венецианской площади Сан-Марко. Все они тотчас вспорхнули и, пару раз облетев вокруг колонны Нельсона, вернулись на прежние места. Переставляя свои багрово-красные лапки, птицы стали вразвалку приближаться к сидевшим на корточках провинциалам, которые держали в руках мешочки с высушенным горохом.

Да, подумал я, сегодня утром Лондон выглядит изумительно..

Между тем нам пришлось замедлить скорость, так как движение было весьма плотным. Я перевел взгляд на ту часть площади, к которой примыкал Стрэнд. У

светофора скопилось множество красных автобусов, ожидавших разрешающего движение сигнала. Некоторые из них вскоре должны были помчаться по Уайтхолл-стрит в направлении Вестминстера. Там, между узкими проходами, разделяющими дома, можно было разглядеть здание парламента и циферблат Биг Бена. Другим предстояла поездка по прилегающему к центру участку Риджент — стрит в направлении Пиккадилли и далее, в западную часть города. Мимо омнибусов, ждавших, когда им будет позволено возобновить движение, проплывали потоки машин. Некоторые двигались в направлении Нортумберленд-авеню и набережной Темзы, другие в сторону Уайтхолл-стрит, арки Адмиралтейства и далее, в направлении Мэлл. В конце этой широкой, прямой дороги расположен Букингемский дворец. Установленный на его крыше королевский штандарт безвольно обвис в неподвижном горячем воздухе.

Солнце освещало всю панораму, в которой преобладали красный, белый и черный цвета. Именно эти цвета характерны для Лондона: красный — цвет омнибусов, телефонных будок, фургончиков Королевской почты и мундиров гвардейцев; черный же и белый — два цвета портлендского камня, из которого возведены стены лондонских зданий: одна его сторона абсолютно белая, а другая покрыта черными вкраплениями. Таков Лондон, и другого такого города не найдешь во всем мире.

Зажегся зеленый свет, и мы продолжили движение, но вскоре на мгновение остановились у вымощенного камнем кладбища церкви Святого Мартина-в-полях. Я подумал о том, что в похоронные книги этой церкви занесены имена Нелл Гвин и Чиппендейла. Ощущение живой истории в какой-то степени объясняет секрет очарования Лондона. Мы повернули на Стрэнд в районе Чаринг-Кросс. Мысленно переместившись на шесть с

половиной столетий назад, я оказался у креста, установленного в районе Чаринг. Он стоял там, где начинается Уайтхолл-стрит и где теперь находится статуя Карла I. Этот крест обозначал место, где можно было остановиться на отдых, и был последним из всех крестов, установленных Эдуардом I на маршруте следования процессии, доставившей гроб с телом его супруги, королевы Элеоноры Кастильской, из Линкольншира, где она умерла, в Вестминстер. Затем, вспомнив, что они оба принимали участие в одном из крестовых походов, я подумал о крепости Акра в Палестине и мимоходом подивился, вправду ли Элеонора, как гласит легенда, пыталась высосать яд из раны на руке мужа. К действительности меня вернул мужской голос, сообщивший кому-то, что едет в биоскоп. Это навело меня на мысль, что он из Южной Африки<sup>[1]</sup>. Итак, от Нелл Гвин, Чиппендейла и крестовых походов до Кейптауна!

Если бы кто-нибудь удосужился записать все те мысли, которые приходят в голову каждые десять минут путешествия по Лондону, это было бы удивительное повествование!

Между тем омнибус продолжал ехать по Стрэнду.

### 3

Я бросил взгляд на прохожих.

Те из них, кому за сорок, пережили две мировые войны и уцелели во время битвы за Англию. Юноши и девушки шестнадцати–семнадцати лет не помнили другого Лондона, кроме полуразрушенного города проломленных крыш, обвалившихся стен, покореженных каминных решеток, заросших мелколепестником и кипреем подвалов. От этого Лондона у меня разрывалось сердце, к нему просто невозможно

привыкнуть до конца, но для них это привычная картина, которая не вызывает никакого удивления. Дети циничной и внушающей страх эпохи революций и нестабильности, они не представляют себе, какой была жизнь в богатом и уверенном в себе Лондоне 1913 года или в менее самонадеянном, но все еще богатом Лондоне периода между двумя мировыми войнами.

В силу своей жизнеспособности, которая, собственно, и делает их великими, старинные города всегда находятся в процессе изменений. История показывает, что даже в Средние века наступали периоды, когда лондонец, видя изменения в моде, в привычках и в поведении и не находя примет старого времени, уже не узнавал город своего детства. Наслаиваясь друг на друга в течение столетий и даже более длительных периодов, такие перемены настолько изменяют город, что, возможно, Чосер с трудом узнал бы Лондон эпохи королевы Елизаветы. Шекспир наверняка заблудился бы в кирпично-каменном лабиринте Лондона эпохи доктора Джонсона. А сегодняшний город из стали и бетона привел бы в замешательство Диккенса, который прекрасно знал лондонские закоулки. Но эти вызванные естественным ростом изменения, которые принято называть «движением в ногу со временем», отличаются от резких перемен, спровоцированных каким-либо бедствием. Если попытаться найти в долгой истории Лондона период, во время которого город находился приблизительно в таком же состоянии, как сейчас, наверное, это будут годы после Большого пожара, случившегося при короле Карле II. Тогда значительная часть Сити, как и теперь, лежала в руинах.

Но эти события отнюдь не идентичны по своим последствиям. Для тех, кто испытал на себе воздействие воздушных налетов, это бедствие оказалось более суровым испытанием, нежели Большой пожар. Лондонский пожар был вызван случайностью и



продолжался в течение считанных дней. Воздушные налеты были преднамеренной попыткой врага покорить город, девизом которого всегда была свобода. Поэтому, несмотря на то что видимые последствия пожара и налетов во многом схожи, воздействие этих двух событий на городское население нельзя сравнивать. Нынешнее поколение лондонцев выдержало больше испытаний, чем любое предыдущее, может быть, за исключением того, которое проживало здесь в очень давние времена. Мы ничего не знаем о том, какие испытания им пришлось выдержать и какие заботы их тревожили, нам известно лишь, что им было суждено поселиться в Лондоне после того, как римляне ушли из Британии. Тогда страна на несколько веков погрузилась в пучину анархии и разбоя.

Мне вдруг подумалось, что за свою жизнь я видел четыре различных образа Лондона. Первый образ был настолько смутным и в то же время настолько живым, что я порой задавал себе вопрос, уж не является ли он частью творчества Диккенса, которое всегда воспринималось мной как собственный жизненный опыт. Но это было не так, и у меня есть все основания это утверждать. Еще в раннем детстве меня как-то взяли в Лондон. Это случилось в последние годы правления великой королевы Виктории. Я помню тот город, с его ужасающим шумом и суетой, грязью и слякотью — ведь дело было зимой. И одним из наиболее четко запечатлевшихся в памяти эпизодов стал теплый загон, где пахло соломой и было мокро и грязно от растаявшего снега на полу конки, двигавшейся по Ладгейт-Хилл. Я хорошо помню темный купол собора Святого Павла, возвышавшийся над морем белых от недавно выпавшего снега крыш.

Возможно, это утверждение вызовет удивление и даже негодование, но именно тогда век лошади в Лондоне подошел к концу. В городе появились

странного вида автомобили, которыми управляли люди в защитных очках. Эти машины напоминали кареты, и, когда они ломались, вокруг них собирались толпы праздных зевак. Но именно они через несколько лет изгнали лошадей из Лондона и преобразили внешний вид городских улиц. Впрочем, когда я впервые оказался в столице, то увидел город конок, карет с извозчиками, двухколесных кэбов и частных карет. Тогда мне казалось, что все люди в этом городе либо щелкают кнутами, либо громко кричат. Нескончаемо звенела конская упряжь, мостовые содрогались от глухого стука копыт. Громадные краснолицые мужчины на козлах кутались на морозном воздухе в бесформенные пальто, скрывали ноги под теплыми пледами, а затянутыми в перчатки руками сжимали вожжи.

Поездка на конке представляла собой весьма неспешную процедуру со множеством остановок и использованием любой возможности обменяться любезностями. В то время пассажир был частью уличной жизни Лондона. Сегодня это просто невозможно, так как мы находимся в изолированном пространстве омнибуса или легковой машины. А в те времена вы сидели на открытом воздухе и медленно проплывали над морем голов пешеходов. Все это напоминало живописную процессию вступления в должность лорда-мэра. Извозчики располагали уймой времени, чтобы перекинуться друг с другом шуткой или обменяться ироническими замечаниями по поводу любого из пешеходов. Казалось, все они были знакомы друг с другом, и в тот момент, когда рука полисмена приводила в движение сотни неподвижно застывших лошадей (многие из которых, как мне помнится, вскидывали головы и всхрапывали), эти извозчики начинали орать как бешеные, и испуганному ребенку казалось, что он находится в самом центре яростной ссоры.

Теперь-то я понимаю, что видел тот лик Лондона, который был знаком Хогарту. Это был город жизнерадостного крикливого простонародья; город, заполненный шумом, который сегодня мы не различаем и не замечаем. Выступали духовые оркестры, играли тромбонисты и шарманщики, пели уличные певцы, орали разносчики. Стоя у дверей своих лавок, пронзительно вопили мясники в полосатых фартуках, фоном раздавалось гроыхание запряженных лошадьми телег, звяканье мелких монет, поскрипывание упряжи и щелканье кнутов. Наверное, шум Лондона не мог не произвести на меня сильное впечатление, потому что родственник, у которого я остановился, настолько устал от городского шума, прежде всего от грохота колес, что застелил мостовую у своего дома слоем дубильной коры. Помню, я забирался на стоявший у окна стул и, встав на колени, наблюдал за уличным движением, прислушивался к внезапно проникавшим сквозь слой коры приглушенным звукам, а когда они приближались, снова слышал все эти доносившиеся с дороги гулкие шаги, перестуки и гроыхания в их естественном звучании.

Вероятно, по причине малолетства мне казалось, что весь этот ад организован существами, рост которых превышает рост нормальных людей. Рядовой кокни не отличается гигантским ростом, и все же в течение нескольких лет я был убежден в том, что эти огромные существа принадлежат к особой расе веселых бородатых великанов. Я не могу себе представить современного ребенка, который пришел бы в смятение, впервые увидев медленное и упорядоченное движение лондонского автотранспорта. А ведь именно такое впечатление произвел на меня Лондон эпохи королевы Виктории — Лондон, на который я успел бросить лишь мимолетный взгляд.

Я совершенно не помню Лондон эпохи короля Эдуарда, потому что мои школьные годы прошли не в столице. Я вернулся в Лондон в 1913 году, когда уже достиг призывного возраста, и обнаружил, что город стал совсем другим. Автомобили с колесами на литых шинах уже изгнали с его улиц конные экипажи. И все же еще можно было нанять старомодный четырехколесный экипаж или двухколесный кэб. В этом другом Лондоне цилиндр был не только символом достатка, но и признаком респектабельности. Многие парикмахеры держали специального помощника, который занимался исключительно тем, что отпаривал утюгом эти шляпы, пока их владельцам стригли волосы. Человеку, который был вхож в светское общество, цилиндр отпаривали ежедневно. Котелки носили представители более низких слоев общества, а кепи, если не принимать в расчет сельской местности, были головным убором низов. Никто, за исключением немногих оригиналов, не ходил с непокрытой головой, как это в обычае у многих сегодняшних лондонцев.

Это был богатый и высокомерный город. По Гайд-парку проносились последние запряженные превосходными лошадьми четырехместные кареты с открывающимся верхом. Рядом с кучером сидели, скрестив руки на груди, ливрейные лакеи в треуголках, сюртуках и белых бриджах. На закате эпохи достатка и привилегий общество, в том смысле, в котором понимали это слово в георгианские времена, все еще существовало внутри величественных зданий восемнадцатого столетия и на площадях Вест-Энда.

Это был шикарный Лондон. В те годы, как, впрочем, и в любой другой период истории, можно было без труда опознать аристократа, родители которого были

простолюдинами, или богача, который вырос в бедной семье. В городе было много людей, носивших монокль, ныне почти вышедший из употребления, но он выполнял исключительно декоративные функции. Таких людей восторженно называли «франтами» или «щеголями». Они являлись прямыми наследниками «красавчиков» и «денди» эпохи Георгов, «милашек», «модников», «цветочков», «фатов» и «коринфян» периода Регентства, а также «малых», «приятелей» и «сердцеедов» викторианской эпохи. Но их лебединой песней стала песенка «Гилберт-чудак не такой уж простак», спетая во время Первой мировой войны Нельсоном Кизом.

Этот появившийся в 1914 году «не-такой-уж-простак» положил конец длинному ряду всевозможных франтов. Ему суждено было пасть мученической смертью на проволочных заграждениях у Соммы. Он часто раздражал своих родственников и забавлял зевак, но при этом оставался джентльменом. Даже сейчас всем нам его так не хватает.

В те времена подобные причуды с большим или меньшим успехом повторяли представители всех слоев общества, за исключением рабочих, занимавшихся физическим трудом. В 1913 году представителя рабочего класса было так же легко отличить по одежде, как и члена палаты лордов. В ту эпоху землекоп еще не превратился в джентльмена с отбойным молотком. Тогда это был человек внушительной комплекции, в тяжелой байковой куртке и вельветовых брюках, износившихся на коленях. Как правило, он носил кашне или шейный платок и курил короткую глиняную трубку. Этот восхитительный типаж, который так часто встречался на улицах Лондона, теперь куда-то исчез. Уличный торговец был неотъемлемой частью любого рынка и обладал громким голосом, чувством юмора и иронией. В торжественных случаях он облачался в

специальный костюм, расшитый сотнями жемчужных пуговиц, а его жена и дочь могли позволить себе появиться на улице в огромных шляпах, украшенных страусиными перьями. Мы и сейчас можем увидеть торговца, но теперь он выглядит точно так же, как все остальные.

Перед Первой мировой войной жители занятого кипучей деятельностью и уверенного в себе города получали жалованье серебряными и золотыми монетами. О банкнотах никто понятия не имел. Соверен, который на жаргоне кокни назывался «джимми-о'гоблин», был красивой, тяжелой монетой золотисто-красного цвета. Эти монеты внушали человеку такое чувство достатка и уверенности в своих финансовых возможностях, какое не способна внушить даже толстая пачка сегодняшних банкнот. На одной стороне монеты было изображение королевы Виктории или короля Эдуарда VII, а на другой — разящий дракона святой Георгий. И если тогда даже на пенни можно было купить целый список товаров, то уж соверена хватало надолго.

Кошельки никогда не пользовались популярностью в Англии, и я до сих пор отношусь с предубеждением к человеку, который, вытащив из кармана кошелек, осторожно извлекает из него несколько монет. Впрочем, я с гордостью вспоминаю тот маленький металлический кошелек, предназначенный для хранения соверенов, который мне подарили еще в юношеские годы. Лежавшие в нем монеты были плотно прижаты друг к другу, и для того, чтобы извлечь одну из них, нужно было надавить большим пальцем — тогда верхняя монета, выскользнув из своего гнезда, попадала в узкое пространство между большим и указательным пальцами, а та, что лежала под ней (если она там лежала), занимала место верхней.

Когда вы молоды, то видите окружающий мир в радужном свете, поэтому теперь мне трудно сказать,

соответствовало ли то впечатление буйного веселья и всегда хорошего настроения, которое произвел на меня Лондон, реальной атмосфере тех дней — или же я смотрел на столицу сквозь розовые очки молодости. Огромное количество людей вело невероятно омерзительный, скотский образ жизни. В моей памяти проносятся образы нищих, которые часто спали прямо на набережной, и босоногих мальчишек. И все же на первый взгляд Лондон производил впечатление огромной, дружелюбно настроенной и веселой столицы. Впрочем, между богатыми и бедными, наделенными правами и бесправными лежала глубокая пропасть. Существовало огромное количество тех, кто только притворялся несчастным, но я полагаю, что тогда не было той зависти и злобы, которые являются характерной чертой периодов социальной напряженности.

Именно в то время, о котором я пишу, появился кинематограф, но на него тогда не обращали большого внимания. Первые фильмы показывали в импровизированных кинотеатрах, которые как я припоминаю, назывались биоскопами. За исключением Южно-Африканского Союза, это название уже повсюду вышло из употребления, там же большинство роскошных, оборудованных кондиционерами кинотеатров все еще называют этим архаичным словом. Насколько я помню, первые фильмы представляли собой отрывочные эпизоды путешествия на гондоле по Большому каналу в Венеции, но зрители с изумлением и восторгом наблюдали за тем, как на экране двигаются живые люди. Тогда никому бы и в голову не пришло, что всего через несколько лет эти движущиеся фотографии нанесут смертельный удар всемогущему мюзик-холлу. Кстати, я не вижу более существенных отличий между той эпохой и сегодняшним днем, чем отличия между посетителями мюзик-холлов и зрителями кинотеатров.

Тогда после представления какого-нибудь мюзик-холла толпы возбужденных зрителей заполняли освещенные фонарями улицы Лондона. Они громко пели и свистели, пребывая в радостном настроении, которое было вызвано тем, что они увидели на сцене Весту Тилли, Мэри Ллойд, Малютку Титч, Джорджа Роби или Гарри Тейта. И совсем по-другому покидает кинотеатр толпа современных зрителей. Каждому из нас знакомо то виноватое выражение лиц, с которым они выходят на улицу. Такое впечатление, что они выходят из какого-то гигантского морга.

Я помню, что весной и зимой улицы Лондона чернели от обилия цилиндров, а летом белели от множества соломенных шляп. Я помню, как жарким летним днем 1914 года меня везли по Мэлл, а внизу колыхалось бескрайнее море соломенных шляп. Тогда я, как и тысячи других людей, выкрикивал здравницы королю Георгу V, потому что в тот день мы вступили в войну с Германией. Никто из нас не понимал, что богатому Лондону эпохи частного предпринимательства пришел конец.

Спустя четыре года я познакомился со своим третьим Лондоном.

Это был Лондон эпохи «долгого перемирия», Лондон в период между двумя большими войнами. В то время я был молодым романтиком. Продолжая удивляться тому, что мне удалось остаться в живых, я с волнением понимал, что зарабатываю себе на жизнь в городе, который, как мне казалось, является самым желанным и восхитительным местом на свете. Уж не знаю, считают ли сегодняшние молодые провинциалы Лондон городом неограниченных возможностей, но именно таким считал его я и многие другие молодые люди того времени. Мы возмещали собственное неумение и профессиональную непригодность уверенностью в том, что если только нам



удастся попасть в Лондон, в этот волшебный, чарующий город, то все у нас будет хорошо и нам улыбнется удача точно так же, как она в свое время улыбнулась Дику Уиттингтону, Шекспиру, Гаррику, Сэмюелу Джонсону и многим другим бедным, но амбициозным провинциалам.

Я обнаружил, что этот Лондон не слишком отличается от того города, который я немного узнал перед войной. Впрочем, его колоссальная самоуверенность слегка пошатнулась и уже подули ветры перемен. Золотой соверен исчез, а цилиндры вышли из моды. Однако внешне Лондон все еще казался таким же веселым и дружелюбным, каким он был до войны. Старики говорили, что город стал другим и уже никогда не будет прежним, но кто же верит старикам? К тому же Лондон все еще располагал изрядной долей прежних богатств и утонченности. Во время так называемых «сезонов» перед известными всему городу зданиями, как и прежде, устанавливали полосатые тенты, многие летние вечера наполнились звуками оркестровой музыки, слушателями которой становились толпы зевак, наблюдавших за прибытием гостей, приезжавших в автомобилях с личным шофером.

Это был Лондон Ллойд Джорджа, Бонара Лоу и Болдуина. Его обитателями были принц Уэльский, лорд Бивербрук, леди Кьюнард, Джордж Лэнсбери, Рамсей Макдональд, Майкл Арлен, Ноэл Кауард, лорд Лонсдейл, Марго Асквит, леди Астор, Филип Сноуден, мистер и миссис Сидней Вебб, Джеймс Барри, Джозеф Конрад, Джон Голсуорси, Бернард Шоу, Дин Индж и многие другие.

Я считал, что работать в таком городе — сплошное удовольствие. Но вскоре мне пришлось умерить свои восторги. Это случилось, когда я заглянул в глаза знакомого мне еще по армии человека, которым я в свое время восхищался. Он стоял на тротуаре и протягивал шляпу в надежде получить милостыню. Рядом стояли

три его товарища по несчастью с музыкальными инструментами в руках. Он явно не был очарован магией Лондона. Несправедливости жизни, которые в прежние времена воспринимались как неизбежность, теперь стали особенно заметны. Помню, как затаившиеся в районе Трафальгарской площади конные полицейские, вытащив трости с вложенными в них клинками, бросились на огромную толпу демонстрантов. И все же жизнь состояла не только из забастовок и демонстраций, хотя, судя по статистическим данным о безработице того времени, подобные выступления должны были происходить гораздо чаще.

Рядовые лондонцы, как и в восемнадцатом столетии, проявляли трепетный интерес к поведению светских красавиц, которые пользовались всеобщей любовью. Теперь они проявляют такой же интерес к поведению киноактрис. Подобно толпе времен Георгов, которая собиралась, чтобы посмотреть на сестер Гэннинг, толпы тех дней собирались с искренним восхищением поглазеть на леди Диану Мэннерс или на красавицу Полу Геллибранд. Все еще можно было увидеть аристократов, и людям нравилось их разглядывать. Лорд Лонсдэйл, в сюртуке, с сигарой во рту и гарденией в петлице, был популярной фигурой в Олимпии. Тогда был заселен весь Итон-сквер, отдельные дома которого ныне опустели, а другие подверглись целому ряду перестроек и теперь разделены на квартиры. Были полностью заселены улицы и аллеи Белгрейвии и Мэйфера. На Пиккадилли все еще стоял старый Девоншир-хаус, который с мрачным упорством отгораживался своей длинной стеной от чуждой ему эпохи. Но наступил день, когда на эту стену забрались рабочие, которым было поручено его разрушить. Живописная Аделфи-террас выходила на Темзу, и я помню, что провел там, в старом доме Сэвидж-клуба, множество приятных вечеров.

Здание оперы Ковент-Гарден перед началом спектакля представляло собой незабываемое зрелище. Яркий свет заливал изысканную публику. В то время можно было без каких-либо затруднений отдать манишку в прачечную. Любой, кто сидел в партере и при этом был одет в пиджачный костюм, привлекал к себе внимание окружающих. А вздумай во время спектакля какой-нибудь взрослый зритель поедать мороженое с помощью картонной ложечки, этим он сразил бы наповал любого блюстителя нравов, который счел бы такое поведение чрезвычайно своеобразным. В те годы Бонд-стрит еще оставалась фешенебельной улицей. В Берлингтонском пассаже витал особый аромат самых дорогих французских духов.

В те годы лайнеры «Мавритания», «Гомерик» и «Аквитания» привозили в Лондон толпы богатых американцев, которые снимали шикарные номера в гостинице «Савой». Они брали напрокат «даймлеры» и путешествовали на них по Англии. Были и другие, не столь богатые американцы, которые носились в автомобилях по Лондону, а потом совершали стремительные турне по старинным английским городам и уезжали на континент, чтобы точно так же промчаться по Парижу. В период между двумя войнами Лондон стал одним из наиболее посещаемых туристами городов мира.

Это был легкомысленный, крикливый Лондон, но я почти уверен в том, что подсознательно люди уже тогда понимали, что новая война не за горами. И это, несомненно, был Лондон, в котором большую роль играли деньги. Каждое утро с вокзала Виктория отправлялся в путь Континентальный экспресс, который позже стали именовать «Золотой стрелой». Переправившись на пароме в Европу, он вместе с «Голубым поездом» доставлял пассажиров из Лондона на юг Франции.

В ту пору чувства нации фокусировались на могиле Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве и на Кенотафе на Уайтхолл-стрит. В течение многих лет, фактически вплоть до самого начала следующей бойни, всякий, кто, проходя мимо Кенотафа, не обнажал с благоговейным трепетом голову, рисковал оказаться без шляпы, сорванной возмущенным встречным. И даже будучи единственным пассажиром такси, человек снимал головной убор, когда машина, в которой он сидел, проезжала мимо Кенотафа.

Двадцатые годы плавно перешли в тридцатые. Именно тогда началась пока еще мирная конфронтация сторон, которая закончилась воскресным сентябрьским днем 1939 года, когда мистер Невилл Чемберлен усталым голосом объявил, что мы снова вступили в войну.

И вот теперь, спустя годы, я смотрю на свой Лондон в его четвертом обличье.

Современный Лондон — город послевоенных руин и людей, которые ходят без головных уборов. Его общеизвестный шарм несколько потускнел, но, смею вас заверить, он все еще присутствует. Омнибус вез меня к банку через этот новый Лондон. Проехав по Стрэнду до Темпл-Бара, мы пересекли невидимую границу и попали в Сити. На вершине Ладгейт-Хилл, как всегда, тускло блеснул большой черный купол. О этот восхитительный блеск Лондона! Впрочем, этим блеском были отмечены и лица лондонцев, которые я с интересом разглядывал. Эти люди явно отличались от тех, что смеялись и улыбались в межвоенные годы. Они стали мрачнее и печальнее и больше не были той пестрой толпой, которая прежде создавала облик лондонских улиц. Все они походили друг на друга. Теперь было невозможно отличить лорда от землекопа, бедняка от богача. На первый взгляд, в современном Лондоне не сохранилось деления на классы — точнее говоря, все его жители

выглядели как представители беднейшей части среднего класса. Для Лондона всегда была характерна утонченность или, как говорили в восемнадцатом столетии, хороший тон. Теперь же это качество напрочь отсутствует. Впервые в жизни Лондон напоминал мне провинциальный город.

Глядя на лица прохожих, я с трепетом подумал о том, что это лица тех мужчин и женщин, мужество которых неуклонно возрастало на всем протяжении битвы за Англию. Они были начальниками отрядов ПВО, наблюдателями и пожарными. Некоторые из них пережили две войны. В газетах, которые они несли, говорилось о возможности третьей мировой. Вероятно, поэтому лишь немногие из них улыбались.

— Банк! — объявил кондуктор.

И я оказался в самом сердце Лондона.

## 5

В древние времена под теми участками земли, где теперь стоят Английский банк и дом лорда-мэра, текла река, в которую впадали ручьи, бравшие начало в северо-восточной части нынешнего Лондона. Эта река называлась Уолбрук. Она была широкой и полноводной и разделяла Лондон на две части. Ее русло проходило вдоль неглубокой ложины, лежавшей между двумя холмами, на одном из которых теперь стоит собор Святого Павла, а на другом рынок Лиденхолл-маркет.

Именно на берегах этой реки строился самый первый Лондон. Поэтому, будь я экскурсоводом, я бы обязательно отправился в Английский банк и сказал бы своим экскурсантам следующее: «Вы находитесь примерно в двадцати футах над старым Уолбруком, на берегах которого был построен первый, еще римский Лондон. Давайте начнем нашу экскурсию с этого места».

Когда после Первой мировой войны я приехал в Лондон, чтобы зарабатывать себе на жизнь, я был просто ошеломлен размерами столицы. Меня изумляло то обстоятельство, что здесь обитали миллионы людей, с которыми мне приходилось каждый день сталкиваться. Не менее ошеломляющее впечатление производило и раскинувшееся на многие мили море дымовых труб. Казалось совершенно невероятным, чтобы человек сумел найти дорогу в этом ужасающем лабиринте.

Меня постоянно будоражила мысль, что это огромное средоточие людей в одном месте должно иметь некую отправную точку. Впрочем, в голове не укладывалось, что когда-то здесь совсем не было людей. Взобравшись на купол собора Святого Павла или наблюдая, как во время прилива под мостами снуют буксиры, я всякий раз пытался себе представить, какой была эта местность до того, как человек предъявил на нее свои притязания.

Доводилось ли древним бриттам, рыбачившим на сплетенных из ивняка и обтянутых кожей лодках, забрасывать сети в Темзу? Приходилось ли им жечь костры из дубовых веток, чтобы приготовить пойманную рыбу, на том самом месте, где сейчас стоит собор Святого Павла? Удавалось ли кочевым племенам найти дорогу среди тропинок, которые впоследствии превратились в Уотлинг-стрит и Эрмайн-стрит? Посчастливилось ли им еще до наступления темноты найти на берегах Темзы какую-либо возвышенность и, разбив на ней лагерь, заснуть, не ведая того, что они спят на земле, которая останется многонаселенной в течение долгих столетий?

Я провел множество выходных, прогуливаясь по улицам Сити и пытаюсь вообразить (это было невероятно сложно), как выглядела данная местность, когда тут не было ничего, кроме речных перекатов, сновавших над болотами птиц и плескавшегося в воде лосося. Музеи

немногим сумели мне помочь. В них оказалось столь мало реликтов доисторического Лондона, а последние были столь невзрачны на вид, что вскоре я отказался от этой затеи и мысленно отправился в более близкие по времени эпохи, первой из которых стала эпоха римского Лондона.

И вот здесь мне действительно повезло. В то время я познакомился с замечательным человеком, ныне покойным Дж. Ф. Лоуренсом. Он, как и любой человек, родившийся в девятнадцатом столетии, имел очаровательную привычку быть точным в мелочах и потому называл себя антикваром. Всякий раз, когда я слышу, как люди обвиняют Диккенса в том, что он утрировал характеры своих персонажей, я вспоминаю Лоуренса, которого работавшие с ним в Сити землекопы называли не иначе как «Каменный Джек». Он был под стать персонажам Диккенса. Внешне Лоуренс весьма напоминал добродушную лягушку. Это был коренастый человек небольшого роста, имевший привычку пыхтеть и надувать щеки во время разговора. Обычно он носил рубашку из голубой саржи с жестким белым воротничком и черный галстук. Его глаза весело поблескивали за стеклами очков в стальной оправе. У него были седые волосы и усы и розовое, как у младенца, лицо. Его донимала астма, при этом он питал пристрастие к крепким тонким сигарам с обрезанными концами, что отнюдь не улучшало состояние его здоровья. Курение этих отвратительных маленьких петард всегда заканчивалось приступами кашля, но, придя в себя, он весьма элегантно продолжал беседу, причем делал это с таким видом, словно ничего не случилось.

Лоуренс считал прошлое более реальным и неизмеримо более интересным, нежели настоящее. Он проникал в прошлое почти как ясновидец. Бывало, он брал в руку римскую сандалию (кожа, из которой она

была сделана, каким-то чудом уцелела в лондонской глине), прикрывал глаза и, склонив голову набок, начинал рассказывать о мастере, который когда-то ее сделал, о лавке, в которой ее продали, о римлянине, который купил эту сандалию, и об улицах давно исчезнувшего Лондона, по которым ступали ее подошвы. И хотя сигара несколько нарушала дикцию, рассказ создавал живую, наполненную яркими цветами картину давно минувшей жизни. Я никогда не встречал человека, который относился бы к прошлому с такой любовью. Думаю, было бы вполне естественно, стань Лоуренс в преклонные годы спиритуалистом и найди он, вступив в еще более тесный контакт с минувшими эпохами, общий язык с их обитателями.

В районе Вест-Хилл, что в Уондзуорте, Лоуренс держал один из самых необычных магазинчиков в Лондоне. Теперь это прачечная или что-то вроде того, и, проходя мимо, я каждый раз испытываю щемящее чувство, вызванное воспоминаниями о нескольких счастливейших в моей жизни субботних вечерах. Жил Лоуренс в верхней части города вместе с женой и дочерью, которая, насколько я помню, была медиумом. Над дверью магазинчика покачивалась закрепленная на кронштейне вывеска — знак «Ка» из древнеегипетской гробницы. Годами этот знак подвергался воздействию ветров и дождей, очищавших его от всего лишнего, пока наружу не выступило дерево, из которого он был сделан. Витрину заполняли кремневые наконечники для стрел, каменные топоры, египетские, греческие и римские древности, некоторые лишь в виде отдельных фрагментов. Все они не представляли большой ценности, поскольку среди посетителей магазинчика Лоуренса не было миллионеров. Его завсегдатаями были школьники, бедные студенты и заведующие школьными музеями. Но предметы, выставленные на витрине, являлись не более чем бледным отражением того, что



хранилось внутри магазина. Едва переступив порог, вы понимали, что некий шквал времени обрушился на маленькую комнатку, расположенную в Уондзуорте. Глаза разбегались от обилия древностей из Ниневии, Вавилона, Фив, с островов Эгейского моря, Кипра, Крита, из Рима и Византии. В чаше с раствором можно было обнаружить почерневшую кисть мумии, а коробка из-под сигар была доверху заполнена серебряными денариями или коптскими украшениями, найденными в песчаных барханах Ахмима.

Сам Лоуренс бывал в магазине только по субботам, во второй половине дня. До самого вечера он стоял за прилавком с неизменной сигарой во рту. На то были особые причины. В течение недели ему приходилось выполнять определенные обязанности в Лондонском музее, равно как и в Ланкастерском и Сент-Джеймском дворцах, а делом его жизни были постоянные визиты в те районы Сити, где сносили дома. Там он заводил знакомства с рабочими, которые по субботам приносили ему все, что находили во время под обломками и в котлованах. Благодаря ему кое-кто из этих людей (а он знал их всех) познакомился с основами археологии. В двадцатые годы в Сити сносили и реконструировали огромное количество зданий, и фундаменты новых бетонных офисов углублялись в римский культурный слой в лондонском глиноземе. Лоуренс понимал, что надо пользоваться этой последней возможностью, чтобы спасти древности, которые, быть может, все еще таятся под землей.

Руководство музея Гилдхолла (лондонской ратуши), на территорию которого он постоянно вторгался, считало Лоуренса зловредным пиратом и во множестве подавало на него гневные жалобы. Полагаю, официальные представители Лондонского музея либо открещивались от Лоуренса, либо, когда откреститься не получалось, применяли к нему чисто формальные

меры воздействия. Так или иначе, Лоуренс оставался непоколебим и многие годы продолжал заниматься своим незаконным промыслом. Он высматривал и выводывал, что происходит на стройплощадках, перешептывался с землекопами, продолжал заключать тайные сделки, укрываясь от любопытных взглядов за рекламными щитами или уединяясь с клиентами в пабах Сити. Все это приводило к тому, что по субботам в Уондзуорт тянулись целые процессии: рабочие несли загадочные предметы, бережно завернутые в перепачканные носовые платки.

Именно таким необычным способом собиралась выставленная в Лондонском музее великолепная коллекция изделий римской эпохи. Потребовались долгие годы и невероятное терпение, чтобы все это собрать. Порой Лоуренс получал сотню античных керамических поделок, порой — считанные единицы, но чаще всего проходили недели, прежде чем кто-либо из знакомых приносил ему фрагмент какого-нибудь изделия. Лоуренс знал наизусть историю каждого предмета или фрагмента. Содержимое его шкафов напоминало коллекцию незавершенных головоломок. Лишь достигнув глинозема и не найдя в нем обломков конкретной глиняной вещицы, он отказывался от идеи полностью восстановить данное изделие и только тогда замазывал отсутствующие фрагменты пчелиным воском и покрывал изделие красной охрой.

Бессчетное количество раз я оказывался свидетелем того, как приходившие в магазинчик землекопы протягивали через прилавок свои сокровища. «Это вам сгодится, начальник?» — хриплыми голосами спрашивали они Лоуренса. Я видел, как из завязанных узелком носовых платков извлекались римские булавы, зеркала, монеты, кожа, средневековая керамика, реликвии тюдоровской эпохи и вообще самые разнообразные предметы, которые невесть сколько лет

пролежали в древних слоях почвы. Я был у Лоуренса в тот день, когда два землекопа принесли тяжелый кусок глины, который обнаружили под каким-то зданием в районе Чипсайд. Эта находка была похожа на футбольный мяч; рабочие сказали, что там осталось еще много таких штуквин. Поковыряв палочкой глину, мы наткнулись на некий предмет, тускло отливавший золотом. Когда землекопы ушли, мы отнесли находку в ванную, чтобы обмыть. Из глины выпали жемчужные серьги и подвески, а также и другие драгоценности, многие со следами повреждений. Так была открыта знаменитая коллекция Тюдоров, которая ныне занимает целый зал в Лондонском музее.

Я уверен, что Лоуренс заявил об этой ценной находке и в награду получил значительную сумму денег; думаю, что ему выдали за нее тысячу фунтов. Я хорошо помню, что он вручил каждому из пораженных землекопов по сотне фунтов. Потом он рассказывал мне, что эти ребята куда-то исчезли и появились вновь лишь через несколько месяцев.

Секрет его популярности среди землекопов заключался в том, что он был к ним добр и честен и они никогда не уходили от него с пустыми руками. Даже если они приносили ему что-нибудь совершенно бесполезное, он всегда вознаграждал их суммой, достаточной хотя бы для пинты пива. Я восхищался его добротой. Для него не было большего удовольствия, чем побеседовать со школьником, который интересуется прошлым. Сколько раз я видел, как такой вот паренек, зайдя в магазин, любовно поглаживал какую-либо старинную вещицу, не имея возможности ее приобрести.

«Бери, паренек, — предлагал Лоуренс. — Я хочу, чтобы она стала твоей. Сколько у тебя есть? Три пенса? Вот и давай их сюда».

Этот замечательный человек даровал мне право изучать вместе с ним Лондон минувших эпох, слушать

его, учиться у него, восторгаться его энтузиазмом и его знаниями. Когда в тихий воскресный день мы с ним прогуливались по улицам, прилегающим к Темзе, для нас обеих эта река преображалась и оживала. Мы наблюдали за проплывающими по ней галерами и триремами, видели людей, которые выгружали вино и оливковое масло. Мы осматривали партию сандалий для легионеров, выгруженную на причалы неподалеку от Биллингсгейта. Позади нас лежал не сегодняшний Лондон, а украшенный красной черепицей город, который стоял здесь примерно две тысячи лет назад. Этот Лондон имел прямоугольную планировку. Через центральную часть этого прямоугольника протекал широкий Уолбрук, на противоположных берегах которого возвышались два холма. На одном из них стоял форум, а на другом... впрочем, другой холм не получил пока даже имени.

## 6

Стоя на ступенях Королевской биржи, я наблюдал за потоком подъезжавших к банку омнибусов и пытался, как часто бывало, мысленно увидеть момент рождения Лондона.

В те годы, когда я увлекался коллекционированием монет, на лондонских аукционах еще можно было приобрести золотую монету, отчеканенную императором Клавдием в 44 году н. э., дабы ознаменовать включение Британии в границы Римской империи. На монете была изображена голова императора и триумфальная арка, над которой красовалась надпись «De Britt.». Мне всегда очень нравилась эта монета. Когда я к ней прикасался, мне казалось, что я прикасаюсь к истокам нашей истории.

Причины вторжения римлян в Британию вполне очевидны. Не подчинив этот маленький остров недалеко от берегов Галлии, они не могли считать завершённым покорение самой друидической Галлии. Ведь недовольным галлам не составляло труда укрыться в Британии, а из священных рощ острова Англси возмутители спокойствия могли преспокойно проникать на континент. Для вторжения имелись также экономические и даже личные мотивы — известно, что Клавдий хотел утвердиться в Риме, добившись военного триумфа и тем самым завоевав признание римского народа.

В качестве экспедиционных сил он выбрал три рейнских легиона: Второй легион Августа из Страсбурга, Четырнадцатый легион Геминуса из Майнца и Двадцатый легион Валерия Виктрикса из Кельна, а из дунайской провинции Паннония вдобавок отозвал Девятый легион Гиспана. Вероятно, общая численность этих сил вместе со вспомогательными отрядами составляла около сорока тысяч человек. Когда войска узнали, что им предстоит отправиться в Британию, легионеры взбунтовались — их страшил поход за пределы известного мира. Но воинов удалось успокоить. Начать вторжение планировалось осенью 43 года н. э.

Поскольку распятие Иисуса Христа произошло между 29 и 33 годами н. э., вторжение Клавдия в Британию и основание Лондона имели место примерно десять лет спустя после событий, описанных в Евангелиях. Как это ни странно, стоя у Английского банка и наблюдая за потоком омнибусов, я поймал себя на мысли, что некоторые из римских легионеров, отмечавших колышками первые границы Лондона, могли служить вместе с легионерами Двенадцатого легиона в Иерусалиме. Может быть, они даже стояли в оцеплении вокруг Распятия.

Возникновение Лондона относится ко времени святого Павла, который только начинал свою миссионерскую деятельность, когда был основан этот маленький пограничный пост и порт на рубежах Римской империи. Святой Петр был еще жив, как и, скорее всего, Пилат. Хотя славный век Августа, период великого расцвета римской литературы, уже миновал, находились старики, помнившие Вергилия и Горация, а люди не столь преклонного возраста вспоминали Овидия, Тита Ливия и Страбона. В год вторжения в Британию отправился в изгнание Сенека.

В соответствии с инструкциями, которыми император снабдил своего полководца, тому надлежало заставить бриттов принять бой, но не вступать с ними в решающую битву. Вместо этого следовало отправить в Рим донесение, получив которое Клавдий сам поспешит в Британию, чтобы лично присутствовать при сражении и таким образом получить право стать триумфатором. Операция осуществлялась по плану. Легионы дважды вступали в бой, один раз у Медуэя, а второй — у Темзы, неподалеку от брода Лин-дин, местонахождение которого неизвестно. После этого гонцы помчались по дорогам Европы, чтобы призвать императора в Британию. И Клавдий не замедлил прибыть. Судя по всему, английская земля впервые увидела столь пышную церемонию. Императора сопровождали преторианская когорта, фаланга боевых слонов и великолепно свита. Вся эта блестящая кавалькада морем отправилась в Марсель, затем пересекла Францию, по суше и по рекам, и через три месяца прибыла в Булонь. Высадившись в Британии, император и его роскошная свита двинулись на север через Кент и соединились с главными силами неподалеку от Колчестера, столицы варварского царька Каратака. Дело было в шляпе, как выразились бы военные более поздних эпох, и императору оставалось лишь отдать приказ о наступлении.

Легионы вступили в битву и сражались столь решительно, что римлянам подчинились все племена юго-восточной Британии, а племена Эссекса и Сассекса присягнули на верность императору, чтобы охранить свои земли от пожаров и грабежей. Считается, что Клавдий провел в Британии всего лишь шестнадцать дней, по истечении которых он с преторианской гвардией и слонами поспешил в Рим, чтобы насладиться триумфом, который так себе хитроумно подготовил.

Крайне интересно было бы узнать, как именно провел Клавдий те шестнадцать дней, в течение которых он оставался в Британии. Так и видишь, как он, в непривычном для Британии той эпохи золоченом нагруднике римского полководца, осматривает место, где впоследствии вырастет Лондон. Как он задает вежливые вопросы, подобающие царственной персоне, и как офицеры его штаба разворачивают планы первых улиц Лондона, поясняя, что форум должен стоять на холме напротив и что гавань будет там, где срубают ивняк. Весьма заманчиво вообразить, как переходят Темзу вброд боевые слоны с погонщиками-индусами, сидящими в сплетенных из прутьев башенках на спинах животных. А ведь это были первые слоны, которых увидели в этой стране! И наконец, есть все основания полагать, что прославленные воины, сопровождавшие императора, просто не могли не отпраздновать победу пирушкой.

Это допущение ничуть не противоречит исторической истине — ведь Клавдий был известным гурманом, а появление императора в Британии совпало по времени с началом сезона сбора грибов и устриц. А если так, то пирушку наверняка организовали внутри оборонительного периметра, то есть там, где вскоре появился Лондон. С каким удивлением, должно быть, смотрел какой-нибудь местный рыбак или бродивший по заболоченным берегам Темзы охотник на императорский

шатер и развевавшиеся вокруг штандарты легионов! Он и не подозревал, что наступит день и здесь появится великий собор, посвященный человеку, бродящему по дорогам Малой Азии и проповедующему учение Иисуса Христа. Мы не можем сказать точно, где именно был установлен императорский шатер — в Лондоне или в Колчестере, но нам доподлинно известно, что на пир были приглашены два гостя; обоим впоследствии суждено было облачиться в императорский пурпур. Один гость — командир Второго легиона Веспасиан, другой — его сын Тит.

Удивительное стечение обстоятельств, не правда ли? В тот день впервые соединились судьбы Британии и Святой Земли; почти тридцать лет спустя Тит будет вести войну в Иудее и осуществит пророчество Христа, который говорил, что Иерусалим падет от рук язычников. Именно Тит руководил осадой города; когда тот пал, император приказал снести стены Храма и превратил Иерусалим в руины.

Нам, знающим их последующую судьбу, несложно представить себе, как эти два будущих императора скачут по лугам и рощам Британии и одобрительно прислушиваются к визгу пил и стуку молотков, доносящимся с того самого места, откуда начался Лондон.

## 7

Лондон, иначе Лондиний, оставался римским городом почти четыреста лет. Этот промежуток времени столь же огромен, как и тот, который отделяет нас от эпохи королевы Елизаветы. На берегах Темзы появлялись на свет поколения римлян и романизированных бриттов. Накапливались семейные предания. Приблизительно каждые пятьдесят лет



старики непременно сообщали, что уже не узнают в этом городе Лондиний их юности. «Мальцом, помню, это был совсем другой город. Эх, Марк, вот когда я ухаживал за твоей матерью, можно было на пальцах сосчитать корабли в Биллингсгейте, а теперь посмотри-ка, сколько их! Лондиний становится слишком большим. Теперь молодежь лишена хороших манер. Лондонские девушки подурнели. Знаешь, Марк, в них нет ни изящества, ни женственности. А что до новых храмов... ну разумеется, никто теперь не умеет строить. Это развращенное искусство...»

Все это время в Лондоне не прекращалась будничная деятельность — погрузка и разгрузка судов. Приходившие в порт галеры и торговые суда из Галлии и Италии, помимо прочего, привозили рассказы об огромном и опасном мире, который лежал за морем.

Доведись нам узнать оставшуюся неизвестной историю этих четырех столетий, она, несомненно, произвела бы на нас огромное впечатление. Должно быть, в Лондиний прибывали тысячи гостей. В местных архивах наверняка хранились официальные документы, а секретари имперского «министерства иностранных дел» тщательно записывали подробности путешествий царственных особ. Увы, до наших дней не сохранилось ни единой строчки, которая передала бы нам впечатления человека, собственными глазами видевшего тот, самый первый Лондон, поведала бы о том, как выглядел этот город, какой была планировка его зданий и чем он жил.

Должно быть, Лондиний неоднократно перестраивался, но основные его черты не подвергались изменениям. Считается, что такими сооружениями были деревянный мост через Темзу, неподалеку от того места, где теперь находится Лондонский мост, мощная стена, которая опоясывала город и время постройки которой нам неизвестно, гавань, находившаяся там, где ныне

расположен лондонский порт, и сердце римского Лондона — форум, развалины которого обнаружены примерно в двадцати футах под Лиденхолл-маркет. В городе имелись общественные бани, арены и амфитеатры, но никто не знает, где именно они находились.

Лондон всегда был торговым городом, и потому в нем изначально существовало множество постоянных дворов и гостиниц. Помню, когда несколько лет назад я побывал в Геркулануме, там велись раскопки гостиницы, лежавшей под слоем вулканического пепла. Это здание с балконом стояло на главной улице города. Многие лондонские гостиницы римской эпохи несомненно были похожи на это здание. Постояльцы выходили на балконы и любовались улицами, которые порой были заполнены странного вида людьми, прибывшими с отдаленных границ Империи — ведь области, прилегавшие к Римскому валу, который отделял Британию от пиктов и скоттов, были населены представителями самых разных племен. Вероятно, через Лондон на север шли римские войска с их непривычного вида снаряжением, и лондонцы того времени воочию наблюдали наружность, вооружение и повадки самых экзотических подразделений имперской армии. Они видели батавию и тунгров, галлов и конных скифских лучников, испанцев и фракийцев, далматинцев и астурийцев, хамитских лучников и балеарских пращников — все в диких национальных одеяниях, как и похожие на варваров кавалеристы, и прислуга метательных машин, что волокла на север огромные катапульты, стрелявшие камнями на сотни ярдов.

Все эти непривычного вида люди прибывали в Британию со своими верованиями и своими богами. Неизвестно, сколько было храмов в Лондини, но мы точно знаем, что в нем имелся храм египетской богини Исида. Столетия назад кто-то нацарапал на стоявшей

рядом с храмом Исиды амфоре три слова: «ad fanem Isidis». Впоследствии эта амфора была найдена в районе Саутуорка и теперь выставлена в Лондонском музее. В голове не укладывается, что здесь, в Саутуорке, некогда раскачивались в трансе египетские жрицы, а группа слугителей божества вроде той, что описана Апулеем в «Золотом осле», бродила по улицам Лондона в поисках желающих разделить их веру и приглашала лондонцев принять участие в своих таинственных обрядах.

Считается, что до того, как Лондон принял христианство, доминирующей в городе религией был культ богини охоты Дианы. Некогда широко бытовало мнение, что храм Дианы стоял на месте собора Святого Павла. В качестве доказательства часто приводят сообщение Кэмдена о странной церемонии, которая проводилась в соборе Святого Павла в древние времена. Голову оленя водружали на острие копья и под звуки горнов проносили вокруг церкви, а затем вручали священникам, одеяния которые украшали гирлянды цветов.

В римском Лондоне несомненно было много красивых зданий; наверное, особенно много их было на берегах Уолбрука, вода которого питала фонтаны атриумов. В одном из таких домов, руины которого были обнаружены в Баклерсберри, имелась выходившая на реку небольшая веранда. Стоя неподалеку от Английского банка, трудно мысленно перенестись в то время, когда отсюда открывался красивый вид на реку, с ее заросшими ивой и ольхой берегами, на которых стояли квадратные дома с красночерепичными крышами.

В примыкавших к этим домам садах росли цветы и фруктовые деревья.

Под нынешним Лондоном, на глубине от пятнадцати до двадцати футов, находят прекрасные мозаичные полы. Под этими полами находились камеры с горячим

воздухом, который нагревался с помощью дровяных печей. По выходявшим из этих камер воздуховодам потоки горячего воздуха равномерно распределялись по комнатам. Так что зимой жители римского Лондиния наслаждались теплом.

Однако наиболее значительным памятником, оставшимся от четырех столетий римского правления, является Лондонская стена, значение которой невозможно переоценить. Она огораживала территорию площадью в квадратную милю. Это мощное сооружение с воротами, бастionsами, зубцами и башнями уцелело по сей день, как над поверхностью земли, так и под ней. Фундамент Лондонской стены (точнее, городской стены Лондиния) настолько основателен, что археологам и строителям, когда возникает необходимость разобрать ее фрагмент, приходится пользоваться специальными приспособлениями. Образно говоря, эта римская стена на века «заморозила» размеры Лондона и навсегда установила границы той территории площадью в квадратную милю, которая ныне зовется лондонским Сити.

Хотя Лондонская стена ремонтировалась и укреплялась, ее местоположение никогда не менялось, и она остается на том же месте, где ее когда-то возвели римляне. Вплоть до эпохи правления королевы Елизаветы каждый приближавшийся к Лондону путешественник видел город, окруженный стеной. Шесть ворот этой стены (Олдгейт, Бишопсгейт, Мургейт, Крипплгейт, Олдерсгейт и Ладгейт) закрывались на ночь, и только в годы правления Георга III они стали мешать движению городского транспорта. В связи с этим их демонтировали и продали. Тем не менее их имена сохранились до сегодняшнего дня, но только в виде названий остановок, указанных на маршрутных табличках омнибусов, которые колесят по всему городу. Таким образом, Сити — квадратная миля, которую около

двух тысяч лет назад римляне обнесли стеной. Это зародыш, из которого выросло грандиозное образование, получившее название Лондонского графства, а затем развилась еще более обширная структура — Большой Лондон. Сегодня крохотный Сити окружает невидимая стена, строительство которой в свое время потребовало невероятного количества кирпичей и раствора.

«Квадратная миля» является уникальным пережитком. В Англии нет другого такого места, которое имело бы столь явное сходство с городом-государством античности. Она управляется не советом Лондонского графства, а главой собственного муниципалитета — лордом-мэром Лондона, «королем Квадратной мили». Структура его государства повторяет структуру средневекового баронства. Функции правительства в Сити осуществляет совет общин, который собирается в Гилдхолле. Полиция Сити — независимая организация. Ее сотрудники носят шлемы, слегка отличающиеся от шлемов прочих лондонских полисменов, к тому же на рукавах у них красные, а не синие нашивки. Формально обычный лондонский полисмен не имеет права производить арест в пределах Сити, то же самое относится и к полисмену Сити, оказавшемуся за пределами своей территории. Но мне кажется, что такого рода вопросы решаются по взаимной договоренности. Подобными методами старинный Сити пытается сохранить собственное достоинство и независимость.

Возможно, одной из наиболее значительных традиций, которые можно рассматривать как отражение былого могущества Лондона, является древний обычай, согласно которому король, прежде чем посетить Сити, должен остановиться у границы и попросить у лорда-мэра разрешения войти на подвластную последнему территорию. На самом деле смысл этой церемонии

закljučается в следующем. Каждый раз, когда монарх направляется в Сити, его карету или автомобиль останавливают у Темпл-Бара, где проходит западная граница Сити и где монарха ожидают лорд-мэр с шерифами, оруженосцем и жезлоносцем, а также маршалом Сити. Лорд-мэр выходит вперед и протягивает королю свой меч — меч Сити. Прикоснувшись к мечу, монарх возвращает оружие лорду-мэру, после чего его экипаж въезжает в Сити. Эта короткая церемония, несомненно, демонстрирует покорность Сити и одновременно — самостоятельность городского центра. В старину перед королем открывались ворота, которые теперь уже не существуют. Эта церемония выглядела более естественно, когда еще стоял Темпл-Бар. Тогда ворота перед приездом монарха запирались, королевский герольд стучал в них и просил разрешения войти.

Этот странный обычай хорошо иллюстрирует статус Лондона, который признавался всеми английскими королями, начиная с Вильгельма Завоевателя, за исключением Карла I. Многие из обрушившихся на этого правителя несчастий объясняются тем, что он никогда не понимал характера Сити. Статус Сити был настолько заметным явлением, что такой писатель, как Лоуренс Гомм, даже выдвинул теорию, согласно которой муниципальные привилегии и традиции берут начало в римском Лондоне. Когда после ухода легионов Англия погрузилась в эпоху «темных веков» и стала добычей пиратствовавших данов и саксов, в стенах Лондона по-прежнему существовало романизированное сообщество, которое ревностно хранило традиции главного города имперской провинции. У этой точки зрения есть множество оппонентов, которые считают, что в период с 410 года н. э., когда легионы покинули Британию, и по 886 год, когда Лондон упоминается в хрониках уже как город саксов, он представлял собой безлюдное,

покинутое жителями место и все связи Лондона с Римом были разорваны.

Однако не вызывает никаких сомнений тот факт, что планировка и размеры лондонского Сити полностью соответствуют римским стандартам. Впрочем, теперь уже не увидишь тот Сити, который некогда возвышался на Ладгейт-Хилл и был окружен городской стеной. Однако, как упоминалось выше, эта стена сохранилась. Чтобы рассмотреть руины этого некогда могучего кольца, нужно спуститься в подвал какого-нибудь склада или посетить такие места, как Олл-Хеллоус-он-зе-Уолл, церковь Сент-Джайлс или Крипплгейт, где величественную реликвию римской эпохи можно наблюдать при свете дня.

## 8

В Лондоне есть по меньшей мере четыре архитектурных ансамбля, узнаваемых в любом уголке мира. Один из них — комплекс зданий в составе Английского банка, Королевской биржи и дома лорда-мэра. Остальные — это, во-первых, Трафальгарская площадь, Национальная галерея и церковь Святого Мартина-в-полях; во-вторых, Вестминстерское аббатство и здание парламента; наконец, в-третьих, Тауэрский мост и сам Тауэр.

Когда я поднялся по ступеням на крыльцо Королевской биржи, сторож как раз отпирал двери, и я впервые за много лет вошел в это ныне пустующее здание. Должно быть, многие из приезжих, зная, что в Лондоне есть Королевская биржа, едут в Сити с мыслью, что с минуты на минуту увидят признаки грандиозной коммерческой деятельности: снующих повсюду брокеров, тайно совещающихся дельцов, суесящихся посыльных, услышат звон телефонов и дребезжание

телетайпов. Внушительный вид викторианского портика, величественно возвышающегося над потоком омнибусов, только усиливает их надежды. Но англичане странные люди. Здесь, в самом сердце великого Сити и на одном из самых дорогостоящих в мире участков земли, они тратят деньги на содержание огромного храма, в котором не заключается никаких сделок, если не считать обмена бутерброда с сыром на бутерброд с тушенкой, совершаемого парочкой приступивших к завтраку рассыльных.

Первая Королевская биржа, построенная во времена Елизаветы, представляла собой здание, на которое стоило посмотреть; то же самое можно сказать и о второй бирже, разорившейся в тревожном 1838 году, после того как по городу поползли слухи, что эта биржа никому не приносит удачи. Такие слухи оказали бы негативное влияние на любую биржу. Сегодня это здание представляет интерес постольку, поскольку на ней установлен «кузнечик» сэра Томаса Гришэма. Этот флюгер — реликвия, оставшаяся от елизаветинской биржи. Другой реликвией того здания считается турецкий точильный камень. Однако ничего более занимательного я так и не обнаружил.

Брокеры, которые раньше приходили сюда тысячами, теперь встречаются в других местах. Поэтому отпала столь насущная во времена Елизаветы необходимость в здании, где могли бы встречаться коммерсанты.

Некоторое количество туристов ежедневно посещает Королевскую биржу. Разочарованные, они апатично бродят по зданию, рассматривая исторические фрески, и при этом не могут отделаться от ощущения, что здесь скрыто нечто большее, чем им показывают. Я последовал за каким-то серьезного вида американцем в надежде услышать вопрос, который он раньше или позже задаст служителям. Он старательно разглядывал фрески — «Финикийцы ведут торг с древними



бриттами», «Альфред Великий восстанавливает стены Сити» и так далее, пока, наконец, не обнаружил рядом с собой одного из служителей.

— Скажите, что здесь происходит в наши дни? — спросил он вежливым шепотом.

— Ничего, сэр, — последовал быстрый, не допускающий сомнений ответ.

— Понятно, большое спасибо, — пробормотал американец и удалился.

Я уже упоминал о тех преобразованиях, которые, начиная с римской эпохи и Средних веков, претерпел участок местности, прилегающий к Английскому банку. Но и в более поздние времена этот участок подвергался не менее значительным изменениям. Так, на нем были возведены три знаменитых здания этого архитектурного ансамбля. В ходе строительства снесли рынок и две церкви. Во время возведения здания Королевской биржи была снесена церковь постройки Кристофера Рена, посвященная святому Бенету Финку. Мистер Финк, житель Лондона, некогда реконструировал церковь и в награду, по-видимому, был канонизирован! (Еще более странное название было у ныне не существующей церкви Святой Маргариты Моисея). Когда строилось здание Английского банка, пострадала церковь Святого Кристофера-ле-Стокса, а садик Гарден-корт, вид на который открывается из вестибюля банка, был тогда церковным кладбищем.

Английский банк представляется мне наиболее роскошным, выдержанным в имперских традициях зданием среди всех прочих центров коммерческой жизни Лондона. Не считаясь с расходами, сэр Герберт Бейкер, построивший комплекс *Union Buildings* в Претории, дворец Южной Африки и многие другие изящные здания во всем мире, успешно внес свои коррективы в здание Английского банка, не нарушив при этом антураж цокольного этажа, этого замечательного

творения сэра Джона Соуна, которое согласно архитектурной традиции не имеет окон. Сэру Герберту и его помощнику представилась хорошая возможность выказать любовь к символике. То там, то здесь чувствуется мягкий юмор, как, например, в случае со светильниками, выполненными в виде орлов, которые преследуют львов, — намек на разгоревшееся в ту пору соперничество между долларом и фунтом. В Лондоне много зданий с надписями на латыни, но Английский банк — единственное известное мне здание с надписями на греческом. На балке дверного проема, ведущего в кабинет управляющего, начертаны греческие слова, повторяющие известное предостережение над входом в афинскую академию Платона: «Оставь бесчестные помыслы, всяк сюда входящий». При проведении земляных работ сэр Герберт обнаружил глубоко под землей два фрагмента римских мозаичных полов, которые были восстановлены, поскольку, как он сам выразился, ему захотелось вернуть их к жизни и сделать так, чтобы после продолжавшегося пятнадцать столетий сна они снова почувствовали прикосновение подошв лондонцев.

Существуют десятки историй, связанных с Английским банком, и некоторые из них достойны упоминания. Одним из тех, кто в 1695 году основал банк и стал заместителем первого управляющего, был племянник сэра Эдмунда Берри Годфри, Майкл Годфри. В 1678 году тело его дяди было обнаружено на Примроуз-хилл. Сэр Эдмунд Годфри пал от собственного меча, рядом с ним лежали нетронутыми деньги и драгоценности. Тайну его гибели так и не раскрыли. В то время Вильгельм III вел войну в Голландии; Майкл Годфри был отправлен ближе к фронту, дабы открыть отделение банка, которое должно было производить выплаты британской армии. Прибыв в осажденный Намюр, Годфри получил приглашение отобедать с

королем. После трапезы он сопровождал монарха, который отправился осматривать траншеи. Король предложил Годфри не рисковать жизнью, поскольку тот не является солдатом. В ответ на это предложение Годфри тонко заметил: «Не подвергаясь большему риску, чем ваше величество, позволительно ли мне будет проявлять большее беспокойство?» Король же ответил следующее: «Я вправе потребовать от вас большей осмотрительности и имею на то веские основания». Его слова тотчас нашли подтверждение, поскольку их беседу прервало пушечное ядро, поразившее Годфри.

Другой эпизод датируется примерно 1740 годом. Говорят, один из директоров банка приобрел ассигнацию достоинством в тридцать тысяч фунтов, что соответствовало стоимости поместья, которое он только что купил. По возвращении домой он был вынужден на минуту отлучиться из своего кабинета, ассигнация же осталась на каминной полке. Когда он вернулся, то обнаружил, что ассигнация исчезла, хотя в кабинет никто не входил. После тщательных, но безрезультатных поисков директор пришел к выводу, что бумага упала в огонь, и рассказал о случившемся другим директорам, которые выпустили вторую ассигнацию, ничуть не сомневаясь, что их коллега вернет первую, как только ее найдет. Спустя тридцать лет, когда наследники директора вступили во владение его поместьем, в Английский банк пришел человек и предъявил ассигнацию на сумму в тридцать тысяч фунтов, которая, как он утверждал, попала к нему из-за границы. Банк попытался доказать, что стоимость бумаги равна нулю и что она недействительна. Наследники директора отказались нести какую-либо ответственность. В конечном счете банку пришлось выплатить деньги и покрыть убытки. Вспоминая эту историю, невозможно избавиться от мысли, что сегодня

такое просто нереально! Спустя много лет выяснилось, что архитектор, который купил и снес дом директора, чтобы построить на его месте новый, нашел ассигнацию на сумму тридцать тысяч фунтов, застрявшую в щели дымохода.

Третья история касается бедняги Джорджа Морланда, художника, который, в очередной раз скрываясь от своих кредиторов, нашел убежище в одном из домов, расположенных в Хэрни. Своим скрытным поведением Морланд навлек на себя подозрения в фальшивомонетничестве. Английский банк отправил на его поиски двух агентов. Когда они через парадную дверь проникли в убежище Морланда, он, приняв их за судебных приставов, сбежал через черный ход. Миссис Морланд объяснила агентам, в чем дело, и показала некоторые из незаконченных работ мужа, агенты составили отчет и направили его директорам банка. Чтобы возместить беспокойство, которое по их вине испытал Морланд, директора послали ему два банковских билета стоимостью двадцать фунтов каждый. И здесь я снова должен заметить, что банкиры минувших лет, похоже, были намного гуманнее нынешних!

Ночью Английский банк, как и прежде, охраняют гвардейцы, которые каждый вечер приходят сюда либо из Веллингтонских казарм, либо из казарм в Челси. Этот пост был установлен в 1780 году, во время мятежа Гордона, когда считалось, что банк подвергается опасности. С тех пор охрану так и не сняли. Для несения дежурства солдаты получают паек, а офицеру, который получает в свое распоряжение анфиладу комнат, разрешено принимать к ужину одного гостя мужского пола. Прежде, надо сказать, разрешалось принимать двух гостей и брать три бутылки вина. Но воскресным вечером 1793 года эти два гостя разошлись так, что затеяли во дворе банка яростную ссору со своим

хозяином, завершившуюся рукоприкладством. Это подобие битвы единственный раз за сто семьдесят лет существования банковской стражи потревожило ее покой.

Третьим зданием архитектурного ансамбля является дом лорда-мэра, который стоит на том месте, где когда-то находился старый рынок Стокс-маркет, получивший свое названия благодаря столбам (stocks), которые возвышались над водами Уолбрука. Первоначально на этом рынке торговали мясом и рыбой. Позднее Стокс-маркет превратился в овощной и цветочный рынок. В тот период его называли рынком душистых товаров.

В течение срока своего правления (год) лорд-мэр живет в этой резиденции, которая, как и дворец дождей в Венеции, выполняет функции дома, суда и тюрьмы. Одно время у меня вошло в привычку бродить по вечернему Лондону. Я частенько останавливался напротив дома лорда-мэра, в окнах которого горел свет — единственный признак жизни в районе, который днем превращался в одно из самых насыщенных деловой активностью мест города. Других резиденций, кроме дома лорда-мэра, в Сити нет. И хотя судебные приставы и олдермены могут ночевать в Бромли или Летерхеде (или вообще где пожелают), лорд-мэр Лондона должен в течение всего года пребывания на посту ночевать в «утробе» своего пустеющего по ночам королевства.

Прогуливаясь вечером по улицам Сити и останавливаясь, чтобы обменяться парой слов с полисменом, сторожем или бродячим котом, я часто задумывался о том, сколь противоестествен тот факт, что место, которое столетия тому назад представляло собой наиболее плотно заселенную в Англии квадратную милю, теперь с приходом ночи становится самым пустынным.

Чипсайд — та улица, послевоенная судьба которой вызывает во мне чувство горького сожаления.

Мне всегда казалось, что она в большей степени, нежели любая другая лондонская улица, обладает неистребимым средневековым колоритом. Она, вне всяких сомнений, была главной улицей Сити. Толпы клерков и машинисток заполняли ее тротуары, когда в обеденный перерыв выходили из офисов, чтобы сделать покупки и поглазеть на витрины. В Лондоне настолько сильны традиции, что даже сегодня, хотя Чипсайд серьезно пострадала от взрывов и пожаров, в результате которых многие магазины исчезли, а в тех, которые остались, не так уж много можно купить, — даже сегодня по-прежнему живет традиция довоенного Лондона прогуливаться по Чипсайд в обеденный перерыв.

Это была торговая улица старого Лондона. Если у Английского банка видишь перед собой мысленным взором образы римлян, то, прогуливаясь по Чипсайд, представляешь себе лондонцев Средневековья и эпохи царствования Елизаветы. Это одна из немногих улиц Лондона, которые сегодня стали уже, нежели раньше. В старину Чипсайд, должно быть, напоминала улицы знаменитых фламандских торговых городов, таких как Брюгге или Гент. В те времена она была вдвое шире и на ней стояли выкрашенные в черный и белый цвет пятиэтажные деревянные дома. Каждый последующий этаж выступал над нижним, что придавало домам сходство с галеонами. В течение столетий в районе Чипсайд возникли Пиккадилли, Бонд-стрит и Оксфорд-стрит, а из ее лавок и мастерских выросли могучие торговые гильдии Лондона. Вплоть до пятнадцатого столетия северная сторона Чипсайд становилась местом

проведения турниров, а на южной стороне возводились подмостки, откуда король, королева и придворные наблюдали за рыцарскими поединками. По Чипсайд проходили все знаменитые процессии — к примеру, шествие будущего монарха из Тауэра в Вестминстер на коронацию. По ней проезжали иностранные короли и послы, вернувшиеся на родину герои, как Черный принц, который после победы при Пуатье проскакал по Чипсайд в помятых в сражении латах. Его приветствовали толпы народа, а лондонские купцы и их домочадцы в одеждах, расшитых золотом и серебром и увитых гирляндами свежих весенних цветов, высывались из окон, украшенных гобеленами.

Здесь было самое людное место в Лондоне, и поэтому именно здесь наказывали преступников и был установлен позорный столб. Булочника, испекшего плохой хлеб, приговаривали к «провозу на телеге от Гилдхолла через центр Чипсайда, где самые грязные улицы. К его шее надлежит подвесить мерзкий каравай». Скверно изготовленные товары и «другие некачественные и фальшивые предметы потребления» публично сжигались на Чипсайд.

Характерной приметой района был Чипсайдский крест, который стоял посреди дороги и был обращен в сторону Вуд-стрит. Это предпоследний (последним был Чарингский) из двенадцати крестов, воздвигнутых Эдуардом I в знак скорби по своей супруге Элеоноре в тех местах, где останавливался на ночлег траурный кортеж, перевозивший тело королевы из городка Хэнби в Линкольншире, где она умерла, в Вестминстерское аббатство. Большой источник Чипсайд находился в самом центре района, неподалеку от Полтри-стрит, а Малый источник располагался со стороны Фостер-лейн. По большим праздникам воду перекрывали и вместо нее подавали вино.

Как и во всех европейских городах, рынок Чипсайд находился посреди проезжей части. Именно он был пращуром торговых улиц современного Лондона. Возможно, его современным эквивалентом является Петтикоут-лейн в том виде, в каком она бывает воскресными утрами.

Гордостью района Чипсайд была улица Голдсмит-роу. С эпохи раннего Средневековья и вплоть до правления Карла I предпринимались неоднократные попытки загнать всех ювелиров на эту улицу. Зимой 1563 года один писатель назвал ее «лондонской красавицей», а спустя всего лишь шестьдесят лет другой писатель сокрушался по поводу нашествия «жалких торгашей», которые наводнили Голдсмит-роу. Этими «торгашами» были модистки, торговцы полотном и книготорговцы.

Какие сентиментальные чувства вызывает лондонская церковь Святой Марии-ле-Боу, которая теперь, увы, являет собой голый остов без крыши! Хотя ее знаменитые колокола исчезли<sup>[2]</sup>, но шпиль сохранился. К счастью, сохранился и норманнский склеп, самая интересная деталь этой церкви. Я полагаю, что эта церковь является предметом гордости всех лондонцев, включая даже тех, кто никогда в ней не был, и соперничать с ней в привязанности горожан способен только собор Святого Павла. Похоже, что любовь, с которой горожане относились к звону ее колоколов, лежит в основе старой пословицы: истинным кокни может считаться лишь тот, кто родился под звон этих колоколов.

Интересно, многие ли лондонцы сумеют объяснить происхождение слова «кокни»? На самом деле оно означает «сопляк» или «маменькин сынок» и в давние времена отнюдь не было комплиментом, напротив, его использовали, когда хотели посмеяться над человеком. В основе этого слова лежит устаревший глагол to cocker,



что означает «ласкать», «баловать», «потворствовать». Следовательно, кокни — лондонец, которого «избаловали» или вырастили в таких тепличных условиях, что он оказался ни на что не годен. Поэтому в шестнадцатом и семнадцатом столетиях лондонцы, которые, как считалось, выделялись среди прочих англичан своими «столичными повадками», стали объектом постоянных подшучиваний, отнюдь не всегда беззлобных. В наши дни слово «кокни», разумеется, напрочь лишено былой остроты.

Что касается района Чипсайд, то лично для меня стало тяжелой утратой исчезновение «дежурной» рыбной таверны Симпсона, которая находилась в замечательной тихой заводи Берд-ин-Хенд-корт. После немецких бомбардировок от нее остались лишь отвратительного вида груды кирпича. Я уверен, она была последней настоящей таверной в Лондоне. Словосочетание «дежурный врач его величества» (*physician in ordinary to His Majesty*) употребляется в отношении практикующего врача, а «дежурный посол» (*an Ambassador in ordinary*) — в отношении наделенного полномочиями дипломата, который живет и работает за рубежом. Я привел два примера использования слова, которое наши предки употребляли, чтобы описать любое явление постоянного свойства. В старину большинство лондонских таверн специализировалось на приготовлении «дежурных блюд», которые были каждому по карману. В эпоху королевы Анны мы столкнулись бы с выражением *Twopenny Ordinary*, которое означало набор повседневных блюд, или, как мы сказали бы сегодня, *table d' hote*.

Даже перед последней войной я считал, что набор рыбных блюд стоимостью в два шиллинга, который подавали в таверне Симпсона, является самой дешевой едой в Лондоне. Мне частенько хотелось выяснить, за счет чего эта таверна продолжает существовать. К

слову, тут я должен заметить, что былые времена отличались изяществом манер. Не соглашаясь со многими из тех, кто утверждает, что мы стали слишком лаконичными и грубыми, я ничуть не сомневаюсь в том, что мы утратили изящество хороших манер. Те из нас, кто до сих пор носит шляпы, еще могут приподнять их в знак приветствия, но уже никто не умеет отдавать поклоны.

Современная вежливость не идет ни в какое сравнение с изяществом эпохи хороших манер. Именно оно создавало теплую, дружелюбную атмосферу в маленьком помещении верхнего этажа Берд-ин-Хенд-корт, где каждую пятницу собирались обитатели Сити и приезжие, чтобы заказать рыбный обед и угадать вес головки чеширского сыра. Стоило точно определить этот вес, как всей компании подавали шампанское. И уж тогда точно плакали доходы от продажи рыбных блюд! Сам я никогда не видел, чтобы кто-нибудь угадал вес сыра, но все-таки это случалось довольно часто, поскольку на одной из стен таверны висели заключенные в рамки сертификаты, каждый из которых свидетельствовал о победе того или иного счастливчика.

Там был длинный стол, во главе которого стояли три стула. Каждый из них напоминал трон. Один стул предназначался для «председателя», а два других — для самых именитых гостей. Около часа дня в таверну входил пожилой джентльмен с седой эспаньолкой, которому, как поговаривали, было около восьмидесяти лет. В руках он держал цилиндр. Представившись тем, кто не был с ним знаком, «председателем», этот джентльмен получал от старшего официанта черный фартук и усаживался во главе стола.

Он обменивался любезностями с собравшимися, а затем начинал разливать по тарелкам суп. Я хорошо помню, что в мой последний визит нам подали заливных угрей, потом жареную камбалу и *sause tartare*, а также

фруктовый пудинг. Кстати, я помню также, что «председатель» был в отличной форме и, когда тарелки с пудингом были вычищены до последней крошки, выступил с небольшой речью и рассказал нам пару занимательных историй.

Перед ним стояла деревянная кафедра, которая, как мне кажется, была вырезана из дубовых досок нельсоновского корабля «Виктори». На эту кафедру два официанта водрузили головку чеширского сыра. Каждому из гостей вручили по ломтику и по листку бумаги, на котором предлагалось указать высоту, объем и вес сыра.

Одному из нас удалось правильно определить высоту и объем, но он не сумел угадать вес, и «председатель» бодро распорядился положить шампанское в лед. Этим все и закончилось. Мы расхохотались, пожали друг другу руки и, покинув заведение, отправились на улицы Лондона, преисполненные доброго расположения духа и чувства собственной значимости.

Когда я впервые увидел развалины на месте когда-то столь привлекательного дворика, у меня возникло странное чувство недоверия. Неужели еще совсем недавно здесь царила атмосфера доброжелательности и неужели сам я был ее частью? Почти как призраки мы бродим по местам, которые некогда были нам столь хорошо знакомы...

Выйдя на Кинг-стрит, я двинулся в направлении Гилдхолла, повернувшегося ко мне парадным фасадом. Помню, я частенько показывал друзьям черные отметины на колоннах — следы Большого пожара. Меня поразили опрятный вид здания, особенно когда я вспомнил канун нового, 1941 года, когда это здание еще дымилось после бомбежки. В то хмурое утро мне казалось, что оно исчезло навсегда. Тогда я вел

дневник, в котором есть следующая запись, сделанная 1 января 1941 года:

«В Чипсайте я увидел, что большинство оцепленных полицией улиц представляют собой жуткие вереницы разрушенных зданий — без крыш и с пустыми глазницами окон. В лужах на проезжей части лежат груды камней. Над входом в Гилдхолл я заметил «Юнион Джек», весь изрешеченный и похожий на сито. Повсюду снуют пожарные — их машины можно увидеть в самых невероятных местах. Мне захотелось узнать, насколько сильно пострадала библиотека; чтобы это выяснить, я свернул за угол и вышел на Бейсингхолл-стрит. Я уже намеревался войти в полуоткрытую дверь, когда дорогу мне преградил человек в покрытом пылью плаще. Его лицо было черным, как у трубочиста. Он раздраженно осведомился, кто я такой. Я объяснил, что являюсь другом библиотекаря и что хотел лишь узнать, насколько серьезно пострадало здание.

— Я и есть библиотекарь, — сказал он.

Только тогда я узнал под слоем сажи и грязи лицо своего старого друга Дж. Л. Даутуэйта, который в тот же самый миг узнал меня. Он был смущен, но вскоре на его лице появилась усталая улыбка.

— Пройдите внутрь, Мортон, и взгляните, — сказал он, подталкивая меня к двери.

Мы поднялись в библиотеку, где я так часто видел самых блистательных людей своего времени. Два отдела, которые находились в самом конце помещения, исчезли вместе с хранившимися в них книгами. Картина разрушений была настолько чудовищной, что у

меня перехватило дыхание. Находившийся всего в нескольких ярдах от этого жуткого месива кабинет Даутуэйта совершенно не пострадал. На каминной полке все еще стояли ряды рождественских открыток.

Спустившись к рухнувшей балке, мы подошли к огромной куче книг, которая напоминала пепелище погребального костра. Некоторые все еще тлели, и над кучей поднимался легкий дымок. От жара маленькие, красочно иллюстрированные страницы старинных книг скручивались, их уже нельзя было прочитать. То там, то здесь из кучи выступали кожаные переплеты книг восемнадцатого столетия.

— Это часть той работы, которой я посвятил всю свою жизнь, — сказал Даутуэйт. — Я собирал книгу за книгой, именно так появилась основная часть этой студенческой библиотеки. То, что погибло, никогда не возместить. Это ужасно. Картинная галерея по соседству не пострадала, но там ничего и не было! А здесь все пропало безвозвратно...

Он добавил, что особо ценные фолианты успели вывезти, однако, по его мнению, погибшие тома студенческой библиотеки представляли собой неизмеримо большую ценность.

Затем мы отправились к руинам Гилдхолла. Что за картину я увидел! Огромные черные балки, которые поддерживали крышу, обгорели и рухнули и теперь громоздились на бесформенных грудах кирпича. Стоявшие вдоль стен статуи выглядели весьма непривычно, так как оконные проемы лишились своих витражей и на статуи падал обычный дневной свет. Сами

статуи тоже пострадали. У многих были отколоты фрагменты, некоторые буквально потеряли головы. У наших ног лежала рука статуи, которая, насколько я понял, олицетворяла несчастье. Каждое из больших окон превратилось в отделанное лепниной решето, сквозь которое проникал серый свет новогоднего дня. Уцелела, хотя и сильно обгорела, перегородка, стоявшая в том конце зала, где находится Галерея менестрелей.

— Гога и Магога больше нет, — сказал Даутуэйт. — От них ничего не осталось. Это я виноват, что их здесь оставили. Знаете, я никак не мог смириться с мыслью, что статуи-великаны, которые так долго охраняли Гилдхолл, вдруг уйдут и оставят здание без защиты. Я был неправ.

Он снова оглядел руины.

— Этот пожар причинил Гилдхоллу такой же ущерб, как пожар 1666 года, — заметил он. — Уцелели только склеп, подъезд и стены. Грубо говоря, это все, что осталось. Между нами: кроме Гога и Магога, а также Палаты олдерменов, в Гилдхолле не было ничего, о чем стоило бы сожалеть. Некоторые считают витражи и резьбу средневековыми, но все это изготовили во времена королевы Виктории. Вот книги — это настоящая трагедия. Нельзя было такого допускать. Огонь вспыхнул в церкви Сент-Лоуренс Джури и перекинулся на Гилдхолл. Если бы за церковью как следует присматривали, хватило бы ведра воды, чтобы потушить пламя.

Мы распрощались, и я пошел прочь. Теперь я находился внутри полицейского оцепления и мог идти куда хотел. Я направился к руинам Гришэм-стрит. Зрелище, представшее моим глазам,

напоминало Ипр или Аррас времен Первой мировой войны. Это было ужасно. Каждая из начинавшихся отсюда улиц представляла собой мертвое пространство. Олдермэнбери выгорела полностью. От зданий, которые не рухнули, остались только кирпичные фасады. Отсутствуют малейшие признаки жизни. Осматривая пустынные вестибюли и доверху заваленные мусором помещения, я увидел покосившиеся каменные колонны и металлические опоры. Повсюду царит жуткий беспорядок. Не могу указать точные масштабы этого бедствия, но мне кажется, что такая картина повсюду. От прежних изящных зданий остались одни воспоминания. Увидев почерневший остов, невозможно догадаться, что раньше в нем находился банк или, скажем, кафе. Пожар сделал все дома абсолютно одинаковыми.

У магазина учебных товаров я увидел длинную очередь из хорошо одетых мужчин и женщин. Мне объяснили, что эти люди работают в Сити и встали в очередь, чтобы получить у полиции разрешение покинуть оцепленный район. На глаза навернулись слезы. А что увидят эти люди, выйдя за кордон? Новые разрушения? Новые следы пожарниц? На что они будут жить? Кто оплатит их расходы? Как они станут платить своим работникам?

Через огромную дыру в стене я пробрался в развалины одного здания и обнаружил там человека, который прохаживался среди груд щебня. На голове у него был котелок, а в руке он держал зонт. С ошеломившей меня невозмутимостью он сообщил, что пришел посмотреть, как обстоят дела в его офисе, а

сейчас пытается выяснить, не лежит ли под щебнем сейф.

Хотя пожары бушевали уже четвертый день, повсюду на этих улицах можно увидеть пожарников, которые снуют от здания к зданию с баграми и шлангами».

Это место до сих пор в руинах, поскольку сегодняшним лондонцам, как и их пережившим Большой пожар предкам, нежелание создавать себе лишние трудности мешает восстановить город.

## **10**

Милк-стрит — маленький переулок, ведущий в самое многолюдное место Сити. Его под прямым углом пересекает Гришэм-стрит, а впереди находится Олдермэнбери. Я помню те времена, когда расположенные в этой части Лондона улицы и переулки были заполнены легковыми машинами, фургонами и грузовиками, а по тротуарам спешили по своим делам массы людей. В самых укромных уголках этого района можно было обнаружить множество принадлежавших ремесленным гильдиям зданий с великолепными интерьерами, отделанными красным деревом. Некоторые из них были построены еще в Средние века. В этих зданиях главы и старейшины гильдий периодически устраивали роскошные обеды.

Дойдя до конца Милк-стрит, я бросил взгляд в сторону Мурфилдс. Повсюду царило такое опустошение, что впоследствии это ужасное видение вставало у меня перед глазами всякий раз, когда я слышал словосочетание «воздушная война». В Лондоне немало других столь же сильно пострадавших мест, но опустошения, которым подверглась эта часть города,



всегда будут казаться мне наиболее ужасными. Были разрушены до основания и выгорели дотла тысячи зданий.

То там, то здесь над горами камней мрачно вздымались одинокие уцелевшие стены. Оставшиеся от домов подворотни одиноко стояли среди поросших кустарником развалин. Словно надгробия на заброшенном кладбище, угрюмо возвышались колокольни и шпили нескольких церквей.

Так и хотелось сравнить эту часть подвергшегося бомбардировкам Лондона с Помпеями или Геркуланумом. Да, все руины на свете безусловно похожи друг на друга, но развалины древних Греции и Рима можно изучать, не испытывая никаких эмоций, — слишком далеки от нас жившие там люди. Захватив с собой блокнот, фотоаппарат или коробку с завтраком, мы с удовольствием бродим по этим развалинам, занимаясь любительскими археологическими изысканиями. Но я не смог бы предаваться этому занятию на Гришэм-стрит и Олдермэнбери. Развалины Лондона, как и развалины Берлина, приводят меня в неопишемую ярость.

Городские власти оградил эти развалины аккуратными кирпичными стенами. Время от времени наталкиваешься на указатели, которые сообщают, что когда-то на этом месте стояла какая-нибудь таверна или всем известное здание. Иногда сообщается также, что здесь размещалась какая-нибудь фирма. Если бы не указатели, прибитые к деревянным доскам или иными способами укрепленные на ограде, многие, наверное, забыли бы названия улиц, хорошо известные со времен Средневековья, а молодое поколение и вовсе не узнало бы о них.

Я бродил по пустырю, разглядывая бесконечную череду залитых солнцем подвалов — напоминаний об уже не существующих зданиях. До сих пор живы тысячи

людей, трудившихся в домах, которые некогда возвышались над этими подвалами. Они приезжали сюда ранним утром, поднимались по лестницам или на лифте, снимали с крючков рабочую одежду, просматривали поступившую почту, звонили по телефону, шутили, страдали от неразделенной любви или материальных лишений, добивались продвижения по службе или получали расчет. Они искренне считали этот великолепный, укрывшийся за фасадами Чипсайд и Мургейта район неотъемлемой частью своей жизни. И вот однажды они обнаружили, что кругом только дымящиеся развалины, близлежащие улицы завалены обрушившейся кирпичной кладкой, пылают газопроводы, тротуары усыпаны битым стеклом, искалеченными пишущими машинками, обломками мебели и самым разнообразным мусором. И виной всему — неведомый немецкий юнец, нажавший кнопку бомбосброса в своем самолете!

Несколько известных сочинений имеют некоторое отношение к лондонским развалинам. Все они представляют определенный интерес для людей старшего поколения, приверженных классике, но по сути своей являются чистой воды вымыслом. Хорас Уолпол изображает некоего перуанского туриста, который приехал в Англию, чтобы лицезреть руины собора Святого Павла, Маколей следует за каким-то новозеландцем, которому во что бы то ни стало нужно постоять на Лондонском мосту и сделать зарисовки живописных развалин. Но дальше всех зашел Шелли, который переносит нас в день, когда «собор Святого Павла и Вестминстерское аббатство превратятся в бесформенные, безымянные развалины и будут стоять посреди безлюдного болота». К счастью, ни одно из этих великолепных зданий не пострадало. Но как бы мне хотелось провести Уолпола, Шелли и Маколея по маршруту от Милк-стрит до Мургейта!

Сидя на стене рядом с выгоревшей дотла церковью Девы Марии, я пытался вспомнить, каким был этот район до войны. Церковное кладбище не пострадало, здесь все еще стоит бюст Шекспира, а на Стрэнде сохранилась статуя доктора Джонсона. Он, как и прежде, читает бронзовую книгу, однако от церкви Святого Клемента Датского, что стояла у него за спиной, остался лишь остов<sup>[3]</sup>. Неподалеку находится разрушенная церковь Сент-Олбанс, в которой бушевал такой силы пожар, что к ней целую неделю невозможно было приблизиться.

На Гришэм-стрит исчезло здание Хабердашера-холл (цеха галантерейщиков), а от стоявшего напротив Воксчандлера-холла (цеха свечников) сохранились лишь подвал и первый этаж. Левее проходит Фостер-лейн, на которой больше нет Саддлера-холла (цеха шорников), а дальше, где когда-то возвышались здания Пэриш-Кларкс и Коучмейкерс (цеха каретников), зияет пустота. Еще дальше, в районе церкви Сент-Джайлс, находится Монквелл-стрит, на которой некогда стояло великолепное здание Барбер-Сердженса (цеха цирюльников), пристанище стольких пышных церемоний. Теперь его больше нет, и от самой церкви, увы, остались одни руины. К счастью, уцелели приходские метрические книги, в которых записано о бракосочетании Кромвеля и похоронах Мильтона.

Тому, кто не был знаком с этой частью Лондона, уже не представить себе, какой она была до 1940 года. Разве можно воссоздать город по одним подвалам? Здания исчезли, горы камня и кирпича убрали. Остались лишь подвалы, где среди высокой травы и сорняков свалены рухнувшие с чердаков водяные баки. Иногда можно увидеть кусок пожарного шланга, старый ботинок, бутылку или пробитую батарею отопления.

Пока я сидел, чувствуя себя новозеландцем Маколея, ко мне подошли три белокурых мальчугана лет десяти. Забравшись на стену, они спрыгнули в подвал. Ребята

явно что-то искали в зарослях бурьяна. Вскоре один из них позвал остальных.

— Вот это да, вы только посмотрите!

Они подбежали и, сблизив белокурые головы, стали разглядывать находку. Затем вместе с ней забрались на стену.

— Что, нашли клад? — поинтересовался я.

Один из мальчишек смущенно вытащил из кармана невероятно грязную и на вид уже никуда не годную поршневую ручку.

— А что-нибудь стоящее тут можно найти? — спросил я.

— Однажды я нашел зажигалку, — ответил один. — Отдал ее папе. Он ее почистил, и теперь она работает.

Я поинтересовался, были ли они в Лондоне во время войны. Выяснилось, что мальчишек, говоря официальным языком, «эвакуировали». Я начал рассказывать, что до войны на этих узких улочках стояли такие высокие дома, что уже после полудня приходилось включать электрический свет, а зимой он иногда горел весь день; что улицы, на которых они теперь играют, были переполнены лошадьми и фургонами. Но ребята мне не поверили.

Перейдя улицу, я направился к зданию Голдсмитс-холл (цеха ювелиров), которое хотя и пострадало, но, к счастью, уцелело. Это одно из самых величественных строений района; как же я обрадовался тому, что большинство его великолепных помещений избежало гибели. К сожалению, этого нельзя было сказать о парадной столовой. В кладовой, в подвале я наткнулся на замечательную коллекцию посуды, пожалуй, лучшую из всех, принадлежавших ремесленным гильдиям Сити. Совершенно не пострадавшая посуда тускло поблескивала в свете ламп. В здании Эссей-офис на Гаттер-лейн когда-то хранилось столовое золото и серебро с клеймом гильдии, но все это было полностью

уничтожено; здесь же вся посуда пребывала в целости и сохранности — я сам в этом убедился.

Разительным контрастом сравнительно мало пострадавшему зданию служил расположенный напротив маленький садик, принадлежавший той же гильдии. Бомбардировки его не пощадили. Впрочем, вскоре после пожара сторож (или кто-то другой, не менее заботливый) навел здесь порядок и посадил цветы. Так в саду появились гладиолусы, алтеи и георгины. Там рос и довольно высокий платан, в тени которого среди цветов завтракали служащие. На воротах сада красовалась наградная доска Общества лондонских садов, на которой значилось: «За превращение в сад района Сити, пострадавшего во время бомбежек. 8 ноября 1948 года».

Продолжая свою прогулку, я подумал, что, по сути, история Лондона есть история упорной борьбы кирпичей и строительного раствора против травы, цветов и деревьев. На эту тему сложен один замечательный стишок:

Здесь трава росла,  
Был чудесный вид,  
А теперь легла  
Сент-Джеймс-стрит.

Со времен королевы Елизаветы разраставшийся Лондон все более жадно поглощал сельские окрестности. Сегодня мы стали очевидцами обратного процесса, в ходе которого трава, цветы и деревья появляются вновь — в самых старых и плотно застроенных районах Сити. Многих поражает скорость, с которой растительность покрывает места, пострадавшие от бомбардировок. Откуда берутся эти цветы? — задают они вопрос. Понятно, что ветер повсюду разносит семена

растений, но ведь в этой каменной пустыне невозможно найти место, где семена сумели бы прорасти и дать всходы.

После Большого пожара 1666 года, в пламени которого погибла значительная часть Сити, главным захватчиком, покрывшим опустошенные районы, оказалась лондонская фиалка — *Sisymbrium irio*. Ныне этот цветок стал настолько редким, что его вряд ли можно отыскать даже в разрушенных бомбардировками районах. В своей замечательной книге «Естественная история Лондона» Р. С. Р. Фиттер пишет, что лондонскую фиалку постепенно вытесняет кипрей. Это растение несколько лет назад было замечено на Стрэнде. Тогда еще пустовало место, где стоит теперь Буш-хаус. Сегодня кипрей можно найти практически во всех городских районах, пострадавших от бомбардировок. Мистер Фиттер сообщает, что в 1869 году кипрей полагали редким растением, которое можно встретить главным образом на песчаных берегах и в лесу. Во всем Миддлсексе оно росло только в восьми местах, среди которых были лес Кенвуд и Паддингтонское кладбище. Выходит, впоследствии кипрей завоевал все пустующие земли центрального Лондона? Мистер Фиттер указывает, что кипрей любит свет и потому активно заполняет пустыри; также кипрей предпочитает почву, которая подверглась тепловому удару, а «одно молодое растение способно произвести восемь тысяч семян за сезон, причем для распространения семян достаточно малейшего ветерка». Поэтому нет ничего удивительного в том, что, изучая флору подвергшихся бомбардировкам районов Лондона, директор Королевского ботанического сада доктор Солсбери обнаружил кипрей на девяносто девяти процентах территории этих районов. Кроме того, именно на листьях кипрея плодятся гигантские бражники, оккупировавшие центр Лондона.

Необычным обитателем почти половины разрушенных районов является оксфордский крестовник, настоящая родина которого — Сицилия, где он буйно растет среди вулканического пепла. Первое сообщение о нем, сделанное в Оксфорде, датируется 1794 годом. Судя по всему, он распространился именно из ботанических садов и в 1867 году появился в Лондоне. Возможно, впрочем, что тогда его просто впервые заметили. Теперь он встречается почти в каждом втором из разрушенных кварталов Сити.

Другой захватчик, который, как выражается мистер Фиттер, «окреп благодаря бомбардировкам», — канадский мелколепестник, о появлении которого в Лондоне впервые было упомянуто в 1690 году. В 1862 году он разросся на месте выставки в Южном Кенсингтоне, а уже пятнадцать лет спустя захватывал пустыри и карабкался на железнодорожные насыпи. Он настолько плодовит, что со временем нас, вероятно, ожидает настоящая эпидемия этого растения.

С каждым годом увеличивается как количество, так и разнообразие видов растений, которые появляются на развалинах. Считается, что большинство из них дикорастущие, других приносят птицы, а некоторых и люди. Говорят, что томаты и фиговые деревья обязаны своим появлением конторским служащим, перекусывавшим на развалинах и не трудившимся убирать за собой. Но кто занес сюда эти ужасные паслены?

Забравшись на стену в районе Олдермэнбери, я сорвал несколько цветков, названия которых были мне неизвестны. Мне захотелось засушить их прямо в блокноте. Спускаясь, я вдруг увидел над собой человеческое лицо и типичную усмешку кокни. Это оказался почтальон, который с пустой сумкой на плече направлялся в сторону церкви Сент-Мартин-ле-Гранд.

— Замечательно, не правда ли? — произнес он, вынимая трубку изо рта и указывая ею на руины.

— К вам приходят письма с этими адресами? — уточнил я, махнув рукой в сторону заросших травой подвалов.

— Каждый божий день, — ответил он. — Со всего света.

Уж не знаю, откуда взялась легенда о сдержанности англичан, но в наши дни она не соответствует действительности. Стоит молодому лондонцу завести разговор, как его уже не остановить. Этот почтальон насмотрелся на бомбардировки и рвался поведать мне все, что ему было известно. МППО (мероприятия по пассивной противовоздушной обороне) и АССС (аэронавигационная служба стационарных средств связи), нехватка воды, долгие вечера в бомбоубежище... Затем мы перешли к ботанике.

Оказалось, что почтальон, как и многие его друзья, был садовником-любителем. Во время войны они возделывали небольшие садики.

— Вам наверняка ведомо, откуда здесь взялись все эти растения и цветы? — спросил я.

Он легонько ткнул меня локтем в грудь, скорчил гримасу и подмигнул.

— Только между нами, ладно? За все говорить не буду, а вот про некоторые скажу. Мы с ребятами частенько покупали в «Вулвортс» пакетики семян. Бросали, значит, эти семена за ограду и ждали, когда они прорастут. Забавно было потом читать в газетах, что это, мол, птицы постарались! Птицы, вот умора! Уж мы с ребятами повеселились от души... Ну, бывайте...

И, повесив на плечо сумку, он удалился в направлении Главпочтамта.

Через заросли сорняков я двинулся к Мургейту, размышляя о том, что всякий, кто любит Лондон,



несомненно оплакивает потери, понесенные столицей во время войны. Конечно же, эти потери могли быть гораздо более тяжкими. Кто смел надеяться в самый разгар битвы за Англию, что главные достопримечательности Лондона не понесут никакого ущерба или же получат лишь незначительные повреждения? Вестминстерское аббатство, здание парламента, Букингемский дворец, Пиккадилли, Трафальгарская площадь, Национальная галерея, Британский музей, собор Святого Павла, Английский банк, дом лорда-мэра, Королевская биржа, Тауэр, Саутворкский собор, музеи Южного Кенсингтона, галерея Тейт и все мосты — ничто из перечисленного не понесло существенного урона, хотя и находилось на волосок от гибели.

И сегодня, наблюдая эти достопримечательности в их привычном виде, многие приезжие несколько раздраженно спрашивают: «А где же можно увидеть следы бомбардировок?»

## **11**

Воскресенье в Лондоне...

Вест-Энд по-пуритански скромн и молчалив. Бонд-стрит пустынна, словно сельская улочка. Несчастные иностранцы, крадучись, ходят по улицам или прячутся в отелях. Все они крайне сожалеют, что находятся не в Париже. Но стоит сесть в омнибус, который следует в Олдгейт, — и вы попадете в другой, более колоритный Лондон. В этом городе праведную жизнь ведут по субботам, а по воскресеньям веселятся.

Неподалеку от Хаундсдитч на углу улицы собрались мужчины, около тридцати человек, в основном евреи. Они стоят маленькими группками, перешептываются друг с другом и в целом ведут себя чрезвычайно тихо.

Они вовсе не станут возражать, если и вы присоединитесь к их группе, — напротив, будут только рады. Чуть позже становится ясно, что эти люди кучкуются вокруг неприметных типов, чьи пальцы буквально усыпаны перстнями с драгоценными камнями.

Идет спор. Резкий кивок головы, отвергающий жест, блеск пятисотфунтового бриллианта — во всяком случае, именно на такую сумму камень выглядит. С противоположной стороны улицы ослепительно сверкает другой, на взгляд — никак не дешевле тысячи фунтов.

Это знаменитый истэндский Хэттон-гарден. Каждое воскресенье по утрам здесь встречаются евреи, желающие купить кольцо или перстень с бриллиантом. Они с удовольствием торгуются часами напролет. Продавцы доверяют покупателям — скажем, они разрешают потенциальным клиентам брать кольца в руки и даже переходить с товаром на другую сторону улицы.

— Сколько? — услышал я чей-то вопрос.

— Я отдал десять фунтов, что я с этого буду иметь?

Напряжение нарастает — но кто разберет, напускное или вразправдашнее? Кто взывает к Иегове, кто пренебрежительно пожимает плечами, кто внезапно уходит и столь же внезапно возвращается... Старая как мир игра, ровесница Иерусалима и Вавилона, ее правила, похоже, не меняются с течением веков. Получишь ровно столько, сколько сможешь получить, а времени на это затратишь столько, сколько потребуется.

В нескольких ярдах по соседству — рынок старой одежды. В будние дни здесь торгуют оптом, а по воскресеньям в розницу. Одна половина рынка отведена под женскую одежду, вторая — под мужскую. Старые костюмы приводят в порядок каким-то таинственным способом, чистят и гладят, чтобы они могли выдержать

несколько мгновений самого придирчивого осмотра. На самом деле эта одежда вызывает жалость. Где только она не побывала за годы своего существования! Ее век кончился, она давно исчерпала свои возможности. И вот теперь, на исходе жизни, когда она уже готова обернуться ветошью для чистки автомобилей, ей придают «светский лоск», иллюзорную изысканность. Энергичные молодые евреи наперебой зазывают покупателей.

— Подходите, подходите! Синий костюм, достойный лорда! Пятнадцать шиллингов... Восемнадцать... Фунт... Фунт пять шиллингов... Отдаю за фунт и пять шиллингов. От сердца отрываю! Меньше?.. Да я и так вам бесплатно отдаю! От сердца отрываю! Видите, у самого слезы текут...

Женскую одежду рекламируют в том же духе. Пальто, юбки, шляпы, костюмы — все идет с молотка по ценам, за которые люди готовы покупать поношенное.

— Зачем ходить голыми? — кричит продавец. — Подходите, дамы! Кому пальто и юбку за десять шиллингов?

Женщины подходят к прилавку, щупают одежду.

— Даром отдаю, даром! — вопит продавец.

Прямо на улице молодой человек изображает из себя манекен. Накинув пиджак и жилет, он медленно поворачивается из стороны в сторону.

— Кому костюмчик на парня поменьше меня ростом... Всего за полфунта.

Странное дело — какой бы старой и изношенной ни была эта одежда, всегда находятся неразумные, которые ее покупают.

Эти улицы полны жизненной энергии и добродушия. Веселье, доброжелательность, азарт... Над рынком витает дух восточного жизнелюбия, вызывающего восхищение и зависть. Вдоль тротуаров ряды прилавков,

и за каждым — энергичный (независимо от возраста) еврей.

Вот тачки, набитые нейлоновыми чулками, средоточие интересов фабричных работниц, которые не мыслят себе нарядов без этих чулок. Одни твердят, что чулки привезли контрабандой из Америки, другие уверяют, что это бракованный товар. Не искушенные в коммерции и конкуренции девушки не знают, чему верить.

— Хотите настоящие? — шепчет какой-то спекулянт. — Взгляните вот на эти. Не стесняйтесь, вытаскивайте. Проверьте оба. Ни единого изъяна. Если что, приходите в следующий раз, я верну вам деньги.

Он проворно вынимает чулки из целлофановой упаковки и вручает покупательницам.

— Когда б вы только знали, дамочки! Да у меня все кинозвезды отовариваются!

Конкурент, занимающий место на противоположной стороне улицы, чувствует, что пора принимать меры, иначе толпа собравшихся вокруг него женщин вот-вот растает.

— Лучший в мире нейлон! — кричит он во весь голос. — Уверю вас, — добавляет он, понизив голос до шепота, — мой нейлон вправду лучший, хоть всю улицу обойдите — другого такого не сыщете.

Глядя на эту улицу, задаешься вопросом: зачем люди ходят в зоопарк? Ведь наблюдать за поведением человека гораздо интереснее, чем за поведением животных. К тому же поведение людей гораздо труднее понять.

Возможно, самым занятным зрелищем из тех, какие можно наблюдать на этой улице, является торг еврея с матросом-индусом. Эти необычайно смуглые люди — ласкары — приходят со стороны доков всякий раз, когда там встает на якорь какой-нибудь торговый корабль. Лондонский Вест-Энд им не по карману. Они одеты в

синие робы, а на головах носят чалмы. Время от времени появляется какой-нибудь франт в женском пальто. Толпа хохочет, а индус смотрит совершенно бесстрастно. В его взгляде есть что-то от тысячелетнего спокойствия и невозмутимости сфинкса. Шесть матросов-индусов окружили прилавок, за которым еврей продает старую обувь. Они толпятся у прилавка, как коровы у яслей. Они торгуются. Примеряют десятки пар. Еврей делает попытки от них избавиться, но они отказываются уходить.

— Семь шиллингов, — с безнадежностью в голосе говорит еврей.

— Один, — отвечает матрос.

— Семь шиллингов! — кричит еврей.

— Один, — ровно повторяет матрос.

Спор, кажется, может продолжаться целую вечность. После нескольких часов яростного торга коричневая от загара и худая, как у обезьяны, рука исчезает в кармане синей робы. Извлекает несколько шиллингов, завернутых в промасленную тряпицу. Явно испытывая душевные страдания, матрос отсчитывает четыре монеты и, словно желая попрощаться с ними, разглядывает обе стороны каждой. Затем передает монеты еврею. Толпа хохочет. Матрос обводит присутствующих взором, исполненным природного достоинства, свойственного, скорее, взгляду какого-нибудь животного, а не человека. Нагнувшись, он надевает новые туфли и уходит, не утруждая себя завязыванием шнурков. Еврей снимает шляпу и вытирает вспотевший лоб.

— Я вас умоляю...

Торговцы выходят на работу только раз в неделю — воскресным утром. Их заработок зависит от количества проданного товара.

— Посмотрите на меня! — кричит один из них. — Я спортсмен.

На нем спортивная майка и фланелевые брюки. Он с ужасающей силой бьет себя в грудь. Таким способом он сам себя заводит. Затем показывает бицепсы. Предлагает с кем-нибудь побороться. Зеваки с сомнением покачивают головами.

— Во мне есть сила! — вопит он. — Во мне тонны силы! — Он в очередной раз бьет себя в грудь. — Во мне есть жизненная энергия! Бодрость духа! Я настоящий мужчина! Посмотрите на мои мускулы! У меня сердце льва! Мои мышцы крепки как сталь! Мои почки как литые! У меня замечательная печень...

Он наносит ужасающие удары по тем частям своего тела, которые упоминает. Затем на глазах у изумленной публики, которая гадает, боксер это или акробат, торговец быстро извлекает на свет очень маленькую бутылочку и эффектным жестом поднимает ее над головой.

— Вот в чем секрет превосходного здоровья! — кричит он. — Это Жизнь! Кто вместе со мной выпьет стаканчик Жизни?

Вверх взметнулась дюжина рук. Маленький стаканчик пошел по рядам. Вот и продана очередная бутылка патентованного средства. Наглядный урок практической психологии!

Толпы людей часами бродят по улицам этого колоритного лондонского района. Здесь нет места скуке. Эти улицы переполнены жизненной энергией. Их покидаешь, изумляясь поразительной способности евреев преуспевать там, где другие умерли бы с голоду.

## Глава вторая

# Лондонский Тауэр

*Я иду в лондонский Тауэр, осматриваю сокровищницу Короны и даю историческую справку о Тауэр-Грин. Вспоминаю о том, как погибли Анна Болейн, Екатерина Говард и леди Джейн Грей, а также о романтической трагедии леди Арабеллы Стюарт. Воскресным утром иду в Тауэр-Грин, чтобы присутствовать на церковной службе...*

### 1

Немного найдется старинных зданий, которые располагают к себе одним своим видом, как лондонский Тауэр весенним утром или в разгар летнего дня. В такие дни трудно поверить, что эта крепость столетиями несла на себе тяжкое бремя человеческих страданий. Но стоит прийти туда в сырой или туманный день или же когда стемнеет, и у вас сложится совсем другое впечатление.

Пережиток прежних эпох, Тауэр выглядит настоящим динозавром среди прочих исторических зданий Лондона, неправдоподобным и невероятно старым. В условиях Англии этому реликту давно минувших дней каким-то образом удалось приспособиться к современной жизни. Его персонал носит ту же одежду, какую носили здесь пять столетий назад. С его огромными зубчатыми стенами по-прежнему связаны всевозможные воспоминания, традиции и легенды. Каждая эпоха по-своему меняла Лондон, но Тауэр не менялся. Никакие развалины не в состоянии произвести такого впечатления, как это много

повидавшее здание, которое до сих пор зовется «Тауэром Его (Ее) Величества» и до сих пор, как и столетия назад, служит королевской сокровищницей. Как и прежде, в нем несет службу вооруженный гарнизон. Дважды в течение жизни одного поколения Тауэр вновь готовился стать тюрьмой и становился ею, вновь сулил смерть врагам монарха. Такова невероятно насыщенная событиями жизнь этого здания.

Всякий раз, когда я прихожу сюда, меня поражает несоответствие духа этого места и его истории. Ужасные темницы, немые свидетельницы средневековой жестокости и ненависти, — и квартиры семейных военнослужащих, в одной из которых женщина укачивает младенца, а на крыльце другой вылизывается на солнышке кошка... Казалось бы, это мрачное сооружение, стены которого видели столько боли и страданий, несовместимо с обыденными житейскими радостями, но даже в Тауэре жизнь идет своим чередом. Здесь рожают и воспитывают детей, готовят пищу и отходят ко сну.

Тауэр — весьма неплохое место для проживания. Один из наиболее любопытных фактов его истории заключается в том, что тут всегда жили семейные пары. Со времен норманнского завоевания (то есть уже почти девять столетий) не было случая, чтобы супружеские пары не смогли найти кров в стенах Тауэра или отказывались считать его своим домом. Это самое древнее из всех сохранившихся до наших дней жилых строений Лондона. Сомневаюсь, что в мире найдется другое здание, которое могло бы похвастаться столь длительной и непрерывной историей проживания в нем супружеских пар.

Огромные каменные помещения Тауэра более всего напоминают пещеры или гроты, вырубленные в скале. Окна пробиты в стенах толщиной четыре фута. Если замуровать окна, то даже расположенная высоко в



башне комната станет темницей. Электрическое освещение, газовые плиты и ванны вторглись в комнаты, которые изначально рассчитывались на то, чтобы уберечь своих владельцев от стрел, копий и снарядов метательных машин. Мода и стремление человека к комфорту — вот единственные покорители Тауэра. Кому бы могло прийти в голову лишить Тауэр его зловещей ауры, у кого поднялась бы рука на седую древность, кто бы взялся создавать внутри его стен обстановку, соответствующую стандартам практически любого «спального района»? Жены охранников и зрителей! Эта задача была успешно выполнена, и я готов признать, что впервые за всю свою историю Тауэр оказался покоренным.

Спроси мы себя, как нам обставить комнату в Тауэре, многие наверняка высказались бы за гобелены, большие дубовые столы, деревянные скамьи, бархат «под старину» и серебряные подсвечники. Другими словами, мы бы позволили Тауэру властвовать над нами. Но какая-нибудь миссис Джоунс или миссис Робинсон поступят иначе. Они сами будут властвовать над Тауэром! Поднявшись по спиральной лестнице и открыв усыпанную старинными гвоздями дубовую дверь, мы попадаем в помещение, обставленное в духе самых современных квартир Болхэма. Кульминация противоречивых впечатлений — возвращение с работы тауэрского зрителя: он швыряет на шифоньер свою шляпу эпохи Тюдоров и садится на винтовой табурет для пианино.

Неизвестно, существовало ли на месте Тауэра римское или саксонское укрепление, но мы точно знаем, что своим появлением Тауэр обязан Вильгельму Завоевателю, который даровал Лондону статус вольного города — и построил в нем крепость. Этим он дал понять своим «обожаемым подданным», что, несмотря на дарованные свободы, он остается хозяином. Спустя

одиннадцать лет после победы при Гастингсе Вильгельм приступил к строительству цитадели, которую мы называем «Белой башней». Это был самый мощный из множества королевских замков, построенных Вильгельмом Завоевателем в стратегически важных пунктах Англии. Тауэр стал оплотом короля, конфисковавшего все английские земли. Отсюда Вильгельм укреплял свою власть, и Тауэр в течение столетий оставался верным стражем феодальной системы.

Над созданием могучих стен Тауэра многие годы трудился архитектор замка — благочестивый норманнский монах Гундольв. Замок строился рядом с крохотным поселением саксов на берегах тогда еще чистой Темзы. Этот окруженный старой римской стеной город состоял из деревянных домишек с соломенными крышами. Жизнь была грубой и жестокой. Свиньи на улицах рылись в кучах отходов и экскрементов. Зимой с Хэмпстедских холмов спускались волки. Римский Лондиний забылся, прекрасные мраморные колонны уступили место лачугам свинопасов. Храмы Дианы, Митры и Исиды были разрушены, вместо них появились маленькие деревянные церкви, в которых поклонялись святым саксов: Эркенвальду, Этельбурге, Оситу, Альфегу, Суизину и Ботольфу. На Ладгейт-Хилл стояла маленькая деревянная церковь Святого Павла. Таково было начало того Лондона, который мы видим сегодня.

Тауэр оказался предвестником новой эпохи, символом одного из тех периодов радикальных преобразований, которые регулярно случались на протяжении всей истории Лондона. Наступала эпоха норманнского камня. Сегодня мы являемся свидетелями исчезновения оштукатуренных строений периода Регентства и кирпичных домов викторианской эпохи и наблюдаем появление нового архитектурного стиля, в основе которого лежит использование бетона, а саксы

оказались свидетелями того, как их скромный маленький город с домами из дерева и соломы уступал место норманнским каменным домам.

Можно себе представить, какие смешанные чувства испытывали лондонцы при виде снующих по строительным лесам рабочих Гундольва. Быть может, они даже сознавали, что на берегах Темзы зарождается новая историческая эпоха.

## 2

Я прошел через малые ворота и купил билеты в маленьком домике у ресторана, который стоит на месте исчезнувшей Львиной башни. В течение многих столетий она была одной из самых знаменитых достопримечательностей Лондона, так как здесь, в полукруглой яме, король держал львов и других экзотических зверей.

Генрих III основал зверинец в 1235 году. По прихоти судьбы первыми обитателями зверинца стали три леопарда, подаренных Генриху в знак благорасположения императором Фридрихом II. В том же году Генрих приобрел белого медведя, которого доставили из Норвегии. В государственных архивах упоминается, что медведь получал ежедневное довольствие на сумму в четыре пенса из денег, ассигнованных на личные расходы короля. Кроме того, смотрителю «нашего белого медведя» было приказано достать длинную и крепкую веревку, с помощью которой держать животное на привязи, когда его выпускали половить рыбу в Темзе. Вот уж, должно быть, потешались лондонские мальчишки эпохи Плантагенетов, наблюдая, как «нашего белого медведя» выводят на рыбалку!

В правление Эдуарда III к прежним обитателям зверинца прибавился слон. Считается, что это был первый слон, которого увидели в Англии после того, как страну покинули боевые слоны Клавдия. Сохранился королевский указ, каковым монарх повелевает возвести строение размером сорок на двадцать футов, в котором надлежало разместить «нашего слона». Впоследствии стало традицией держать в Тауэре львов. Один из них звался по имени правящего монарха и, как считалось, умирал от тоски после кончины короля, имя которого носил. Этот пополнявшийся радениями каждого нового правителя зоопарк, несомненно, являлся одной из самых популярных достопримечательностей столицы в эпоху, когда заморские животные были в Англии редкостью. Животные оставались в Тауэре вплоть до 1834 года, когда их перевезли в Риджентс-парк. Тогда же было создано и Зоологическое общество.

Продолжая двигаться в направлении Байвордской башни, я подошел к расположенным под аркой входным воротам, которые ведут в караульное помещение «мясоедов»-бифитеров — охранников Тауэра. В первый и последний раз я называю этим словом лейб-гвардейцев. Им это слово не нравится и даже возмущает. Странно, что Лондон никогда не делал различия между стражниками Тауэра и дворцовой стражей; последних и вправду можно назвать бифитерами, поскольку считается, что «beefeater» восходит к слову «buffetier» и связано с тем, что эти стражники несли службу в королевском буфете (а также расстилали королевскую постель и вообще занимались удовлетворением личных потребностей монарха).

Что касается тауэрских стражников, они никогда не покидали Тауэр. С норманнских времен и до наших дней они остаются привратниками и охранниками крепости и считают себя старейшим в мире охранным подразделением, которое и поныне выполняет

обязанности, возложенные на него в момент возникновения. Можно сказать, что по сравнению со стражниками Тауэра швейцарская гвардия папы римского возникла только вчера. Путаница между стражниками Тауэра и лейб-гвардией, созданной Генрихом VII после битвы при Босворте, возникла из-за того, что король включил стражу Тауэра в состав лейб-гвардии и повелел им носить одинаковую форму. Единственное отличие состоит в том, что парадная форма дворцовой стражи предусматривает перевязи, а форма стражи Тауэра этого украшения лишена.

Служебные обязанности двух подразделений гвардейского корпуса по-прежнему принципиально отличаются. Дворцовая стража, солдат которой можно узнать по традиционной вандейковской бородке, состоит при монархе и покидает его лишь затем, чтобы спуститься в подвалы Вестминстера на поиски Гая Фокса. Стражники же Тауэра покидают крепость только в особо торжественных случаях. Им поручено охранять сокровищницу Короны, а также доставлять в Вестминстер, на какую-либо церемонию, корону и прочие регалии монаршей власти. К сожалению, сегодня они вызывают для этого такси!

Стражники Тауэра выходят в отставку в звании сержанта армии. На каждое освободившееся место претендует множество занесенных в длинный список кандидатов. Начальник стражи является правой рукой коменданта Тауэра; на праздничных парадах он выступает, опираясь на посох, увенчанный серебряной копией Белой башни, — знак своего положения. С давних времен сохранилась и должность тюремщика. Облаченный в парадную форму, этот стражник несет на парадах церемониальный топор, который многие ошибочно принимают за топор палача.

В Байвордской башне, где расположена великолепная квартира начальника стражи, можно

услышать звон колоколов, каждый вечер предупреждающий о наступлении комендантского часа. Вскоре после этого начальник стражи закрывает Тауэр на ночь. В сопровождении вооруженного эскорта он шагает к главным воротам, держа в руках связку ключей. Зимой он также несет и фонарь — накрытую стеклянным колпаком свечу. Подойдя к воротам, он закрывает их на замок и возвращается прежним маршрутом, запирая замки и засовы на воротах многочисленных башен. Когда он приближается к Кровавой башне, ему навстречу выходит часовой.

— Стой! Что несешь?

— Ключи, — отвечает начальник стражи.

— Какие ключи? — спрашивает часовой.

— Ключи короля Георга, — отвечает начальник <sup>[4]</sup>.

— Проходи! Дорогу ключам короля Георга! — выкрикивает часовой, удостовераясь, что Тауэр остается владением короля.

Пройдя через арку Кровавой башни, начальник стражи и его эскорт выходят на террасу, где выстроились гвардейцы. Все берут оружие «на караул». Начальник стражи шагает вперед и, подняв свою тюдоровскую шляпу, восклицает:

— Боже, храни короля Георга!

— Аминь, — отвечают гвардейцы.

Оркестр играет государственный гимн, а затем начальник стражи отдает ключи на хранение коменданту, который относит их в королевские покои. С этого момента скрытые в тенях мрачных арок часовые останавливают любого, кто прогуливается по Тауэру, и приказывают дать полный отчет — кто таков и что здесь делает. Любого, кто приближается к главным воротам, просят назвать пароль, который меняется каждые сутки. Существует множество историй о том, как тот или иной офицер гарнизона, возвращаясь ночью с вестэндской вечеринки, забывал пароль и вынужден был провести

остаток ночи в такси или в караульном помещении; нынешняя охрана Тауэра относится к своим обязанностям не менее серьезно, чем ее предшественники. Ежеквартально королю и лорду-мэру направляется список паролей на следующие три месяца.

Таким образом, когда в Лондоне наступает ночь и миллионы людей, заполнявших улицы Сити в дневные часы, уезжают домой, на посту остаются два человека, олицетворяющих старый Лондон: лорд-мэр, ночующий в своей резиденции, и комендант Тауэра Его Величества.

### 3

Прогуливаясь по Тауэру, я подошел к Воротам изменников, которые, на мой взгляд, представляют собой одно из самых мрачных мест этой крепости. Ничто не способно рассеять царящую у этих ворот ауру отчаяния — хотя во многих других местах Тауэра средневековая атмосфера достаточно давно сменилась более, что ли, благожелательной. Кстати сказать, те Ворота изменников, которые открываются взору сегодня, — всего-навсего подделка под старину. Во времена правления королевы Виктории Тауэр решили привести в порядок; и городские власти совершили бессмысленный акт вандализма. Старые ступени, истершиеся за несколько столетий, заменили новенькими, вырубленными из батского камня! Сами Ворота изменников демонтировали; по легенде, их продали за пятнадцать шиллингов владельцу антикварного магазина в Уайтчепеле!

Эти ворота столетиями выдерживали натиск выходившей из берегов Темзы; речные воды окрасили их створки в зеленый цвет. Не было бы ничего удивительного в том, если бы они простояли еще несколько столетий, — в старину работали на совесть. А

так... Возможно, створки ворот «пустили на дрова или нашли им еще менее достойное применение», — как писал Джесс, автор опубликованной в 1847 году книги «Памятники Лондона». По некоторым сведениям, ворота приобрел Т. Барнум, который перевез их в Нью-Йорк и использовал в качестве антуража в своем цирке. Однако документов, подтверждающих эту сделку, до сих пор не обнаружено, поэтому остается лишь признать, что ворота безвозвратно исчезли. Не хочется верить, что столь ценные реликвии могут просто потеряться. Быть может, они где-нибудь отыщутся. Это будет самая настоящая сенсация!

Ныне, разумеется, ворота расположены высоко над водой, но в старину воды выходившей из берегов реки нередко затапливали их ступени. Всех именитых и знатных узников Тауэра доставляли в крепость водным путем. На лодках же их вывозили из Тауэра, когда им надлежало предстать перед судом в Вестминстер-холле. На обратном пути не составляло труда узнать, каков приговор: сопровождавший вызванного на суд обитателя Тауэра тюремщик по традиции держал в руках топор. Если лезвие топора было обращено в сторону узника, это означало вердикт виновности; если же лезвие смотрело в противоположную сторону, это означало, что суд оправдал обвиняемого.

На ступени, подмененные нынешним новоделом, сходили с лодок Анна Болейн, Екатерина Говард, сэр Томас Мор, Кранмер, Сомерсет, леди Джейн Грей, сэр Томас Уайетт, Роберт Деверо граф Эссекс, сэр Уолтер Рэли и многие другие. Еще будучи принцессой, королева Елизавета оказалась под подозрением в заговоре против своей двоюродной сестры Марии. Ее отправили в Тауэр; проходя через Ворота изменников, она оказалась по колени в воде и тогда поклялась перед Богом, что непричастна к заговору Уайетта. По легенде, величайшая в английской истории королева была



абсолютно уверена в том, что ей суждено умереть в Тауэре. Она, как и ее мать Анна Болейн, всерьез обсуждала свою грядущую казнь и говорила, что хочет умереть по-французски — от удара меча, а не от грубого топора английского палача.

В Белой башне я увидел великолепную коллекцию оружия и доспехов, которые находятся в прекрасном состоянии и выглядят просто замечательно. Не секрет, что за последние несколько столетий мы, люди, в целом стали выше, и поэтому для современного человека среднего роста большинство этих лат слишком малы. Это, разумеется, не относится к латам Генриха VIII, который обладал гигантским ростом. Увидев великолепные кованые доспехи этого короля, сразу же представляешь себе его могучую фигуру.

С южной стороны Белой башни, обращенной к Уэйкенфильдской башне, есть лестница, под которой находилось захоронение принцев, Эдуарда V и его младшего брата Ричарда — герцога Йоркского. Об этом захоронении знал только погибший в битве при Босворте комендант Тауэра сэр Роберт Брэкенбери. Таким образом, тайна оставалась нераскрытой в течение двух столетий. Только во время предпринятой при Карле II перестройки Тауэра были обнаружены кости юных принцев; по приказанию короля останки убитых захоронили в погребальной урне на территории Вестминстерского аббатства.

В 1933 году в присутствии небольшой группы официальных представителей аббатства останки были эксгумированы. Кости находились в прямоугольном ящичке внутри урны. Сверху лежали два черепа, один из которых сохранился полностью, а второй лишь частично. Многие кости скелетов отсутствовали, что не вызвало удивления: ведь обнаружившие захоронение рабочие сначала выбросили кости и их пришлось разыскивать в куче мусора. Специально приглашенный анатом

установил, что в урне находятся останки двух детей, двух малолетних принцев, и сумел определить время их смерти с погрешностью в два месяца. Он также обнаружил признаки удушения. Датировка останков сняла с Генриха VII подозрения в убийстве принцев и возложила ответственность за это преступление на согбенные плечи Ричарда III, уже при жизни считавшегося жестокосердным убийцей. После эксгумации кости завернули в тончайший батист, причем череп и челюстные кости Эдуарда V отделили от останков его брата. Декан Вестминстерского аббатства положил обратно в урну кости и письменное описание проведенной эксгумации. Затем он прочитал панихиду, погребальную урну вновь опечатали и зарыли.

Поднимаясь и спускаясь по каменным лестницам, я наконец добрался до самого прелестного уголка Белой башни — чудесной маленькой часовни Святого Иоанна, построенной в норманнском стиле. К счастью, она благополучно пережила ужасы двух мировых войн. Эта строгая и в то же время изысканная часовня — самая красивая из всех сохранившихся до наших дней норманнских церквей. Несмотря на свои почти девятьсот лет, она выглядит так, словно ее построили только вчера. Многие королевы и фрейлины слушали мессу в трифориуме этой часовни, где их не могли увидеть стоявшие внизу охранники и придворные. Во время молитвы перед ее алтарем Роберт Брэкенбери боролся с искушением убить тех самых принцев, о которых шла речь выше. Именно в этой часовне Мария I заочно вступила в брак с королем Испании.

В старину кавалеры ордена Бани проводили здесь свои ночные бдения. У них существовал особый обычай: перед тем как принести обет, они принимали ванну, что символизировало духовное очищение. В одном из помещений Белой башни рядами стояли деревянные ванны. Есть гравюра, на которой изображены рыцари в

деревянных чанах, каждый накрыт похожим на маленькую палатку парчовым балдахинном. Когда рыцари усаживались в ванны, в помещение вступал король в сопровождении высших сановников. Он торжественно обходил ряды ванн, прикасаясь к обнаженной спине каждого из сидящих в воде кавалеров. После этого оруженосцы укладывали кавалеров в постель. Затем рыцари облачались в монашеские рясы, их вели в часовню Святого Иоанна, где они ночь напролет предавались молитвам, разложив на полу доспехи. Ритуалы принесения клятв, равно как и ритуал облачения, были тщательнейшим образом продуманы.

Когда на трон взошла Мария, возникла весьма щекотливая ситуация, которая повторилась и в правление Елизаветы. Женщине едва ли приличествовало входить в мужскую баню. Поэтому обеим королевам пришлось назначать специальных представителей, которым поручалось совершить акт «прикосновения к спине» от имени монарха.

В Кровавой башне мне показали место, где погибли принцы Эдуард и Ричард, а также галерею с башенками и с видом на реку; по этой галерее прогуливался во время заключения в Тауэре сэр Уолтер Рэли. Неподалеку отсюда находится сокровищница Короны, помещение которой совершенно не приспособлено для приема большого количества посетителей.

Сами сокровища хранятся в восьмиугольном сейфе из стали и стекла, в котором лежат бесчисленные бриллианты, рубины, изумруды и другие драгоценные камни. От них исходит характерное для драгоценностей яркое, будоражащее сияние. На мой взгляд, наиболее значимыми предметами сокровищницы являются три королевские короны. Во-первых, это корона Святого Эдуарда Исповедника, или Корона Англии. При коронации нового монарха ее на мгновение возлагают

на голову коронуемого. Оригинал этой короны некогда принадлежал саксам и исчез без следа во времена Республики (1649–1660 гг.) Нынешняя корона — изготовленная по распоряжению Карла II копия, более изящная по форме, но далеко не такая ценная по значению и с исторической точки зрения, как Имперская церемониальная корона, в которой король открывает парламентские сессии и участвует в других торжественных церемониях общегосударственного значения.

Этот драгоценный венец усыпан массой бриллиантов, жемчужин и других камней, едва ли не каждый из которых может поведать собственную романтическую историю. В центре расположенного на маковке короны бриллиантового креста находится большой сапфир. Когда-то он был вставлен в кольцо, которое Эдуард Исповедник носил во время коронации. Там, где сходятся арки короны, подвешены две жемчужины, которые в свое время служили серьгами королеве Елизавете. Огромный необработанный рубин принадлежал Черному принцу. Скопления бриллиантов, усеявшие своды арок короны, выполнены в виде дубовых листьев с желудями из жемчуга. Это напоминание о дубе близ Боскобела, в ветвях которого укрылся Карл II, спасавшийся от солдат Кромвеля.

Третья корона — это Имперская корона Индии, изготовленная в 1912 году для короля Георга V, которого короновали в Дели как императора Индии. Необходимость в этой короне возникла по причине того, что закон запрещает вывоз за пределы страны как Короны Англии, так и Имперской церемониальной короны.

Учитывая бесценность всех этих предметов, не может не вызвать изумления то обстоятельство, что королевские регалии пропадали по меньшей мере дважды — а потом их случайно находили, словно

забытые очки или связку ключей! Впрочем, это вполне в английском духе. К примеру, как можно потерять скипетр? Будь скипетр у меня и внезапно исчезни, я, разумеется, предположил бы, что его украли (и, вероятнее всего, оказался бы прав); но *потерять* скипетр — совершенно непостижимо! Тем не менее прекрасный «скипетр с голубем» был именно потерян, а нашелся по чистой случайности в 1814 году — в Тауэре, в старом посудном шкафу. Еще более невероятна история с исчезновением большого Державного меча, неперменного атрибута коронации, с рукоятью и ножнами, украшенными бриллиантами и изумрудами. Трудно себе представить, что такую вещь можно потерять. Однако во времена правления королевы Виктории Державный меч не могли найти в течение нескольких лет. В конце концов кто-то заглянул в давно не используемый шкаф — и увидел на полке старинный футляр с оружием. Когда футляр открыли, внутри обнаружился пропавший меч.

Просто удивительно, что сокровищницу Короны ни разу не обокрали, при столь небрежном отношении к охране бесценных реликвий. Впрочем, в годы правления Карла II полковник Блад предпринял попытку украсть корону, чуть было не закончившуюся успехом. Теперь на страже монарших регалий стоят такие хитроумные достижения научно-технического прогресса, что потенциальный вор как минимум будет насмерть поражен электротоком, рискни он разбить стекло — эту, казалось бы, единственную преграду на пути к вожаделенной добыче.

Полковник Блад был безрассудным ирландцем. Когда Карл II вернул себе трон, Блад, как и многие

другие солдаты удачи, обосновался в Лондоне. Это был отчаянный головорез, готовый на любую авантюру.

Во времена Карла II знаки королевской власти хранились без соблюдения тех мер предосторожности, которые принимаются сегодня. Железная клеть с регалиями стояла на первом этаже Башни Мартина. Верхние этажи были отведены под жилые помещения хранителя драгоценностей. Этому старику по имени Тэлбот Эдвардс было почти восемьдесят лет. В течение некоторого времени ему не выплачивали жалование, что во времена Карла II было обычным делом. Поэтому Эдвардсу разрешалось взимать плату с тех, кто желал посмотреть на драгоценности Короны. Разве что когда кто-нибудь входил в помещение, где хранились ценности, Эдвардс запирали дверь на замок.

В апреле 1671 года безобидный на вид сельский пастор посетил Тауэр вместе со своей женой. Они сказали, что приехали в Лондон, чтобы посмотреть сокровищницу Короны. «Пастором», разумеется, был полковник Блад, а «женой» оказалась его сообщница. Когда старый Эдвардс начал рассказывать о знаках королевской власти, «жена» вдруг почувствовала себя плохо; добросердечный хранитель предложил гостям подняться наверх: мол, миссис Эдвардс поможет даме прийти в себя.

Так Блад и его сообщница «вошли в доверие» к своей жертве, как выразился бы современный мошенник. Через день или два «пастор» подарил миссис Эдвардс пару перчаток в знак благодарности. Постепенно знакомство переросло в дружбу, «пастор» и его «жена» стали частыми гостями в доме четы Эдвардс, у которых была незамужняя дочь и сын, находившийся в то время во Фландрии. Созрела мысль устроить брак мисс Эдвардс с племянником «пастора», которому последний приходился опекуном. Семейство Эдвардсов благосклонно отнеслось к этой идее. Был назначен день,

в который «пастор» должен был представить своего «племянника». В этот день, как только стало темнеть, Блад верхом прибыл в Тауэр. Его сопровождали четыре сообщника. Один из них остался с лошадьми у ворот Святой Екатерины, а Блад и трое других, в том числе «племянник», должны были похитить знаки королевской власти. Бладу надлежало похитить корону, его пожилому сообщнику, бывшему «железнобокому» по имени Паррот предстояло прикарманить державу, а третий жулик должен был вынести в мешке скипетр, распиленный натрое. «Племяннику» вменялось в обязанность нести охрану. Старый Эдвардс тепло встретил гостей у Башни Мартина и сообщил, что миссис и мисс Эдвардс спустятся через минуту. Блад пояснил, что его друзья сами не из Лондона, поэтому нельзя ли им заглянуть в сокровищницу Короны. Старик тотчас открыл дверь в помещение, где хранились драгоценности, и воры вошли внутрь — все, кроме оставшегося охранять лестницу «племянника», который скромно заметил, что предпочитает блеск глаз своей невесты сверканию любых самоцветов! Внутри воры сбили Эдвардса с ног и вставили ему кляп. Блад схватил корону и деревянным молотком сплющил арки, чтобы регалия поместилась в карман. Паррот взял державу с ее огромным рубином, а третий сообщник принялся распиливать скипетр. И в этот миг случилось событие настолько невероятное, что никакой романист не посмел бы вставить подобный эпизод в свое сочинение! Домой вернулся молодой Эдвардс, который, как считалось, пребывал во Фландрии. Юноша вскользь подивился присутствию незнакомца, но не стал задерживаться, ибо торопился увидеть мать и сестру.

«Племянник» же, встревоженный появлением постороннего, подал сигнал тревоги. Воры открыли дверь и вышли наружу — с короной и державой. Полураспиленный скипетр они оставили в

сокровищнице. Тем временем Эдвардс сумел выплюнуть кляп и принялся звать на помощь.

В Тауэре началась суматоха. Спрятав корону под пасторским облачением, Блад пустился наутек. Крича: «Ловите мерзавцев!», он постарался усилить неразбериху и сбить с толку стражников. По счастливой случайности, командир отряда стражников капитан Бекенхэм догадался, что истинный вор — именно Блад, и устремился в погоню. У ворот Святой Екатерины к капитану присоединилась толпа простолюдинов, которые и схватили воров. Бекенхэм вступил в схватку с Бладом, тот попытался выстрелить прямо в лицо капитану. К счастью, пистолет дал осечку, а в следующее мгновение Блада схватили. В пылу схватки никто не заметил, что от короны отломились и упали в грязь несколько драгоценных камней. Впоследствии выяснилось, что жемчужину подобрал трубочист, а бриллиант прихватил некий подмастерье. Прочие выпавшие из короны драгоценности так и не были найдены.

Парроту также не удалось ускользнуть; в кармане его брюк нашли державу — без одного рубина. Впрочем, позднее камень отыскан в одежде вора. Когда мошенников уводили, Блад бросил через плечо капитану Бекенхэму: «Что ж, затея была неплохая. Жаль, что дело не выгорело. Мы хотели заполучить корону».

Самое удивительное в этой истории — то, что произошла она в эпоху, когда даже мелкое воровство каралось смертью. Возможно, понять причины случившегося поможет продолжение этой истории. Спустя несколько дней Блад был вызван в Уайтхолл, где его удостоил приватной беседы Карл II. Было бы чрезвычайно интересно узнать, о чем они говорили; так или иначе, Блад вернулся с королевской аудиенции владельцем поместья в Ирландии и 500 фунтами годового дохода! Карла II до сих пор подозревают в том,



что, в очередной раз испытывая насущную потребность в наличности, он нанял Блада и поручил тому украсть корону! Согласно другому популярному в те времена слуху, король хвастался, что нет такого человека, который сумел бы украсть корону, а Блад попытался сделать это, чтобы привлечь монаршее внимание к своей персоне.

В конечном счете Блад пал жертвой судебного разбирательства, предпринятого на основании заявления герцога Бэкингемского, который выставил полковнику претензии на сумму 10 000 фунтов. Перспектива выплаты такой суммы оказалась для полковника невыносимой. Блада похоронили в Вестминстере, при этом никто не сомневался, что смерть — всего-навсего очередной фокус полковника; уж слишком дурной была его репутация. Поэтому суд разрешил эксгумацию, личность Блада установили по характерному шраму на большом пальце. Спустя столетия, когда строилась Виктория-стрит, прах Блада вновь потревожили. Эпитафией полковнику Бладу суждено было стать двум язвительным строчкам, сохранившимся на листовке в коллекции Британского музея:

Хвалу взнеси фортуне, вспарившей над тобой, —  
Короны похититель похищен был судьбой.

## 5

Когда началась Первая мировая война, в Лондоне с удивлением поняли, что Тауэр снова стал тюрьмой. Никто не ожидал столь внезапного возвращения к прошлому. А когда по городу поползли слухи о пойманных шпионах и о германских диверсионных

отрядах, от слова «Тауэр» вновь повеяло ледяным ужасом.

То же самое повторилось и во время последней войны. Тауэр внезапно закрыл ворота и превратился в крепость. Прекратились даже экскурсии школьников. Именно в Тауэр доставили Рудольфа Гесса, совершившего свой знаменитый загадочный перелет в Шотландию. Его содержали в комнате верхнего этажа дома тюремщика; окна этой комнаты выходят на Тауэр-Грин.

Мне рассказывал один из охранников, что в первые месяцы войны всех взятых в плен немецких подводников сначала доставляли в Тауэр, а уже потом распределяли по лагерям для военнопленных. Вообразите себе: вас только что подобрали в Северном море — и вдруг вы оказываетесь в Тауэре! Неудивительно, что многие из пленных сильно нервничали. Некоторые всерьез ожидали, что сначала их будут пытаться, а потом поставят к стенке.

Сам Тауэр благополучно пережил две мировые войны. Вильгельм Завоеватель наверняка изумился бы, узнав, что Тауэр выдержал две воздушные атаки — ведь норманн строил эту каменную громадину как защиту исключительно от стрел, копий и снарядов примитивных метательных машин. И в первую, и во вторую войну предпринимались попытки разрушить Тауэрский мост; бомбы падали в опасной близости от крепости. В ходе последней войны на территории крепости было зафиксировано пятнадцать прямых попаданий авиабомб. Как ни удивительно, ни одна из них не причинила серьезного ущерба. Вдобавок Тауэр подвергся атакам самолетов-снарядов (три ракеты «Фау» попали во внутренний двор крепости) и бомбардировке зажигательными бомбами. Потери исчислялись только погибшими воронами, а материальный ущерб — разбитыми оконными стеклами.

Едва война закончилась, было принято решение восполнить поголовье воронов. Неизвестно, когда эти зловещего вида птицы стали неотъемлемым атрибутом Тауэра. Возможно, в Тауэре они просто более заметны, чем в других районах города, и потому пользуются повышенным вниманием. Мусорщиками средневекового Лондона были животные и птицы — свиньи, коршуны, вороны. Посещавшие город иностранцы отмечали чрезвычайно большое поголовье коршунов, особенно на старом Лондонском мосту; один наблюдатель описывал, как коршуны, камнем падая вниз, отбирают у людей съестное (аналогичную картину можно увидеть в современном Каире). Нередко встречались и упоминания о том, что, в отличие от других народов, англичане не испытывают суеверного страха перед воронами и не имеют ничего против омерзительного карканья. Напротив, англичанам нравится эта птица и они ее защищают. Коршунов и воронов, которые в прежние времена великолепно справлялись с обязанностями санитаров, стали отлавливать и отстреливать лишь в конце восемнадцатого века, когда в Лондоне ощутили необходимость санитарно-гигиенических мер. С тех пор количество этих птиц в столице резко сократилось. Остались лишь тауэрские вороны — последние представители некогда многочисленной компании привилегированных городских жителей.

Одному из стражников вменяется в обязанность следить за воронами, а комендант Тауэра еженедельно тратит шиллинг и шесть пенсов на содержание каждой птицы. Воронам присваивают имена и как на военнослужащих заводят учетные карточки, в которых отмечают особенности характера и личные качества. Одной птице, появившейся на свет между двумя войнами, дали имя Джеймс Кроу<sup>[5]</sup>, а в графе профессия записали — «вор».

Ныне в крепости постоянно проживают шесть птиц. Когда после войны объявили, что Тауэр желает приобрести воронов, со всех концов страны посыпались предложения. Нынешние шесть птиц родом из Шотландии, Уэльса и Корнуолла. Они родились на свободе и были доставлены в крепость, когда им еще не исполнилось и года. Это четыре самца и две самки; весной они строят подобия гнезд (всего несколько веточек), но до сих пор не было случая, чтобы у тауэрских воронов появилось потомство. Эти птицы живут очень долго. Говорят, один ворон умер в возрасте сорока четырех лет.

## 6

Считается, что место в Тауэр-Грин, где стояла плаха, пропитано кровью бесчисленных жертв. Однако на самом деле здесь были казнены всего лишь шесть узников, из них пять — женщины. Как правило, казни осуществлялись за пределами Тауэра, на Тауэр-Хилл, где в Тринити-Гарденс можно увидеть огороженное пространство, внутри которого и стоял эшафот. Персон королевской крови и женщин прилюдно не казнили, именно поэтому шесть упомянутых казней были совершены внутри Тауэра. Пять казненных женщин — это королева Анна Болейн, королева Екатерина Говард, леди Рочфорд, графиня Солсбери и леди Джейн Грей. Единственный мужчина, казненный в Тауэре, — граф Эссекс, которого тайно умертвили с одобрения королевы Елизаветы.

Кто знает, справедливы или нет были чудовищные обвинения, выдвигавшиеся против Анны Болейн? Пожалуй, стоит напомнить, что за два месяца до ее гибели иностранные послы в Лондоне сообщали европейским монархам: Генрих VIII заигрывает с Джейн

Сеймур. Была Анна виновна или нет, ясно одно — Генриху она успела надоесть.

Ее отправили в Тауэр, признали виновной и приговорили к смерти — либо через сожжение на Тауэр-Грин, либо через обезглавливание, в зависимости от того, «каким будет соизволение короля». Казнь назначили на третий день после так называемого суда. Согласно документам Государственного архива, перед своей гибелью несчастная молодая женщина (ей было двадцать девять лет) то впадала в истерику, то проявляла удивительное самообладание. В истерике она заходилась хохотом и все время ощупывала свою необычайно тонкую шею, так как ей была невыносима сама мысль о том, что эту красоту перерубит топор. Король согласился удовлетворить просьбу Анны заменить топор на меч и обезглавить ее на французский манер. Однако не нашлось ни одного обладающего соответствующими навыками англичанина, который пожелал бы казнить королеву, поэтому палача вызвали из Кале. Он прибыл в Англию со своим мечом, но без костюма палача. Костюм пришлось спешно шить, и в наших архивах сохранился счет за эту работу.

В два часа ночи 18 мая 1536 года Анну Болейн разбудили и отвели в часовню, где ее ожидали три священника. Перед причастием и после она клялась спасением собственной души в том, что никогда не изменяла королю.

Когда утренний свет проник в Тауэр, королева поднялась с колен, успокоилась и приготовилась к смерти. Это кажется невероятным, но в семь часов утра она села завтракать вместе со своими перепуганными, заплаканными фрейлинами. Никто из них ночью не сомкнул глаз, все находились на грани истерики. Покончив с едой, Анна резко поднялась и бросилась в объятия миссис Маргарет Ли. Жалобно всхлипывая, она просила, чтобы ее поминали все слуги Гевер-касл, замка

в графстве Кент, принадлежавшего ее отцу. Она вспоминала своих щенков и пони, которые остались в Гринвиче. Тянулись долгие минуты прощания, а роковых шагов в коридоре по-прежнему не было слышно. Не в состоянии более выносить неопределенность, Анна попыталась выяснить причину задержки. Оказалось, что казнь перенесли на полдень — вероятно, костюм французского палача еще не был готов. Тогда королева вызвала констебля Тауэра Кингстона.

— Мистер Кингстон, — обратилась она к нему, — я слышала, что не умру до полудня, и весьма об этом сожалею, так как думала, что к этому времени буду уже мертва и боль пройдет.

— Вам не будет больно, мадам, — ответил Кингстон. — Все исполнят аккуратнейшим образом.

— Я слышала, палач весьма умелый, — сказала Анна. — К тому же у меня тонкая шея.

Она расхохоталась и сжала пальцами горло, как часто делала, когда впадала в истерику. Но ее спокойствие поразило Кингстона, который написал министру Кромвелю следующее: «Я видел множество мужчин и женщин, приговоренных к казни, и все они находились в великой печали. Но эта дама ведет себя весьма весело и радуется смерти».

Днем королеву ожидало очередное потрясение. Ей сообщили, что казнь перенесена на следующее утро, то есть на пятницу 19 мая. Пришлось пережить еще одну ночь перед смертью. Может быть, у Анны появилась надежда, сопровождающая человека до самой плахи. Быть может, внутренний голос нашептывал ей, что причина новой задержки — сам Генрих, сердце которого смягчилось. Если так, то надо признать, что несчастная королева просто не знала своего мужа.

Рано утром Кингстон попросил королеву приготовиться. Он дал ей кошелек с двадцатью фунтами. Согласно обычаю, она должна была

распределить эти деньги между палачом и его подручными. (Что может быть более противоестественно и более отвратительно, нежели чаевые палачу?) Тем временем фрейлины одели королеву. Около девяти утра снова пришел Кингстон и сообщил, что все готово.

Ужасная процессия двинулась через королевские покои Тауэра, вышла в залитый утренним солнцем двор и направилась к эшафоту Тауэр-Грин. Первыми шли двести гвардейцев с алебардами, за ними следовал палач из Кале. Верхнюю часть его лица скрывала черная маска, на голове была высокая шляпа, форма которой напоминала рог. По обеим сторонам от него шли английские палачи, в обтягивающих костюмах алого цвета. Алые маски полностью скрывали их лица, а на головах у них были такие же, как у француза, шляпы, только алые, а не черные.

Затем следовали официальные представители Тауэра, за ними шла Анна Болейн в сопровождении священника Терлуолла с одной стороны и преданной миссис Маргарет Ли с другой. Лицо королевы заливал румянец, глаза покраснели от слез. На Анне было просторное платье из серого дамаста с горностаевым воротником. Из-под платья выглядывала нижняя юбка. Темные волосы скрывались под маленькой черной шляпкой, надетой поверх белого чепца. С пояса свисала золотая цепь с крестом, а в руках королева держала молитвенник в золотом переплете. Все заметили, что Анна постоянно оборачивается, словно пытается найти кого-то среди небольшой группы зевак, выстроившихся по краям дороги. Неужели она надеялась на пощаду?

Эшафот поднимался над землей на высоту пяти футов и был покрыт соломой и огражден низкими перилами. На площадке перед эшафотом установили помост с креслом для дяди Анны, герцога Норфолка. В ногах у него сидел граф-маршал. Присутствовали,

разумеется, министр Кромвель и другие придворные, которые и довели королеву до смерти. По установленному порядку Анну официально передали шерифам, которые повели ее к подножью эшафота. Было пять минут десятого. Прежде чем подняться по ступеням, королева горячо обнялась со своими дамами и попросила, чтобы они, ради нее, не теряли мужества.

Она произнесла короткую речь, в которой восхваляла короля. Затем сама сняла шляпу и обнажила шею. На голову ей надели небольшой холщовый колпак.

— Увы, моя бедная голова, скоро ты скатишься на грязный эшафот, — сказала она.

Встав на колени, королева в течение двух минут тихо молилась. Поднявшись на ноги, она зажмурилась, а миссис Ли завязала ей глаза носовым платком. Затем Анну подвели к плахе и поставили на колени. Преданные ей женщины всхлипывали в дальнем углу эшафота. Французский палач снял башмаки.

— Господь, прими мою душу! — воскликнула королева.

Француз извлек из соломы свой меч. Неслышно ступая по эшафоту ногами в чулках, он приблизился к жертве, жестом показал одному из подручных, чтобы тот подошел к королеве с противоположной стороны. Она почувствовала это движение и слегка шевельнула головой. В то же мгновение меч поднялся и резко опустился. Француз наклонился и поднял голову Анны. Вопль ужаса пронесся по толпе, ибо смерть пришла столь стремительно, что губы королевы все еще шевелились, произнося слова последней молитвы. Так была выполнена воля короля.

Затем произошло нечто странное. Выяснилось, что никто не позаботился о гробе. Всхлипывающие фрейлины остались наедине с телом своей госпожи. Они долго решали, куда положить тело казненной, но так и не смогли подыскать подходящего укрытия. Наконец



какой-то добрый стражник принес из расположенного поблизости арсенала старый ящик для стрел из древесины вяза. Стеная и скорбя, женщины перенесли тело Анны Болейн в церковь Святого Петра-в-веригах, в двух шагах от эшафота.

Так умерла мать королевы Елизаветы, а на следующий день Генрих VIII женился на Джейн Сеймур.

## 7

Прикажи Генрих VIII своим многочисленным шпионам заглянуть в личную жизнь юной Екатерины Говард, он бы, возможно, на ней не женился и тогда удалось бы избежать многочисленных невзгод и трагедий, а Тауэр-Грин не пришлось бы вновь становиться сценой ужасающего зрелища. На портрете в Национальной портретной галерее эта молодая женщина выглядит скромно и благочестиво, как монахиня, хотя на самом деле она была веселой и распутной и узнала правду жизни в необычайно раннем возрасте. Ее отец, скупой и скрытный лорд Эдмунд Говард, был одним из обделенных богатством единокровных братьев герцога Норфолка. Дочь графа воспитывалась под присмотром «старой Агнес» — вдовствующей герцогини Норфолкской, скандальной и жадной стервы. Она приходилась мачехой герцогу, жившему в ее доме в Ламбете.

«Старая Агнес» содержала у себя нечто среднее между королевским двором и школой-интернатом. Ее посещали тринадцать девочек из хороших семей, призванные учиться у старой драконессы изысканным манерам и моральным устоям. Эти девочки спали в одной большой комнате и по ночам частенько устраивали пирушки. В архивах сохранилось упоминание

о том, как однажды после наступления темноты они стащили из кладовой пироги с голубями.

Иногда в этих пирах принимали участие деревенские юноши или родственники герцогини, также приписанные ко «двору» «старой Агнес» в качестве пажей или камергеров. Екатерина Говард, которой тогда было лет пятнадцать или шестнадцать, привлекла к себе внимание некоего учителя музыки, мистера Мэннока, или Мэнокса, а также мистера Фрэнсиса Дерхэма, который играл на мандолине. Ревнуя Екатерину к Дерхэму, Мэннок написал герцогине записку, в которой советовал ей зайти в общую спальню, после того как стемнеет. Последовав этому совету, герцогиня застала веселую компанию врасплох. В частности, она обнаружила, что Дерхэм и Екатерина Говард «целуются, заключив друг друга в объятия». Старая леди принялась раздавать направо и налево оплеухи, а молодые люди пустились наутек; похоже, в тот момент никто из них особенно не расстроился. Они огорчились лишь спустя несколько лет. Когда о случившемся стало известно лорду Уильяму Говарду, тот только воскликнул: «Вот сумасбродные девки!» Одной из этих сумасбродных девок суждено было стать супругой венценосца.

Когда Генрих впервые увидел Екатерину Говард, ему было под пятьдесят, а ей около девятнадцати. Тучный и злобный, мучимый букетом болезней, король страдал манией величия, поглощал невероятное количество пищи и злоупотреблял спиртным, да и наружность у него была, говоря откровенно, не слишком привлекательная. Он не мог ходить самостоятельно и передвигался только с помощью приближенных. За те шесть лет, что минули после казни Анны Болейн, Генрих успел превратиться в настоящего домоседа. Он женился на Джейн Сеймур, которая умерла родами принца, принеся королю наследника — будущего Эдуарда VI.

Затем он вступил в платонический брак с непривлекательной Анной Клевской, но быстро наскучил ей и развелся, причем назначил Анне пенсию, выдал свидетельство о непорочности и пожаловал титул «королевской сестры».

Встретив Екатерину Говард именно в этот период своей жизни, король считал девушку неотразимой. Он клялся, что никогда прежде не встречал столь приятной и скромной девицы. Генрих называл Екатерину своей «розой без шипов». Испытывая к ней самые нежные чувства, он забрал девушку из-под отчего крова и привез во дворец, где она всем понравилась. «Она всегда смеется и пребывает в радостном настроении», — писал французский посол Марильяк, а в Париже, должно быть, цинично улыбались, читая эти строки.

Летом 1540 года Генрих тайно женился на Екатерине. Он был безумно счастлив; после семи унылых месяцев с Анной Клевской Екатерина казалась ему проблеском солнечного света. Под ее влиянием он даже помолодел. «Король завел новый распорядок дня, — докладывал Марильяк своему монарху Франциску I. — Он встает между пятью и шестью часами, в семь слушает мессу, а затем уезжает на верховую прогулку и возвращается к обеду, который начинается в 10 часов утра».

Через год после свадьбы Генрих отправился в путешествие по северной Англии, Екатерина поехала вместе с ним. В их отсутствие некий Лассалль, которого историк Фрауд, напроць забывший о последующих событиях, называет джентльменом, пришел к находившемуся в Лондоне архиепископу Кентерберийскому и поведал о том, что до замужества королева находилась в близких отношениях с Мэнноком и Дерхэмом. К тому времени архиепископ Кранмер, должно быть, уже окончательно потерял голову от чрезмерного количества сотрясавших английский двор

разоблачений в неверности; вместо того чтобы спустить этого Лассалля с лестницы, он раструбил новость по всему Лондону, в том числе рассказал лорду-канцлеру и другим придворным. Когда вернувшийся из поездки король находился в Хэмптон-Корте, ему пересказали эту историю. Генрих отказывался верить, что грязные слухи имеют отношение к его «розе без шипов», но все же распорядился провести расследование.

Мэннок и Дерхэм были арестованы и во всем сознались. Созвали заседание королевского совета. Когда Генриху представили доказательства вины Екатерины, он разрыдался. Его дородное тело (точнее сказать, тушу) еще долго сотрясали спазмы. Кранмера отправили к королеве, которая после истерики признала свою вину и молила короля о прощении. Из Хэмптон-Корта ее перевезли в Сайон-хаус. После допроса фрейлин выяснилась не менее шокирующая подробность. Во время путешествия на север прекрасная, но ядовитая как змея, леди Рочфорд тщательнейшим образом изучала окрестности королевской опочивальни, черные лестницы и потайные ходы, дабы мистер Томас Калпепер, придворный короля, мог без помех навещать королеву. Когда это открылось, стало ясно: Екатерина Говард виновна. Леди Рочфорд отправили в Тауэр, вскоре к ней присоединился Томас Калпепер. На суде он признал, что они с Екатериной были влюблены друг в друга еще до того, как она вышла замуж за короля.

«Не стремитесь узнать более того, что король отнял у меня женщину, которую я люблю больше всего на свете, — сказал он на суде. — Можете меня за это повесить, но мы любим друг друга, хотя вплоть до сего часа между нами не было ничего дурного».

Калперера повесили в Тайберне, затем, еще живого, сняли с виселицы, четвертовали и обезглавили.

Генрих повел себя весьма необычно. Ему не хотелось казнить свою «розу без шипов». Он предпочел бы заключить ее в монастырь. Теперь, когда ее возлюбленный был мертв, Екатерина просила лишь о том, чтобы ее не казнили прилюдно. Пролетели месяцы, на протяжении которых королева внешне оставалась жизнерадостной, носила лучшие наряды, признавала свою вину и говорила, что заслуживает смерти.

Наконец король принял решение. 10 февраля 1542 года королеву по воде отправили в Тауэр. Первой шла лодка с двадцатью четырьмя гребцами; на ней находился лорд-хранитель малой государственной печати. Затем следовала маленькая двухвесельная лодка, под тентом сидела королева. Замыкала процессию роскошная барка графа Саффолка с сотней вооруженных людей. Когда лодки проходили под Лондонским мостом, уже стемнело, иначе королева наверняка разглядела бы над центральным пролетом насаженную на копье голову своего возлюбленного. Под покровом тьмы одетая в черный бархат Екатерина сошла на берег у Ворот изменников и проследовала в отведенные ей покои.

Через два дня ей сообщили, что следующим утром она должна умереть. Вот тогда-то Екатерина и обратилась к своим тюремщикам с просьбой, с какой за всю историю Тауэра не обращался ни один из приговоренных к смерти узников. Она сказала, что поскольку не знает, как себя поведет во время казни, то просит, если это возможно, перенести плаху в ее комнату, чтобы у нее была возможность подготовиться. Эту просьбу удовлетворили. Екатерина встала на колени перед установленной в центре комнаты плахой и опустила шею в желоб, а затем поднялась со словами, что сумеет «достойно и с изяществом пройти через это ужасное испытание».

На следующий день в семь часов утра Екатерину Говард ожидала та же зловещая церемония, какую всего шесть лет назад выдержала Анна Болейн. Она прошла через те же королевские покои и оказалась на том же самом месте в Тауэр-Грин. Взойдя на эшафот на холодном февральском ветру, Екатерина произнесла несколько слов. Она сказала, что действительно любила Томаса Калпепера и что если бы не стала королевой и осталась верна своему возлюбленному, ей не пришлось бы умирать. Затем она обратилась к одетому в алое человеку в маске, который стоял поблизости, опираясь на топор.

— Поскорее приступайте!

Согласно обычаю, он опустился на колени и попросил у нее прощения.

— Я умираю королевой, но лучше бы я умерла женой Калпепера! — воскликнула королева, перед тем как опустился топор.

В следующее мгновение ее голова упала на солому. Не успели вынести обезглавленное тело Екатерины, как на казнь вывели леди Рочфорд. Очевидцу ее казни показалось, что фрейлина «до самой своей смерти пребывала в безумии».

Излагая эти события для своего господина в Париже, французский посол заканчивает отчет следующими словами: «Таковы диковинные обычаи этой удивительной страны».

Несчастную леди Джейн Грей, которой было всего лишь шестнадцать лет, довели до смерти амбициозные родственники. Против ее воли они сделали из Джейн королеву — всего на девять дней. Гибель леди Джейн стала неизбежной после того, как Мария Тюдор отправила ее в Тауэр. Фуллер говорит, что она родилась как принцесса, была образованной как

священнослужитель, жила как святая, а умерла как преступница.

Промозглым и туманным февральским утром 1554 года этой несчастной девушке было суждено распрощаться с жизнью. Она стояла у окна своей комнаты в Тауэре, ожидая прихода тюремщиков. Вскоре она увидела группу людей, кативших ручную тележку с обезглавленным телом ее молодого супруга, лорда Гилдфорда Дадли. Его только что казнили на Тауэр-Хилл. Лишившись остатков мужества, несчастное дитя разразилось рыданиями. Через несколько минут ее повели к эшафоту.

Мрачная процессия неторопливо пересекала Тауэр-Грин: гвардейцы, алебардщики, лейтенант стражи Тауэра, маленькая и беспомощная леди Джейн в сопровождении декана Фекенхэма. Следом шли две фрейлины, миссис Элизабет Тилни и миссис Эллен, обе в слезах. Леди Джейн была в том же черном платье, в котором предстала перед судом в Гилдхолле. В руках она несла маленькую книгу и по пути на эшафот не отрывала от нее глаз. Книгой был молитвенник, одолженный у лейтенанта стражи Тауэра, сэра Джона Бриджеса.

Взойдя на эшафот, леди Джейн обратилась с короткой речью к небольшой группе присутствующих, а затем опустилась на колени, чтобы помолиться. Поднявшись с колен, она стала снимать с себя все, что могло помешать палачу выполнить свои обязанности. Похоже, всякий раз во время казни палач благоразумно держался вне поля зрения толпы. Он появлялся в последнюю минуту, чтобы, в соответствии с обычаем, встать на колени и попросить прощения у своей жертвы. Однако на сей раз палач не стал таиться и, явно из самых добрых побуждений, предложил леди Джейн свою помощь. В ответ девушка вновь разразилась слезами, и неудивительно — перед ней стоял гигант

ростом почти в семь футов. Его лицо скрывала маска, а могучую фигуру обтягивал плотный шерстяной костюм.

Наотрез отказавшись от помощи палача, леди Джейн бросилась к своим дамам. Они сняли с нее черное платье и головной убор. Затем ей дали носовой платок, которым она должна была завязать глаза. Палач опустился на колени. Она простила его и в свою очередь встала на колени.

— Вы отрубите мне голову еще до того, как я лягу на плаху? — спросила она палача.

— Нет, мадам, — ответил он.

— Где она? — спросила леди Джейн, вслепую приближаясь к плахе. — Что мне теперь делать?

Палач помог ей принять нужную позу, и через несколько секунд леди Джейн Грей расплатилась жизнью за амбиции своей семьи. Она была самой невинной из всех жертв Тауэра.

Вызывают интерес строки, которые эта шестнадцатилетняя девушка написала в молитвеннике, зная о смертном приговоре. Теперь эта книга является одним из наиболее ценных экспонатов Британского музея. Леди Джейн Грей одолжила этот молитвенник у сэра Джона Бриджеса, который попросил ее что-нибудь написать — на память. И вот что она написала:

«Добрый господин лейтенант, поскольку Вы так сильно желаете, чтобы столь неразумная женщина сделала надпись в столь ценной книге, я, будучи Вашим другом, желаю Вам и, будучи христианкой, требую от Вас молить Господа о том, чтобы Он наставил Вас на соблюдение Его заповедей, а Вашу душу на путь истинный и чтобы с Ваших уст не сорвалось ненароком слово неправды. Мы живем, чтобы умереть, поскольку ценой смерти можем обрести жизнь вечную. Вспомните кончину Мафусаила, который, как



сказано в Писании, прожил дольше всех людей, но все же умер, поскольку сказано у Екклесиаста: время рождаться и время умирать, а день кончины лучше дня нашего рождения».

## 8

С облегчением перехожу я от столь мрачных и жутких сцен к той главе истории Тауэра, которая хотя и является трагической, но, по крайней мере, содержит в себе элемент романтической комедии. Я имею в виду мой любимый эпизод этой истории, связанный с именем леди Арабеллы Стюарт.

Она была единственной дочерью Карла, графа Леннокса, который вел свой род от дочери Генриха VII Маргариты, королевы Шотландии. Арабелла приходилась двоюродной сестрой королю Шотландии Якову VI, который впоследствии стал королем Англии Яковом I, и, таким образом, находилась в опасной близости от трона. Решительный отказ пожилой королевы Елизаветы обсуждать вопрос о наследнике престола создал крайне щекотливую ситуацию, которая благополучно разрешилась посредством тайной переписки Сесила с Яковом. За спиной умирающей королевы они заключили соглашение, в соответствии с которым Яков провозглашался королем сразу же после кончины Елизаветы. Однако серьезным соперником Якова была леди Арабелла Стюарт, которая имела все основания стать преемницей Елизаветы. К тому же она была англичанкой и потому многие признавали право престолонаследия за ней, а не за Яковом.

Арабелла была бедна и от многих зависела. При дворе Елизаветы она находилась под пристальным вниманием королевы, которая считала, что до тех пор, пока Арабелла не замужем, она не опасна. Одним

словом, Арабелле уготовили судьбу старой девы; вздумай она ослушаться, то вполне могла бы оказаться в Тауэре, а то и на плахе. Как и Джейн Грей, которую казнила предыдущая монархиня, Арабелла оказалась жертвой голубой крови.

Накануне кончины Елизаветы распространился слух о том, что двадцативосьмилетняя Арабелла Стюарт вот-вот выйдет замуж. Елизавета мгновенно распорядилась ее арестовать, и свадьба расстроилась. Унаследовав престол, Яков I стал проводить ту же политику, что и Елизавета: пока Арабелла оставалась незамужней, он считал ее своей обожаемой кузиной, но выходить замуж ей было запрещено.

Уже давно замечено, что любовь ни у кого не спрашивает разрешения. В Вудстоке Арабелла втайне от Якова познакомилась с молодым студентом Оксфордского университета из колледжа Магдалины. Этот молодой человек по имени Уильям Сеймур утверждал, что ведет свой род от Эдуарда, герцога Сомерсета, и Генри Грея, герцога Саффолка. Сомерсеты, Саффолки и Стюарты — смесь чрезвычайно взрывоопасная. Арабелле уже исполнилось тридцать пять, а ее возлюбленному едва минул двадцать один год. У них было много возможностей встречаться в рощах Оксфордшира, вдали от любопытных глаз и злых языков Лондона. Однако в силу того, что человек по природе своей болтлив, их свидания недолго оставались тайной.

Едва ли эта бедная разочарованная женщина была влюблена в большей степени, нежели ее избранник. Похоже, под впечатлением ее родословной он вообразил, что эта благородная дама поможет ему воплотить в жизнь самые честолюбивые мечты. Связь с Арабеллой, несомненно, была его первым настоящим романом. Вероятно, причиной последующих событий

стала неотразимая красота тридцатипятилетней женщины, от которой он сходил с ума.

Как только Яков узнал о происходящем, влюбленных вызвали на заседание Тайного совета. Сеймур в письменной форме отрицал, что они обручены, и обещал, что они не вступят в брак без согласия короля. Объяснение было принято, и Арабелла снова оказалась в милости у короля. Но роман продолжался. На протяжении без малого четырех месяцев Арабелле и ее молодому человеку каким-то образом удавалось встречаться. Во время одной из последних встреч они тайно (как им казалось) обвенчались в Гринвиче. Наивные романтические души! Почти сразу же об их браке стало известно всему городу. Арабеллу взяли под стражу, а юного Сеймура отправили в Тауэр.

Там он весьма комфортно устроился в башне Святого Фомы, окна которой выходят на реку. Он заказал гобелены для стены, а когда ему захотелось сменить обстановку, попросил Арабеллу прислать ему мебель, и она с радостью удовлетворила просьбу Сеймура. Она писала ему любовные письма, на которые он иногда отвечал. Арабелла неоднократно обводила вокруг пальца охранников и вырывалась на свободу. Подплыв на лодке к Тауэру, она могла, по крайней мере, увидеть своего возлюбленного, поскольку окна его комнат выходили на Темзу. Эти неразумные поступки неуклонно ухудшали ситуацию. Обо всем мгновенно узнавали в Вестминстере; наконец король распорядился выслать Арабеллу на север Англии. Там она спустя некоторое время настолько расхворалась, что ее признали совершенно больной и отправили на излечение в Ист-Барнет.

Но с этой безумно влюбленной тридцатипятилетней женщиной из рода Стюартов обязательно должно было что-то случиться. Арабелла с помощью своей состоятельной тети разработала замечательный план.

Она собиралась выкрасть возлюбленного из Тауэра и отплыть вместе с ним во Францию, где надеялась жить долго и счастливо. В соответствии с этим планом однажды утром у башни Святого Фомы остановилась телега. Сеймур спрыгнул из окна и уселся на место возницы. Перед побегом он приклеил фальшивую бороду, надел черный парик и одежду извозчика. Выехав за пределы крепости, Сеймур оставил телегу на пристани. В расположенном поблизости доме его ждал друг со сменой одежды и лодкой. На этой лодке Сеймур отправился в Блэкуолл, где в одном из постоянных дворов он должен был встретиться с Арабеллой.

Пока в Лондоне происходили все эти события, переодетая мужчиной леди Арабелла скакала во весь опор, преодолевая расстояние между Ист-Барнетом и Блэкуоллом. На ней были французские рейтузы и камзол, черная шляпа, коричневые сапоги с красными отворотами и черный плащ. На боку висела рапира. Будь на то малейшая воля Провидения, эта женщина могла бы стать королевой Англии, сменив на троне великую Елизавету. Теперь же она скакала на свидание с возлюбленным.

Когда она добралась до постоянного двора, выяснилось, что Сеймур еще не приехал. Она ждала до тех пор, пока капитан нанятого ею корабля не заявил, что если они тотчас не отплывут, то рискуют пропустить прилив. Так Арабелла отправилась в Кале, а Сеймур прибыл в Блэкуолл еще два часа спустя. Он отыскал судно-угольщик и деньгами убедил доставить его в Кале; но вмешалась погода, и угольщик бросил якорь в Остенде. Разочарованные влюбленные не подозревали, что больше никогда друг друга не увидят.

Как и в случае с полковником Бладом, трагический финал удивительных приключений этой пары был предопределен стечением настолько неправдоподобных обстоятельств, что, смею вас заверить, они бы не

пришли в голову ни одному романисту. Оказалось, многие видели, как Сеймур сбежал из Тауэра, воспользовавшись лодкой. Все обратили внимание на то, что он спешил и был чем-то обеспокоен. На пристани случайно оказался отставной адмирал Монсон, разговаривавший с лодочником. Услышав о бегстве Сеймура, Монсон, которому до всего было дело, решил, что Сеймур, должно быть, скрывается от закона, и пустился за ним в погоню. Он прибыл на тот самый постоянный двор в Блэкуолле, где была назначена встреча. Выяснив, что Арабелла отплыла, а Сеймур последовал за ней, адмирал, воспользовавшись своим положением, реквизирует боевой корабль. Этот корабль флота Его Величества носил вполне соответствующее обстоятельствам название «Эдвенчер»<sup>[6]</sup>. На «Эдвенчере» адмирал пересек Канал и успел остановить корабль Арабеллы до того, как тот вошел в гавань Кале. Корабль взяли на abordаж, Арабелла сдалась — мужской наряд, учитывая ситуацию, казался теперь жалкой личиной — и вернулась в Англию, где ее заточили в Тауэр.

С этого момента любовная история превращается в трагедию. Несчастливая, всеми забытая Арабелла, сердце которой было разбито, провела в Тауэре четыре года. Ее разум помутился, и в 1615 году она умерла, окончательно утратив рассудок. Ее похоронили в Вестминстерском аббатстве, в том же самом склепе, где покоились останки Марии, королевы шотландцев. А что же Сеймур? Узнав, что Арабеллу схватили, он остался на континенте и вернулся в Англию только после ее смерти. Яков, как ни странно, проявил к нему снисхождение и очень многое для него сделал. Получивший титул графа Хертфорда, Сеймур храбро сражался на стороне Карла I. Он пережил эпоху Республики и, уже семидесятидвухлетним стариком, присоединился к тем, кто поехал в Дувр, чтобы

приветствовать вновь вступавшего на трон Карла II. В том же самом году его сделали герцогом Сомерсетом, а вскоре он умер. Хотя в годы своей юности он вел себя крайне легкомысленно (наверное, многие не считают его привязанность к леди Арабелле серьезным чувством), тем не менее он до самого конца хранил воспоминания об этом романе. Утверждаю это потому, что перед самой смертью он попросил похоронить себя рядом с ней. Но его желание не было исполнено.

## 9

Воскресным утром я направился в Тауэр на службу в церковь Святого Петра-в-веригах. Поскольку был выходной, в Сити стояла непривычная тишина. Было время прилива, и уровень воды в Темзе заметно поднялся. На Тауэрском мосту, который соединяет южный берег Темзы с Тауэром, не было заметно какого-либо автотранспорта. Сверкая на солнце ослепительной белизной, он выглядел более чем привлекательно.

Поскольку было еще слишком рано, я присел на скамью, расположенную неподалеку от того места, где находилась плаха Тауэр-Грин. По газону неуклюже прохаживался ворон. Подобно крылышкам жука, его устало опущенные крылья отливали синевой. Он лениво поднимал лапы, а сидевший под деревом на поводке роскошный кот внимательно и нарочито бесстрастно наблюдал за передвижениями ворона. Несколько неестественно опрятного вида детишек репетировали воскресные церковные песнопения. Вокруг прохаживались туристы, имеющие разрешение на посещение Тауэрской церкви. Поодаль возвышалось черно-белое здание в стиле эпохи Тюдоров. Кингс-хаус — резиденция коменданта Тауэра. Много лет назад ныне покойный прежний комендант жаловался мне, что не

может держать в своем доме слуг, поскольку все двери открываются и закрываются весьма необычным способом, а по ночам раздаются странные звуки. Нынешний комендант пока не обнаружил в доме ничего сверхъестественного; мне показалось, что он скорее этим разочарован, нежели обрадован. Говорят, что в той комнате, где сейчас его гардеробная, Анна Болейн провела ночь перед казнью.

Должен сказать, что в столь насыщенном человеческими трагедиями месте, как Тауэр, истории о привидениях звучат как-то неубедительно. Обычно привидений наблюдают лишь слабонервные часовые, заступившие на пост в безлунную ночь. И только немногие из этих привидений достойны того, чтобы о них рассказывали при свете дня. Исключением, пожалуй, является тот призрак, у которого один часовой осмелился спросить пароль. Во время дачи показаний военному трибуналу этот солдат даже описал наружность призрака. Намного более странным, нежели все истории о встречах с привидениями, представляется инцидент, описанный сэром Уильямом Барретом в книге «На пороге невидимого». Это случилось в июне 1889 года, во время одного из спиритуалистических сеансов. Пользовавшийся планшетом медиум обнаружил, что на его инструменте появилась надпись, сделанная перевернутыми буквами. Имя: «Джон Гэрвуд». Затем появилось целое предложение: «В Рождество исполнится сорок четыре года с тех пор, как я себя убил». Когда был задан вопрос, не служил ли он в армии, «Джон Гэрвуд» ответил: «Да, но моим оружием было перо, а не меч». На вопрос, где и когда он был ранен, «Гэрвуд» ответил: «На Иберийском полуострове. В голову. Я был ранен в 1810 году».

Ни медиум, ни другие присутствовавшие на сеансе люди никогда не слышали о Джоне Гэрвуде, но благодаря «Ежегодному справочнику» за 1845 год (год

самоубийства «Гэрвуда») выяснилось, что полковник Джон Гэрвуд был заместителем коменданта Тауэра и получил ранение в голову во время штурма Сьюдад-Родриго. Работа по редактированию донесений Веллингтона повредила его рассудок, и он покончил с собой в Рождество 1845 года. Если медиум действительно ничего не знал о Гэрвуде, то эту историю с полным основанием можно считать подлинной историей тауэрского привидения. Имя Джона Гэрвуда увековечено в поминальных списках церкви, но никаких упоминаний о самоубийстве в них, естественно, не найти.

Тем временем зазвонил церковный колокол. Двери дома на Тауэр-Грин распахнулись, и из них вышел тюремщик в тщательно отглаженном костюме из голубой саржи. В сопровождении своих жен и родственников несколько стражников пересекли Тауэр-Грин. В цивильном платье они выглядели довольно странно. Со стороны казалось, что они идут на службу в деревенскую церковь.

Собралась паства — примерно пятьдесят прихожан: стражники со своим домочадцами, несколько офицеров гарнизона с женами и некоторое число посторонних. Вскоре появился церковный хор. Мальчики-хористы были одеты в алые сутаны. Их сияющие радостью лица выделялись на фоне накрахмаленных белоснежных воротников. Началась служба, и в промежутках между песнопениями отчетливо слышалось карканье находившихся снаружи воронов. Впрочем, большинство прихожан настолько привыкло к этим звукам, что их, похоже, никто не замечал. Мне же это карканье напоминало о том, что мы находимся в Тауэре, а не в маленькой приходской церкви в сельской местности.

К сожалению, я отвлекался от литургии, постоянно размышляя о тех, чей прах толстым слоем лежит под мозаичным полом церкви Святого Петра-в-веригах. Этот



храм посвящен самому безупречному из всех апостолов — скованному цепями святому Петру. Здесь, в этом мрачном месте, первый из апостолов, испытавший на себе, каково быть закованным и приговоренным к смерти узником, раскрывает свои объятия, дабы принять души таких же, как он сам, узников, оковы которых разрубил топор палача. Это своего рода малое Вестминстерское аббатство, здесь покоятся останки тех несчастных, от которых отвернулась судьба. Это кладбище при Тауэр-Хилл и приходская церковь при эшафоте, на котором приговоренные подвергались жестокой казни. Под ее мозаичным полом лежат останки сэра Томаса Мора, лорда Рочфорда, Анны Болейн, Томаса Кромвеля, Екатерины Говард, леди Рочфорд, лорда Томаса Сеймура Садли, Эдварда Сеймура — герцога Сомерсета, лорда Гилдфорда Дадли, леди Джейн Грей, Томаса Говарда — герцога Норфолка, Роберта Деверо — графа Эссекса, сэра Томаса Овербери, Джеймса — герцога Монмута, шотландских лордов, казненных в 1745 году, и многих других.

В свое время некоторые из тех, чей прах лежит в этой церкви, были столь же уважаемыми и знатными людьми, как и те, кто с пышными церемониями и под звуки государственного гимна упокоился в церкви Вестминстерского аббатства. Но сюда их приносили обезглавленными, зачастую под покровом ночи. Тюремщики старались как можно быстрее скрыть их тела от любопытных взглядов, а те, кто смел их оплакивать, делали это втайне. Маколей абсолютно прав, называя эту церковь самым печальным местом на свете.

Во времена королевы Виктории началась реконструкция церкви, и при земляных работах были обнаружены трагические, жуткие находки. Те, кому пришлось демонтировать и перекладывать неф церкви, наткнулись на останки нескольких наиболее известных в

истории Англии мужчин и женщин. Все они лежали рядом друг с другом, в том месте, куда их поспешно сбрасывали. Именно тогда было опровергнуто семейное предание рода Норфолков, согласно которому тело Анны Болейн тайно вывезли из Тауэра и погребли заново в семейном склепе в Салле. Кости осмотрели медицинские эксперты, было точно установлено, что они принадлежат именно Анне Болейн. Оказалось, что рост Анны вряд ли превышал пять футов и составлял от силы пять футов и три дюйма. Екатерина Говард также была необыкновенно крохотной женщиной. С соблюдением всех мер предосторожности эти внушающие благоговейный трепет останки переложили в свинцовые саркофаги и перезахоронили.

Исполнив заключительное песнопение, которое сопровождалось карканьем услышавших нас воронов, мы все вместе вышли на солнечный свет.

## **10**

Если вы желаете осмотреть место, где стоял эшафот, на котором принимали смерть жертвы королевского недовольства (кроме тех шестерых, о которых говорилось выше), вам следует выйти из Тауэра. Поднявшись на Тауэр-Хилл, идите в направлении маленького заброшенного парка Тринити-Гарденс. Он расположен напротив административного корпуса лондонских доков.

Оказавшись в этом парке, я обнаружил, что он находится в ужасном состоянии. Территория вплоть до ограды завалена мусором и камнями. Повсюду грязные обрывки газет, разбитый кафель и старая обувь. Один из столбиков, обозначающих границы парка, сброшен на землю. Мне показалось, что за этим местом никто не ухаживает.

Там, где стоял эшафот, лежал букетик увядших цветов с прикрепленным к нему клочком бумаги, на котором было написано: «В честь Святого Джона Фишера и Святого Томаса Мора, которые умерли на этом месте во славу Господа и Святой Католической Церкви».

## Глава третья

# Биллингсгейт и Саутуорк

*Ранним утром я иду на Лондонский мост, посещаю рынок Биллингсгейт и, перейдя через мост, оказываюсь в Саутуорке, где осматриваю великолепный кафедральный собор и старинный постоялый двор. Я поднимаюсь на колонну, воздвигнутую в память о пожаре 1666 года, и оттуда разглядываю рыбный рынок, затем посещаю Геральдическую палату.*

### 1

Наступило серебристо-серое утро; вскоре после восьми я уже стоял на Лондонском мосту. Буксиры деловито сновали по реке, уровень которой заметно поднялся благодаря приливу. С одной стороны от меня возвышался Тауэр, в утреннем тумане казалось, будто он вырублен из стального листа. Неподалеку берега Темзы соединяла замысловатая готическая конструкция Тауэрского моста. С другой стороны над черными крышами Кэннон-стрит вздымался купол собора Святого Павла.

Навстречу мне двигалась целая армия лондонцев. Некоторые с пустыми руками, другие с газетами под мышкой, третьи с «дипломатами». Все они энергично и целенаправленно шагали в одном направлении. Уж не знаю, сколько сотен тысяч мужчин и женщин из южных пригородов каждое утро выходят на платформы станции метро «Лондонский мост», но приблизительно с восьми до полдевятого все они нескончаемым потоком тянутся по этому мосту. Менеджеры и клерки, машинистки и рассыльные, молодые и пожилые, высокие и

низкорослые, малопривлекательные и симпатичные, одетые с иголочки и в костюмах не первой свежести, счастливые и угрюмые... Кого только здесь не увидишь! Словно увлекаемый каким-то невероятно мощным течением, весь этот человеческий поток приближается к офисам, банкам, складам и магазинам Сити.

Именно на мосту проще всего присматриваться к людям, которые в наши дни работают в Сити. В других районах Лондона пик ежедневной деловой активности наступает почти незаметно. Туда люди прибывают со всех направлений, пользуясь автобусами или метро. Они спешат на свои рабочие места, растекаются по всему району, будто кролики, каждый из которых бежит в свой садок. Там — отдельные люди, спешащие на работу, а не толпа, которая движется в одном направлении. Но здесь, на Лондонском мосту, на ваших глазах тысячи людей перебираются с южного берега реки на северный, идут слаженно и почти в ногу, словно армия на марше.

Из всех маршрутов, которые ведут в центр Лондона, этот является наиболее романтичным. Пересекая мост, справа от себя видишь старый Тауэр, который ранним утром выглядит как рождественская открытка. Слева собор Святого Павла, а прямо впереди — Монумент, крыши зданий Сити, башни и шпили церквей. Но лишь очень и очень немногие из тысяч людей, спешащих на работу по утрам, останавливаются, чтобы бросить взгляд на реку.

Каждое утро они идут по этому мосту, большинство из них уже давно не смотрит по сторонам. Вероятно, в те дни, когда они только начинали ходить на работу, панорама, открывающаяся с моста, производила на них сильное впечатление, но потом они перестали ее замечать. Впрочем, пускай они о том и не догадываются, этот вид навсегда отложился в их памяти, запечатлелся в сердце. В Кении, Бразилии или где-либо еще они ни с того ни с сего вспоминают в мельчайших подробностях

утреннюю прогулку по мосту, вспоминают с любовью, из которой прорастает ностальгия по дому. Но если вы им об этом скажете, скорее всего, они будут все отрицать, даже примутся убеждать, что с радостью предпочли бы Кению или Бразилию ежедневному моциону по Лондонскому мосту и ежедневному присутствию на рабочем месте. Но люди, оказавшиеся в самых отдаленных уголках мира, готовы отдать все, чтобы услышать стук лошадиных копыт по Лондонскому мосту, мерную поступь пешеходов, гудки буксира и шум портовой суеты. Помимо этих утренних звуков, существует и серебристо-серая дымка, из которой с достоинством аристократов выступают старинные здания. А еще — запах, точнее, множество запахов: от запаха рыбы, доносящегося с Биллингсгейта, и прохладной утренней свежести реки до резкого запаха бензина, который оставляют после себя проезжающие мимо красные омнибусы. Эти воспоминания берегут сердце того, кто далеко от Лондона, но совершенно не тревожат тех, кто сталкивается с ними каждый день.

Для меня вид, открывающийся ранним утром с Лондонского моста, олицетворяет Лондон. Этот вид прекрасен и романтичен и, как все прекрасное, производит глубокое впечатление. На этом мосту бесчисленное количество молодых людей предавалось мечтаниям, и у них, быть может, впервые в жизни возникали честолюбивые замыслы. Я частенько наблюдал за мальчишками-посыльными, которые перегнувшись через парапет Лондонского моста, разглядывают реку, вместо того чтобы доставлять адресатам срочные депеши. Большинство из них, наверное, ни о чем особенном не помышляет, но всегда найдется один парнишка, который не может бездумно пялиться на Лондонский порт. Отвернувшись от кораблей и пикирующих чаек, он возвращается к своим обязанностям, полный решимости стать Диком

Уиттингтоном или Уолтером Рэли. Правда, в нынешних школах, вполне возможно, учат, что Дик Уиттингтон был эксплуататором, а Рэли — пиратом? Надеюсь, что это не так.

Должно быть, в старину с моста открывался еще более заманчивый вид. В те времена далеко не все корабли вставали на якорь в доках, расположенных ближе к устью реки, и в Лондонском порту поднимался лес мачт, густой, как сосновая роща в графстве Суррей. Здесь можно было увидеть торговые суда из Индии, Перу, Китая, Америки и покрытых джунглями жарких островов Индонезии. Убрав паруса, они бросали якорь у Лондонского моста и прижимались бортами друг к другу.

Когда мне наскучило наблюдать за бесконечным потоком людей, текущим в Сити, я перенесся мыслями в прошлое. Старый Лондонский мост больше напоминал улицу с домами, нежели переброшенную через реку конструкцию с пролетами. Представьте себе, что Чипсайд отправилась на прогулку в Суррей. Старый мост демонтировали в начале девятнадцатого столетия, после чего примерно в тридцати ярдах выше по течению реки построили новый. Камни, железо и дерево, которые в течение столетий сопротивлялись натиску Темзы, пошли на продажу. Некий продавец ножевых изделий со Стрэнда купил пятнадцать тонн железа, покрывавшего волноломы старого моста. Он заявил, что это лучшая сталь из всех, какие доводилось видеть. Нет сомнений в том, что около 1835 года из этой стали были изготовлены тысячи ножей. Камни пошли на строительство Ингресского аббатства неподалеку от Гринхита (ныне в здании аббатства размещается военно-морской колледж). Древесина вяза, служившая настилом, пошла на изготовление тысяч безделушек — табакерок и тому подобного. Владельцам этих безделушек, вероятно, невдомек, что старый

Лондонский мост, изменившись до неузнаваемости, продолжает жить.

За большим современным зданием Аделаида-хаус на Лоуэр Темз-стрит стоит церковь Святого Магнуса Мученика. Старый Лондонский мост касался берега Сити как раз напротив этой церкви. Фактически сводчатая колокольня была частью моста.

Порой мне приходит в голову, что, живи я в Лондоне эпохи Тюдоров или Стюартов, я предпочел бы владеть домом именно на Лондонском мосту. Наверное, это чистой воды романтика. Вспоминая старый мост, Пеннант писал, что «только сила привычки заставляла сохранять спокойствие его обитателей, которые глохли от плеска воды, криков лодочников и диких воплей несчастных утопающих». Думаю, в те времена перед наблюдателем, смотревшим с моста на запад, открывалась величественная панорама. Ничто не мешало охватить взглядом все течение широкой реки, катящей свои воды мимо Темпла и Вестминстера — ведь вплоть до 1749 года других мостов на Темзе попросту не было. Столь же превосходен был вид на восток: сквозь такелаж вставших на якорь судов проступал Тауэр. В ту пору, когда Темза служила главной транспортной магистралью Лондона, дома на Лондонском мосту, должно быть, выглядели подобно своим собратьям по берегам Большого канала в Венеции. Обитатели моста занимали и дозорную башню, с которой было отлично видно и слышно все, что происходит на Темзе.

Вообразите, что вы проснулись весенним утром в шекспировском Лондоне, в одной из комнат средневекового дома на Лондонском мосту. Какая разноголосица! Плеск воды под арками моста, лязг и тяжелые вздохи водяных мельниц и других механизмов, подобранных вплотную к реке, клекот парящего высоко в небе коршуна — звук, которого лондонцы не слышали давным-давно. А какой Лондон открылся бы



вам при взгляде в открытое окно! Прижавшиеся к кромке воды старинные черно-белые дома, которым суждено было исчезнуть в пламени Большого пожара; сады, выходящие на реку, колокольни церквей над черепичными крышами и господствующий над городом шпиль собора Святого Павла.

Должно быть, владельцы магазинов на мосту представляли собой обособленное общество — общество единственных «сухопутных крыс», живших и трудившихся на Темзе. Казалось, они сошли на берег с борта некоего загадочного корабля. Говорят, на Лондонском мосту жил Гольбейн. Свифт и Поуп частенько навещали лавку старого книготорговца по имени Криспин Такер. Во время работы над гравюрами для Джона Боулса из Корнхила на мосту жил Хогарт, запечатлевший мост на одной из гравюр серии «Модный брак». Также на мосту обитал художник-маринист Питер Мономи. Проживал на мосту и галантерейщик Болдуин, которому его врач настоятельно рекомендовал переехать в сельскую местность, но который вернулся в Лондон, поскольку потерял сон из-за скрипа водяной мельницы.

Этот мост, считавшийся невероятно древним уже во времена Тюдоров, менялся от эпохи к эпохе. Порой его дома сгорали дотла и их приходилось восстанавливать. Магазины либо становились модными, либо теряли своих покупателей. В эпоху королевы Елизаветы Лондонский мост стал излюбленным местом издателей и книготорговцев. На титульных листах книг той поры можно обнаружить названия следующих печатных мастерских с Лондонского моста: «The Three Bibles», «The Angel» и «The Looking Glass». Не исключено, что на мосту можно было встретить и Шекспира, листающего книги, поглаживающего «Плутарха» Норта или размышляющего о том, нужен ли ему совершенно никчемный том Холиншеда или новая книга

Реджинальда Скота под названием «Discoverie of Witchcraft» («Открытие колдовства») — нет, последняя пригодится совершенно точно для пьесы о Макбете!

Мы располагаем только тем списком владельцев магазинов Лондонского моста, который был составлен в 1633 году, когда пожар уничтожил некоторое количество домов. Среди сгоревших оказались восемь галантерейных лавок, шесть трикотажных, одна обувная, пять шляпных, три магазина шелковых тканей, одна портновская, две перчаточных мастерских, лавка «дистиллятора крепких напитков», лавка по продаже ремней, одна парусиновая мануфактура, две шерстяные, одна соляная лавка, две бакалейные, одна нотариальная контора, лавка производителя булавок, дом приказчика и дом викария церкви Святого Магнуса Мученика. Позже число «производителей булавок» возросло; Пеннант сообщал, что в его время «большинство домов арендовали производители булавок и иголок, а бережливые хозяйки имели обыкновение приезжать сюда, чтобы сделать дешевые покупки. Так поступали даже те, кто жил в районе Сент-Джеймского парка».

Судя по всему, проезжая часть моста была устроена крайне неудобно, поскольку имела разную ширину: в самом узком месте всего двенадцать футов, а в самом широком — двадцать. Пешеходные дорожки отгораживали цепи. Большая часть моста была погружена во мрак, так как над ней нависали фасады домов. Во многих местах крыши старых домов, настолько ветхие, что иначе они могли рухнуть в воду, соединялись деревянными арками. Должно быть, когда конные экипажи стали привычным делом, на мосту возникали ужасающие заторы. Пипс рассказывал, что однажды попытался проехать через мост со стороны Саутуорка и попал в затор. Спустя полчаса ему наскучило сидеть в экипаже, и он отправился в таверну на мосту, а когда вышел — обнаружил, что поток увлек

его экипаж далеко вперед. Пришлось идти пешком. Но на проезжей части была яма, которой он не заметил и не сломал ногу только благодаря тому, что кто-то вовремя его подхватил.

Узкие быки моста оказывали такое сопротивление течению реки, что за мостом Темза напоминала тихое озеро. Вот почему в старину столь часто проводились ярмарки на льду замерзшей реки; когда же старый мост снесли, Темза перестала замерзать от берега до берега. Из-за быков в районе моста возникали бурные пороги, представлявшие большую опасность для неопытных гребцов. Многие лондонцы падали в воду, многие тонули во время так называемых «проскакиваний», смысл которых заключался в том, чтобы пройти на весельной лодке через пороги реки. Это рискованное мероприятие породило старинную поговорку: «Умные идут по Лондонскому мосту, а дураки под ним». При плавании вниз по течению люди благоразумные выходили из лодки у таверны «Три журавля» на Аппер Темз-стрит и снова поднимались на борт неподалеку от Биллингсгейта, уже после моста. Поднимавшийся по реке вверх Пипс писал, что наблюдал за тем, как лодочник проходит пороги, с контрфорса моста.

На каждого, кто видел старый Лондонский мост, производили неизгладимое впечатление головы уголовных преступников, изменников и жертв королевского недовольствия. Насаженные на острия пик, они возвышались над центральной башней моста. Впрочем, в те времена повсюду можно было увидеть виселицы с подвешенными к ним железными клетками и скелетами внутри. Так что приехавшие в Лондон путешественники едва ли теряли покой и сон от подобного зрелища.

Трудовой день в Биллингсгейте заканчивается задолго до того, как служащие отправляются в утренний путь по Лондонскому мосту. В старину расположенный

здесь рыбный рынок открывался в четыре часа утра. Когда я впервые посетил его, накануне последней мировой войны, он открывался в пять, а сегодня время открытия сдвинулось еще на два часа. Перенос открытия с пяти на семь утра связан с военными мерами — введением затемнения. Тем не менее рабочий день в Биллингсгейте по-прежнему начинается раньше, чем в любом другом районе Сити. Все улицы, спускающиеся к рынку, заполнены грузовиками, фургончиками, конными повозками и даже тележками, в которые впряжены ослики. Вокруг носятся торговцы рыбой, грузчики и сотни людей в суконных кепках — призрачные силуэты проступают в предрассветной мгле. Разворачивающаяся на улицах спящего города бурная деятельность невольно наводит на мысль о некоем заговоре. Кажется, что все эти люди пытаются успеть что-то сделать еще до того, как проснувшийся Лондон раскроет их планы. Впрочем, так оно и есть. Они пытаются обеспечить Лондон рыбой, которую всего сутки назад выловили в Северном море.

Среди всех тварей, которых мы умерщвляем, чтобы употребить в пищу, рыба вызывает у нас наименьшие сострадания. Я не люблю курицу и поэтому прямо говорю, что не питаю особых симпатий к рынку Лиденхолл-маркет. И все же когда я вижу на земле неподвижные тушки вальдшнепов и бекасов, мое сердце непроизвольно сжимается от боли. Те же чувства пробуждают во мне трогательные и беззащитные тушки фазанов и куропаток. Но треска, мерлуза, угорь, морской язык, омар, краб или камбала вызывают во мне не сострадание, а живой интерес. Наверное, это связано с тем, что рыбы и морские гады — обитатели чуждой нам стихии. Вероятно, именно поэтому они не вызывают душевных мук даже у самых чувствительных натур.

Вот почему я обожаю изучать этот своеобразный океанский морг и наблюдать за людьми в белых

комбинезонах, посвятившими себя рыбе. Одна из привлекательных особенностей Лондона состоит в том, что этот город полон высококлассных специалистов. Среди них немало людей, которые всю свою жизнь занимаются рыботорговлей. Они знают о рыбе все, что только необходимо знать. Для нас с вами мертвая рыба — всего-навсего мертвая рыба, а для них — нечто гораздо большее. Эти люди — знатоки своего дела, чьи познания не уступают познаниям ценителей искусства, посещающих аукционы в окрестностях Сент-Джеймского парка. Они тоже с первого взгляда отличают подлинник от подделки.

Биллингсгейт — одно из немногих мест в Лондоне, откуда мало-помалу вытесняются женщины. За последние полвека женщинам стали доступны все профессии, но вот биллингсгейтские торговки рыбой превратились в достояние истории. В былые времена эти торговки выставляли перед собой корзины с рыбой и сидели в ожидании покупателей, покуривая глиняные трубки, нюхая табак или попивая джин. Именно такую торговку увековечил Роулэндсон в «Лондонском микрокосме». Однако сегодня не стоит искать на Биллингсгейте ни торговки рыбой, ни женщин вообще.

Характерный колорит этому рынку придают торговцы рыбой, которые даже зимой ходят в соломенных шляпах, а также грузчики в шлемах, своей формой напоминающих китайскую пагоду. На эти усеянные сотнями латунных гвоздей шлемы водружают ящики с рыбой. Каждый из подобных головных уборов стоит более пяти фунтов и выдерживает (если не сломается шея грузчика) вес до шестнадцати стоунов<sup>[7]</sup>.

Я много лет знаком с Биллингсгейтом, но мне ни разу не приходилось слышать на нем нецензурной брани. Грузчики говорят, что в Биллингсгейте брань вышла из употребления сразу после того, как исчезли торговки рыбой. Словарь Бейли 1736 года издания дает в

качестве одного из значений слова «биллингсгейт» толкование: «сварливая, бесстыдная неряха». Хотя в Биллингсгейте, как и в Ковент-Гардене или Смитфилде достаточно питейных заведений, открытых с раннего утра, я не знаю случаев злоупотребления их услугами. Напротив, биллингсгейтские грузчики любят шоколад, а спиртное если и употребляют, то исключительно в разумных пределах. Мне часто приходило в голову, что одна из наиболее удивительных достопримечательностей предрассветного Лондона — биллингсгейтский грузчик рыбы, покрытый серебристой чешуей, шестифутовый верзила, который ищет в карманах комбинезона пенни, чтобы купить себе шоколадку.

Несмотря на близость к Лондонскому мосту, Биллингсгейт не слишком пострадал во время воздушных налетов. Впрочем, и здесь можно увидеть следы разрушений. Я заметил, что исчезли многие превосходные рыбные магазины и рестораны, которыми район славился до войны. Побродив по рынку, я спросил у одного торговца рыбой, где можно позавтракать. Он назвал мне итальянский ресторанчик неподалеку от Монумента.

В помещении плавали клубы табачного дыма. За столами громко переговаривались, шутили, хохотали хорошо, должно быть, знавшие друг друга мужчины в белых комбинезонах. В этом удивительном месте я заказал себе роскошный по меркам привыкшего к военным нормам Лондона завтрак — бифштекс из вырезки с жареным луком, кофе, тост и мармелад. Еда обошлась мне всего в два шиллинга и три пенса! Сидевший рядом со мной мужчина, покончив с бифштексом, приступил к десерту. Признаться, я был шокирован — десерт в семь тридцать утра?!

Я шел по Лондонскому мосту с твердым намерением больше на нем не задерживаться. Почти добравшись до Саутуорка, я увидел большую толпу мальчишек и взрослых мужчин. Перегнувшись через парапет, они пристально разглядывали реку в полной тишине. Меня обуяло любопытство, и я тоже подобрался к парапету. Как по-вашему, куда они смотрели? Под мостом проходил иностранный корабль, покидавший Лондон. Капитан на мостике осторожно вел судно по реке. Увидев головы зевак, матросы приветственно замахали нам руками. Уверен, многие из нас пожалели, что не могут уплыть на этом корабле!

Я обратил внимание на то, что в толпе зевак не было женщин. Ни одной из проходивших мимо представительниц прекрасного пола не приходило в голову, что на Темзе происходит нечто необычное. Интересно, о чем они сейчас думают, если, конечно, вообще думают. «Мужчины! Все бы им попусту время тратить!» Внезапно меня посетила мысль, что знаменитая панорама, открывающаяся с Лондонского моста, бросает вызов устоям семейной жизни. Она нарушает привычный порядок и пробуждает в мужчине инстинкты (несомненно постыдные и заслуживающие сожаления), которые заставляют его испытывать тоску по бродячему образу жизни. После того как видел излучину Темзы, уже не очень-то и хочется возвращаться домой, в Стритхэм. Тем временем корабль миновал мост, мы постарались как можно быстрее стряхнуть с себя волшебные чары, и каждый из нас пошел своей дорогой, наверняка мысленно представляя себе чужие города, синие моря и коралловые рифы.

На низком южном берегу реки, неподалеку от моста, стоит серая церковь, купол которой выделяется среди

кранов и складских строений. Это Саутуоркский собор, одна из самых малоизвестных и в то же время наиболее интересных церквей Лондона. Могу только гадать, почему туристы посещают его так редко. Впрочем, никаких разумных объяснений нет — ведь этот собор является одним из самых доступных памятников Лондона.

Сегодняшний Саутуорк представляет собой район площадью в несколько миль, с унылого вида улицами и складскими строениями. Но старый Саутуорк связан с Шекспиром, театральными представлениями, скотобойнями, петушиными боями, тавернами, убийствами в темных углах и печально известным борделем. Неудивительно, что в прежние времена Саутуорк пользовался дурной славой — ведь всякий, кого изгоняли из Лондона, переправлялся на противоположный берег реки. При Эдуарде I в городе проводились массовые «чистки», из Лондона выдворили множество женщин легкого поведения, в основном фламандок. Они нашли убежище в Саутуорке, где их никто не трогал, если они воздерживались от ношения *минивера* — меха пятнистого горноста или *кандейла* — тонкого шелка. С них-то и начался Саутуоркский бордель. В годы правления Елизаветы I голландец Ван ден Вингерде составил иллюстрированную карту Лондона. Саутуорк на ней выглядел болотистой местностью с широкой прибрежной полосой, омываемой водами Темзы. Пространство между Бэнксайдом, где находились театры, и дворцом Ламбет практически пустовало. В те времена Саутуорк-Хай-стрит напоминала главную улицу сегодняшнего Стратфорда-на-Эйвоне: широкая улица со старинными деревянными домами черно-белой раскраски. Прилегающие к ним сады спускались к реке.

Приближаясь к Лондону с юга, путешественник приблизительно в полумиле от моста проезжал мимо



густых зарослей — и именно там начинал понимать, какое беззаконие царит в Саутуорке. В этих зарослях казнили воров и карманников. Один посол, проезжавший через эти места в годы правления Елизаветы, сообщал, что видел двенадцать трупов на ветвях деревьев. Лондонский мост с его нанизанными на копья головами внутри железных клеток только усиливал мрачное впечатление.

В течение многих столетий серая церковь, нынешний Саутуоркский собор, наблюдала за развитием города, порой весьма бурным. Она была заложена еще при саксах. По легенде, один богатый паромщик оставил состояние своей незамужней дочери, которую звали Мэри. Эта набожная девушка и была объявлена основательницей церкви. В те давние времена ее называли святой Марией Овери, что толковалось как St. Mary over Ferry (дословно «Святая Мария над паромом») либо как St. Mary over the Rie («Святая Мария над водой»). После норманнского завоевания на этом месте воздвигли другую церковь, фрагменты которой сохранились в ныне существующем здании.

Как замечательно выглядит эта церковь! Спустя многие годы я снова вошел в нее и стал искать знакомого церковного служителя, которому знаком каждый ее камень.

— Находишь наш собор в десятке миль от какого-нибудь популярного морского курорта, — сказал мне служитель, — он стал бы одной из знаменитейших достопримечательностей Англии. Каждую неделю мимо него проходят миллионы людей, но они всегда куда-то спешат — на работу или домой. Грустно сознавать, что одна из самых замечательных церквей Лондона известна лишь тем, кто изучает архитектуру, и американцам из Гарвардского университета. Она знакома каждому выпускнику Гарварда. Все они приезжают сюда потому, что основатель университета,

Джон Гарвард, родился в этом приходе и принял крещение в этой церкви. В 1908 году мы отправили в Америку кусочек норманнской колонны, той, что слева от алтаря. Американцы хранят его в портике Эпплтоновской часовни.

Из всех церквей Англии Саутуоркский собор представляет наибольший интерес для писателей и драматургов. Церковный служитель с гордостью показал мне алебастровую статую Шекспира. Возможно, Бард жил в Саутуорке, когда писал свои пьесы; вокруг него собиралась бессмертная труппа друзей-актеров, среди которых были Кристофер Марло, Мэссинджер, Бомонт и Флетчер, Бен Джонсон, Филип Хэнслоу и Эдуард Аллейн, основатель Далидж-колледжа. Вполне вероятно, что 31 декабря 1607 года Шекспир стоял в этой церкви, окруженный плеядой великих современников королевы Елизаветы. Датированная этим числом страница церковной книги начинается следующей записью:

«Эдмунд Шекспир, актер, похоронен в этой церкви под заутренний звон большого колокола».

Эдмунд — младший брат Уильяма Шекспира. Возможно, под впечатлением успеха, которого достиг в большом городе его старший брат, Эдмунд уехал из дома и вступил в труппу актеров, выступавших в Саутуорке. Я спросил у церковного служителя, известно ли точное место захоронения Эдмунда. Меня ожидало разочарование — достоверно удалось установить лишь то, что никем не потревоженные останки Эдмунда покоятся где-то под полом церкви.

Места, где обрели вечный покой никому не известный Эдмунд и его бессмертный брат, во многом схожи, поскольку Саутуоркский собор и церковь Святой Троицы в Стратфорде-на-Эйвоне чрезвычайно похожи. Оба этих изящных и высоких средневековых храма отличаются характерной архитектурной особенностью,

так называемым «отклонением», то есть некоторым несовпадением пространственной ориентировки нефа и клироса. Некоторые специалисты считают, что «отклонение» призвано символизировать поникшую голову распятого Христа.

Не знаю, много ли существует на свете собирателей эпитафий, но мне всегда казалось, что это самый достойный вид коллекционирования. Я советую коллекционерам эпитафий посетить Саутуоркский собор, где их, несомненно, ожидают замечательные находки. Например, на могиле некоего Локиера, украшенной каменным изваянием: человек лежит, подпирая подбородок согнутой в локте рукой. На его голове длинный парик эпохи Карла II, а на лице застыло лукаво-загадочное выражение. Во времена Якова I Лайонел Локиер был знаменитым врачом-шарлатаном. Он пережил правление Карла I, уцелел в годы Республики и скончался в почтенном возрасте при Карле II.

Его величайшим вкладом в медицину стала пилюля Radiis Solis Extractae. Локиер уверял своих пациентов, что, если принимать эту пилюлю ранним утром, она оградит от дурного воздействия тумана, от инфекционных заболеваний и вообще от всех известных и неизвестных хворей! Его пилюли не только улучшали внешность пациентов, но, как утверждал их изобретатель, делали старость восхитительным возрастом! Фактически Локиер оказался предшественником современных специалистов по рекламе. Буклеты, которые он печатал, во многом предвосхитили рекламу шарлатанских снадобий сегодняшнего дня. Не могу удержаться от искушения предположить, что он сам заблаговременно сочинил собственную эпитафию, которая завершается такими строчками:

...Столь знаменитые пилюли и снадобья,  
Что зависти не скрыть их под надгробьем,  
И будут столь прославлены в веках,  
Что мир скорее обратится в прах,  
Чем выйдут они из употребления.  
С пилюлями он избежит забвенья.

Не могу обойти молчанием и очаровательные цветные портреты Джона Трехирна и его супруги. Он умер в 1618 году, а она пережила его на двадцать семь лет. Портреты этой пожилой четы дают нам истинное представление о том, как выглядели зажиточные люди — этакий средний класс, изображения которого встречаются достаточно редко, — времен правления Елизаветы I. Они не сочиняли мадригалов и пьес, не проявляли интереса к дальним плаваниям и тому подобной чепухе. Нет, они вели тихую и спокойную жизнь, вырастили двух сыновей и четырех дочерей, изображенных на рельефе под портретами в скорбных позах. Все это читается без труда на грубоватом лице бородатого мужчины и на настороженном и строгом лице женщины. Поджатые губы и кружевной чепец эпохи Елизаветы усиливают впечатление чопорности и говорят о твердом характере.

От изображений этих людей веет безмятежностью, однако им довелось стать свидетелями многих волнующих событий. Трехирн долгие годы состоял слугой королевы Елизаветы, а когда престол занял прибывший из Шотландии Яков I, он, вместе с прочей челядью Елизаветы, перешел на службу к новому королю. Подпись под портретом гласит: «Джентльмен-привратник короля Якова I», а эпитафия, табличку с которой держат в руках супруги, в изящной старинной манере сообщает нам, что, сумеет Яков победить смерть, он не лишился бы никого из верных слуг:

Когда б король над смертью властен был,  
Трехирн, тебя он тут же б воскресил,  
Чтоб ты при нем вовеки состоял.  
Увы, сколь срок, отпущенный нам, мал.

В этой церкви немало других эпитафий, вполне достойных того, чтобы их переписали. Среди них есть и замечательный латинский образчик, который можно перевести следующим образом:

«Здесь лежат обратившиеся в пепел останки Ричарда Бенефилда, члена «Грейз инн», омытые елеем его благочестия, нардом его неподкупности, янтарем его верности и маслом его милосердия. Мы, его друзья, бедняки, и все прочие добавили к ним благовонную мирру нашей благодарности и освежили их бальзамом наших слез».

Думаю, это самая льстивая из всех английских эпитафий.

Среди наиболее изящных архитектурных памятников Саутуорка — старинная часовня тринадцатого столетия. В эпоху Тюдоров, когда церкви в большинстве своем находились в небрежении, эту часовню взял в аренду некий пекарь. Почти семьдесят лет в ней размещались пекарня и булочная. В 1832 году была предпринята попытка снести это замечательное здание, но епископ Винчестерский вкупе с группой художников и архитекторов отстояли часовню.

Приделы собора — наглядное доказательство того, что Саутуоркский собор не мертвый памятник прошлого, а действующая церковь. В одном приделе находится центр миссионерской деятельности, в другом — отделение Христианской миссии «Добрый самаритянин»,

а в третьем — отделение братства Святого Христофора, привлекающего молодежь Саутуорка.

«Поможем нашими молитвами и делами, — гласит надпись на входе в собор, — уберечь наших детей от искушений и опасностей взросления».

Я покинул Саутуоркский собор, радуясь тому, что и Большой пожар, и недавние бедствия обошли стороной эту величественную церковь, которая, как и много столетий назад, взирает на северный берег Темзы.

#### 4

Сегодня в Лондоне повсюду можно увидеть большие отели, но Сити составляет исключение из этого правила. В старину постоялые дворы и таверны были сосредоточены в тех районах Сити и Саутуорка, которые примыкали к Лондонскому мосту. В Саутуорке насчитывалось множество постоялых дворов. Самыми известными среди них считались упомянутый Чосером «Табард», а также «Королевская голова», «Шпора», «Голова королевы», «Бык», «Белый лебедь» и многие другие. Все они находились на Хай-стрит.

Оказавшись в Саутуорке затемно, вы рисковали опоздать к закрытию мостовых ворот; в случае, если вас вдруг обуяла жадность и вы решили не улещивать сторожа при помощи звонкой монеты, вам пришлось бы искать ночлег в Саутуорке. На другом конце моста имелся еще более широкий выбор постоялых дворов: знаменитая «Королевская голова» у самого моста, «Три журавля» в районе Винтри, расположенные по соседству «Голова императора» и «Старый лебедь», «Тени» на Темз-стрит, «Баклер», «Три бочонка» в Биллингсгейте, «Дельфин на крючке» и «Лебедь» в Даугейте. Если в них свободных мест не оказывалось, можно было попытаться в «Белом олене» на Кэннон-стрит или в

«Кабаньей голове» в Истчипе. Впрочем, в последнем было довольно шумно, особенно когда на огонек заходил маэстро Шекспир сотоварищи!

Эти старинные постоялые дворы исчезли, от них не осталось и следа, если не считать табличек с названиями. В Саутворке сохранился только «Старина Джордж» — единственный во всем Лондоне постоялый двор с галереей. Он расположен за неброской аркой, в нескольких сотнях ярдов от Лондонского моста, по левой стороне Хай-стрит. Три боковые стены, к сожалению, демонтировали, зато главная галерея в прекрасном состоянии. Чтобы представить себе, как выглядели эти старинные, доступные всем гостиницы, вовсе не обязательно ехать в Глостер, где сохранился постоялый двор «Нью Инн», достаточно всего лишь подняться на галерею «Старины Джорджа».

Спальни этой гостиницы размещены в двух деревянных, расположенных одна над другой галереях, каждая из которых огорожена деревянной балюстрадой. Облокотившись на перила, обитатели постоялого двора наблюдали за проезжавшими через арку экипажами и разглядывали вновь прибывших, а конюхи уводили прочь взмокших лошадей и выводили свежих. Это одно из последних мест в Лондоне, где невольно вспоминаешь Диккенса и мистера Пиквика.

Помню, как двадцать лет тому назад я остановился в этой гостинице и провел ночь на огромной четырехспальной кровати. Она была настолько высокой, что рядом стояла маленькая лесенка — три ступеньки из красного дерева. Ванной комнаты не было, зато горничная приносила поясную ванну, в которую по утрам ведрами заливали теплую воду. Ночником служила свеча.

Не передать словами чувства, бушевавшие меня в спальне, обстановка которой передавала атмосферу давно минувшей эпохи. Столетиями в этом здании

находили приют бесчисленные странники, ведь первые упоминания о нем появились в 1554 году, то есть за десять лет до рождения Шекспира.

К сожалению, в наше время практически отсутствуют личные отношения как между господином и слугой, так и между хозяином гостиницы и постояльцем. Тем более замечательно, что даже в эпоху строгих сословных различий между людьми благородного происхождения и простолюдинами несомненно существовали теплые личные отношения. Помню, я размышлял о том, насколько сердечными и доверительными были подобные отношения в этой гостинице. Никаких современных удобств: ни колокольчиков для вызова прислуги, ни телефона, ни проточной воды, ни ванных комнат, уборные, мягко выражаясь, примитивны. Однако радушие персонала заставляло забыть об этих недостатках. Мне часто приходило в голову, что в каком-нибудь современном отеле никто и не заметит, что клиент умер. А вот постояльцу «Старины Джорджа» при малейшем намеке на простуду предложили бы растирание испытанным средством, например камфорным маслом. Утром я с удивлением обнаружил, что горничная, совершенно не помышляя о чаевых, а «благодаря природной женской доброте» (как я тогда записал в дневнике) заштопала мои носки!

Что ж, старинный постоялый двор почти не изменился. Бар, как и прежде, украшала пара дуэльных пистолетов на стене, а в столовой столы по-прежнему разделялись сосновыми скамьями с высокими спинками. Здесь все еще можно пообедать, но провести ночь на четырехспальной кровати уже не получится. В мой предыдущий визит владелицей заведения была старая мисс Мюррей; после того как она отправилась в мир иной, «Старина Джордж» сменил нескольких



владельцев, пока наконец его не прибрала к рукам могущественная компания «Нэшнл Траст».

На обратном пути через Лондонский мост я заметил строительные леса на фасаде Фишмонгерс-холла. Это построенное в классическом стиле здание расположено недалеко от северного конца моста. Было бы интересно, подумалось мне, узнать не пострадала ли во время воздушных налетов штаб-квартира distinguished гильдии торговцев рыбой. Даже не входя внутрь, я выяснил, что здание гильдии превратилось в британский ресторан. У входа висело меню: «пирог с солониной» и «яичный салат»<sup>[8]</sup>.

Поднявшись по лестнице, я обнаружил, что какой-то вандал пробил стены банкетного зала и провел большие черные трубы там, где счел это возможным и нужным. Ужасная картина! Этот зал предназначался для проведения торжественных собраний, а теперь в нем стояло около пятидесяти маленьких столиков, покрытых клеенкой. На великолепных стенах висели плакатики с надписью «Мороженое». Я заказал чашку кофе. Со словами: «Хорошо, милочка», — официантка пошла выполнять мой заказ. Вид этого некогда прекрасного места настолько ухудшился, а само оно настолько, что ли, съежилось, что поневоле решишь, будто кто-то вознамерился оскорбить благородную красоту и традиции здания гильдии рыботорговцев. Все это производило столь гнетущее впечатление, что я быстро ушел из банкетного зала и отправился искать администратора. Во время нашей с ним беседы об истории гильдии и об испытаниях, выпавших на долю здания во время войны, он угостил меня бокалом шерри и одной из тех роскошных турецких сигарет, которые курят только принцы, султаны и олдермены.

Со стороны улицы и реки здание гильдии выглядело неповрежденным, но на самом деле оно пострадало от бомбежек. Некоторые из его помещений получили

значительные повреждения. После краткой экскурсии по зданию я с радостью убедился в том, что после окончания войны его возвращают к жизни умелые английские специалисты. Эти мастера, как и их предшественники, работали не за страх, а за совесть. Они весело насвистывали за работой. Их радостное настроение было вызвано тем, что работать приходится с красным деревом и другими редкими и дорогостоящими материалами. Им доверили покрывать позолотой пилястры и капители старинного здания, а не возводить блочный дом или сносить обветшавшие строения на Эйкешиа-роуд. Это была «работа высокого класса», доставлявшая удовольствие.

Спустившись в кладовую, я обнаружил столовое серебро гильдии в целости и сохранности. Я увидел там и «кресло Лондонского моста», сделанное из дубовых досок старого моста. Мне рассказали, что изъяны, которые кресло получило во время одного из воздушных налетов, планируется восполнить дубом из разрушенного бомбежками Гилдхолла. Одна из самых ценных реликвий гильдии — кинжал, которым, как гласит легенда, лорд-мэр Лондона Уильям Уолворт пронзил Уота Тайлера. Этот кинжал несколько не пострадал во время войны и хранится в кладовой.

Когда мы осматривали здание, администратор напомнил мне, что гильдия торговцев рыбой существует вот уже семь столетий и является одной из немногих гильдий, до сих пор соответствующей своему названию. Каждый день Биллингсгейтский рынок обходят два назначаемых гильдией инспектора, которых именуют чудным словом «рыбоизмерители». Они обладают полномочиями признавать рыбу непригодной к употреблению в пищу. Гильдия регулярно проверяет качество моллюсков, и, если те не соответствуют определенным требованиям, их конфискуют. Во многих других вопросах, связанных с рыбой и рыболовством,

достопочтенная гильдия выступает заслуживающим внимания образцом старинной торговой корпорации, которая в течение всей своей долгой истории продолжает выполнять изначально возложенные на нее функции.

Весьма занятным оказался рассказ администратора о почетных членах гильдии.

— Членом гильдии является герцог Эдинбургский, — сообщил он, — таким образом, принц Чарльз с момента рождения стал торговцем рыбой. Когда ему исполнится двадцать один год, он вступит в право наследования и ему будет пожалованы привилегии полного членства в гильдии. Торговцем рыбой был и принц-консорт, и, как ни странно, даже Гарибальди! В наших рядах состояли король Георг V и герцог Глостер.

— А королева? — поинтересовался я.

— Увы, — администратор развел руками. — Ее величество принадлежит к гильдии торговцев мануфактурой.

## 5

Покинув здание гильдии, я решил подняться на Монумент и с его высоты осмотреть на Лондон. Но когда я перешел улицу и оказался на Фиш-стрит-Хилл, мной овладели сомнения и я стал искать причины, которые позволили бы отказаться от этой затеи. Было уже поздно и довольно туманно. К тому же в прошлом я неоднократно совершал такие восхождения.

— Но ты ведь пишешь книгу о Лондоне, — возразил мне мой внутренний голос, — и потому просто обязан преодолеть эти триста сорок пять ступенек.

— Почему ты так щепетилен? — спросил я себя. — Зачем ты упомянул точное количество ступенек?

— Терпеть не могу слабости и нерешительности, — заявил внутренний голос, — а ты потакаешь своим слабостям.

— Ничего подобного! — воскликнул я. — Я почти с рассвета брожу по улицам этого города, а ты пытаешься силой заставить меня подняться на Монумент.

— Это была твоя идея, — прошептал внутренний голос.

— Считай, что я передумал, — сказал я, — и не потому, что не смог бы подняться по ступенькам, или по причине того, что у меня пропало желание это сделать, а просто потому, что ты пытаешься меня к этому принудить.

— Хорошо, — согласился внутренний голос, — поступай как знаешь.

Он умолк, а я продолжал стоять на Фиш-стрит-Хилл, уставившись на колонну, воздвигнутую Реном в память о Лондонском пожаре.

Хотел бы я знать, сколько человек из тех, кто каждый день выходит на многолюдные улицы Лондона и называет себя лондонцем, могли бы рассказать хоть что-то об этом памятнике в честь английского мужества, столь необходимого ныне тем, кто пережил бомбардировки последней войны.

На трех его сторонах выбиты надписи-обращения, а четвертую украшает аллегорический барельеф. На нем изображена женская фигура, олицетворение лондонского Сити. В печали и тоске сидит она среди развалин города. Голова опущена, волосы не убраны, рука безвольно лежит на мече. Крылатый лысый старец — аллегория Времени — пытается поднять ее, а другая женская фигура с надеждой показывает на небеса, где сидят на престоле две богини. Та из них, которая держит в руках рог, олицетворяет собой Изобилие. Другая держит пальмовую ветвь и является аллегорией Мира. У ног олицетворяющей Лондон женщины

изображен пчелиный улей, символизирующий Промышленность, а над ее головой горят улицы города. Из окон домов вырываются языки пламени.

Из трех надписей барельефа наибольший интерес представляет собой следующая:

«Во второй день сентября 1666 года от Рождества Христова восточнее этой колонны высотой в 202 фута посреди ночи вспыхнул пожар. Разносимый ветром, он охватил даже отдаленные здания. Опустошая квартал за кварталом, он распространялся с удивительной быстротой и шумом. Он истребил 89 церквей и уничтожил ворота, Гилдхолл, общественные заведения, больницы, школы, библиотеки, большое число жилых кварталов, 13 200 домов и 400 улиц. Из 26 районов полностью разрушены 15, а 8 понесли изрядный урон и сгорели наполовину. Пеплом покрыты 436 акров городской площади, которые с одной стороны протянулись вдоль берега Темзы от Тауэра до церкви Темпла, а с другой от северо-восточных ворот, вдоль стен и до Флитдитча. Не пощадив богатства и имущества горожан, он не забрал наши жизни, как бы напомнив нам о том, что этот мир будет окончательно погублен огнем. Опустошение было стремительным. За короткий промежуток времени процветающий город перестал существовать. На третий день, когда пожар перечеркнул все помыслы людей и уничтожил все выставленные на продажу запасы, смертельный огонь, быть может, благодаря нашей вере в Царствие Небесное, прекратился и повсюду потух».

Эта надпись показалась мне чрезвычайно созвучной нынешнему моменту, когда практически половина Лондона снова лежит в развалинах. Она настолько меня пленила, что, забыв о своем твердом решении, я заплатил охраннику шесть пенсов за вход. На вершину Монумента вели триста сорок пять ступенек из черного мрамора.

— Если во время подъема вы не почувствуете неудобства, — сказал охранник, — значит, вы совершенно здоровы и вам не нужно тратить на врачей.

Поблагодарив, я приступил к восхождению по винтовой лестнице. На двухсотой ступеньке я решил бросить курить, на двести пятидесятой стал горько сожалеть о том, что во мне осталось так мало жизненных сил, а добравшись до трехсотой уже подумывал о том, чтобы спуститься вниз. Ступив на вершину Монумента, я оказался внутри железной клетки, установленной здесь для того, чтобы помешать людям, решившим воспользоваться самым быстрым способом возвращения на землю. В этот миг, как и во время подъемов на горные вершины, муки восхождения были напрочь забыты. С высоты открывался настолько великолепный вид, что все остальное вылетело из головы. Эта панорама в каком-то смысле даже более великолепна, чем та, что открывается с купола собора Святого Павла — ведь этот огромный собор служит главным ее украшением. В Лондоне немного найдется мест, с которых открывается более величественный вид на собор Святого Павла, чем тот, который доступен с вершины Монумента. На востоке виден Тауэр и множество мостов через Темзу, широкая, светлая лента которой бежит в направлении Вестминстера. Еще ниже, насколько позволяет увидеть глаз, раскинулся ландшафт дымовых труб, крыш, шпилей, колоколен и куполов.

Большой пожар и воздушные налеты Второй мировой войны останутся двумя поворотными пунктами в истории Лондона, во всяком случае, до тех пор, пока не начнется очередная мировая война. Большой пожар продолжался три дня и уничтожил значительную часть Сити. Воздушные налеты носили спонтанный характер и растянулись на несколько лет. В результате бомбардировок была уничтожена существенная часть той же самой территории. Но если в 1666 году Сити был жилым и тысячи его обитателей лишились своих домов и всего имущества, то современный Сити — район офисов, редких магазинов и мастерских, поэтому в результате бомбардировок лондонцы лишились только пишущих машинок, письменных столов и скоросшивателей.

Картина, открывавшаяся взору Карла II, Пипса, Ивлина и всех тех, кто жил в Лондоне в эпоху Большого пожара, весьма схожа с той, какую мы наблюдаем сегодня в районе Мурфилдс. В описаниях, составленных очевидцами Большого пожара, упоминаются акры развалин, над которыми поднимались лишь дымоходы и колокольни сгоревших церквей.

«С того места, где был Чипсайд, можно увидеть Темзу», — писал своему брату Александр Флеминг. Не сомневаюсь, в своих письмах многие современные лондонцы сообщают, что теперь сквозь руины зданий на Куин-Виктория-стрит можно увидеть Темзу. После пожара 1666 года самое ужасное зрелище представлял собой собор Святого Павла, в котором, как выразился один очевидец, «не осталось ничего от прежнего облика, кроме голых стен и окон». В последнюю войну собор Святого Павла лишь чудом избежал подобных разрушений.

7 сентября 1666 года Ивлин сделал следующую запись:

«Сегодня утром я прошел пешком от Уайтхолла до Лондонского моста. Миновав то место, где находилась Флит-стрит, я направился к Ладгейт-Хилл и собору Святого Павла, затем через Чипсайд, мимо биржи, через Бишопсгейт и Олдерсгейт, затем вышел к Мурфилдс, потом через Корнхилл и так далее. Было крайне трудно пробираться через кучи все еще тлевшего мусора, и часто я сбивался с пути. От земли исходил такой жар, что даже дымились подошвы».

Эти ощущения знакомы тысячам современных лондонцев, каждый из которых на собственном опыте знает, как легко заблудиться в хаосе разрушенных пожаром зданий.

Легенда о том, что Лондон был восстановлен в течение трех лет после Большого пожара, не соответствует действительности. В своей книге «Большой лондонский пожар» Уолтер Дж. Белл совершенно справедливо ее опровергает. В течение многих лет лондонцам приходилось селиться в лачугах, палатках и других убогих пристанищах. Так же как и мы, они видели, как пепелища их домов зарастали травой. После пожара в городе стала распространяться лондонская ночная фиалка, а после бомбежек — кипрей. Желтые цветки ночных фиалок видели даже на фундаменте башни, которая служила основанием колокольни собора Святого Павла.

Лондон, который прежде был городом церковных колоколов, после Большого пожара стал безмолвным городом.

На протяжении нескольких лет на церковных кладбищах Лондона строились жалкие лачуги, становившиеся местами временного отправления культа. Считается, что именно они породили выражение



«оловянная скиния». За восстановление восьмидесяти девяти утраченных церквей взялись только спустя четыре года. Однако через семнадцать лет после пожара были полностью восстановлены лишь двадцать пять церквей. Нелепо предполагать, что лондонцы было бросились восстанавливать старые улицы средневекового города и что их от этого удержали. Тогда, как и сегодня, никто не мог начинать строительство, не имея на то разрешения, и дома возводились медленно, по мере получения разрешений и денег, необходимых для строительства. В конце концов новые дома объединялись в кварталы, так и возникала новая улица.

В более или менее благополучные времена, как, например, в девятнадцатом веке, лондонцы не страдали от столь разрушительных бедствий и поэтому легкомысленно заявляли, что Большой пожар был для города настоящим благословением, поскольку огонь уничтожил огромное количество улиц, обитатели которых жили в антисанитарных условиях. Тем самым он расчистил место для более чистого каменно-кирпичного Лондона эпохи Стюартов и более поздних времен. Но мы, жители современного Лондона, видели, как сгорало в огне все, что мы любили; вероятно, у нас больше оснований испытывать сочувствие к нашим предкам, пережившим трагедию Большого пожара. Многие современные лондонцы критически относятся к приостановке работ по восстановлению Сити. В качестве аргумента они ссылаются на якобы имевшую место скорость, с какой производились работы во времена Карла II. Должно быть, их недовольство поутихнет, когда они узнают, что восстановление Лондона потребовало многих лет и что прежде, чем оно завершилось, целое поколение молодых людей выросло среди грязных, удручающих руин средневекового Сити эпохи Елизаветы.

К счастью, во время воздушных налетов Геральдическая палата на Куин-Виктория-стрит не пострадала. Каким-то чудом бомбежки обошли стороной это построенное архитектором Реном красное здание, хотя все дома справа от него напрочь исчезли, словно здесь прошла огромная коса. Это самое красивое здание улицы, выполняющее весьма необычные функции. Другие здания Куин-Виктория-стрит имеют отношение либо к выпуску газет, либо к производству сидячих ванн и пишущих машинок и даже к спасению человеческих душ, но Геральдическая палата живет в мире, где все еще трубят в рог, скачут рыцари с гербами на щитах и высятся средневековые замки.

В штат сотрудников палаты входят три герольдмейстера — Гартер, Кларенсье и Норрой, шесть герольдов — Ланкастер, Сомерсет, Ричмонд, Виндзор, Йорк и Честер и четверо «сопровождающих» — Руж Дрэгон, Блюмантл, Порткуллис и Руж Круа. Кандидатов на эти должности подбирает герцог Норфолк, наследственный граф-маршал, то есть церемониймейстер, Англии.

По некоторым документам только здесь можно получить соответствующие разъяснения, и когда у меня возникает такая потребность, я отправляюсь в это здание из красного кирпича. Поднимаясь по его ступеням, я испытываю ощущения, весьма сходные с теми, которые испытывала Алиса, оказавшись в Стране чудес. Во всем Лондоне нет другого места, в котором настолько чувствовалась бы невероятность бытия. Выйди вам навстречу Король и Дама червей в сопровождении Валета<sup>[9]</sup>, вы бы сняли шляпу в знак приветствия, сочтя их появление вполне обыденным явлением.

— Доброе утро, сэра, — поприветствовал меня привратник. — У вас назначена встреча?

— Руж Дрэгон на месте? — спросил я, с трудом преодолевая ощущение нереальности происходящего.

— Нет, сэра, Руж Дрэгон отсутствует. Может быть, вам сможет помочь кто-нибудь другой?

Руж Дрэгон отсутствует! Как странно звучит! Вероятно, большинство лондонцев понятия не имеют о том, что этот титул — намек на геральдического дракона.

— А Блюмантл? — спросил я.

— На месте, сэра, но он занят.

— Хорошо, а могу я видеть Порткуллиса?

Вместо того чтобы протрубить в серебряный рог или, вскочив на коня, галопом промчаться по лестнице, привратник снял телефонную трубку. Я же размышлял о том, что меня, наверное, не удивило бы появление мистера Дебретта<sup>[10]</sup> в сопровождении единорога или прибытие редактора «Landed Gentry», на груди которого красовался бы пестрый фамильный герб, найденный в чулане.

— Блюмантл освобожден, сэра. Он вас примет, — сказал привратник. Я обвел взглядом облицованный панелями и украшенный знаменами зал и резной трон церемониймейстера. На этом троне он судил тех, кто позволял себе придумывать несуществующие семейные гербы или иначе надругался над геральдикой, — а затем, поднявшись по лестнице, удалялся в кабинет, подобных которому нет во всем Лондоне. С 1480 года структурная организация Палаты не претерпела каких-либо серьезных изменений.

Находясь в этом здании, легко можно вообразить Дон-Кихота, который на цыпочках проходит по коридорам и с восторгом читает титулы обитателей различных кабинетов. Под великолепными геральдическими рисунками красовались надписи:

«Гартер — высший сановник Геральдической палаты», «Норрой — высший сановник Геральдической палаты», «Руж Дрэгон». Дверь в кабинет последнего была приоткрыта, что производило весьма зловещее впечатление. Какое странное чувство испытываешь, когда, постучав в одну из этих дверей, слышишь, как чей-то негромкий голос приглашает тебя войти. Кто знает, что ждет за дверью такого вот кабинета? Может быть, облаченный в доспехи рыцарь и лежащий у камина леопард? Но вот разочарование — вы видите человека, похожего, скорее, на сидящего за письменным столом адвоката. На нем черный пиджак и брюки в полоску. Разве может так выглядеть настоящий «Порткуллис» или «Блюмантл»? Неужто умолкли навек боевые трубы Азенкура?

Герольды всегда с радостью дают советы тем, кто желает украсить гербом свой блокнот, автомобиль, супницу или детскую коляску. Вот до какой степени пало некогда блестящее рыцарство! Герб, разумеется, стоит денег. Герольдам до сих пор платят по расценкам эпохи Тюдоров, то есть их годовое жалованье составляет приблизительно шестнадцать фунтов. Поскольку даже «Красному дракону» надо как-то сводить концы с концами, герольды сидят в своих кабинетах и, как адвокаты, ждут, когда к ним придет посетитель и изложит суть вопроса. Их услуги стоят так же дорого, как и услуги юристов. Получение гербового девиза — около сотни фунтов, и еще пятьдесят за геральдическую эмблему, которую могут вышивать на подушечках представительницы прекрасного пола.

Значительная доля работы, которой занимается Палата, заключается в составлении родословных. Это тоже стоит немалых денег. До войны платили гинеею за каждый день поисков в деревенских книгах метрических записей. Сложнее всего составить генеалогическое древо людей с фамилиями Браун, Джонс и Смит.

— Существует нелепое мнение, что родословные богатых людей часто подделываются, — сказал мне герольд. — Это полная ерунда. Утвержденная Геральдической палатой родословная является юридическим документом, и перед тем как подтвердить ее, родословную рассматривает экспертный совет.

Многие соискатели приходят в палату, ничуть не сомневаясь в своем знатном происхождении, но покидают ее в расстроенных чувствах: кто же знал, что прапрапрабабушка вышла замуж не за того, за кого следовало?

Уникальна библиотека палаты. Ее начали собирать еще те герольды, которые в давние времена объезжали каждое графство, дабы, выполняя указ короля, составить полный список всех мужчин, получивших право иметь собственный герб. В этой библиотеке можно найти истоки каждой старинной семьи Англии и Уэльса. Здесь хранятся две печальные реликвии: кольцо и меч, снятые после битвы при Флоддене с мертвого короля Шотландии Якова IV.

Комната, в которой герольды беседуют с желающими «носить герб», представляет собой внушительных размеров помещение, построенное после лондонского пожара.

— Знаете, мы ведь сгорели дотла, — поясняет герольд.

Вот в такой манере они беседуют с посетителями. Время для них ничто. Если герольд рассказывает вам о битве при Азенкуре, у вас возникает впечатление, что он сам в ней участвовал. Эта привычка немало озадачивает посетителей.

Еще одной задачей палаты является сохранение процедур проведения торжественных церемоний. Последний раз практическое применение их усилия получили при коронации Георга VI. Однако неверно было бы считать, что это здание пропитано духом

аристократии. Вовсе нет. После того как старая родовая знать погибла во время войны Алой и Белой розы, Англия, в отличие от многих других стран, стала создавать аристократию из простых людей. В библиотеке здания на Куин-Виктория-стрит хранятся документы, свидетельствующие о том, что британское дворянство зачастую имеет чрезвычайно скромное происхождение. Типичной фигурой английской истории является энергичный торговец, ставший землевладельцем и получивший право иметь свой герб.

## Глава четвертая

# От собора Святого Павла до Вестминстера

*Собор Святого Павла и великий человек по имени сэра Кристофер Рен, который построил этот собор. Я поднимаюсь на Галерею шепота и Золотую галерею, а затем спускаюсь в склеп, чтобы взглянуть на гробницы Нельсона и Веллингтона. Я совершаю прогулку по Флит-стрит, посещаю дом доктора Джонсона, Дом правосудия, Государственный архив и Темпл, затем на трамвае отправляюсь в Вестминстер.*

### 1

У западного входа в собор Святого Павла мне повстречалась группа сияющих от радости школьников. Учительница отвела их в уголок, подальше от других таких же групп. В этот момент она была очень похожа на утку-мать, которая мечется по пруду, собирая крошек-утят.

— Все слышали о Большой войне, не так ли? — спросила она, обращаясь к окружившим ее сияющим лицам.

— Да-а-а, — подтвердил хор голосов.

Сейчас эти девочки смотрят на свою учительницу снизу вверх, размышлял я, потому что они ниже ее на целую голову, но пройдет всего несколько лет и у них появятся собственные семьи. Я вдруг почувствовал себя невероятно старым. Почему я все еще живу? Для этих детишек война 1914–1918 годов — всего лишь глава из учебника истории. Впрочем, быть может, учительница

имела в виду Крымскую войну. Так или иначе, судя по вежливо-равнодушному выражению лиц, девочки уже давно отправили в музей и войну, и всех тех, кто принимал в ней участие.

— Так вот, — продолжала учительница, — в той войне прославился полководец, которого звали лорд Китченер. Все о нем слышали?

И вновь последовал утвердительный ответ, но на сей раз искренность девичьего «да» внушала сомнения.

— Лорд Китченер погиб вместе с линейным кораблем, на котором он плыл и который был потоплен неприятелем. Сейчас мы осмотрим памятник этому полководцу. Держитесь левой стороны, дети...

Девочки вошли в часовню Китченера. Я последовал за ними. В полной тишине стояли они, окружив высеченный из белого мрамора памятник погибшему лорду. Я обвел взглядом их лица. Китченер для них ровным счетом ничего не значил. Да и могло ли быть иначе? Ведь он принадлежал истории, стоял в одном ряду со всякими скучными дядьками вроде Альфреда Великого или Вильгельма Завоевателя, которые что-то там совершали в незапамятные времена. (Впрочем, Альфред Великий, как гласит легенда, собственноручно испек несколько лепешек — вот здорово! — а Вильгельм Завоеватель командовал войсками при Гастингсе, уж дату этой битвы все знают наизусть.) А этот Китченер всего-навсего утонул! Я видел, что даже самым серьезным из девочек на ум приходят именно такие мысли. Одна пухленькая маленькая девочка, лицо которой покрывали веснушки, засунула руку в карман, а потом быстро поднесла ко рту — и продолжала с набитым едой ртом флегматично разглядывать памятник Китченеру.

Мне вдруг вспомнился плакат, изображавший человека с густыми (сержантскими, как сказали бы раньше) усами и направленным на прохожих



указательным пальцем. Надпись на плакате гласила: «Ты нужен Китченеру». Насколько же я, оказывается, стар! За стремительно промелькнувшие годы моей жизни успело вырасти целое поколение, вырасти и произвести на свет потомство, представители которого стояли сейчас передо мной, в синих школьных платьях и соломенных шляпках. Им Китченер казался чуть ли не современником Нельсона и Веллингтона.

— Боюсь, для них это мало что значит, — шепнул я учительнице. — Вот для нас...

Голубые глаза заставили меня запнуться. С чувством полной безнадежности я внезапно осознал, что учительнице самой не больше двадцати. Мне оставалось одно — поспешно ретироваться, радуясь тому, что я все еще передвигаюсь на собственных ногах, не прибегая к помощи костылей или инвалидного кресла.

В мраморном полу нефа в соборе Св. Петра в Риме есть одна плита, которую замечают лишь немногие посетители. На этой плите нанесены метки, показывающие соотношение высоты самых крупных соборов мира к высоте собора Святого Петра. Вторым по высоте после Святого Петра является лондонский собор Святого Павла, далее следуют соборы Флоренции, Реймса и Кельна.

Собор Святого Павла отличается от многих знаменитых соборов мира тем, что он — творение одного человека, а именно сэра Кристофера Рена, который по воле Провидения оказался в Лондоне во времена правления Карла II. Ему предстояло восполнить ущерб, нанесенный Большим пожаром. В конечном счете это бедствие оказало Лондону неоценимую услугу, поскольку восстановление города было поручено ожидавшему своего звездного часа Кристоферу Рену.

Даже если его гению принадлежит всего половина приписываемых ему зданий, то и в этом случае можно

утверждать — Рен был чрезвычайно талантливым и плодовитым архитектором. Не важно, откуда вы любуетесь панорамой Сити — с Хангерфордского моста, с южной оконечности моста Ватерлоо, с Лондонского моста или со стороны Монумента, — все равно представшее вашим глазам зрелище будет отмечено печатью таланта Кристофера Рена.

Дед Рена торговал в Лондоне тканями, а сам Рен родился в местечке Ист-Нойл неподалеку от Тисбери, в графстве Уилтшир. Как и многие другие великие люди, он был сыном пастора.

Гениальность Рена проявилась уже в детстве. Оказавшись в Вестминстере, он под руководством знаменитого доктора Басби проявил выдающиеся способности к изучению латинского языка. Позже, в Уодэм-колледже Оксфордского университета, он собрал вокруг себя ведущих интеллектуалов того времени. Считается, что, посвяти Рен свою жизнь математике и астрономии (по всей вероятности, он сделал окончательный выбор в тридцатилетнем возрасте), он мог бы соперничать с самим Исааком Ньютоном. В Оксфорде он еще не догадывался о том, что ждет его впереди, и ставил эксперименты на животных по переливанию крови. Одновременно он разрабатывал систему дезинфекции зараженных помещений. Рену принадлежит целый ряд изобретений, однако он отличался удивительно небрежным отношением к плодам своего интеллектуального труда: доведя какую-либо работу до конца, он сразу же о ней забывал. Исторический анекдот гласит, что один из восторгавшихся талантом Рена друзей завел привычку сообщать о его открытиях немецким изобретателям, которые потом выдавали эти открытия за свои.

Когда в Лондоне случился Большой пожар, Рену исполнилось тридцать четыре года. Поскольку к тому времени он уже несколько лет занимал должность

главного инспектора Его Величества по строительным работам, проблема восстановления разрушенного пожаром города пробудила в нем профессиональный интерес. Спустя всего четыре дня после того, как пожар был потушен, Рен представил на рассмотрение подробный план восстановления Сити. Этот план принято считать лучшим из всех составленных в то время планов; будь он одобрен, нынешний Лондон выглядел бы намного привлекательнее. Но у разработанного Реном плана оказалось слишком много противников. Этот план противоречил их личным интересам, поэтому его аккуратно положили под сукно.

Кристоферу Рену пришлось довольствоваться восстановлением собора Святого Павла, пятидесяти с небольшим церквей, тридцати шести гильдий, таможни, Темпл-Бара, множества частных и казенных зданий, а также строительством Монумента. Столь грандиозные здания, как Гринвичский госпиталь, он явно проектировал в свободное от основной работы время. Вне всяких сомнений, Рен — образец плодovitого архитектора, карьера которого являет собой пример воплощения старого принципа: талант — это работа, работа и еще раз работа. Ему были чужды алчность и корыстолюбие. Единственным вознаграждением, которого он попросил за восстановление собора Святого Павла и приходских церквей Лондона, стали жалкие две сотни фунтов ежегодной пенсии. Он с благоговением принял порученную ему задачу, совершенно не помышляя о личной выгоде. Широко известна история о том, как герцогиня Мальборо, раздраженная счетами за строительство Бленхеймского дворца, напомнила своему архитектору, что великий Кристофер Рен, которого по три-четыре раза в неделю с риском для жизни поднимали в корзине на вершину купола собора Святого Павла, довольствовался двумястами фунтами в год!

Когда началось строительство собора, архитектору было сорок три года; когда открылись хоры, ему минуло шестьдесят пять, а к моменту завершения строительства Рен превратился в семидесятисемилетнего старца. Всю свою зрелую жизнь, с сорока лет и до преклонного возраста, он наблюдал за тем, как его могучее творение поднимается все выше в лондонское небо. На суррейском берегу Темзы стоит небольшой, затерявшийся среди складских строений домик. Считается, что именно в этом домике жил Рен и что именно отсюда он наблюдал за тем, как растет его детище.

Собор Святого Петра в Риме явно произвел на Рена огромное впечатление и вдохновил на проект собора Святого Павла. Рен спроектировал окружающие собор здания, архитектура которых во многом повторяла стиль Бернини, в особенности великолепные колоннады. Однако земля в этом районе Лондона стоила слишком дорого, вследствие чего эти проекты так и не были реализованы. Рен настолько высоко ценил Бернини, что за год до Большого пожара поехал в Париж, чтобы побеседовать с итальянским зодчим об архитектуре. Но каждый человек, независимо от того, насколько он талантлив и насколько опережает свое время, все равно остается продуктом своей эпохи. Недавно я читал лаконичные записи из дневника Роберта Гука — этот замечательный человек был другом Кристофера Рена. Гук пишет, что талантливый ученый и гениальный математик, создавший собор Святого Павла и множество других величественных зданий, лечил тонзиллит своей супруги, «подвешивая ей на шею мешок с лобковыми вшами».

Этот великий гений тихо скончался в преклонном возрасте. Войдя в его комнату, слуга обнаружил, что хозяин умер, сидя в своем кресле. В момент смерти Рену был девяносто один год. Свидетелем скольких

удивительных событий ему довелось стать за свою долгую жизнь! Когда он родился, еще встречались люди, знававшие Шекспира и беседовавшие с королевой Елизаветой; когда он умер, уже появились на свет младенцы, которым суждено было увидеть начало века, подарившего человечеству паровую машину. Всего спустя тринадцать лет после кончины Рена родился Джеймс Уатт; доживи Рен до рождения Уатта, старец и младенец связали бы воедино эпоху Елизаветы и эпоху Виктории.

## 2

Поднимаясь на Галерею шепота, я обнаружил, что восхождение не столь утомительно, как принято считать. Чтобы подняться на Каменную галерею, нужно преодолеть триста семьдесят пять ступенек. Еще двести пятьдесят две ступеньки ведут к расположенному под крестом шару, куда удаётся проникнуть лишь немногим посетителям. И все же подняться наверх совсем нетрудно, потому что винтовая лестница довольно широка, а ступеньки пологие.

Когда я добрался до Галереи шепота, дежурный служитель вежливо попросил меня пройти по узкому, огороженному поручнями кольцу на противоположную сторону. Там мне полагалось сесть и слушать. Голос служителя был таким монотонным, таким бесстрастным, что я невольно задался вопросом: сколько раз в день ему приходится повторять эту фразу? Добравшись до указанного места, я снова услышал служителя, который теперь находился примерно в ярде от меня. Казалось, его голос исходит прямо из камня. Он рассказывал о соборе, приводя даты и цифры. Этот необычный звуковой трюк, пожалуй, был бы настоящей находкой для дельфийского оракула. Далеко внизу лежало

внутреннее пространство собора, в котором медленно и бесшумно двигались маленькие фигурки. С такой высоты люди казались муравьями. Столь же замечательная картина открывается и наверху, где находятся фрески Джеймса Торнхилла, посвященные эпизодам из жизни апостола Павла. Несколько лет назад эти фрески почистили, и наши современники впервые получили возможность как следует их рассмотреть. Хотя с галереи у основания купола открывается дивная панорама Лондона, она все же уступает той, которую можно наблюдать с Золотой галереи. Чтобы туда подняться, надо преодолеть еще сто семьдесят пять ступеней, но вид, который откроется вашему взору, вполне того заслуживает. По пути наверх я осмотрел замечательный кирпичный конус и внешний купол, построенный Реном для того, чтобы поддерживать каменный фонарь с крестом и шаром. Кстати, купол изнутри собора и купол снаружи — как будто два совершенно разных купола.

С Золотой галереи — маленького и узкого, продуваемого ветрами пространства — открывается незабываемый вид на Лондон. Отсюда видно, что город лежит в широкой и неглубокой долине, ограниченной с юга и севера зелеными возвышенностями Сайденхэма и Хэмпстеда. Видны узкие извилистые улицы старого Сити, а на западе — башни Вестминстерского аббатства над серебристой лентой Темзы. Внизу медленно ползут похожие на жуков омнибусы — они движутся в направлении темного ущелья Ладгейт-Хилл.

Какое чудо, что собор Святого Павла не сгорел во время последней войны! При взгляде на развалины соседних домов понимаешь, что ни одно здание во всем Лондоне не подвергалось такой опасности, как этот собор, который во время разрушительных бомбардировок оказался буквально в огненном кольце. Я восхищаюсь отвагой духовенства и служителей собора,

которые на протяжении нескольких лет охраняли его каждую ночь. Они хватали клещами зажигательные бомбы, бросали их в ведра с песком и заливали водой из насосов. Только благодаря самоотверженности своих защитников уцелела эта знаменитая церковь, купол которой является символом Лондона и узнаваем в любом уголке земного шара. Если бы не их усилия, собор, несомненно, постигла бы участь его предшественника, сгоревшего во время Большого пожара.

Помню одно военное Рождество, когда Ладгейт-Хилл и близлежащие маленькие улочки превратились в настоящий кошмар. Я двигался в направлении собора Святого Павла, перешагивая через пожарные шланги, пробираясь сквозь груды разбитых оконных стекол. В воздухе стоял отвратительный запах гари — все еще продолжался пожар на Патерностер-роу, в результате которого погибло четыре миллиона книг. Я испытал большое облегчение, когда, переведя взгляд на Ладгейт-Хилл, увидел совершенно не пострадавший собор Святого Павла. На глаза навернулись слезы, когда на фоне темного фасада я увидел украшенную цветными лампочками рождественскую елку. Я вошел внутрь собора, где стояла еще одна елка, усыпанная подарками для лондонских детей и для экипажей минных тральщиков. В дальнем конце церкви священнослужитель читал молитву, а рядом с ним стояли на коленях несколько человек. Я присоединился к ним, радуясь тому, что Господь, похоже, не оставил своей милостью этот собор. Слова молитв эхом отражались от купола храма и смешивались со звуками, доносившимися снаружи: настойчивым звоном пожарного колокола, криками измученных пожарников, перетаскивающих свои похожие на питонов шланги, треском лопавшихся от жары оконных стекол. Интересно, сколько еще продержится эта самая

заметная в городе цель? — подумал я тогда. Неужели я вижу собор Святого Павла в последний раз?

Наверное, только те, кто постоянно дежурил, защищая собор от бомбардировок, знают, сколь малы были его шансы уцелеть. Однажды ночью рядом с часовой башней упала бомба замедленного действия, пробившая дыру глубиной в двадцать семь футов. Ее выкопали и отвезли в Хэрни-Марш, где и подорвали. После взрыва осталась воронка диаметром около ста футов. В другой раз на парашюте опустился фугас, который упал всего в нескольких футах от восточной стены. Но ужасающий взрыв так и не прогремел, поскольку вышел из строя взрыватель. Неразорвавшийся фугас тоже увезли подальше от собора. Было и два прямых попадания. В октябре 1940 года одна бомба пробила крышу хоров и разрушила верхний алтарь. В апреле 1941 года бомба пробила северный поперечный неф и взорвалась внутри собора, вдребезги разбив витражные стекла, покорежив металлические детали интерьера и разрушив внутренний портик северного входа.

Рассматривая с высоты Золотой галереи оставшиеся после воздушных налетов руины, я не переставал изумляться тому, что собор Святого Павла уцелел во время войны.

### 3

Из-под купола я направился в безмолвную тьму склепа, который всегда считал самой интересной частью этого храма. Здесь, под массивными сводами, находятся могилы тех великих людей, памятники которым можно увидеть наверху.

— Я ночевал здесь целых четыре года, — сказал пожилой служитель. — Четыре года большой срок, не



так ли, сэр? Но я не жалею, ведь нам удалось спасти Святого Павла. Все это похоже на сон...

Я посмотрел на него с восхищением. До последнего времени история церковного служения не была отмечена военными подвигами. И в художественной литературе, и в действительности церковный служитель — чаще всего тихий, исполнительный человек, который либо почтительно сопровождает настоятеля церкви, либо стоит у входа в храм с таким выражением лица, что трудно понять, то ли это епископ, то ли дворецкий. Глядя на него, зарубежные туристы понимают, что в данный момент он размышляет о чем-то возвышенном, духовном. Терзаемые сомнениями, они гадают, можно ли ему дать на чай. Однако в годы последней войны служители, всегда тихие и незаметные, вдруг уподобились грозным львам. Каждый, кто оставался на своем посту во время воздушных налетов, достоин медали «За выдающиеся заслуги». Надеюсь, грядущие поколения, любясь, подобно нам, собором Святого Павла и Вестминстерским аббатством, с благодарностью вспомнят скромных, неведомых широкому кругу людей, которые во время воздушных налетов на Лондон спасали эти величественные здания.

В склепе есть три замечательных надгробия. Первое, самое строгое из трех, — надгробие на могиле Кристофера Рена. Над ним замечательная эпитафия: «Lector, si monumentum requiris, circumspice» — «Читатель, если хочешь найти памятник, оглянись вокруг».

Памятник Нельсону работы Флаксмана вполне типичен для своего времени и выглядит так, словно по какому-то недоразумению его перевезли сюда из Вестминстерского аббатства. Нельсон стоит подле якоря и сложенного в бухту каната, а Британия в шлеме, но без трезубца, указывает на адмирала и, обращаясь, очевидно, к двум совсем еще молодым морякам,

говорит: «Идите и поступайте так же». Великий адмирал лежит в прекрасном мраморном саркофаге, который первоначально предназначался для останков кардинала Уолси. Такова необычная судьба этого когда-то забытого всеми саркофага, несколько столетий пролежавшего в часовне виндзорского собора Святого Георгия.

В недрах саркофага покоится гроб с телом Нельсона. Корабельный плотник выстругал его из грот-мачты французского фрегата «Ориент», который в битве на Ниле ходил под флагом адмирала де Брюэ. За несколько лет до своей кончины Нельсон получил этот зловещий дар от капитана Бена Халлоуэлла. Впрочем, адмирал вовсе не считал гроб-подарок зловещим предзнаменованием. Он брал его с собой в море и перевозил с одного корабля на другой. Во время одного из таких переездов гроб оставили прямо на квартердеке очередного корабля. Выйдя из своей каюты, Нельсон подошел к группе офицеров, которые удивленно рассматривали гроб.

— Господа, вы можете сколько угодно его разглядывать, — бодрым тоном заметил адмирал, — но будьте уверены, никто из вас его не получит.

Один из офицеров, имевших честь обедать с Нельсоном в море, впоследствии рассказывал, что этот гроб стоял в каюте адмирала, за его резным деревянным креслом. К явному облегчению большинства офицеров, Нельсон в конце концов стал хранить эту мрачную реликвию в Лондоне. Говорят, во время своего последнего отпуска, накануне Трафальгарской битвы, Нельсон приехал взглянуть на свой гроб и пророчески заметил, обращаясь к сторожу, что, возможно, эта вещь понадобится ему по возвращении.

Наверное, в истории Англии не найти других похорон, вызвавших в народе столь глубокое и искреннее сопереживание, как похороны Нельсона, состоявшиеся 9 января 1806 года, спустя одиннадцать

недель и несколько дней после гибели адмирала при Трафальгаре. Словно античный герой, он испустил дух в мгновение победы. Благодарные соотечественники в память о Нельсоне возвели такое количество монументов, какого не удостоился ни один другой англичанин. Ему посвящены Трафальгарская площадь в Лондоне, памятник в Эдинбурге, колонна Нельсона в Дублине и многие другие памятники в различных частях страны.

Тело Нельсона уберегли от разложения, поместив в ванну с ромом, и в целости и сохранности доставили на родину. В те времена этот способ часто применялся для транспортировки тел погибших в морских сражениях. Чтобы встать на якорь в Гринвиче, кораблю «Виктори» пришлось пройти от Спитхеда до юго-восточной оконечности Англии. Главный врач флагманского корабля сэр Уильям Битти провел вскрытие и извлек из тела Нельсона роковую мушкетную пулю. Битти пришел к выводу, что, даже несмотря на слабое здоровье адмирала, он мог бы дожить до преклонного возраста, поскольку его внутренние органы скорее напоминали органы юноши, нежели сорокавосемилетнего мужчины.

В то утро, когда должны были состояться похороны, яркое зимнее солнце растопило ночную изморозь. Когда большой колокол пробил половину девятого, в соборе Святого Павла уже яблоку некуда было упасть. Улицы города заполнили толпы хранивших скорбное молчание людей. Грохот пушечного салюта возвестил о том, что из Адмиралтейства выехал катафалк. Этому колесному транспортному средству постарались придать максимально возможное сходство с боевым кораблем. На нем тоже был установлен фонарь, а сзади имелись окна, весьма похожие на кормовые окна фрегата. Когда процессия двинулась в путь, барабанщики и флейтисты заиграли похоронный марш из «Саула»<sup>[11]</sup>.

«Процессия была настолько длинной, — пишет Кэрола Оуман в своей книге «Нельсон», — что когда возглавлявшие ее драгуны Шотландского грейского полка уже приблизились к собору, замыкавшие процессию офицеры обоих родов войск еще только выходили из Адмиралтейства. Единственный звук, исходивший от непривычно умиротворенной толпы, напоминал шум моря и был вызван спонтанным движением массы людей, желавших разглядеть появившийся катафалк».

В два часа дня, перед тем как процессия подошла к собору Святого Павла, двенадцать матросов «Виктори» подняли гроб, а шесть адмиралов двинулись навстречу, неся балдахин. Некоторые, предвидя, что служба будет неимоверно длинной, захватили фонари, и, когда свет январского дня померк, паства увидела желтые огоньки фонарей, осветившие мерцающим светом центральную часть собора, где под куполом покоился гроб Нельсона. Его окружали моряки, стоявшие в центре кольца из шотландских горцев в килтах.

Прежде чем опустить гроб адмирала в склеп, матросы «Виктори» должны были положить сверху флаг корабля; вместо этого они разорвали полотнище на куски, и каждый сунул клочок материи под ворот своей формы. Они твердо решили оставить себе на память хоть что-то, связанное со своим командиром. Это проявление недисциплинированности, наверное, вызвало бы неодобрение Нельсона, но все, кто видел этот эпизод, запомнили его на всю жизнь. Проявление человеческих чувств нарушило порядок торжественной церемонии, но оно вполне соответствовало характеру Нельсона, который не чуждался проявления эмоций. Только в десятом часу вечера последние прихожане, спустившись по ступеням собора Святого Павла, исчезли в сгустившейся тьме.

Не менее искренние чувства в народе вызвала смерть дожившего до глубокой старости и покрытого славой герцога Веллингтона, тело которого доставили к последнему пристанищу в склепе собора Святого Павла. Сорок шесть лет прошло с тех пор, как был похоронен великий современник Веллингтона Нельсон. Под сводами склепа установили сделанный из пушечного металла знаменитый катафалк, на котором доставили в собор гроб с телом герцога. Филип Гведалла назвал этот гроб «двадцатью семью футами первосортной аллегии». Помимо выгравированных на его стенках различных видов оружия, он украшен и настоящими ружьями, штыками и саблями. Ныне гроб покрыт пылью и паутиной и выглядит так же мрачно, как и в то сырое ноябрьское утро, когда его тащили к собору двенадцать украшенных траурными плюмажами лошадей-тяжеловозов. Карлейль считал этот катафалк самым уродливым предметом из всех, которые он когда-либо видел: «Множество роскошных мантий, флагов, полотнищ, позолоченных эмблем и прочей мишуры придают ему сходство с телегой, с которой распродают половики, а не с похоронными дрогами великого героя». В ожидании процессии, которая должна была доставить тело Железного герцога к месту погребения, толпа простояла всю ночь под проливным дождем. Улицы Лондона настолько были забиты людьми, что утром фонарщики не смогли подобраться к фонарям, чтобы их потушить, и те горели весь день.

В соборе Святого Павла находили свое последнее пристанище солдаты и, как это ни странно, художники. Здесь упокоились Рейнольдс, Лоуренс, Опи, Холман Хант, Лэндсир, Миллес, Альма Тадема и многие другие. В этом же соборе погребена, среди немногих женщин, и Флоренс Найтингейл.

Уже покинув собор Святого Павла, я вдруг вспомнил одно весьма известное предание. Стоя среди развалин

собора, Рен попросил одного из рабочих принести камень, с помощью которого он хотел отметить центр нового храма. Ему принесли кусок могильного камня, на котором можно было различить слово «Resurgam» — «Я восстану».

#### 4

Однажды днем я шел по Ладгейт-Хилл, пытаюсь вспомнить, как выглядели магазины, от которых теперь остались одни фундаменты. В каком из них продавали часы? В каком книги? В каком ковры? Как легко все это забывается. На фоне руин Ладгейт-Хилл резко выделяется парк, в котором можно купить грубо сколоченные стулья и садовые украшения. Такой же парк расположен неподалеку от Лондонского моста.

И вот я вышел на Флит-стрит, причем как раз в то время, когда все вечерние газеты заняты поиском материала для главной статьи очередного номера. Правда ли, что Флит-стрит ныне совсем не та, какой когда-то была, или это только мои домыслы? На этот вопрос трудно ответить, особенно тому, кто уже не принадлежит Лондону.

Флит-стрит всегда казалась мне похожей на деревню, и она действительно славится деревенской водяной колонкой у ограды кладбища церкви Святой Бриды. И как все деревни, она переполнена сплетнями, скандалами и слухами. Вполне закономерно, что по мере роста Лондона эта улица превращалась в своего рода сверхдеревню, население которой занималось распространением сплетен и новостей, поступавших со всех уголков земного шара. И по сей день Флит-стрит продолжает оставаться деревней — в том смысле, что все ее обитатели хорошо знакомы друг с другом и каждый из них знает, где искать соседа в то или иное

время суток. Что касается еды и в особенности выпивки, то вкусы обитателей Флит-стрит отличаются необыкновенным постоянством.

Как и средневековый Стрэнд, где вольные бароны и прочие аристократы имели собственные городские дома с челядью, Флит-стрит заполнена слугами газетных магнатов, которые хоть и не носят ливрей, но отличают друг друга, как если бы они ходили с гербами Норфолка или Джона Гонта на груди. Я всегда утверждал, что человека из «Ньюс Кроникл» можно узнать по внешнему виду. Сотрудники «Кроникл» уверяли меня, что могут опознать сотрудника «Экспресс» или «Мэйл» еще до того, как он откроет дверь. Такое случается в маленьком сообществе, члены которого находятся в состоянии жесткой конкуренции.

Это короткая, но весьма насыщенная офисами знаменитых газет улица. Сотрудник вечерней газеты воспринимает Флит-стрит несколько иначе, чем сотрудник утреннего издания. Первый видит ее, когда солнце висит над Бувери-стрит и когда Грифон<sup>[12]</sup> и купол собора Святого Павла покрыты позолотой утреннего света, тогда как второй прибывает на Флит-стрит гораздо позже, когда солнце ползет к закату над Шу-лейн и день уже клонится к вечеру. Оба они в огромной степени зависят друг от друга. Придя на работу, сотрудники вечерних газет первым делом читают утренние, а сотрудники утренних газет читают вечерние. Флит-стрит напоминает змею, которая всегда старается проглотить собственный хвост.

Будучи давним и постоянным читателем как вечерних, так и утренних газет, могу с уверенностью утверждать, что Флит-стрит полностью раскрывает себя только в тот короткий, но патетический миг, когда жизнь на ней замирает и иссякает транспортный поток, текущий в дневные часы в направлении Ладгейт-Серкус. В это время выходит на промысел огромная популяция

котов, а тротуары сотрясает шум ротационных прессов — своеобразный пульс Флит-стрит. В эти короткие часы улица вызывает такое же умиление, как лицо спящего человека. Еще в пору романтической юности я догадывался о том, насколько жестокой может оказаться Флит-стрит, и всегда ее немного побаивался, особенно в моменты очевидного триумфа. Знал я и о ее весьма опасной привлекательности. К ней невозможно относиться равнодушно: либо вы ее любите, либо ненавидите. Впрочем, порой едва успеваешь заметить, как одно из этих чувств переходит в другое. Эта улица может щедро вас наградить, а в следующий момент (пусть по отношению не к вам, а к кому-то другому) она поведет себя грубо, жестоко и бессердечно. Иногда я уходил с Флит-стрит только на рассвете, и тогда мне казалось, что ее сточные канавки заполнены надеждами и устремлениями многих, гораздо более достойных, чем я, людей.

Посмотрев на сегодняшнюю Флит-стрит, а потом на гравюры в печатных изданиях шестнадцатого и семнадцатого столетий, не веришь собственным глазам; а ведь когда-то это была улица высоких деревянных домов с нависающими друг над другом живописными террасами — именно такую Флит-стрит знал Исаак Уолтон. Но, заглянув в многочисленные переулки и дворики, вы с восхищением обнаружите, что колорит прежней эпохи сохранился хотя бы в названиях — Плам-Три-корт (Двор сливового дерева) или Хэнгинг-Сорд-элл (переулок Висячего меча). В Невилс-корт на Феттер-лейн (теперь, увы, полностью разрушенной бомбардировками) сохранилось несколько красивых домов с прилегающими к ним садами. Я часто думал, что следовало бы запретить порочную практику сдачи в аренду этих домов и отреставрировать их так, чтобы мы смогли наглядно представить, как выглядела эта часть Лондона во времена, когда окрестности Флит-стрит были



жилыми. Один из этих домов уцелел до сих пор — дом доктора Джонсона на Гау-сквер. Как и все прочие районы Лондона, где бурлит жизнь, Флит-стрит постоянно меняется. Когда я впервые здесь побывал, на Ладгейт-Серкус практиковал френолог, объяснявший значение каждой неровности черепа. Неподалеку от Шулейн дворец из стекла и стали уничтожил несколько старых, весьма интересных магазинчиков, в том числе и маленькую столовую, где, прямо у выходившего на улицу окна, в шипящих сковородах жарили восхитительные сосиски. К полудню этот запах достигал печально известного Грифона. Там находился и отель «Андертон», в котором я однажды заночевал, зная, что это одна из средневековых лондонских гостиниц (когда-то она звалась «Хорн»), олицетворяющих собой давно минувшие времена. Да, многое изменилось, но, когда вы приближаетесь к этому району с севера, перед вами, как и прежде, открывается превосходный вид на собор Святого Павла в обрамлении Флит-стрит.

Было бы весьма утомительно перечислять имена всех знаменитостей, которые имели отношение к этой многолюдной улице; впрочем, одно из них затмевает все остальные. Это Сэмюел Джонсон — высшее божество Флит-стрит.

Когда все те, кто когда-либо работал на Флит-стрит, окажутся забыты, созданный Босуэллом величественный образ старого доктора будет осенять своим присутствием эту улицу. Его тень будет падать на почтовые ящики Флит-стрит и камни ее мостовой. Я пошел на Гау-сквер, где стоит построенный в эпоху королевы Анны симпатичный дом из красного кирпича. В этом доме Джонсон провел около десяти лет своей жизни. Я почти не сомневался в том, что дом закрыт, поскольку слышал, что он был практически полностью разрушен во время налетов.

Но, подойдя ближе, я не обнаружил и намека на разрушения, хотя все пространство в направлении Феттер-лейн огорчало взгляд полным запустением. Дом Джонсона уцелел. Справа от входа росло фиговое дерево, а в прилегающем к стене маленьком садике с выложенными камнями дорожками я увидел ноготки, фуксии и герани в зеленых кадках. Дверь мне открыла смотрительница миссис Роуэл. Она сообщила, что дом отремонтирован и снова открыт для посетителей.

— Вы жили здесь всю войну? — спросил я.

— О да, — сказала миссис Роуэл, — иначе бы здесь ничего не осталось.

Она поведала мне такой эпизод из истории Гаусквер, который привел бы в изумление и Босуэлла, и самого доктора. Будучи смотрительницей музея, миссис Роуэл проживала в нем вместе со своей дочерью Бетти и матерью, пожилой дамой, которая после первого же авианалета скончалась от нервного потрясения. 29 декабря 1940 года одна из бомб угодила на территорию находившейся рядом с домом Джонсона фабрики по производству типографской краски. В результате взрыва бак с техническим маслом швырнуло прямо на крышу дома. В тот миг никому и в голову не пришло, насколько символичным или, если хотите, ироничным является этот случай. Ведь фабрика по производству типографской краски вполне могла стать причиной гибели дома доктора Джонсона. От удара балки крыши содрогнулись и почти мгновенно запылали, а черепица стала рушиться прямо в жилую комнату. Пожарники и смотрители все же потушили огонь, а утром увидели, что балки обуглились, но выглядят достаточно крепкими. Впоследствии дом еще пять раз подвергался смертельной опасности. Его, разумеется, закрыли для посетителей, а когда налеты на Лондон участились, в этом доме стали постоянно собираться сотрудники добровольной пожарной дружины. Это наверняка

понравилось бы доктору Джонсону, который, как известно, был завсегдатаем клубов! Забавная история, не правда ли?

— У пожарных было много работы, и они очень уставали, — пояснила миссис Роуэл. — Отдохнуть и некогда, и негде, а у нас всегда были наготове чай, кофе, какао и вообще все, что мы тогда могли раздобыть. Знаете, порой мы очень неплохо проводили время. Даже устраивали музыкальные вечера во время налетов!

Если уж призрак старого Сэма Джонсона когда-либо и возвращался в Лондон, это произошло именно в те времена. Впрочем, как ни странно, ни один пожарник не сообщал, что ему пришлось столкнуться на лестнице с дородным джентльменом или что кто-то предложил сменить его на посту и при этом назвал «сэром».

— Доктор Джонсон, несомненно, был мужественным человеком, — сказал я, — и его вряд ли напугали бы те испытания, которые вы выдержали.

— Напугали бы моего милого старика? — возмутилась миссис Роуэл. — Ну уж нет! Для того чтобы напугать доктора Сэмюела Джонсона, потребовалось бы нечто большее, чем какой-то там фугас.

Вот тогда я понял, что разговариваю с истинной поклонницей Джонсона.

Потом мы побродили с ней по симпатичному старинному дому. В комнате нижнего этажа стоит книжный шкаф-секретер из красного дерева, принадлежавший миссис Элизабет Картер и обезображенный следами шрапнели. В другой комнате хранится локон Джонсона — шелковистый и рыжеватый, слегка тронутый сединой.

— Мой милый старик, — повторила миссис Роуэл, не сводя взгляда с локона.

Затем мы увидели «чайный сервиз» миссис Трейлс — ее подарок Джонсону. В сервиз входят две чашки,

заварочный чайник, сахарница и кувшинчик для молока. Думаю, что после смерти Джонсона в 1784 году им ни разу не пользовались.

Здесь есть одна интересная картина, которую приписывают Рейнольдсу. На ней изображен чернокожий слуга Джонсона по имени Фрэнк Барбер. Он был рабом на Ямайке, получил свободу в 1752 году и стал слугой Джонсона. Барбер верой и правдой служил Джонсону почти тридцать два года, вплоть до кончины своего хозяина.

Из окон гостиной доктора Джонсона открывается ужаснейший вид. Все старые дома Феттер-лейн исчезли, вместо них видны курганы щебня, покрытые сорняками и высокой бирючиной. Ступени ведут в подвалы, многие из которых впервые за несколько столетий оказались на свету. Прямо напротив дома Джонсона находится резервуар для питьевой воды, ныне превратившийся в гнездовье уток. По словам миссис Роуэл, эти утки ухитрились в самом центре Лондона выкормить не один выводок утят. Джонсон, частенько покупавший птичье мясо для кошки, наверняка распространил бы свою «монументальную доброту» и на этих птиц.

Люди со всего света приезжают посмотреть на дом Джонсона. Некоторые из них знают о Джонсоне больше, чем он сам о себе знал. Другие приходят сюда просто потому, что это одна из городских достопримечательностей.

Думаю, что из всех многочисленных лондонских домов Джонсона именно дому на Гау-сквер мы отдаем предпочтение, когда испытываем желание пройтись по джонсоновским местам. Ведь как раз тут обнищавший тридцатидевятилетний писака приступил к своему знаменитому «Словарю», который и принес ему славу.

На верхнем этаже шестеро подручных многие годы занимались пополнением лексикона и подбором ссылок, а внизу располагались жилые помещения, где обитали

Джонсон и его жена Люси, вдова мануфактурщика из Мидленда. Внешне этот союз выглядел нелепо: огромный импульсивный доктор, резкий в движениях, вечно мучимый сомнениями и что-то бормочущий себе под нос — и его пожилая, на двадцать лет старше мужа супруга, о которой Гаррик довольно резко сообщает: «Она отличалась общей дородностью и необыкновенно пышной грудью, а ее пухлые ярко-красные щеки свидетельствовали о злоупотреблении косметикой и чрезмерном пристрастии к сердечным каплям». Анна Сьюард характеризовала ее как обладательницу «совершенно неподобающего девичьего легкомыслия и отвратительного жеманства». От миссис Трейл мы узнаем, что Люси была блондинкой, волосы которой «напоминали волосы ребенка». Она хотела перекрасить их в черный цвет, но воздержалась, поддавшись уговорам своего обожаемого Сэмюела. Разорившийся друг Джонсона доктор Роберт Леветт говаривал, что миссис Джонсон была пьяницей и увлекалась опиумом, который в восемнадцатом веке употребляли для поднятия тонуса, точно так же, как в наши дни употребляют аспирин. Даже если это правда (есть подозрения, что Леветт сознательно оклеветал бедную женщину), Джонсон все равно души не чаял в своей Люси. Она умерла в шестьдесят три года; Джонсону тогда исполнилось сорок три. Ее кончина на какое-то время полностью выбила его из колеи, и он до конца жизни оплакивал свою «милую Тетти».

В этом доме он написал пьесу «Айрин», поставленную Гарриком в «Друри-Лейн». В повседневной жизни Джонсон был ужасно неопрятным человеком, его одежду покрывала пыль, чулки вечно сползали, пышный старомодный парик изобиловал подпалинами от прикроватных свечей. По случаю премьеры он, полагая, что драматург должен выглядеть модно, вырядился в алый жилет с золотым шнуром и

сидел в ложе, положив перед собой шляпу с золотым шитьем. Это была единственная его уступка соображениям приличия; надо, конечно же, отдать должное Трейлам, которые следили за костюмами Джонсона и приводили их в порядок перед зваными обедами.

На Гау-сквер Джонсон начал работу над «Рамблером». Он саделся за работу дважды в неделю и трудился в течение двух лет. Именно в этом доме он написал и свое знаменитое письмо лорду Честерфилду. Возможно, здесь и умерла его «милая Тетти», кончина которой привела доктора в отчаяние<sup>[13]</sup>.

Джонсон покинул Гау-сквер за четыре года до того, как началась его весьма плодотворная дружба с Босуэллом. Когда они познакомились, Джонсону было пятьдесят четыре года, он уже был знаменит и носил прозвище Великого Хана Литературы. Что касается Босуэлла, тому едва исполнилось двадцать три года. Оба принадлежали к ярко выраженному невротическому типу. Босуэлл отличался пристрастием к алкоголю, а вот случай Джонсона — до сих пор непроясненная совокупность скрытых комплексов и неврозов. Некоторые убеждены в том, что Джонсон и Босуэлл никогда не расставались, однако на самом деле за все время многолетнего приятельства, то есть двадцать один год, они встречались крайне редко. Обычно Босуэлл находился в своем шотландском имении, а его выезды в Лондон были чем-то вроде каникул, или, как он их называл, «увеселительных прогулок». Крокер подсчитал, что, если исключить совместную поездку на Гебриды, Босуэлл провел рядом с Джонсоном всего сто восемьдесят дней. Он явно не тратил время понапрасну.

Джонсону и Босуэллу посвящена масса литературы, но одна книга о них до сих пор не написана. Думаю, ее автором мог бы стать врач соответствующего профиля. Эта книга могла бы пролить свет на любовь Джонсона к

«милой Тетти» и последующую привязанность к хрупкой миссис Трейл. Босуэлл вне всяких сомнений написал лучшую биографию Джонсона, которая к тому же является одной из самых увлекательных на свете книг, но все же в Джонсоне было много такого, чего Босуэлл не сумел увидеть и постичь.

## 5

Выйдя на Чэнсери-лейн, я обнаружил, что Государственный архив вновь открылся после войны и что он, как и прежде, сущая находка для тех, кто изучает историю, собирает автографы и занимается каллиграфией. Первое, что я выяснил в архиве — что во время войны «Книга Судного дня»<sup>[14]</sup> находилась на хранении вовсе не в Соединенных Штатах, как считали многие, а в здании тюрьмы Шептон-Маллет.

Несмотря на все опасности военного времени, архивные материалы благополучно пережили войну и сегодня вновь хранятся в огнеупорных подвалах на Чэнсери-лейн. В 1232 году на том месте, где ныне стоит здание Государственного архива, располагалась Палата новообращенных, основанное Генрихом III «министерство» по делам обращенных в христианство евреев. Когда Эдуард I изгнал евреев из Англии, должность распорядителя Палаты новообращенных объединили с должностью секретаря Канцлерского суда, отвечавшего за пергаментные свитки и другие документы государственной важности. Эти документы хранились в множестве лондонских зданий, от Тауэра до Вестминстерского дворца, поэтому отыскать среди них необходимый зачастую представлялось почти невозможным. Лишь в прошлом столетии все архивные записи были собраны вместе, под крышей возведенного

специально для этих целей неброского здания в стиле Тюдоров.

Архив открыт для посещения, в нем есть картотека — неоценимое подспорье для студентов и для всех тех, кто интересуется старинными документами. В каталоге работает вежливый молодой человек, которого невозможно чем-либо удивить. К нему можно обратиться едва ли не с любым вопросом относительно архивных документов; он либо сам пойдет в хранилище, либо пошлет туда одного из своих подручных — и выдаст вам, к примеру, письмо королевы Елизаветы I, счет за отрез материи, пошедшей на одно из платьев Нелл Гвин, или долговую расписку Карла II. Понятия не имею, есть ли у этого юноши свободное время, чтобы поразмышлять над странностями клиентов архива; впрочем, он попросту не может не придавать внимания этим странностям, поскольку Государственный архив посещают весьма колоритные личности.

Среди тех, кто исследует пергаментные реликвии английской истории, можно встретить рассеянных пожилых мужчин с отсутствующим взглядом, забывающих в транспорте свои портфели, шляпы и зонты, равно как и молодых и нередко очень симпатичных женщин, которые месяцами сосредоточенно изучают написанные на латыни тексты. Кроме того, на архив время от времени совершают коллективные набеги американцы, которые, подобно рою саранчи, набрасываются на старинные рукописи в надежде отыскать случайное упоминание о Шекспире. Все они получают немалое удовольствие от своих исследований и считают многолетние поиски ненапрасными, если им удастся выяснить, что в момент, когда король Иоанн подписывал Великую хартию вольностей, шел дождь или что Мария Кровавая была левшой. Ни один изловивший преступника детектив не испытывает и доли того волнения, какое обуревают этих



людей в те мгновения, когда они находят особо ценный (и пыльный) манускрипт с неразборчивыми каракулями.

Именно в Государственном архиве собираются материалы для солидных, но совершенно нечитабельных исторических трудов, которые большинство людей никогда не купит. Вот старичок в углу, читает с помощью часовой лупы средневековый манускрипт; он пишет книгу о феодальном землевладении. Эта книга проживет дольше тысячи бестселлеров, но мало кто ее прочтет. Автор не заработает на ней ни гроша, но это его ничуть не беспокоит. Девушка в роговых очках «охотится» за разысканиями знаменитого историка. Она составила длинный список и методично исследует по нему столетие за столетием. О, эти женщины, листающие пыльные страницы веков! Они аккуратны и неутомимы. Если вам понадобится раскопать под спудом столетий некую мелкую подробность — обратитесь к девушке с очками в роговой оправе на прелестном носике; уверяю вас, вы не разочаруетесь.

К моему разочарованию, что один тип посетителей архивов практически полностью исчез. Где вы, чудаковатые пожилые мужчины, жаждавшие доказать всем и каждому, что являются правомочными потомками графа Брикстона или пропавшего без вести маркиза Шепердс-Буша? Я еще застал этих вполне безобидных стариков; в последние же годы их становится все меньше. Все они походили друг на друга, все проживали в захудалых меблированных комнатах в Блумсбери, все приносили с собой маленькие пакеты с бутербродами. Обуянные бредовыми идеями, мнившие себя окруженными жизнерадостными поселянами и подобострастными арендаторами, они на протяжении многих лет подряд тщательно изучали побуревшие от времени пергаменты в поисках доказательств своего благородного происхождения. Сегодня количество потенциальных пэров резко пошло на убыль. Возможно,

престарелые мечтатели осознали, что титул нынче не стоит таких усилий.

В архиве можно увидеть и «Книгу Судного дня», которая, кстати сказать, на самом деле называется «Liber de Wintonia», то есть «Винчестерская книга» (по месту первоначального хранения). Здесь же можно заглянуть в вахтенный журнал корабля «Виктори», поддержать в руках депеши Веллингтона и список личного состава фрегата «Беллерофон», в который внесены Наполеон и офицеры его штаба, бросить взгляд на подлинное тайное письмо, в котором лорда Маунтигла предупреждают о Пороховом заговоре, и на подписи всех английских королей, с Ричарда II до Георга V, и подписи многих королей; есть там и письмо, читая которое лично я получаю массу удовольствия. В нем султан Амурат III обращается к королеве Елизавете с такими словами: «Купающаяся в величии и славе, мудрейшая повелительница великодушных последователей Иисуса, невозмутимейшая управительница всех дел рода и племени назарейского, благодатнейшая дождевая туча, сладчайший источник великолепия и чести».

Покончив с разглядыванием этих сокровищ, я удостоился аудиенции у единственной кошки, официально принятой на государственную службу. В архиве она состоит на довольствии из расчета пенни в день. По условиям договора найма кошка обязуется держать себя в чистоте, ловить крыс и мышей, а также воспитывать котят.

## 6

Образованному иностранцу наверняка покажется странным, что, в отличие от главной церкви Сити, построенной в строгом классическом стиле, здание Дома

правосудия на Стрэнде являет собой причудливый образчик помпезной готики. Я часто задавался вопросом, почему люди вынуждены разводиться или подавать исковые заявления в здании, которое в большей степени, нежели любое другое из недавних «дополнений» к метрополису, напоминает малопригодную для жизни средневековую крепость.

Однако при более близком знакомстве с этим зданием я убедился в правоте тех, кто во второй половине прошлого века остановил свой выбор именно на проекте церковного архитектора Дж. Э. Стрита. Правосудию как нельзя лучше соответствует здание, изобилующее узкими извилистыми коридорами, бойницами в стенах, многочисленными закоулками и плохо проветриваемыми помещениями.

— Что это? — задают вопрос приехавшие в Лондон туристы.

— Это Королевский суд, — отвечает педантичный экскурсовод. Порой гидам приходится пояснять — в это трудно поверить, но истина такова, какова она есть, — что Дом правосудия отнюдь не является подлинным осколком старого Лондона!

Мне это здание не нравится: в начале репортерской карьеры мне пришлось провести в нем множество тоскливых дней, выслушивая длинные, утомительные судебные тяжбы. Однако недавно я вновь посетил Дом правосудия и, быстро ознакомившись с расписанием назначенных на тот день заседаний, решил заглянуть в зал бракоразводных процессов.

Пожалуй, это помещение в большей степени, нежели любое другое, пропитано духом цинизма. Как часто загнанная в тупик любовь в конечном счете попадает именно в этот зал! У меня неоднократно возникало подозрение, что перья, которые иногда валяются на полу в этом зале, выпали или были выщипаны из крыльев Купидона. Зал бракоразводных процессов

находится в дальнем конце массивного здания. Его стены украшены панелями из мореного дуба. Кресло (скорее, трон) председателя суда стоит рядом с готической ширмой, которая легко вписалась бы в интерьер церковной ризницы. По иронии судьбы, над креслом председателя висит огромный якорь на лепной веревке, очевидно символизирующий брачные узы. Это олицетворение постоянства наводит на грустные размышления и заставляет вновь задуматься об общей атмосфере цинизма, царящей в зале.

Места свидетелей находятся в конце узкого прохода; по всей видимости, это сделано преднамеренно — чтобы по пути к скамьям свидетели со стороны жены и стороны мужа обязательно сталкивались друг с другом. В зал входит судебный пристав. Публика встает. Кого тут только нет — сбившиеся с пути истинного жены и мужья, соответчики, горничные, владельцы гостиниц, ласково поглаживающие регистрационные журналы своих заведений. Войдя в зал, занимает свое место председатель. (Вероятно, это будет расценено как неуважение к суду, дерзني я поинтересоваться, был ли сам председатель когда-нибудь влюблен.)

Встает адвокат-барристер с пачкой документов в руках.

— Браун против Брауна... если позволите, ваша светлость.

Так открывается бракоразводный судебный процесс.

Помимо суда по бракоразводным делам человеческое достоинство унижает еще один — по счастью, всего один — суд, а именно суд по делам о банкротстве, находящийся буквально за углом, на Кэри-стрит, неподалеку от заднего фасада Дома правосудия. На собственном опыте я убедился в том, что в Лондоне есть всего два адреса, которые вызывают у таксистов легкое любопытство: это Букингемский дворец и Кэри-стрит. Когда просишь отвезти в суд по делам о

банкротстве, по лицу водителя видно: он прикидывает, сколь глубоко ты увяз в долгах. Такова уж человеческая натура; и ни один таксист не поверит, что ты не должник, а кредитор.

В здании суда по делам о банкротстве, даже очутившись там в роли стороннего наблюдателя, начинаешь понимать, что жизнь — сплошная финансовая проблема. Никто в здравом уме и твердой памяти не пожелает по собственной воле войти в мрачные двери этого здания. Да, многие попадают сюда по обвинениям в финансовых махинациях, а в старину люди спешили в этот дом как в укрытие, но никто и никогда, мне кажется, не получал удовольствия от пребывания под этой крышей.

Люди внутри выглядят совершенно иначе, нежели в любом другом месте. В коридорах веет студеной ветер банкротств. Посетители выказывают явную неуверенность. Кто кредитор, а кто должник, разобраться невозможно — все выглядят одинаково напуганными. Да и сам поневоле начинаешь терять почву под ногами, а взгляды окружающих пытаются: «Признавайся, какую сумму ты надеешься спасти?»

Все люди в этом здании делятся на две категории — охотников и жертв.

Зал, в котором проводится «первичное публичное рассмотрение случаев банкротства», представляет собой душное и унылое помещение, одним своим видом наводящее на невеселые мысли о дознаниях, дебатах и сломанных судьбах. Регистратор, в мантии и благообразном парике, сидит за письменным столом и прилежно что-то записывает, тогда как официальный ликвидатор<sup>[15]</sup> или кто-то из его помощников зачитывает вслух истории человеческих несчастий. В этом суде тактично обходятся без присутствия полиции — в конце концов, куда торопиться? Внешне здешние процессы схожи с заседаниями уголовного суда, но сама

атмосфера разбирательства, скорее, напоминает переливание из пустого в порожнее на встрече дискуссионного клуба или пародию на суд.

Здесь не выкрикивают во весь голос имена людей, ожидающих в коридоре; не вскакивают со своих мест адвокаты, не выставляют угрожающе указательный палец и не рвут в клочья показания свидетелей обвинения или защиты. Этот суд настолько благовоспитан и любезен, насколько вообще суд может быть таковым. Рассматриваемые случаи здесь именуют не «делами» а «вопросами».

— А теперь по вопросу Джонса, — бодро объявляет регистратор.

Он на мгновение отрывается от своей писанины и обводит присутствующих чуть ли не благодушным взглядом; его глаза скрыты за стеклами очков в оправе из черепахового панциря. И мистер Джонс, который еще несколько недель назад был преуспевающим мужским портным, а теперь стал всего лишь «вопросом», нервно подскакивает и направляется на свидетельскую трибуну.

Мы — во всяком случае, я — представляем себе банкрота как богача, низвергнутого с вершин благополучия собственной неосмотрительностью или неблагоприятным течением обстоятельств. Для нас банкротство, подобно войне или воровству, начинает представлять интерес только тогда, когда имеет значительные масштабы. Но подлинная драма Кэри-стрит — отнюдь не крах какого-нибудь миллионера, а незавидная участь бедняков, доведенных до отчаяния долгом в сто пятьдесят фунтов. Они приходят словно в прострации, ошеломленные случившимся, а за ними по пятам следуют алчные кредиторы. Таких людей тысячи; одни попадают сюда волей обстоятельств, другие по причине собственной глупости, а третьи действительно виновны.

— А теперь по вопросу Джонса...

Ликвидатор излагает суть дела. Встает и высказывается стряпчий. Подавшись вперед, регистратор что-то говорит ликвидатору. Все происходит вполне обыденно. Нет ни свойственных уголовному суду словесных поединков, ни патетической риторики, ни двенадцати добропорядочных граждан, которых необходимо убедить в своей правоте. Если не брать в расчет заседания совета Лондонского графства или нижней палаты парламента Ирландской республики, именно здесь хуже всего обстоят дела с юридическим красноречием.

— А в чем, собственно, причина затруднений? — спрашивает регистратор тоном доброго дядюшки.

Далее следует одно из тех сугубо личных признаний, которые оживляют скорбную атмосферу судебных заседаний на Кэри-стрит.

— Ну, моя теща... Дело в том, что мы с женой живем с ней вот уже год, и я одолжил у нее двадцать фунтов. А потом...

Поднимается одна из сидящих в зале суда женщин.

— Я хотела бы знать, — говорит она громким голосом, — есть ли у меня надежда вернуть деньги, которые я одолжила...

В обычном суде пристав потребовал бы соблюдать тишину, а к нарушительнице спокойствия тотчас подошел бы служитель; но в суде по банкротствам все делается вежливо. Разгневанную тещу утихомиривают, не прибегая к мерам официального воздействия.

Один за другим быстро рассматриваются остальные «вопросы». Одна женщина пыталась содержать больного мужа за счет прибыли маленького магазинчика. К сожалению, прибыли не оказалось и в помине. Молодой прораб объясняет, что решил открыть собственное дело и подрядился строить дорогу, располагая капиталом в сто фунтов. Покинув свой стол,

регистратор приближается к свидетелю и окидывает его испытующим взглядом. Он напоминает врача, который осматривает пациента.

— Очень маленький капитал, — тихо констатирует он.

— Да, сэр, — соглашается подрядчик.

Банкротство!

Следующий «вопрос». К присяге приводят польского еврея в котелке. Он рассказывает, как он стал ювелиром и как, предположив, что разносторонность интересов делу не повредит, он купил соседний магазин и стал, помимо ювелирных изделий, торговать табаком. Дела шли блестяще, он достиг определенных успехов, но как-то ночью в ювелирный магазин проникли воры и унесли незастрахованный товар на общую сумму в две тысячи фунтов.

— Незастрахованный?

Вздых из хранящего тоскливую тишину зала — вздох не изумления, которое просто недопустимо на Кэри-стрит, а, скорее, общей усталости.

— Да, незастрахованный, — извиняющимся тоном соглашается еврей.

Банкротство!

В ходе рассмотрения следующего «вопроса» выясняется, что женщина по воле своего скончавшегося супруга получила в наследство тысячу пятьсот фунтов и затеяла коммерческий флирт с дельцами Бонд-стрит. Она открыла шляпный магазин и, хотя ее товар и не пользовался спросом у покупателей, принялась закупать новые партии, повышая качество и цену в надежде на то, что ей удастся переломить ситуацию. К несчастью, шляп, которые пришлось бы по вкусу покупателям, она не смогла найти даже в Париже. Чувствовалось, что эта женщина владела магазином, хорошо известным всем, кто присутствовал в зале. Как часто, прогуливаясь по



Бонд-стрит, можно услышать щебетание двух женщин, остановившихся перед витриной шляпного магазина:

— Взгляни, дорогая, какие уродливые шляпки! Интересно, кто их покупает?

— А тебе не кажется, что вот та маленькая черная шляпка выглядит довольно мило?

— Вон та? Меня от нее просто тошнит. Это шляпка для Синтии. Я ей обязательно расскажу...

Эта и подобные ей сценки вспоминаются сами собой, когда владелица шляпного магазина рассказывает, как все глубже и глубже увязала в долгах.

— Но почему, — доброжелательным тоном спрашивает регистратор (эта женщина не только привлекательна, но и вызывает сострадание), — почему вы не остановились?

— Я следовала советам своего поверенного.

Превосходный ответ, если, конечно, он соответствует истине! Юристы и врачи ревностнее прочих борются за честь мундира, поэтому такой ответ их не устроит ни при каких обстоятельствах.

Банкротство!

Итак, суд на Кэри-стрит раскрывает финансовые тайны людей, тогда как суд по бракоразводным делам выставляет напоказ крах семейной жизни. К храбрым и честолюбивым людям, поднимающимся на свидетельскую трибуну и объясняющим, что они выбрали неверный путь, нельзя не испытывать сочувствия. Алчность, расточительность, глупость, экстравагантность и упрямство вызывают печальную улыбку; поневоле задумываешься, а сумел бы сам повести себя иначе. И вот вы снова выходите на улицы Лондона, где люди больше не делятся исключительно на должников и кредиторов, — впрочем, кто знает? Вы всматриваетесь в лица, пытаетесь угадать, кто из всех сил пытается избежать банкротства и постоянно помнит

о жуткой двери, за которой ожидают всех, не способных платить по счетам.

## 7

Пройдя через ворота Внутреннего Темпла и спустившись с небольшого холма за церковью Темпл-черч, я оказался в квартале, который, возможно, представляет собой сегодня самое печальное зрелище во всем Лондоне.

Темпл был любимым местом прогулок для многих поколений лондонцев и для гостей города, приезжавших со всего света, поскольку этот кусочек старинного университетского городка, расположенный в самом центре мегаполиса, хранил дух минувших эпох. Это квартал зеленых лужаек, домов, построенных во времена королевы Анны, и георгианских зданий, мощеных дворов и крохотных архитектурных шедевров: один дворик переходил в другой, со стенами оттенка тутовой ягоды, там колоннада, тут фонтан или солнечные часы. Все это вместе создавало единый ансамбль, в котором не было ничего лишнего, ничего вульгарного. Воздушные налеты не пощадили Темпл, нарушили его единство; наверняка пройдут годы (не берусь сказать, сколько именно), прежде чем Темпл сумеет восстановить привычную для него ауру величественного спокойствия<sup>[16]</sup>.

На протяжении многих столетий лондонцы скрывались в Темпле от суеты Сити, несли с собой в это старинное убежище все свои горести и заботы. Формально Темпл принадлежит правосудию, чьих слуги снуют по кварталу с кипами перевязанных красной тесьмой документов под мышкой, но при этом он в равной степени принадлежит всем мужчинам и женщинам, которые доверяют ему свои тревоги. Я имею

в виду вовсе не те проблемы, которые ложатся на письменный стол «моего ученого друга», нет, я говорю о тех заботах, которые одолевают людей, ищущих уединения Темпла в минуты, выкроенные из обеденного перерыва, приходящих сюда, чтобы предаться размышлениям под воробьиный щебет и под шорох ног по вытертым булыжникам мостовых. Мы, живущие в древней стране, освященной многовековой историей, редко обращаем внимание на тот эффект, который оказывает на нас этот исторический фон. Лишь попадая в другую страну, где отцы ныне живущего поколения были первопроходцами, мы начинаем ощущать духовный вакуум и тосковать по старинному духу Англии и Лондона — духу, который, осознаем мы это или нет, убеждает нас, что в длинном перечне человеческих невзгод нет ни единой новой горести или заботы. Как и церкви Сити, прихожанами которых являются все, кто «несет бремя тяжкого труда», старинный Темпл дарит нуждающимся стойкость и мужество. Контраст между этим тихим местом и кипящим за его воротами потоком жизни сродни контрасту между церковью и рынком. Никому не дано узнать, сколько людей нашли верный путь и открыли в себе силы действовать, посетив этот квартал темно-красных зданий и зеленых лужаек.

Бомбы падали на Темпл четыре года подряд. Хорошо помню первые налеты, причиненные ими ужасные опустошения, расколотые надвое старинные, всеми обожаемые дома, решетки каминов, торчащие из стен на высоте четвертого этажа, осколки витражей, разбросанные повсюду книги и носившиеся по дворам листы бумаги. На следующее утро после уничтожения Иннер-Темпл-холла и библиотеки я озираю каменный хаос и с тоской размышляю о том, что Темпл обречен на гибель и уже никогда не будет восстановлен.

Но повреждения от бомб часто выглядят более разрушительными, чем на самом деле. В тот день, когда

пятьдесят тысяч книг были сброшены со своих полок, а восемь тысяч повреждены, когда бомба угодила прямо в библиотеку Среднего Темпла, едва ли кто-либо верил, что эти книги удастся привести в надлежащий вид — все, кроме одной, которой оказались «Решения суда Южной Родезии»; впоследствии утраченную книгу заменили другим экземпляром, подаренным библиотеке неким судьей из Южной Африки.

По-другому сложилась судьба библиотеки Внутреннего Темпла. Как и Иннер-Темпл-холл, от которого остались только стены и пустые оконные проемы, прилегавшую к нему библиотеку охватил пожар; сгорели сорок тысяч книг по юриспруденции. Полагаю, книги можно заменить, но кто заменит крытые галереи Рена, или южную сторону Памп-корт, или два старых здания Брик-корт, в одном из которых провел последние шесть лет своей жизни Голдсмит? Можно восстановить Краун-Офис-роу, где родился Лэм, и реконструировать дом настоятеля церкви Темпл-черч, от которого практически ничего не осталось, но это будут уже совсем другие здания.

Наиболее трагическая потеря, понесенная Темплом, — несомненно, старинная церковь Раунд-черч, превратившаяся в руины. Проходя мимо, я вижу, как рабочие катят тележки по рельсам, проложенным под изящными норманнскими воротами, которые, к счастью, уцелели. Но какой хаос царит внутри! Взрывы и огонь разрушили колонны из пурбекского мрамора, поддерживавшие трифориум. Разбиты вдребезги надгробные статуи крестоносцев; их мечи, доспехи, как и сами надгробия, обратились в пыль.

Единственным утешением может служить тот факт, что Миддл-Темпл-холл оказался не в столь безнадежном состоянии, как решили те люди, которые увидели это здание сразу после попадания в него пятой по счету бомбы. После Раунд-черч это красивейшее из зданий

Темпла. Под его чудесным кровом была впервые поставлена «Двенадцатая ночь», причем возможно, что среди актеров был сам Шекспир. Здесь неоднократно обедала королева Елизавета, напоминанием о которой служит высокий стол из древесины виндзорского дуба. Этот стол, по счастью, уцелел, как и знаменитый «стол Дрейка», вырезанный из палубного дерева «Золотой лани».

Крышу Миддл-Темпл-холла отремонтировали, потратив много месяцев кропотливого труда на то, чтобы подобрать и соединить заново сотни фрагментов, на которые раскололось прекрасное резное покрытие.

Но реконструкция далеко не завершена, здание стоит полуразрушенным, и мне трудно примириться с обрубками колонн и другими следам бомбардировок, равно как и с буйной растительностью, придающей Миддл-Темпл-холлу вид руин Геркуланума.

Нет в Лондоне места с более романтическим происхождением, нежели Темпл. Само название, напоминающее о храме Соломона в Иерусалиме<sup>[17]</sup>, пришло на берега Темзы в двенадцатом столетии, вместе с крестоносцами-тамплиерами. Посещая Темпл, я часто пытался представить себе те далекие дни, когда все только начиналось.

Захватив Иерусалим, крестоносцы создали вдалеке от Европы точную копию феодального европейского королевства. Некоторые объединялись, чтобы совместно охранять дороги, по которым пилигримы совершали паломничество ко Гробу Господню. Эти рыцари давали обет жить в бедности и соблюдать целомудрие. В качестве символа чистоты они носили белые одежды с красным крестом на плече. Они клялись не знать женских поцелуев, независимо от того, кто перед ними — вдова, девственница, мать, сестра, тетка или иная женщина. На ночь они не тушили свет, «чтобы темный

враг, от которого хранит нас Господь, не получил благоприятной возможности».

Эти рыцари-аскеты нашли пристанище в Иерусалиме, на том месте, где когда-то стоял храм Соломона, а ныне находится мечеть эль-Акса. Потому они стали называть себя «бедными рыцарями Иисуса Христа и храма Соломона». В Европе их знали как рыцарей Храма, или тамплиеров. Со временем командорства ордена появились во всех христианских странах. Первая квартира тамплиеров в Лондоне располагалась в районе Холборна. Затем рыцари приобрели полосу земли вдоль берега Темзы — ту самую, на которой до сих пор стоит Темпл. Перебравшись туда, они сделали этот квартал своей постоянной лондонской резиденцией. Взяв за образец церковь Гроба Господня, рыцари построили церковь Раунд-черч, освященную в 1185 году, при короле Генрихе II.

Как раз в те годы Саладин изгнал крестоносцев из Святой Земли. Завершение строительства церкви тамплиеров совпало с прибытием в Англию патриарха Иерусалимского Ираклия, который, уповая на то, что Генрих все еще скорбит по поводу убийства Томаса Бекета, предложил королю отпущение грехов, если английские рыцари отправятся спасти христианские святыни. Генрих выслушал патриарха со слезами на глазах и пообещал при первой же возможности вынести вопрос на рассмотрение парламента. На том все и закончилось.

Тамплиеры увезли Ираклия в свою резиденцию на берегу реки и попросили патриарха освятить новую церковь. Он удовлетворил их просьбу, а затем — возможно, чтобы показать, что между воинами Христа не может быть неприязни, — освятил и построенную в Кларкенвелле церковь соперничавшего с тамплиерами ордена рыцарей Святого Иоанна.

Постепенно тамплиеры сделались настолько богатыми и могущественными, что им стали завидовать и монархи. В итоге сокровища тамплиеров очутились в королевской казне, сам орден запретили, а Темпл перешел к рыцарям Святого Иоанна, которые (приблизительно в 1338 году) сдали его внаем профессорам классического права. С тех пор Темпл оставался во владении юристов, которые арендовали квартал вплоть до вступления на престол Якова I, даровавшего Темпл в собственность гильдии юристов. Сегодня в Темпле мало что напоминает о рыцарях-крестоносцах, не считая титула настоятеля Темпл-черч (или магистра храма), когда-то принадлежавшего командору ордена тамплиеров. По имеющему двойное значение титулу можно предположить, что этот человек возглавлял оба Судебных иннов, являлся своего рода верховным бенчером, то есть выборным старейшиной иннов, но на самом деле, он вовсе не юрист, а священник, который совершает богослужения в церкви Темпл-черч<sup>[18]</sup>.

Внутренний и Средний Темплы всегда были независимы друг от друга, что подтверждается, в частности, и разными эмблемами; у Внутреннего Темпла — крылатый конь, а у Среднего — агнец с флагом. Эти юридические корпорации — две из тех четырех, которые, согласно монаршей воле, наделены исключительным правом давать юридические консультации, принимать экзамены у кандидатов и допускать к адвокатской практике. Каждый изучающий право студент должен установленное количество раз пообедать в здании своей корпорации. Если он не выполнит это правило, то не будет принят в коллегия адвокатов.

У меня вызывает сомнения утверждение ряда авторов, полагающих экстерриториальный статус Темпла реликвией независимости, которой Темпл

пользовался при тамплиерах. Не исключено, что этот статус возник в результате некоей хитроумной юридической сделки. Так или иначе, но факт заключается в том, что Темпл не только не присоединился к Акту об объединении приходов, но и сам исчисляет коммунальный налог. Хотя частично Темпл находится в границах Сити, это единственный квартал Сити, на который не распространяется власть лорда-мэра, поскольку юристы до сих пор не признают его юрисдикции. Получи лорд-мэр приглашение отобедать в Темпле или принять участие в какой-либо церемонии и явись он в сопровождении жезлоносцев и меченосцев, его отказались бы принять. К примеру, в 1911 году бенчеры отказались принять коронера из Сити, проводившего дознание.

Сегодня подобные щекотливые ситуации несомненно разрешались бы предельно вежливо и к общему удовольствию, и крайне маловероятно, чтобы нынешний лорд-мэр повел себя, как сэр Уильям Тернер в 1668 году. Тернера пригласили на обед в Темпл, но предупредили о недопустимости официального появления. Он заявил в ответ, что придет с мечом и хочет посмотреть на тех, кто посмеет ему противиться.

Когда он прибыл к воротам Темпла, его встретила толпа барристеров и студентов, скрывавших под мантиями рапиры. Тернеру сообщили, что до тех пор, пока он не опустит меча, его не пропустят в Темпл. Лорд-мэр проигнорировал это требование, и тогда началась потасовка, в которой пострадал один жезлоносец, людей маршала Сити оттеснили, а лорду-мэру пришлось искать укрытие в доме поблизости. Между тем загрохотали барабаны, вызывая на подмогу солдат, а в Уайтхолл отправились гонцы, которые должны были сообщить Карлу II, что в городе вот-вот вспыхнет самый настоящий мятеж.



Его величество проявил монаршую мудрость и посоветовал лорду-мэру идти домой.

## 8

Прогулявшись по Темплу, я вышел на набережную Виктории и повернул направо, в сторону Вестминстера. Было чудесное утро, наступило время прилива. Темза ласково плескалась о камни набережной, мимо меня проплывали буксиры и баржи. Впереди маячил циферблат Часовой башни, а позади возвышался купол собора Святого Павла.

Всякому, кто пожелает совершить приятную и интересную прогулку по Лондону, я посоветовал бы маршрут, который часто выбираю сам: от Вестминстерского моста по набережной до моста Блэкфрайарз с осмотром по пути Прибрежного сада с его изобилием знаменитостей, увековеченных в статуях, бюстах, бронзовых мемориальных досках и медальонах. Это собрание знаменитостей представляет собой нечто вроде второразрядного пантеона, а посвященные им памятники — самые скромные и незаметные достопримечательности Лондона. Тем не менее в этом саду хорошо гулять, вдали от городской суеты. Думаю, если предложить лондонцу выбрать место для установки собственного памятника или хотя бы бюста, он почти наверняка выберет набережную Темзы с ее платанами или Прибрежный сад в нескольких ярдах от кромки воды.

Черода памятников начинается у Вестминстерского моста, где восседает в колеснице Боадия, и заканчивается у моста Блэкфрайарз, где возвышается статуя королевы Виктории. Между этими крайними точками находится поистине невероятное количество памятников, причем в том, что памятники тем или иным

людям установлены именно здесь, не прослеживается ни малейшей логики. В начале Прибрежного сада, у Вильерс-стрит, вы найдете Уильяма Тиндейла, который в 1525 году перевел на английский Новый Завет, сэра Бартла Фрэра, который состоял в колониальной администрации Индии, а затем был назначен губернатором Капской провинции и в этой должности пережил ужасы Зулусской войны, а также генерала сэра Джеймса Аутрэма, чьи доблестные действия во время Индийского восстания<sup>[19]</sup> принесли ему титул баронета, благодарность парламента и привилегию свободного входа в Сити.

На стене набережной напротив Нортумберленд-авеню установлен бронзовый бюст сэра Джозефа Базэлгетта, инженера, построившего ту самую стену, на которой и стоит его бюст. Чуть дальше, опять-таки на стене, напротив станции метро «Чаринг-Кросс», можно увидеть бронзовый медальон У. С. Гилберта; что касается Салливана, его не составит труда найти в следующей части сада, вместе с Робертом Бернсом, сэром Уилфредом Лоусоном, поборником аскетизма, и Генри Фосеттом, государственным деятелем-либералом, который, несмотря на то, что в молодости ослеп, в 1880 году стал министром почт, ввел в практику отправку посылок и апробировал финансовые схемы, впоследствии превратившиеся в систему почтовых скидок.

Писатель сэр Уолтер Безант увековечен на парапете набережной, напротив того места, где заканчивается Савой-стрит, а напротив Стрэнд-лейн стоит памятник сэру Изамбард Брюнелю, французскому эмигранту, который после Нью-Йорка, где он проявил себя выдающимся инженером, поселился в Англии и построил тоннель под Темзой, от Уоппинга до Ротерхита. В другой части сада, неподалеку от станции метро «Темпл», находятся памятники государственному деятелю

викторианской эпохи и квакеру У. Э. Форстеру, Джону Стюарту Миллю и леди Генри Сомерсет, которая была активной сторонницей трезвого образа жизни и единственной женщиной, в которой счастливо сочетались добрая воля, отвага, литературное дарование, технический талант и политическая неподкупность. Парад знаменитостей второго плана завершает памятник журналисту и спиритуалисту У. Т. Стэду, погибшему на «Титанике». Стэд увековечен на парапете набережной, напротив того места, где заканчивается сад.

Знаменитая достопримечательность набережной Темзы — так называемая «Игла Клеопатры». Не могу понять, при чем здесь Клеопатра, если обелиск датируется временем за 1400 лет до ее рождения. Это единственный из множества вывезенных из Египта обелисков, не установленный ни в каком-нибудь большом парке, ни на площади. Самый красивый египетский обелиск Рима стоит перед собором Святого Петра, в Париже обелиск установлен на Площади согласия, а в Нью-Йорке его можно увидеть в Центральном парке. Мне кажется, мы весьма обязаны тем, кто в 1878 году воспротивился искушению установить «Иглу Клеопатры» в Гайд-парке или в Кенсингтонских садах.

Теперь этот обелиск стал настолько привычной деталью лондонского пейзажа, что, как мне представляется, очень немногие из нас задумываются о том, насколько необычно и оригинально выгладит «Игла Клеопатры» на берегу Темзы. Интересно, догадывались ли те, кто решил поместить ее именно здесь, что этот древний монолит символически свяжет Темзу и Нил, разделенные тремя тысячами лет. Лично я в молодости воспринимал обелиск именно так. Всякий раз, заметив его на фоне серого лондонского неба, я принимался размышлять о той великой, залитой солнцем

земле, которую омывает синяя река и откуда он родом. Это самый древний памятник в Лондоне. Он, как и его собрат в Америке, стоял у входа в храм Солнца в Гелиополисе; эти колонны почти наверняка помнят Моисея.

Обелиски были построены около 1500 года до н. э., в царствование фараона Тутмоса III, который посвятил их богу солнца. Они простояли в Гелиополисе вплоть до включения Египта в состав Римской империи. В 12 году до н. э. их перевезли в Александрию. Лондонский обелиск впоследствии рухнул и был частично занесен песками; это случилось ориентировочно в четырнадцатом веке. Нью-йоркский обелиск не падал, поскольку в свое время его укрепили древние римские инженеры. В таком положении (один лежал, другой стоял) они оставались до 1877 года, когда их вывезли из Египта.

Один отправился в Лондон, а другой пересек Атлантику. И лондонцы, и нью-йоркцы называют обелиски «иглами Клеопатры», но, вероятно, мало кто знает, что это прозвище еще в Средние века дали обелискам жители Египта. Missalati Fir'un — «великие иглы фараона» — так, по свидетельствам арабских хронистов двенадцатого столетия, называли феллахи любой древний обелиск. А пару обелисков, стоявших в Александрии, по какой-то неведомой причине называли «иглами Клеопатры».

Для перевозки обелиска в Лондон приготовили специальное судно, этакую стальную скорлупу с палубой и мачтой; разумеется, назвали корабль «Клеопатрой». Оно не очень хорошо слушалось руля, и потому его взял на буксир пароход «Ольга». Неподалеку от мыса Сен-Винсент корабли попали в шторм. На «Ольге» сочли «Клеопатру» обузой и обрубили трос, причем шестерых матросов смыло волной за борт. Корабли потеряли друг друга; решив, что «Клеопатра» пошла ко дну, «Ольга»

продолжила путь в одиночестве. Но «Клеопатра» осталась на плаву и была спасена судном «Фитцморис», которое взяло «скорлупу» на буксир; впоследствии капитан «Фитцмориса» выставил претензии на 5000 фунтов, однако судебная коллегия Адмиралтейства сочла сумму завышенной и снизила ее до 2000 фунтов.

Таким образом, «Клеопатра» благополучно прибыла на Темзу и была отбуксирована к тому участку набережной, где сейчас стоит обелиск. Стальной корпус разрезали, и во время отлива обелиск подняли с помощью гидравлических домкратов. Перед установкой монумента кто-то выступил с романтической идеей закопать под ним предметы повседневного обихода; очевидно, смысл этого предложения заключался в том, что если пресловутый новозеландец Маколея когда-нибудь посетит развалины Лондона, он с удовольствием осмотрит вещи, которыми пользовались в 1878 году. В соответствии с этим предложением под постаментом разместили запечатанные емкости, в которых находились мужской костюм, женское платье с аксессуарами, иллюстрированные газеты, детские игрушки, бритва, сигары, фотографии светских красавиц и набор всех монет, которые тогда находились в употреблении. На следующий день после того, как с обелиска торжественно сняли покрывало, на постаменте обнаружили записку со следующими язвительными строками:

Под этим обелиском, говорят,  
Сам Моисей посиживать был рад.  
От греков с турками он к нам попал, и вот —  
Стоит радением Общественных работ [\[20\]](#).

Сегодня обелиску никак не меньше трех тысяч пятисот лет. Он видел взлеты и падения многих империй

и был свидетелем перемещения «центра силы» с берегов Нила на берега Тибра, а потом и Темзы. Вероятно, самый необычный эпизод его насыщенной событиями жизни — сентябрьская ночь 1917 года, когда нечто упало с неба и оставило сколы и глубокие царапины на гранитном постаменте обелиска. Эти «космические раны» сохранились по сей день.

Старая пословица «Темза это Лондон, а Лондон это Темза» верна и поныне. Говорят, что однажды прогневанный строптивостью Сити монарх пригрозил перевести парламент в Оксфорд. В ответ какой-то туповатый олдермен поинтересовался, нельзя ли перевести туда же и Темзу. Когда ему сказали, что этот вопрос не подлежит рассмотрению, он заявил, что «как бы там ни вышло с парламентом, мы с Божьей помощью будем вести себя хорошо и останемся в Лондоне».

Именно благодаря Темзе Лондон в эпоху римского правления стал портом и крупным центром торговли. В прежние времена, когда под Лондонским мостом ежедневно проходили десятки судов, каждый мог воочию убедиться в том, что находится в морском торговом городе. За последние несколько столетий корабли стали швартоваться в доках ниже по течению реки, да и самих лондонцев не слишком интересует тот факт, что их город является крупнейшим в мире портом. Как и многие другие районы Лондона, порт стал городом в городе. Некоторые считают порт, с его длинными подъездными дорогами и мрачного вида складскими строениями, довольно странным и даже унылым местом.

Верховное божество порта — Управление Лондонского порта, или, сокращенно, УЛП, — одна из наиболее эффективных и успешных административных структур последних пятидесяти лет. Этот трест, или служба коммунальных услуг (УЛП не является коммерческим предприятием) отвечает за управление Лондонским портом, его юрисдикция распространяется

на все течение реки, от Теддингтона и до точки на карте за пределами плавучего маяка Нор. УЛП учредил своим постановлением парламент в качестве организации, призванной управлять движением грузов по Темзе и положить конец затянувшемуся на несколько столетий соперничеству многочисленных коммерческих интересов.

УЛП отслеживает все грузы, поступающие в Лондон, находит для них места складирования с надлежащими условиями, а также предлагает коммерсантам и грузоотправителям услуги обширного штата специалистов. Лично мне кажется, что одно из достоинств Лондона следующее: если вам понадобился лучший в мире знаток бананов, черепаших панцирей, шерсти, персидских ковров, сигар, рома или мускатных орехов, нужно лишь зайти в здание УЛП неподалеку от Тауэра — и можете считать, что специалист у вас в кармане.

Трижды в неделю УЛП приподнимает «железный занавес» над лондонскими доками. В эти дни симпатичный маленький пароходик «Крестед Игл» отходит в полдень от Тауэрской пристани и совершает круиз по лондонским докам. Это путешествие стоит совершить и лондонцу, и заезжему туристу, поскольку только оно позволит понять, какую роль играет судоходство в жизни Лондона и всей страны.

Первый пункт путешествия — старые доки, слишком тесные для современных торговых судов. Уцелевшие во время войны пакгаузы до сих пор используются по назначению. Главное событие круиза — тот момент, когда поднимаются расположенные над шлюзом короля Георга V фермы и «Крестед Игл» устремляется в огромный док. Размеры, количество и национальная принадлежность кораблей, которые обычно там стоят, равно как и разнообразие грузов, доставленных со всех концов света, производят грандиозное впечатление.

Большинство лондонцев понятия не имеют о том, что могут едва ли не ежедневно наслаждаться этим удивительным зрелищем.

Во время войны докам грозила серьезная опасность, поскольку они представляли собой первоклассную цель для бомбардировщиков. Сумей враг вывести из строя Лондонский порт, мы оказались бы на грани смерти — непобежденные, но едва живые от голода. На доки обрушивался град всех мыслимых и немыслимых боеприпасов: зажигательные бомбы, осколочные и фугасные бомбы, морские и пехотные мины, а также ракеты «Фау-1» и «Фау-2». Разрушенные складские строения напоминают нам сегодня о тех ужасных годах. Однако УЛП доказало свою эффективность не только в мирное время, но и в условиях войны. Благодаря храбрости и самоотверженности сотрудников УЛП, а также бойцов Гражданской обороны и моряков Королевских ВМС, Лондонский порт не прекращал работу в течение всей войны. Для очистки от мин Темзу на краткий срок периодически закрывали для судоходства, но это были единичные случаи.

Путешествие на «Крестед Игл», интересное само по себе, позволяет составить первое представление о бурной жизни Лондонского порта. Пешая экскурсия по пакгаузам доков могла бы растянуться на несколько недель. Я видел в порту подвалы, похожие на крипты норманнских соборов: в этих криптах, мрак которых едва рассеивает тусклый свет газовых горелок, поддерживающих нужную температуру, стоят огромные бочки с медленно достигающим зрелости вином. Побывал я и на складах мороженого мяса, заполненных новозеландской бараниной и аргентинской говядиной. Один шотландец, которого невозможно заподозрить в легкомыслии, уверял меня, что тамошние крысы научились справляться с холодом и отрастили необыкновенно густую шерсть.



Иногда в самый разгар лондонского лета я ловлю себя на том, что испытываю совершенно необъяснимую тоску по туману или первому снегу. Должно быть, когда перестану испытывать это щемящее чувство, я пойму, что старею.

Плотная, словно гороховый суп, пелена оставляет во рту металлический привкус и снижает видимость до ярда, превращает фонари в размытые конусы и заставляет вздрагивать, когда из нее вдруг возникает силуэт случайного встречного. Лондонский туман — одно из наиболее впечатляющих творений Господа Бога. В такую погоду кажется, что весь город в мгновение ока превратился в сказочную страну между небесами и преисподней. Все становится иным, совсем не тем, чем должно было быть, и мнится, что случиться может все что угодно. Вот в темноте раздаются леденящие душу вопли... Прислушавшись, разбираешь слова: «Куда прешь?!» и понимаешь, что это столкнулись два таксомотора, которые в сумраке напоминают пару вступивших в яростную схватку доисторических чудовищ. Вдруг появляются круглые желтые глаза — это пробирается во мгле похожий на красного дракона омнибус. Свет фар на секунду выхватывает из тумана человеческие фигуры. Кажется, что эти мужчины и женщины отрезаны от остального человечества, что они — последние оставшиеся на планете люди. Они похожи на бледных призраков, которые ищут своих возлюбленных.

На Трафальгарской площади я попал в самую странную историю из всех, которые случались со мной в те дни, когда на Лондон опускался туман. В тот раз туман был настолько густым, что я не заметил, как вплотную подошел к чему-то темному и массивному. Это

оказался один из львов Нельсона, какой именно, было не разобрать. Я двинулся дальше, гадая, иду я в направлении Хэймаркета или Стрэнда; в этот миг донесся странный шаркающий звук. Приглядевшись, я различил впереди нечто невообразимо громадное. Неожиданно на неведомый объект упал свет фонаря — и я увидел прямо перед собой филейную часть слоновьей туши.

Как только загадка прояснилась, мне пришло в голову, что этот эпизод вполне соответствует сказочной атмосфере лондонского тумана. Человек, который вел слона, объяснил, что пытается добраться до цирка шапито в Олимпии и сильно опаздывает. Когда мы очутились на Хэймаркет, я предложил присмотреть за слонем, пока он сходит к телефонной будке, позвонит и скажет, что задерживается. Интересно, многие ли могут похвастаться тем, что стояли на Хэймаркет, держа на поводке слона? Впрочем, когда в Лондоне туман, все может случиться. Когда туман — и когда снег. Проснувшись, сразу же понимаешь, что ночью выпал снег. Об этом говорит тишина, еще более непроницаемая, чем та, что бывает воскресным утром. Свет, проникающий в щель между занавесками, ярче обычного, но именно тишина, точнее, тот факт, что уличные звуки стали намного глуше, убеждает — на улице выпал снег.

Раздвинув занавески или подняв шторы, вы видите, что мир волшебным образом преобразился. Черные крыши побелели, каждый поручень и каждая ветка покрыты слоем белизны в дюйм толщиной. Ничто не нарушает совершенства ровного белого покрывала. Но вот к дверям подходят молочник и почтальон. Подобно первопроходцам, они оставляют на снегу первые следы.

Над изломанной линией крыш возносится купол собора Святого Павла, а еще выше раскинулось сизое небо, с которого вот-вот снова начнет падать снег. Меж

белых берегов течет чернильно-темная Темза. Чайки на набережной уже не белые, а желтовато-серые. Но красота снега, как и любая другая красота, недолговечна. Пройдет всего несколько часов, и снег повсюду превратится в омерзительную слякоть кофейного цвета, которая смешается с грязью под колесами омнибусов. Мало-помалу все дома и все предметы обретут прежние цвета; быть может, только на площади останется неприметный кусочек чистой белизны размером с носовой платок, эфемерное напоминание о том, что несколько мгновений Лондон выглядел как на рождественской открытке.

## Глава пятая

# Стрэнд и Ковент-Гарден

*Прогулка по Стрэнду, от Темпл-Бара до Чаринг-Кросс, в ходе которой я немного рассказываю о кофейнях восемнадцатого века и увеселительных заведениях Ковент-Гардена, которые были здесь в прошлом. Я покупаю свидетельство о рождении в Сомерсет-хаус, посещаю музей Соуна и совершаю прогулку по Темзе до причала Черри-Гарден, высаживаюсь на другом берегу реки и бросаю взгляд на Лаймхаус.*

### 1

В своем первоизданном виде Стрэнд был дорогой, которая, проходя через деревню Чаринг, связывала лондонский Сити с Вестминстерскими аббатством и дворцом. По Стрэнду король прибывал в Лондон и по Стрэнду же из Лондона приезжали в королевскую резиденцию.

Эта улица занимает исключительное положение среди прочих лондонских улиц, хотя, возможно, эпоха ее величия уже миновала. В ее истории было два момента наивысшей славы — в Средние века, когда прибрежная полоса<sup>[21]</sup> оказалась застроенной городскими домами епископов и баронов, и в викторианскую эпоху, когда Стрэнд стал самой известной и, во многих отношениях, самой блестящей улицей Лондона. Здесь находились театры, рестораны и большинство лучших магазинов. Покидая Лондон, дабы управлять различными частями Британской империи или вести войны на ее рубежах, люди того времени не забывали взять с собой корзины

для хранения продуктов, купленные у «Фортнума и Мэйсона»<sup>[22]</sup>. Именно на Стрэнде они приобретали свои тропические шлемы, походные кровати и прочую экипировку колонизаторов. Только на Стрэнде Шерлок Холмс мог найти знаменитую клетчатую накидку и охотничье кепи с застегивающимися наверху наушниками. Самые первые бриджи для велосипедистов и защитные очки для мотоциклистов тоже, вероятно, были проданы на Стрэнде, который оставался исключительно «мужской» улицей вплоть до окончания Первой мировой войны, когда между Аделфи и отелем «Савой» вдруг появился магазин чулок и дамского белья.

Эта улица наводит на воспоминания о викторианском Лондоне, двухколесных экипажах, ресторанах «У Романо» и «У Гатти» и мюзик-холле «Гэйети». Она — живой символ той эпохи, когда Лондон освещался газовыми фонарями, тогда как Пиккадилли — символ Лондона, залитого электрическим светом. Всякий раз, когда заброшенные в самые отдаленные уголки мира викторианские лондонцы вспоминали о своем городе, перед ними возникал образ Стрэнда. Именно о нем они тосковали, когда их одолевала ностальгия. Они вспоминали уютные, покрытые плющом беседки и затененные огни ресторанов, слышали гроыхание конок и кэбов, которые в те времена заполняли всю проезжую часть, словно венецианские гондолы в разгар карнавала.

В наши дни Стрэнд утратил прежний блеск и уже не производит впечатления богатой улицы. Театры перекочевали на запад и теперь находятся на Шэфтсбери-авеню, рестораны и магазины переместились на Пиккадилли, Риджент-стрит и на другие улицы. С семнадцатого века центр лондонской жизни постоянно смещался на запад, и потому Стрэнд сегодня имеет немного потрепанный вид. И все же он до

сих пор сохранил свой облик, каким тот был в эпоху, предшествовавшую появлению универмагов. Даже в наши дни на Стрэнде больше, чем на любой другой улице, тех замечательных магазинов без витрин. Поднявшись по шаткой лестнице начала викторианской эпохи, попадаешь в одно из этих маленьких, скромных заведений, каждое из которых представляет собой основанную в давние времена семейную фирму. Все они специализируются на торговле весьма необычными товарами. Некоторые, например, пользуются мировым признанием среди тех, кто увлекается ловлей мотыльков и бабочек. Продавцы точно знают, какой сеткой можно пользоваться в Бразилии или Нигерии, какие коробочки для сбора насекомых нужно выслать энтомологам, подвизающимся в Андах. Таких специалистов, равно как и экспертов в других областях специфических знаний, следует искать на верхних этажах домов Стрэнда.

Одно из преимуществ Лондона состоит в том, что здесь всегда можно найти специалистов высокого класса — и с умеренными запросами. Однако, насколько мне известно, ситуация стала меняться в худшую сторону; когда мы слышим по радио слова «правительственные эксперты», у нас захватывает дух и мы представляем себе группу самоуверенных выпускников Лондонской школы экономики. Но настоящие эксперты — это тихие, скромные люди в черных пальто, которые, подобно своим отцам и дедам, преданы, как повелось у них в семье на протяжении последнего столетия, одной и той же специфической сфере интересов, в которой они разбираются досконально. Ваш сосед по вагону в лондонской подземке вполне может оказаться крупнейшим в мире специалистом по древесным лягушкам или признанным экспертом по средневековым красителям. И обитают такие люди, как правило, именно на Стрэнде, в неприбранных старых комнатах, живут с головой

погрузившись в свои дела, отвечая на письма из Йельского университета или от какого-нибудь собирателя икон из Александрии.

Прогуливаясь по Стрэнду и читая названия отходящих от него улиц, иностранец, который слышал, что англичане обожают титулы, наверняка сочтет, что подобострастная нация воздает слишком много почестей своим именитым землевладельцам. И действительно, между Темпл-Баром и Чаринг-Кросс раскинулось, так сказать, целое герцогство: Норфолк, Бедфорд, Нортумберленд, Сомерсет, Букингем, не говоря уж о таких именах, как Говард, Деверо, Арундел, Сарри, Вильерс, Чандос и прочих. Эти имена — единственное, что осталось от прежних связей Стрэнда с аристократией.

В Средние века прибрежная полоса вдоль Темзы была прелестным зеленым уголком, и тянулась в направлении деревни Чаринг, то есть «поворот» или «изгиб». В те времена епископы и знать строили в этом уголке городские дома, чтобы быть поближе к королю и его расположенному в Вестминстере дворцу. Что могло быть восхитительнее дома на Стрэнде, с садами и парками, сбегавшими к Темзе, в которой тогда водился лосось?

Огромные дома, которые можно увидеть на старинных картах и планах Лондона, походили, скорее, на маленькие деревни и состояли из десятков отдельных зданий, сгруппированных вокруг внутренних дворов. В среднем раз в год аристократ приезжал в Лондон с целыми обозами багажа, сотнями лошадей и слуг. Дом аристократа открывался для посещений на те несколько месяцев, в течение которых его милость посещали двор и парламент.

Когда в эпоху Стюартов Сити стал расширяться на запад, старинные особняки на Стрэнде утратили былую привлекательность. К тому же цены на землю возросли,

и дворяне один за другим стали продавать свои дома. У них вошло в моду переезжать в новый район Вест-Энд. В Средние века тот, кто хотел найти в Лондоне герцога Норфолка, отправлялся на Стрэнд, а в конце семнадцатого столетия герцога уже следовало искать на Сент-Джеймс-сквер. И наступил день, когда среди зеленых полей Пиккадилли появились базарные площади, скверы и особняки.

Как правило, у всех домов, принадлежавших аристократам, одинаковая судьба — развитие городов низводит их до состояния трущоб, что и произошло с дворянскими домами на Стрэнде. Некогда величественные особняки ныне делят на части или разрушают, прокладывая через них дороги. Еще одно или два поколения — и от них ничего не останется. Исключение составляет лишь Сомерсет-хаус, сохранивший облик величественного дворца.

Призраки восьми столетий преследуют нас на всем протяжении прогулки по Стрэнду, которая начинается от Темпл-Бар, где привилегии Сити уступают место вольностям Вестминстера, и до Чаринг-Кросс, где Стрэнд заканчивается. Даже в самый разгар рабочего дня количество живых людей на Стрэнде не превышает количества тех имен, которые напоминают о его прошлом. Для того чтобы упомянуть все эти имена, потребовалось бы написать целую книгу.

Старое название Темпл-Бар упорно продолжает существовать, несмотря на то, что в 1877 году ворота с таким названием были снесены во время строительства Дома правосудия. Теперь на том месте, где посреди дороги стояли ворота, возвышается Грифон. Я никогда не понимал, почему именно грифон был выбран в качестве соответствующего символа, установленного на въезде в Сити. Не могу представить себе менее подходящего и более сомнительного стража границы. В



классической мифологии грифон — хищное чудовище, которое охраняет золотые прииски и зарытые сокровища. Заметив приблизившихся к сокровищам людей, грифон пикирует на них и, карая за алчность, разрывает на куски. Как случилось, что лондонцы викторианской эпохи, с их-то суровостью по отношению к этому пороку, позволили установить у самых ворот Сити такую воплощенную в камне иронию? Тем не менее чудовище выставлено там на всеобщее обозрение. Подойдя поближе, вы заметите среди прочих украшений постамента воспроизведенный в бронзе последний проезд королевского кортежа через старые ворота. Это произошло в феврале 1872 года, когда королева Виктория и принц Уэльский, впоследствии Эдуард VII, отправились в собор Святого Павла.

Старые ворота Темпл-Бар были возведены Кристофером Реном после Лондонского пожара. Они состояли из широкой центральной арки, рассчитанной на движение транспорта, и двух пешеходных арок меньшего размера по бокам. Со стороны Вестминстера ворота были украшены статуями Карла I и Карла II, а со стороны Сити статуями королевы Елизаветы и Якова I. В старину частенько говаривали, что Елизавета указывает своим белым пальцем на банк «Чайлдс», а Яков I предлагает ей: «Может, сходим в Уайтхолл, посидим немного?» Над главной аркой ворот находилось помещение, в котором арендовавший его банк «Чайлдс» хранил старые бухгалтерские книги, в том числе и ту, которую несомненно стоило бы полистать, — личные счета Карла II. В правление Стюартов и во времена якобитских волнений над аркой ворот, как прежде над Лондонским мостом, возвышались пики с головами изменников. Еще в середине девятнадцатого столетия встречались люди, которые помнили эти жуткие головы над аркой Темпл-Бар.

В старину, когда король направлялся в Сити, ворота закрывались. Остановившись перед ними, монарх приказывал одному из своих герольдов постучать. В ответ маршал Сити, который вместе с лордом-мэром Лондона, шерифами и другими сановниками Сити находился по другую сторону ворот, кричал: «Кто там?» После официального сообщения о том, что едет король, появлялся лорд-мэр и в знак подчинения предлагал монарху ключи от Лондона и меч Сити. Затем ворота открывались в признание того, что монарх проявил должное уважение к порядкам Сити. Сегодня эту церемонию проводят под открытым небом, неподалеку от Грифона. Зрелище безусловно заслуживает того, чтобы на него взглянуть.

Удел Темпл-Бар оказался счастливее судеб многих других реликвий старого Лондона. Если отправиться в Тибальдс-парк неподалеку от Чесханта, что в Хертфордшире, перед вами предстанут, на фоне мирного сельского пейзажа, старинные ворота Темпл-Бар, которые ныне служат одним из входов в этот парк. За столетия пребывания в Лондоне портлендский камень почернел, и кажется, что обитые железом ворота ожидают, когда в них постучит призрак кого-либо из прежних монархов. Среди деревьев и газонов эти ворота чем-то напоминают человека, умудренного опытом столичной жизни. Когда несколько лет назад я посетил это место, у меня возникло странное чувство: если бы я приехал туда лунной ночью или в ночь накануне Дня поминовения усопших, старые ворота, возможно, открылись бы, чтобы выпустить всех призраков тех, кто когда-либо проходил по их сводами, — Карла II, Пипса, Рена, Нелл Гвин, Анну и Мальборо, Георга I и Уолпола, Босуэлла и Джонсона, Рейнольдса и Гаррика и многих, многих других.

Осуществившись предлагаемая со времен войны идея вернуть Темпл-Бар в Лондон, столица обрела бы еще

один восхитительный памятник своего прошлого. Найти для него подходящее место не составило бы никакого труда.

В самом начале Стрэнда расположено множество памятников. На том месте, где от Стрэнда отходит Эссекс-стрит, на которой и была опубликована эта книга, раньше стоял Эссекс-хаус, в котором своевольный фаворит Елизаветы Роберт Деверо граф Эссекс замыслил свой бестолковый заговор, окончившийся плахой на Тауэр-Грин. Сохранившиеся в конце этой улицы старинные ворота сильно повреждены. Говорят, они были то ли прибрежными воротами старого Эссекс-хауса, то ли парадными воротами, что вели к расположенной ближе к воде пристани. Как и все старинные особняки Стрэнда, Эссекс-хаус представлял собой хаотический комплекс зданий с внутренними дворами, многочисленными крышами, в которых плутал взгляд, фронтонами и выходившими к реке зубчатыми стенами. Один антиквар, посетивший во второй половине восемнадцатого столетия развалины этого старинного дворца (это был лорд Чолмондили, скончавшийся в 1770 году), обнаружил на оконном стекле выцарапанную алмазом надпись: I.C.U.S.X. & E.R., которую он перевел следующим образом: «Я вижу тебя, Эссекс, и Елизавету Регину». Эта зашифрованная надпись, очевидно, была сделана человеком, который заметил из этого окна королеву и ее фаворита.

В «Эссекс Хед» на Эссекс-стрит (там и сейчас находится паб с таким названием) Джонсон, избегавший и боявшийся одиночества, основал клуб, члены которого собирались три раза в неделю. Предлагая принять Босуэлла в члены этого клуба, Джонсон употребил в своей рекомендации восхитительное выражение «клубнейский человек» (a clubable man), которое весьма емко характеризует Босуэлла. Под прямым углом к Эссекс-стрит расположена ведущая к Стрэнду улица

Деверо-корт, на которой в 1652 году открылась одна из первых и самых знаменитых лондонских кофеен — «Грешиан».

Судя по всему, кофе привезли в Англию греки, и случилось это в первой половине семнадцатого столетия. Мне кажется, самое раннее упоминание о нем содержится в дневниковой записи Ивлина за 1637 год. Он пишет, что его сокурсник по Баллиол-колледжу Оксфордского университета, грек, которого звали Натаниель Конопиос, был первым, кого увидели за чашкой кофе. «В Англии этот обычай вошел в обиход лишь тридцать лет спустя».

Однако точной датой следует считать 1652 год, когда некий Роза Паскви (это мужское имя!) открыл кофейню в Корнхилле. Именно эту кофейню обычно называют первой лондонской кофейней, хотя «Грешиан» на Деверо-корт появилась в том же самом году. Название этой кофейни связано не с классической литературой, а с национальностью ее владельца, грека Константина. Исаак Ньютон, Аддисон и Стал — все они посещали кофейню «Грешиан», которая вплоть до 1843 года оставалась отличным местом для поднятия настроения. Запах кофе, который мы находим восхитительным, на первых порах вызывал у людей отвращение. Владелец одной из кофеен Джеймс Фарр, заведение которого находилось на Флит-стрит, в том месте, где сейчас стоит «Рейнбоу Таверн», угодил под суд за изготовление «некоего напитка, называемого кофе», вызывавшего «великую досаду и предубеждение соседей».

Вскоре по всему Лондону открылись сотни кофеен. Наверное, мало кто знает, что в этих заведениях продавали также вино и крепкие напитки, так что их появление не оказало заметного воздействия на привычки эпохи повального пьянства. Первые в истории барменши появились именно в кофейнях Лондона

времен Стюартов и Георгов. Расположенный у огня прилавков, на котором не остывали кружки с горячим кофе, чаем и шоколадом, получил название «бар». Для того чтобы привлечь побольше посетителей, владельцы кофеен стали нанимать самых красивых девушек, каких только могли найти. Один писатель сообщает, что «за бар этот добрый человек всегда ставит одну очаровательную Филлиду или даже двух, и манящие взгляды девушек увлекают вас туда, где дым разъедает глаза». Стал говорить о барменшах следующее: «Эти идолы весь день услаждают восхищенные взоры молодежи». Страховая ассоциация Ллойда, ныне занимающая громадное здание, претерпела величайшую метаморфозу: ее деятельность начиналась в скромной кофейне Эдварда Ллойда, где собирались те, кто имел отношение к судоходству.

Пристрастие людей к чаю, кофе или шоколаду возрастало и сокращалось в унисон с изменениями размера пошлины, которой облагались эти товары.

На самом деле шоколад никогда не пользовался большой популярностью. Заведения соответствующей направленности, наподобие «Уайтс» или «Кокоу Три», существующих сегодня в качестве клубов, можно было пересчитать по пальцам, тогда как количество кофеен исчислялось сотнями. Быть может, важнейшая миссия чая и кофе заключалась в том, что они «проложили путь» благопристойному завтраку. До появления этих напитков наши предки в большинстве своем начинали день с глотка темного пива или джина, а представители рабочего класса сохраняли эту привычку вплоть до 1808 года, когда пошлину на кофе временно снизили настолько, что он стал напитком лондонских мастеровых. В 1835 году подмастерье портного по имени Плейс сообщил комиссии по образованию, что перед тем, как около 1815 года стали доступны дешевые кофейни, его обычный завтрак в трактире

состоял из кружки портера и грошовой булочки. Когда открылись еще более дешевые кофейные лавки, он стал в них завтракать и ужинать, и за шесть пенсов в месяц мог просмотреть все газеты и журналы. Впрочем, в конце концов основная масса населения стала отдавать предпочтение чаю, который сначала больше привлекал женщин, нежели мужчин.

## 2

Проходя мимо руин церкви Святого Клемента Датского, я каждый раз с восхищением замечаю, что доктор Джонсон устоял под бомбежками. Статуя, за которой возвышается остов церкви, куда он так любил ходить, стоически перенесла бомбардировки. Когда поблизости рвались фугасы и бомбы, доктор оставался на своем постаменте и не отрывал глаз от книги, которую читал. Разбросанные по всему свету поклонники Джонсона согласятся с тем, что иначе и быть не могло. Доктор был храбрым человеком и, живи он в наши дни, обязательно возглавил бы отряд противовоздушной обороны.

Краткая прогулка по Стрэнду приводит нас к узкому переулку под названием Стрэнд-лейн, который когда-то вел к реке. Миновав несколько домов, мы спускаемся по ступенькам и видим продолговатый водоем с чистой и холодной водой. Этот водоем, длиной около шестнадцати и шириной около шести футов, называется Римской ванной. Несколько лет назад его можно было найти на карте туристических маршрутов Лондона, но когда я недавно попытался навестить эту достопримечательность, мне пришлось долго и тщетно стучать в запертую дверь, пока какая-то женщина, высунувшись из окна верхнего этажа, не объяснила, что ключ хранится в Совете Лондонского графства.

Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь купался в этой ванне (за исключением Дэвида Копперфильда), однако в статье Джеймса Боуна, напечатанной в «Лондон Экоуинг», говорится, что много лет назад один мануфактурщик с Оксфорд-стрит, который в то время владел Римской ванной, предложил открыть водоем для тех, кто готов вносить абонентскую плату — две гиней в год. Нашлись два человека, которые действительно внесли эти деньги. «Из миллионов лондонцев теперь лишь эти двое заходят в маленький темный переулок, где стоит обветшалый дом с ржавой оградой вдоль фасада. Они открывают запертую на замок дверь и входят в тускло освещенное сводчатое помещение, — пишет Боун. — Мне нравится представлять, как один из них в полном одиночестве нырял в чистую, холодную воду, которая подавалась в водоем по трубам, точно так же, как и в те времена, когда на камне, где он оставил свои башмаки, лежали римские тоги. Потом он одевался, хлопал старой дверью и, выбравшись наружу через сводчатый проход, растворялся в лондонской толпе. Сегодня же в этой ванне никто не купается. Поставлены под сомнение и право на собственность, и ее римское происхождение».

Именно в конце Стрэнд-лейн Аддисон, как он описывал на страницах «Спектейтора», высадился в шесть часов утра с целой компанией приплывших вместе с ним на множестве лодок и заглянувших по дороге в Найн-Элмс за дынями садовников. Все они, разумеется, направлялись в Ковент-Гарден. «Когда мы подходили к рынку, мимо прошли трубочисты. Одна из молоденьких садовниц вступила в шутливую перепалку с этими черными от сажи людьми. Обе стороны упоминали дьявола и Еву и намекали на профессии и пристрастия друг друга». Сдается мне, что эпоха правления королевы Анны оставила нам немного более

очаровательных, чем эта, сценок из жизни утреннего Лондона.

Сомерсет-хаус — единственное старинное зданием Стрэнда, дающее представление о масштабах великолепных дворцов прошлого. Несмотря на проведенную сто семьдесят лет назад реконструкцию, в нем сохранился открытый внутренний двор — характерная особенность всех домов знати на Стрэнде.

Западнее располагалось еще одно величественное здание — старый Савойский дворец. Одноименный отель занимает лишь малую часть площади, на которой когда-то стояло это архитектурное сооружение. Прямо из реки поднимались толстые стены дворца, с множеством башенок и бастионов, а хаотическое нагромождение всевозможных пристроек простиралось на север, к Стрэнду. Когда самая непопулярная в английской истории королева, Элеонора Прованская, приехала в Лондон, дабы стать женой Генриха III, она привезла с собой уйму алчных родственников, которых оделила состояниями, пользуясь щедростью своего слабовольного супруга. Ее мудрый и властный дядя, граф Питер Савойский, построил на берегу реки величественный дворец и дал ему свое имя. Таким вот образом Лондон познакомился с итальянской фамилией, известной еще римлянам и паладинам Карла Великого. Теперь оно ассоциируется с кинозвездами и заезжими американцами.

Спускаясь по ступеням «Савоя», я каждый раз отмечаю, как странно выглядит на фоне современных зданий навевающее печаль церковное кладбище с Савойской часовней — единственной сохранившейся частью дворца. В эпоху королевы Виктории ее реконструировали, и теперь о ней можно сказать только то, что она стоит на том же самом месте, где стоял ее древний предшественник. Неподалеку отсюда, на Савой-Хилл, в двадцатых годах двадцатого столетия начинала



свою деятельность Британская радиовещательная корпорация. Там находилось скромного вида здание, известное первым радиолюбителям как 2LO<sup>[23]</sup>. Приемников с электронными лампами не было и в помине, любители мастерили собственные кристаллические схемы, помещавшиеся в спичечных коробках. Чтобы любимый кристалл — маленький шероховатый кусочек серебряной руды — мог принимать сигналы 2LO), к нему прикасались тоненькой проволокой, которую называли «кошачьим усиком». Особые свойства некоторых кристаллов позволяли, как утверждали их владельцы, добиться исключительно высокого качества приема сигналов. Каждую ночь кристаллы вынимали из спичечных коробков и прикрепляли к маленьким, примитивным радиоприемникам, а владельцы кристаллов, нацепив наушники, прощупывали поверхность «кошачьим усиком».

Помню, я несколько раз вел радиопередачи из студии 2LO. Рабочая атмосфера этой организации отличалась восхитительной непринужденностью и раскованностью, тогда как атмосфера в нынешней Би-би-си пронизана официальностью и помпезностью. В этой студии я всегда испытывал замечательное ощущение, которое ни при каких обстоятельствах не может возникнуть в современном радиоцентре на Портленд-Плейс: мне казалось, что, о чем бы я ни говорил, мои слова не будут слышны за пределами студии. Поэтому, сидя у микрофона, я никогда не нервничал! Впрочем, иногда я получал письма от жителей Инвернесса или Шетландских островов, в которых мне сообщали, что совершенно отчетливо слышали мой голос. Наверное, эти письма удивляли меня не меньше, чем качество приема удивляло авторов писем.

Если говорить серьезно, то в те времена радиовещание стремительно развивалось. Во второй половине дня вам звонили (вероятно, потому, что кто-то так и не появился в студии) и просили зайти вечером и что-нибудь рассказать.

— Но о чем я буду рассказывать?

— Да о чем угодно, старина, — следовал ответ беспечного предшественника серьезных руководителей нынешнего Би-би-си.

Захватив на скорую руку составленный текст, я поднимался по узкой лестнице в студию 2LO, где с потолка свешивался дедушка всех нынешних микрофонов. Порой я входил, производя чуть больше шума, чем следует, и тогда видел приложенные к губам пальцы сотрудников радиостанции. Кто-нибудь из них с трагическим выражением лица указывал мне на красный свет, который даже в те допотопные дни означал, что мы в эфире. Все это происходило в дружеской, ни к чему не обязывающей обстановке. Никому и в голову не приходило, что радиовещание станет профессией. Никто не мог предвидеть наступление времен, когда Лондон будет день за днем обращаться по радио к движениям Сопротивления в оккупированной немцами Европе.

То место, где сейчас стоит гостиница «Стрэнд-Пэлас», также представляет значительный интерес. Когда-то здесь располагался Эксетер-холл, известный тем, что в начале девятнадцатого века в нем находилась штаб-квартира Общества филантропов. Вдохновляемые рвением своих лидеров, Кларксона и Уилберфорса, они добились отмены работорговли. Известны несколько картин, на которых изображен большой зал, до отказа заполненный восхищенной публикой, среди которой необычайно большое количество женщин. Все они слушают то ли туземного вождя, то ли обращенного в христианство негра из Африки, Америки или Вест-Индии.

Немного дальше по Стрэнду, на той стороне, где «Савой», расположен Аделфи. Первоначально так назывался отдельный архитектурный комплекс, но сегодня этим словом называют лабиринт георгианских улочек за Стрэндом. Я помню тот Аделфи, который исчез в тридцатые годы двадцатого века, после долгих и бесполезных стенаний в прессе, активно обсуждавшей планы его сноса и строительства ныне существующего небоскреба.

Знаменитая терраса, которая принесла братьям Адам столько славы и столько финансовых хлопот, возводилась, как говорят, под звуки волынок, на которых играли привезенные в Лондон шотландские рабочие. Когда шотландцы сообразили, что их оплата ниже лондонских расценок, они устроили забастовку, и вскоре на их места привезли ирландцев с их скрипачами. Даже в последние годы эта терраса не утратила своего красивого и благородного вида. А в те дни, когда ее только построили, еще не было набережной, и казалось, что здания поднимаются прямо из реки. Должно быть, это производило неизгладимое впечатление.

Одним из первых арендаторов Аделфи-террас был Гаррик, который провел здесь последние семь лет своей жизни. Уже в мое время там находился клуб «Сэвидж», который за несколько месяцев до того, как дом пошел на слом, переехал на свое нынешнее место — в красивый особняк лорда Керзона на Карлтон-хаус-террас. Но Джеймс Боун, которого я уже цитировал выше, с иронией сообщает (и я ему вполне доверяю), что некоторые из самых преданных членов клуба продолжали навещать старый дом до тех пор, «пока, как они сами говорят, рабочие не снесли большую его часть». Хотя я никогда не был членом «Сэвиджа», мне нередко доводилось в нем бывать. После одного веселого вечера на мою долю выпало провожать домой,

в Чартерхаус, похожего на призрак Оделла. Этот тщедушный седой старик в длинном черном плаще был если не самым старым членом клуба, то уж, вне сомнения, самым пожилым.

Другой достопримечательностью Аделфи, которую я хорошо помню, был одноименный отель на углу Джон-стрит и Адам-стрит. Возможно, Диккенс останавливался в этом отеле, еще когда тот назывался «Осборнс», и описал его в сцене, когда мистер Пиквик принимает решение жить в Далвиче, а также в сцене званого обеда у мистера Уордла. Старый «Аделфи» прекрасно вписывался в произведения Диккенса. В 1936 году его бар уже не работал, старые двери из красного дерева были заперты на засов, в нем больше не проживали ни актеры, ни журналисты, ни любознательные американцы, но даже тогда мне казалось, что он полностью соответствует духу диккенсовских романов. Этот отель оставил в моей памяти самые приятные воспоминания. Прогуливаясь по его вестибюлю, вы могли в любое время суток мило поболтать с кем угодно из персонала и узнать все свежие новости от швейцара или метрдотеля. Зайдя в бар, вы всегда находили там знакомого, которого никак не ожидали встретить.

Это место изобиловало старинной роскошью и великолепием. Помню, однажды я пришел туда, чтобы встретиться с другом, который вот уже несколько лет жил в Париже и самым неожиданным образом приехал в Лондон. Меня провели в его спальню, которая, к моему изумлению, оказалась роскошными апартаментами с расписным потолком и гобеленами. Посреди всего этого великолепия возвышалась огромная четырехспальная кровать, на которой возлежал мой друг. Рядом, на маленьком столике, стояла бутылка шампанского. Вполне возможно, в каком-нибудь современном лондонском отеле и вам доведется отыскать, при схожих обстоятельствах, своего друга, но эта сцена, я

уверен, не задержится у вас в памяти, более того, не покажется вам сколько-нибудь интересной. А в «Аделфи», неразрывно связанном с эпохой индивидуализма, пропитанном его духом, современные люди выглядели воспринимались как актеры — эксцентричные, романтические или комические.

### 3

Прогуливаясь по Стрэнду, я вдруг подумал, что уже несколько лет не заходил в Сомерсет-хаус. Хотя каждый день мимо этого здания проходят тысячи людей, оно принадлежит к тем местам, которые посещают либо исключительно по делу, либо из-за любви к архитектуре. Помимо прочего, оно является штаб-квартирой Управления налоговых сборов — не того отдела, который рассылает налогоплательщикам темно-желтые бланки резкого содержания, а несравнимо более высокой инстанции, пользующейся пишущими машинками, поэтому большинство предпочитает обходить это здание стороной.

Сомерсет-хаус может похвастаться весьма бурным прошлым, к которому в значительной степени причастны женщины. Впрочем, теперь ему приходится расплачиваться за прошлое своим уныло-статистическим настоящим. Это огромное здание палладианского стиля было построено во второй половине восемнадцатого века на том месте, где лорд-протектор Сомерсет не успел достроить свой величественный особняк, поскольку в 1552 году был казнен. Сомерсету грезился дворец, способный соперничать с Уайтхоллом и Хэмптон-Кортом. В качестве архитектора лорд пригласил Иоанна Падуанского, архитектора Генриха VIII, который построил Лонглит в Уилтшире и ворота Кайес-колледжа в Кембридже. Чтобы

добыть необходимый для строительства дворца камень, Сомерсет приказал снести некоторое количество лондонских зданий, в том числе и часовню на кладбище собора Святого Павла. Лондон ему этого не простил.

Когда Сомерсета обезглавили, недостроенный дворец перешел во владение короны; впоследствии его судьба оказалась тесно связанной с судьбами королей Англии. Первой поселившейся в нем женщиной стала принцесса Елизавета, которая переехала во дворец незадолго до собственной коронации. Позднее вошло в обычай передавать этот дворец в качестве приданого за королевой либо вдовствующей королевой. Анна Датская, жена Якова I, принимала участие в маскарадах, Генриетта Мария во времена Карла I держала здесь свой католический двор, а Екатерина Браганца пыталась найти покой, устав от беспутств, которым предавался в Уайтхолле Карл II. В этом дворце ничто не выбрасывалось — и ничто не восстанавливалось. Его история есть история нарастающего упадка. В правление Георга III этот дворец сочли настолько старомодным и неудобным, что решили его снести и обеспечить королеву Шарлотту другим жильем. Королева получила очаровательный дом из красного кирпича, обитель королевы Анны, которая находилась в Сент-Джеймском парке и впоследствии превратилась в Букингемский дворец.

Когда во второй половине восемнадцатого века старый дворец Сомерсета начали сносить, изумленным взглядам собравшихся открылось невероятное количество всевозможного хлама. Оказалось, что дворец был настоящим музеем сломанной мебели, превратившихся в лохмотья шелковых занавесей, протертых гобеленов, обтрепанного бархата и парчи. В это невозможно поверить, однако на чердаках и в кладовых отыскалась мебель эпохи правления

Эдуарда IV, в течение трех столетий покрывавшаяся гнилью и плесенью.

Нынешний Сомерсет-хаус выигрышнее всего смотрится со стороны Темзы. Теперь, когда больше нет Аделфи, он является самой приметной достопримечательностью между Вестминстерским аббатством и собором Святого Павла. Когда его строили, набережной Темзы еще не существовало, так что река омывала фасад здания. Массивные ворота, подземная сцепка для трамвайных маршрутов северного и южного Лондона, изначально представляли собой береговой заслон. Вход со стороны Стрэнда, который намного изысканнее, чем мы себе представляем, проезжая мимо на омнибусе, ведет в чудесный внутренний дворик, вокруг которого возвышаются величественные резиденции Управления налоговых сборов, Канцелярии дел о наследстве и Департамента генерального регистратора.

Когда я размышлял о том, с кем именно мне следует повидаться (в Сомерсет-хаусе неодобрительно относятся к праздной слоняющейся публике), мне вдруг пришло в голову, что я бы, наверное, приобрел копию собственного свидетельства о рождении. Меня провели в приемную Зала изысканий, где я увидел столы с бланками, помеченными цветными полосами: красная полоса означала рождение, зеленая — брак, черная — смерть. Помещение заполняли люди, выказывавшие, в отличие от меня, практический интерес к этим важнейшим моментам человеческой жизни.

Заполнив красный бланк и положив его на стойку, я оплатил «взнос за поиск» и прошел в Зал изысканий. Там помещались толстенные, переплетенные в жесть фолианты, куда были занесены все рождения, браки и смерти, имевшие место в Англии и Уэльсе с 1837 года.

Себя я нашел сразу же — в квартальной книге соответствующего года, столь знакомое имя под датой

моего рождения. Я обнаружил, что являюсь единственным Генри Мортонем, родившимся в тот квартал во всей Англии и всем Уэльсе. У меня нашелся однофамилец, но его нарекли Гарри. Еще в том квартале появились на свет три Альфреда, два Джеймса, четыре Анны, три Эдит и три Мэри — все урожденные Мортонеры.

Пока служащий выписывал мне свидетельство о рождении, я наблюдал за другими посетителями, которые усердно искали даты рождений, браков и смертей. Некоторые из них, очевидно, были частными детективами — впрочем, может быть, это мне только показалось. Наверняка там были и стряпчие, кто-то пытался найти состояние или доказать законность своего рождения, многие добивались подтверждения права на получение пенсии по возрасту. В этом зале столько пожилых людей, не способных отыскать свои свидетельства о рождении, что по распоряжению начальника службы регистрации актов гражданского состояния тома соответствующих годов собраны в одном месте. И шестидесятилетние мужчины и женщины сидят и переворачивают страницы в поисках официального уведомления о появлении на свет.

#### 4

Если ранним утром отправиться в Ковент-Гарден, по пути обязательно увидишь одно из самых крупных скоплений транспорта в Лондоне. Солнечным весенним утром, когда лучи светила падают на ряды выставленных на продажу белых и желтых нарциссов, вид кажется восхитительным, а на протяжении дня, когда торговля на рынке набирает обороты и тысячи повозок, грузовиков, фургонов и ручных тележек выбираются из толчеи и развозят фрукты, цветы и овощи по всему Лондону, непрестанно изумляешься



тому порядку, в который благодаря многолетнему опыту превращается рыночный хаос.

Думаю, посещение рынка Ковент-Гарден — самый доступный способ познакомиться с Лондоном Хогарта. Представьте себе, что толпы добродушных, охрипших от постоянного крика торговцев, которые собираются здесь каждое утро, одеты в костюмы восемнадцатого столетия, — и вы сразу же окажетесь в той эпохе. Посещая Ковент-Гарден, я часто вижу лица, достойные кисти Хогарта.

Вдобавок этот рынок — наилучший пример жизнеспособности рынков как таковых. Каждый, кто видит огромную толпу людей и массу транспортных средств, сосредоточенных на столь малой площади, должно быть, задается вопросом, откуда возникла традиция устраивать такую давку и почему она продолжает существовать. Все началось очень просто — проще не бывает. Когда во времена Карла I в этой части Лондона принялись строить дома, садовники из близлежащих деревень стали размещать здесь свои палатки и продавать обитателям новых домов капусту, редиску и салат. Чем люднее становился район, тем обширнее делался рынок. В итоге капустные ряды вытеснили местных жителей, и каждый день здесь можно увидеть горы фруктов и овощей и ворохи цветов, доставляемых в том числе и из самых отдаленных уголков мира.

Я часто думал, что холодными зимними ночами Ковент-Гарден и прилегающие к нему улицы выглядят так же зловеще, как и любой другой район Лондона западнее Олдгейта. От Лонг-Эйкр отходят крошечные переулки, перетекающие друг в друга в пределах броска камня от огней Лестер-сквер. Это такая же запретная территория, как и все, что находится в Лаймхаусе.

Ковент-Гарден играет важную роль в истории города, поскольку именно здесь впервые появилась столь характерная для Лондона архитектурная деталь, как площадь. Считается, что все площади жилой части города ведут свое происхождение от базарной площади Ковент-Гарден, появившейся во времена правления Карла I. Знаменитые площади Вест-Энда намного старше, чем многие себе представляют. Площадь Ковент-Гарден была построена в 1630 году, Лестер-сквер — в 1635-м, Блумсбери-сквер — в 1665-м, Сохо-сквер — в 1681-м, Ред-Лайон-сквер и Сент-Джеймс-сквер — в 1684-м, Гросвенор-сквер — в 1695-м, наконец, Баркли-сквер — в 1698-м. То есть все главные площади Лондона появились в эпоху Стюартов.

Я разделяю мнение тех, кто считает пращуром лондонской площади римский форум, хотя многим эта идея кажется странной и даже невероятной. Планировку Ковент-Гарден разработал Иниго Джонс, совершивший в свое время путешествие по Италии. Там он познакомился с идеями итальянского Возрождения, которые произвели на него неизгладимое впечатление. Его современник Ивлин сообщает, что на строительство Ковент-Гарден Джонса вдохновила пьяцца в Ливорно. Очевидно поначалу Ковент-Гарден (словом *piazza* впоследствии почему-то стали называть сам рынок) представлялась попыткой перенести в Лондон маленький кусочек Италии. Брошенное в лондонскую почву семя успешно проросло и выбросило множество замечательных ростков, которые настолько отличались от своих итальянских предшественников, что трудно было найти сходство меньшее, нежели между итальянской пьяццей и лондонской площадью. Даже на Ковент-Гарден с годами стали заметны принципиальные отличия от пьяццы, особенно когда около 1666 года в центре площади были посажены деревья.

Возможно, с самого начала предполагалось, что эта лондонская площадь воплотит идею активно используемого людьми открытого пространства. Но, вполне соответствуя английским традициям, она лишь недавно стала частью открытого ландшафта в окружении кирпича и бетона. Пьяцца открыта для всех и каждого, тогда как площадь — закрытое, уединенное место, и даже те, кто на ней живет, редко вторгаются в ее центральную часть и сидят в тени ее деревьев.

Карл I живо интересовался строительством Ковент-Гарден. Он часто приходил туда и наблюдал за строительством площади, которой суждено было украсить его столицу. Должно быть, его современникам эта площадь напоминала сцену с декорациями к спектаклям, которые ставили в Уайтхолле. Интересно, как выглядел бы Лондон, если бы король поставил себе целью добиться мирного процветания страны? Ведь Карл вполне мог стать покровителем искусств и великим строителем. Иниго Джонс и Карл имели достаточно возможностей и денег для того, чтобы внести более значительные изменения в облик Лондона, чем те, которые позднее внесли Нэш и принц-регент. Но в ранний период правления Стюартов возможности архитектуры Возрождения в значительной степени ограничивались обстоятельствами и, по сути, сводились к уровню фанерных декораций придворных спектаклей.

В наши дни практически невозможно получить четкое представление о том, как выглядела Ковент-Гарден во времена Карла I. От первых построенных здесь домов и от колоннады не осталось и следа. Даже величественная церковь Святого Павла была перестроена. Впрочем, сохранившиеся аркады дают некоторое представление о первоначальном виде этой церкви. Можно с полной уверенностью говорить, что именно отсюда начинался лондонский Вест-Энд. Более

сотни лет Ковент-Гарден оставался самым фешенебельным кварталом Лондона.

Мода и порок уживались в тесных кварталах Ковент-Гардена. Довольно скоро окружавшие площадь улицы получили печальную известность благодаря большому количеству питейных заведений и игорных домов, теснившихся на столь крохотной территории. Представители высшего общества уживались здесь с владельцами трактиров, игорных домов, турецких бань, кофеен и отвратительнейших заведений, которые только из вежливости можно было назвать публичными домами. Глядя на безупречные фасады Ковент-Гарден, Кинг-стрит, Генриетта-стрит и Боу-стрит, отказываешься верить тому, что на протяжении ста пятидесяти лет эти улицы были ареной ночных драк, пьяных кутежей и любовных свиданий. Некий мистер Харрис, удовлетворяя запросы публики, стал даже публиковать «Списки дам Ковент-Гардена», выходившие регулярно в течение приблизительно сорока лет.

Лондон никогда не был более порочен, нежели в правление Стюартов и Георгов. Каждый вечер повесы наблюдали из экипажей за суетой под сводами Ковент-Гардена. Один писатель того времени сравнивал эти сцены с буйным великолепием венецианских карнавалов. Правдивое описание порочности старого Лондона дает Дефо в своем романе «Молль Флендерс». Гравюры Хогарта — еще одно бессмертное свидетельство существования этого мира. Знаменитый художник хорошо знал Ковент-Гарден, поскольку учился в находившейся там студии сэра Джеймса Торнхилла. Первая из четырех его гравюр под общим названием «Четыре времени дня» изображает хорошенькую молодую женщину, которая холодным зимним утром идет в церковь Святого Павла. Окружающая обстановка свидетельствует о том, что площадь еще не совсем оправилась от ночной гулянки. Не вызывает сомнений,

что именно типажи, которые Хогарт так хорошо изучил на Ковент-Гарден, вдохновили его на написание знаменитой серии «Успех проститутки».

Начальные главы дневника Уильяма Хики содержат ужасающие по своей откровенности и бесстыдству сообщения о ночных притонах Ковент-Гарден. Эти главы были написаны в пору, когда знаменитый рассадник порока успел просуществовать почти сто пятьдесят лет.

Восторженная снисходительность, с которой несколько столетий назад пьяная толпа наблюдала за проделками одурманенных аристократов, возможно, является самым поразительной особенностью этой стороны лондонской жизни. Читая Хики, нетрудно понять происхождение фразы «пьян, как лорд».

## 5

У меня неоднократно возникало желание исследовать оперный театр «Ковент-Гарден». Как правило, такие мысли приходят в голову, когда на улице сыро. Мне часто казалось, что в подвалах этого здания должны скрываться потрясающие реликвии викторианской эпохи. Похоже, ни одно другое ныне существующее общественное здание Лондона не цепляется с таким упорством за давно минувшие дни и не подвергается столь сильному воздействию гнетущей действительности. Вспоминая лакеев в напудренных париках и бриджах из красного плиса, оперный театр вглядывается своими полуприкрытыми очами в здание полицейского участка Боу-стрит. Даже громохание печатных прессов Лонг-Эйкр не может отвлечь его от мыслей о давно всеми забытых вещах.

Ночью, перед тем как на рынок Ковент-Гарден завезут очередную партию капусты, сумрачные ворота оперного театра выглядят так, словно ждут, когда

выйдет из своей призрачной кареты привидение Эдуарда VII.

Войдя в здание, я наткнулся на компанию молодых мужчин и женщин, энергично танцевавших на бескрайних просторах отполированного до блеска пола. Любители оперы знают, что оперного театра больше нет. Высоту пола увеличили до уровня сцены. Места в партере, сцену и загадочное пространство за ней превратили в один гигантский танцевальный зал. Два эстрадных оркестра располагались в том месте (у рампы), где столь многие теноры выводили свои задухивные арии. Ложи большого яруса смотрели на сцену, словно опасаясь, что их от нее отделят. В том углу, из которого в течение более чем восьмидесяти лет представители высшего света Европы внимательно изучали друг друга, я обнаружил стойку с газированной водой.

— Когда начинается оперный сезон?

— Мы не знаем.

Один из оркестров внезапно перешел на фокстрот, и я покинул этот танцевальный зал с ощущением, что, несмотря на яркое освещение и стойку с газированной водой, «Ковент-Гарден» все еще мечтает о великих певицах. Грустно, что он вынужден зарабатывать себе на жизнь в качестве танцевального зала. Мне вспомнился старый и бедный русский аристократ, которого я повстречал несколько лет назад. Он владел скромным маленьким ресторанчиком в пригороде Лондона. Иногда на него находило, прошлое брало свое, и он появлялся при полном параде, сверкая орденами и медалями. То же самое может случиться и с «Ковент-Гарденом». Только шепните ему слово «опера» — и пол снова займет привычное положение, стойка с газированной водой исчезнет, а молодые танцоры и эстрадные оркестры растворятся в воздухе.

Смотритель театра провел меня по зданию. Это уже третий театр на данном участке земли. Первый был построен в 1732 году знаменитым шутком Джоном Ричем. Спустя годы он основал клуб «Бифстейк», ныне обитающий на Ирвинг-стрит. Утром 30 сентября 1808 года театр полностью сгорел. В результате неожиданного обрушения каменной кладки погибли тридцать три пожарных. Пламя уничтожило знаменитый орган, на котором играл Гендель, когда ставил «Мессию», а также винный погреб «Бифстейка».

Пожар оказался тяжелым ударом для Джона Кембла, который вложил в этот театр свои сбережения; но Кемблу помогли сплотившиеся вокруг него друзья. Принц Уэльский, впоследствии Георг IV, дал тысячу фунтов, а еще более щедрым даром оказались десять тысяч фунтов от герцога Нортумберлендского. Кембл отказался принять эти деньги в дар и настоял на том, чтобы герцог принял от него долговое обязательство. Когда был заложен первый камень нового театра, герцог вернул Кемблу его расписку, сопроводив ее письмом: дескать, в этот радостный день нужно развести костер и бросить в него расписку, чтобы «огонь как следует разгорелся». Старые добрые времена!

Второй театр был уничтожен пожаром в 1847 году, а воздвигнутое на его пепелище здание нынешнего театра получило официальное название — Королевский театр итальянской оперы.

Мы с моим гидом бродили по мрачным коридорам, поднимались к гигантским колосникам, осмотрели крупнейшую в Лондоне студию, где создавались декорации египетских храмов для «Аиды» и гор для «Лоэнгрина», равно как и другие огромные претенциозные полотна, натягивавшиеся на рамы размерами с плац для парадов.

Потом мы встретили человека, который в течение сорока лет одевал солистов-теноров и сопрано, а также

снаряжал всеми необходимыми атрибутами толпы деревенских жителей, солдат, рейнских девиц, египетских жрецов и валькирий. Он заведовал самым, пожалуй, разнообразным и дорогостоящим театральным реквизитом в мире и не верил слухам о том, что оперный сезон так и не будет открыт. Что бы там ни говорили, он продолжал смазывать маслом меч Парцифалья и начищал до блеска шлем Радамеса.

Для него опера — не музыка, а размер трико. В мгновение ока он мог бы превратить сотню хористок в японских гейш, вагнеровских воинов, средневековых крестьян или придворных короля Георга. У него имеется нечто вроде оперной библиотеки дирижера, только гораздо больших размеров. Это целый ряд комнат со множеством запертых на замок шкафов с пометками: «Пеллеас и Мелисанда», «Саломея», «Богема», «Тангейзер»... Чтобы собрать в «Ковент-Гардене» весь необходимый реквизит, потребовалось восемьдесят лет.

— Давайте спустимся в арсенал, — предложил мастер по реквизиту. — У меня там пики и мечи, достались по наследству от старого театра.

В подвалах оперного театра сбылась моя мечта найти реликвии. Где-то над головой гремел джаз, пол скрипел под ногами танцоров, а внизу ютились призраки, обитающие во всех опустевших театрах. В этом месте, предназначенном для пения и музыки, среди сложенных декораций, невероятного нагромождения картонных деревьев, золотых диванов, императорских паланкинов и бутафорских цветов, хранится память о почти вековой истории оперы. В недрах этого театра вспоминаешь такие забытые имена, как Гризи и Марио, Альбани, Зонтаг, Босио, Ронцони. Когда-то они своим пением расположили Лондон к опере — в пору, когда почти все оперные театры Европы отказывались ставить Вагнера.



— Лучшие театральные уборные, — поведали мне, распахнув дверь.

Призраки Патти, Тетрадзини, Карузо...

Эта неизвестная публике часть оперного театра унаследовала кое-что от «Ковент Гардена» восемнадцатого века. Окрашенные белой известью своды вполне могли принадлежать тому театру, который был знаком Шеридану. Здесь скрывается призрак восхитительной Элизабет Фаррен, впоследствии леди Дарби. Однажды вечером в театре появился лорд Дарби и потребовал вернуть его супруге задолженность по гонорарам, причем отказывался покидать здание, пока долг не возместят.

— Мой дорогой лорд, — обратился к нему Шеридан, — это уж никуда не годится: вы забрали самую яркую звезду нашей маленькой вселенной, а теперь ссоритесь с нами из-за облачка пыли, которое она оставила после себя.

В этих подвалах обитает и циничный призрак Хораса Уолпола. Именно он поведал историю посещения этой оперы лордом Честерфилдом в те дни, когда Георг III и его супруга ввели в обычай посещать менее фешенебельный оперный театр «Хэймаркет», который называли «театром короля». Лорда Честерфилда спросили, был ли он в другом театре.

— Был, — ответил лорд, — но не встретил там никого, кроме короля и королевы. А поскольку мне показалось, что они разговаривают о своих делах, я тотчас удалился.

Вот такие элегантные, остроумные и знаменитые призраки появляются в подвалах «Ковент-Гардена», когда наверху играют эстрадные оркестры. Похоже, театр пытается вернуть свое прошлое. Кажется, что, погрузившись в дрему, больше похожую на смерть, он ждет едва уловимого, но столь волнующего

постукивания дирижерской палочки по пюпитру, чтобы очнуться и вернуться к жизни.

История «Друри-Лейн» представляет собой отражение трехвековой истории английской сцены. Этот театр был свидетелем триумфов Гаррика, миссис Сиддонс, Джона Кембла и многих других актеров. Шеридана, имевшего финансовый интерес в этом театре, известие о пожаре в «Друри-Лейн» в 1809 году застало в палате общин, где он принимал участие в очередном заседании. Узнав о случившемся, он выступил с необычным предложением, согласно которому палата должна была в знак сочувствия к постигшему одного из парламентариев несчастьем закрыть заседание. Затем Шеридан поспешил на место пожара. Вместе со своим другом он уселся в расположенной напротив театра кофейне, где заказал портвейн со словами: «Плохо, когда человек не имеет возможности выпить бокал вина, глядя, как горит его собственный дом». Нынешнее здание является уже пятым, построенным на этом месте. Во время торжественного открытия в 1812 году с его сцены был зачитан написанный Байроном пролог.

Улица, имя которой носит знаменитый театр, сегодня имеет весьма затрапезный вид. Старые, построенные еще в георгианскую эпоху дома почернели от копоти и глубоко въевшейся грязи. В них размещаются крохотные магазинчики и квартиры. Пипс вспоминал, что 1 мая 1667 года он проходил по этой улице и «увидел милостивую Нелли, которая стояла подле своего жилища на Друри-лейн в украшенном оборками платье. Она показалась мне прелестнейшим существом».

В наше время практически каждый что-нибудь да коллекционирует. Но мало кто увлекается собиранием предметов, за которыми буквально гонялись более двух столетий назад. Чтобы увидеть коллекции восемнадцатого века, надо пойти на Линкольнс-Инн-Филдс, где в доме номер 13 находится музей Соуна. Там находится коллекция сэра Джона Соуна, архитектора здания Английского банка. Возможно, сначала вам покажется, что вы попали в частный дом, превращенный в мастерскую каменотеса. Особое внимание уделяется здесь античным памятникам: основания и капители мраморных колонн, египетские саркофаги, римские урны с прахом, полностью сохранившиеся статуи и их фрагменты, другие столь же массивные реликвии. В подвале, гостиной и мастерской — всюду экспонаты, большая часть которых когда-то стояла под открытым небом.

Не представляю, как леди Соун ухитрилась следить за домом, куда в любой момент мог въехать подъемный кран, а бригада рабочих вполне могла пробить стену, чтобы втащить пару колонн с Адриановой виллы в Тиволи. Тем не менее, говорят, что она обожала эту коллекцию почти так же, как ее муж. Поразительно! Быть может, она была не только умна и тактична? Каждая женщина знает, что если она вышла замуж за человека, которому на роду написано стать коллекционером античной архитектуры, ей остается лишь смириться.

В отличие от большинства крупных собраний, которые идут с молотка после кончины их владельцев, коллекцию Соуна сохранили в соответствии с особым решением парламента. Сэр Джон перед своей кончиной в 1837 году составил акт передачи коллекции по завещанию и назначил доверенных лиц, которые должны присматривать за экспонатами и хранить их в оговоренном месте, то есть в доме архитектора. Именно

это обстоятельство делает музея Соуна таким любопытным: ведь дом Соунов находится приблизительно в том же состоянии, в каком находился при жизни старого сэра Джона, скончавшегося в возрасте восьмидесяти четырех лет. В тот год, когда он умер, на престол взошла королева Виктория.

Когда парадную дверь дома номер 13 открывает «слуга», а именно так согласно «инструкциям» музея Соуна называют зрителя, вы сразу же попадаете в первую половину девятнадцатого столетия. Тогда по Линкольнс-Инн-Филдс еще не ездили автомобили, не было ни электрического освещения, ни таких средств создания иллюзий, как радио и кино, отнимающих у современных людей все свободное время. Утонченный мир, крошечной частью которого до сих пор является этот лондонский дом, все еще очаровывал славой Древней Греции и величием Древнего Рима. В ту пору мистер Вуд исследовал развалины Пальмиры и Баальбека. Увесистые тома его исследований должны были вдохновить архитекторов, собиравшихся возводить для будущих поколений здания банков и ратуш. Относительной новинкой считалась и написанная Стюартом и Реветтом книга «Афины», а также составленное братьями Адам описание дворца Диоклетиана.

Войдя в этот симпатичный, налитый духом просвещения и культуры дом, где даже лондонские воробьи чирикают точно так же, как в те времена, когда сэр Джон спускался завтракать в обществе своих металлографии, бюстов и барельефов, мы внезапно понимаем, что случайно оказались в мире более уютном, чем наш собственный. Развалины древних городов и погибшие цивилизации представляли для сэра Джона чисто научный интерес. К сожалению, наш интерес уже не вполне академический. Провести бы сэра Джона по

Чипсайд, вплоть до Милк-стрит и показать ему развалины Лондона!

Блуждая по этому дому, вы то поднимаетесь наверх, то спускаетесь вниз, вас обуревают восторг при мысли о том, какое множество вещей может собрать за долгую жизнь интеллигентный и любознательный человек, доживший до восьмидесяти четырех лет. Не знаю, с какого момента собирательство становится манией, возможно, это происходит с самого начала. Но точно знаю, что наступает время, когда многие коллекционеры внезапно теряют уверенность в себе и задаются вопросом: а стоит ли этим заниматься? Впрочем, с сэром Джоном подобное просто не могло случиться! Ни один современный мужчина (уж тем более женщина) не допустил бы вторжения в свой дом такого количества нарушающих домашний уют предметов, но в эпоху подлинных знатоков и любителей искусства это не вызывало неприятия.

Среди собранных сэром Джоном вещей, разумеется, наличествует некоторое количество таких экспонатов, которые представляли больший интерес для его современников, нежели для людей нашего поколения, но жемчужина коллекции несомненно вызовет у вас восхищение. Здесь, в отдельном помещении, хранятся восемь подлинников Хогарта из серии под общим названием «Карьера мота». Стоит посетить дом номер 13 хотя бы ради того, чтобы взглянуть на эти замечательные картины. Знакомые всем оттиски не дают представления о высочайшем художественном мастерстве Хогарта. Когда смотришь на оригиналы с их свежей, восхитительной цветовой гаммой, возникает ощущение, что видишь эти работы впервые в жизни.

Полагаю, что если выставить эту серию из восьми картин на аукцион, она была бы продана за фантастическую сумму. Хогарт без труда находил покупателей на копии своих картин, однако оригиналы

приобретали неохотно, и это обстоятельство его сильно раздражало. Наверное, нет ничего удивительного в том, что его эпоха не испытывала желания видеть собственное отражение на полотнах столь проницательного художника. Например, какому завсегдатаю находившегося в Ковент-Гардене трактира «Роуз» понравилось бы четвертая картина этой серии, на которой мот изображен в самом неприглядном виде? Лишь спустя некоторое время свершилось археологическое чудо, и к Хогарту стали относиться как к художнику, а не как к критику существующей действительности.

В конце концов, серию «Карьера мота» купил Уильям Бекфорд, который увез ее в готическую громаду аббатства Фонтхилл. В 1802 году Соун купил эти картины на аукционе Кристи за четыреста семьдесят гиней. В музее Соуна также находится и еще одна серия работ Хогарта — «Выборы».

Эти четыре картины, за которые Хогарт просил двести фунтов, но так и не нашел покупателя, были разыграны в устроенной художником лотерее. Среди тех, кто тянул жребий, оказался и Гаррик. По дороге домой он вдруг осознал, какую ужасную несправедливость по отношению к великому художнику допустил, вернулся и заплатил Хогарту двести фунтов. Когда в 1823 году имущество миссис Гаррик было выставлено на продажу, Соун купил эти картины за тысячу шестьсот пятьдесят гиней.

Над каминной полкой в расположенной в северной части дома гостиной висит портрет двух молодых людей приятной наружности. Это сыновья архитектора Джон и Джордж. Старший сын Джон умер в возрасте тридцати шести лет. Он написал большое количество романов и пьес, о которых сегодня никто даже не слышал. Что касается младшего, они с отцом испытывали друг к другу неприязнь, которая постепенно переросла в

непримиримую вражду. Говорят, Соун отказался от баронства и принял рыцарское звание, чтобы его сын не унаследовал титул. Такой же удачливый, каким казался своим современникам сэр Джон, и такой же богатый, как он, старый дом на Линкольнс-Инн-Филдс, несмотря на все свои сокровища, реликвии и раритеты, возможно, не был так счастлив, как мы себе это представляем, на мгновение заглянув в него, чтобы насладиться покоем минувшей эпохи.

## 7

После одной из тех летних недель, когда пришедший из Атлантики зной превращает Лондон в пекло, приводящее в ужас даже тех, кто приехал сюда из тропиков, я решил провести день на Темзе. Эта идея пришла в голову не только мне, о чем свидетельствовали длинные очереди людей, выстроившихся на Вестминстерской пристани, в тени зданий парламента.

В билетной кассе я поинтересовался, высадят ли меня на пристани Черри-Гарден в Бермондси. Молодой шкипер любезно ответил, что, хотя его судно идет в Гринвич, он отклонится от курса и удовлетворит мою просьбу.

Пассажирами судна оказались туристы, в основном из провинции, мужчины в рубашках с короткими рукавами и женщины, которые, страдая от жары, обмахивались газетами. Мы отошли от пристани и поплыли вниз по Темзе, пассажиры восхищались протянувшейся вдоль реки набережной и далеким куполом залитого солнечным светом собора Святого Павла над Сити. В то утро столь часто высказываемые упреки относительно того, что мы плохо используем Темзу, едва ли могли показаться справедливыми: вся

река была усеяна загруженными по борту моторными судами. Наверное, в минувшие столетия Темза действительно была главной магистралью Лондона, но тогда заметить это было гораздо труднее, чем сегодня. Вместо набережной, с которой открывается превосходный вид на пространство от Вестминстера до моста Блэкфрайарз, в прежние времена людные улицы старого Лондона упирались прямо в реку, заканчивались спускающимися к воде ступеньками, а Темзу можно было разглядеть, лишь подойдя к ней вплотную.

Одним из первых впечатлений французского путешественника Пьера Жана Гросели, посетившего Лондон в 1765 году, были затруднения вызванные тем, что он не мог толком рассмотреть Темзу, «не заходя в дома и мануфактуры, стоявшие поблизости от реки». Гросели, отдельные критические замечания которого весьма заняты, объясняет нежелание Лондона приближаться к реке вплотную «природной склонностью англичан, и в особенности жителей Лондона, к самоубийству», которую он приписывает «преобладающей в их характере меланхолии». Мы, разумеется, знаем, что прежняя «визуальная недоступность» Темзы была вызвана чрезмерным скоплением стоявших у реки строений. Многие из этих сооружений представляли собой старинные пристани, игравшие в жизни города немаловажную роль. Берег Саутуорка, от моста Ватерлоо и далее, очень похож на противоположный, в том виде, в каком последний был до появления набережной.

Мы продолжали свое путешествие, проплыв под мостами Блэкфрайарз и Саутуорк, а также под Лондонским мостом. Устроившись поудобнее, пассажиры разглядывали достопримечательности, глазели на мрачного вида полуразрушенные пакгаузы, пустые окна которых были обращены к реке, как в ту ночь, когда они подверглись бомбардировке.



Темза стала шире, строения на ее берегах приобрели совсем уж печальный вид; мы подошли к пристани Черри-Гарден. Если вы вообразили, что это место на вид не менее восхитительно, чем на слух<sup>[24]</sup>, то мне придется вас разочаровать: да, во времена Пипса здесь и вправду росли прелестные сады, а сегодня находится плавучая пристань, окруженная высокими кирпичными пакгаузами.

Район Бермондси, который начинается за пристанью, и его собрат Ротерхит отличаются ни с чем не сравнимой атмосферой гнетущего однообразия, уныния и нищеты. Но из всех знакомых мне прибрежных районов я больше всего люблю Бермондси, и доведись мне жить в одном из них, то я выбрал бы именно Бермондси — во всяком случае, до тех пор, пока не нашел бы лучшего места с видом на Темзу. Бермондси обладает некой странной привлекательностью, которая, как утверждают некоторые, свойственна и Лаймхаусу. Это действительно так, несмотря на жалкого вида улочки, покрытые копотью домишки, отвратительные, похожие на тюрьмы многоквартирные дома и бесконечные, уводящие в никуда дороги, по которым проносятся автобусы с яркими маршрутными табличками. Возможно, меня уводят от тягостной действительности воспоминания о старом Бермондси и его аббатстве, а может быть, все дело в том, что в Бермондси я познакомился с замечательными людьми, из которых кое-кто, вне всяких сомнений, далек от действительности и очарован историей своего района.

От прежних красот Бермондси остались лишь названия улиц, таких как, например, Черри-Гарден и Крусификс-лейн, напоминающих о Священном распятии, которое хранилось в разрушенном аббатстве. Улица Джамайка-роуд заставляет вспомнить об одном из увеселительных заведений, которые частенько посещал Пипс. Возможно, в таком окружении название улицы

Спа-роуд покажется совершенно неуместным, но это напоминание о существовавшем здесь крохотном курорте, в центре которого находился железистый источник, открытый около 1770 года художником Томасом Кейсом. Непродолжительное время курорт пользовался такой популярностью, что сюда приплывали из Лондона, чтобы попить чаю и посмотреть фейерверк. Кажется совершенно невероятным, что этому когда-то привлекательному району суждено было стать таким мрачным и безобразным местом.

И все же в Бермондси есть местечко, которое по сей день выглядит весьма привлекательно. Это таверна «Эйнджел Инн», куда я и направился. Не знаю лучшего места в Лондоне для обеда в жаркий день; правда, пожалуй, сначала стоит убедиться, что прилив будет высоким. Говорят, «Эйнджел» — самая старая таверна на этом берегу Темзы, и я бы не удивился, узнав, что в ней радушно принимали тех, кто посещал аббатство в Средние века и в эпоху Тюдоров. Кстати, мне почему-то кажется, что погреб этой таверны повидал немало товаров, за которые пошлина не платилась никогда и никому.

За баром есть небольшая комната с видом на реку. Там хозяйка гостиницы миссис Рив кормит нескольких человек, работающих по соседству. Здесь очень весело и мило, а после обеда можно выйти с чашечкой кофе на балкон, нависающий над рекой. Глядя в сторону Лондона, вы видите Тауэрский мост, а за ним крыши и шпили Сити. Говорят, что Тернер приходил в «Эйнджел» и сидел на этом балконе, когда писал картину «Фрегат «Смелый», буксируемый к месту последней стоянки на слом»; кстати, фрегат уничтожили в одном из близлежащих доков. Мне сказали, что Тернер написал на этом балконе еще одну картину, которая сейчас находится в Бостоне, штат Массачусетс.

Я сидел и наблюдал за тем, как буксиры и баржи, словно утки со своими выводками, поднимаются вместе с приливом. Время от времени мимо проходили нетипичные для этой части Темзы суда: странных очертаний угольщик с грузом для Газоэлектроотопительной компании, датский торговый корабль. Прилив поднимался, появлялось все больше и больше судов, державших курс на Лондонскую гавань. Они поднимали такую волну, что на ней плясали моторные лодки. Затухая, волна игриво шлепала по стене «Эйнджела».

Увидев полицейский катер, отошедший от противоположного берега, я понял, что смотрю на Уоппингский полицейский участок, где находится штаб нашей доблестной Речной полиции.

Мне вспомнилось, сколько захватывающих ночей, провел я когда-то вместе с речными патрулями. Как часто осенними ночами я добирался до Уоппинга по реке, над поверхностью которой клубился туман, и изучал ту сторону лондонской жизни, о которой мы, обитатели берегов, ничего не знаем. У речного народа свой Лондон, со своими традициями и даже со своим лексиконом.

Наверное, никто из лондонцев не знает о том, что Речная полиция старше Столичной. Она начала службу за тридцать лет до того, как были сформированы силы Столичной полиции. Ее основателем считается шотландец из Думбартона-на-Клайде, Патрик Колкахаун. Приехав в Лондон в 1789 году, он стал членом городского магистрата. Согласно данным того времени, из тридцати семи тысяч человек, работавших на Темзе, одиннадцать тысяч были либо ворами, либо скупщиками краденого. Купцы Вест-Индской компании радовались, если в пакгаузы попадала хотя бы половина груза.

Столь печальное положение дел заинтересовало Колкахауна, и он, изучив методы действий речных шаек, написал трактат, который произвел такое впечатление на купцов Вест-Индской компании, что они попросили Колкахауна применить теорию на практике. Он организовал полицейский отряд, призвал на службу старых моряков и лодочников, которые знали все отмели на Темзе и всю подноготную ее обитателей. Новоиспеченным полицейским выделили быстроходные длинновесельные лодки, вооружили абордажными саблями и мушкетонами, и всего за год они покончили с речным разбоем.

Современный полицейский, который несет службу на реке, оснащен по последнему слову техники. Его патрульный катер является самым быстроходным судном на Темзе и оборудован радиотелефонным устройством двусторонней связи. На крыше кокпита установлен поисковый прожектор, ярким светом которого можно без труда заставить остановиться подозрительную баржу или лихтер. Кроме того, имеется сигнальная ракетница, носилки и аптечка.

Полиция Темзы наблюдала воздушные налеты с реки. Ряды горящих пакгаузов производили гнетущее впечатление. Ночами полицейские тушили пожары и ловили полыхающие баржи, которые иногда уносило приливом к морю, и спасали людей, прижатых пламенем к берегам реки.

Я решил переправиться на другую сторону и осмотреть Лаймхаус, который не видел со времен войны. На пристани мне повстречался молодой человек с моторной лодкой. Он согласился перевезти меня, и вскоре мы уже мчались к Уоппину. На том месте, где сейчас расположен причал Таннел-Пиэр, некогда находился Док Казней, там вешали пиратов.

После казни их тела снимали с виселицы, подвешивали в железной клетке над рекой и убирали

только тогда, когда клетку трижды заливало приливом.

Здесь принял ужасную смерть капитан Кидд, после того как его безуспешно пытались повесить на некачественной веревке. Редакторы «Ньюгейтского календаря» добавили к своему отчету о его смерти следующую душещипательную сноску: «В столь трагических случаях, коих немало выпало на долю несчастного страдальца, винить и карать следует шерифа. Именно в его обязанности входит приводить в исполнение приговор суда, и нет никакого оправдания тому, что не нашлось достаточно крепкой веревки».

Мы вошли в Шэдвелл-Бэйзин, и я увидел узкий и всегда манящий вход в Риджентс-Кэнал, затем река вынесла нас к Лаймхаус-Рич, и вскоре я очутился на пристани.

Шагая в направлении дамбы, я сразу отметил про себя, что Лаймхаусу тоже досталось. Бомбами уничтожены сотни жуткого вида домишек; энергичные местные власти, а возможно, и Совет Лондонского графства, возвели несколько новых многоквартирных домов, в которых, судя по всему, свободных квартир уже не осталось.

На углу улицы мне повстречались два сурового вида морских волка. Я попытался затеять разговор: мол, здесь все изменилось со времени моего последнего приезда, но меня очень радует появление новых красивых домов. Один из моряков бросил на меня взгляд, исполненный глубочайшего презрения, а другой вынул трубку изо рта, сердито сплюнул и высказался в том духе, что власти могли бы просто подлатать старые добрые дома, при каждом из которых был сад, где играли дети.

— А теперь одни лестницы, — добавил он сердито, — повсюду эти чертовы лестницы!

Я попытался вставить словечко в защиту новых домов, но моряк заявил, что, может, они кому и сгодятся, вот

только скоро всех загонят в эти коробки с ванными и маленькими окошками.

— Детишкам, понимаешь, негде поиграть, — вставил второй.

Я не отступал, но и мои собеседники не собирались сдаваться.

— Совсем не то, начальник, совсем не то, — твердили они.

И я пошел своей дорогой, размышляя о том, что подобные преобразования, вероятно, столкнутся в Лаймхаусе с серьезным сопротивлением. Я миновал целый квартал неприглядных домов, построенных в начале девятнадцатого века, этих самых уродливых образчиков архитектурного стиля эпохи Регентства. За входной дверью такого дома открывается лестничный марш и прямо-таки хогартовская перспектива кухонь, увешанных высушающей после стирки одеждой. На пороге одного из домов стояла миловидная женщина.

— Должно быть, вы с нетерпением ждете, когда снесут это старое жилье и вам дадут квартиру в новом доме? — обратился я к ней.

Она смерила меня подозрительным взглядом.

— Нет, нет, я не из городского совета, — успокоил я ее.

— Жду квартиру? — повторила она мои слова. — Думаю, нет. И чтобы снесли этот дом? А чем он плох? Если хотите знать, здесь и без того слишком много чего снесли.

И с великолепной иронией кокни она кивнула в сторону оставшихся после налетов развалин.

Я пошел в направлении Пеннифилдс. Когда-то эта улица вызывала во мне любопытство, я был знаком с несколькими жившими на ней китайцами. Все они отличались восточной вежливостью; если бы им пришлось ударить вас ножом, то прежде, чем это сделать, они бы обязательно извинились. В ту пору на

нижних этажах домов Пеннифилдс разыгрывались сцены из китайской жизни. Но на верхних этажах все было иначе. Поднявшись в полной темноте по голой скрипучей лестнице, ты, к своему удивлению, попадад в хорошо освещенную, обставленную приличной мебелью и жарко протопленную комнату, уставленную всевозможными безделушками. Там, словно изображая из себя одалиску, восседала на диване неряшливого вида женщина-кокни. Она поедала шоколад и курила сигарету. Многие китайцы женились на англичанках. Я слышал, что некоторые из них тратили на жен все свои деньги.

Продолжая прогулку, я убедился, что Пеннифилдс значительно изменилась. Мне встретились всего два китайца, да и те выглядели как перелетные птицы.

— Что случилось с китайским кварталом? — спросил я женщину, попавшуюся мне на пути.

— Все уехали в Ливерпуль, — ответила она.

Еще эта женщина рассказала, что прожила здесь сорок лет, но никогда раньше не видела Лаймхаус в таком плачевном состоянии. Сколько она себя помнит, это всегда был вполне пристойный, где-то даже привлекательный район. Когда она была совсем маленькой, везде жили капитаны или люди, так или иначе связанные с доками. Потом пришли китайцы. И вот теперь все разбежались.

Я повернул на Ист-Индия-Док-роуд, где сел на автобус в центр Лондона, и мысленно спросил себя, что же такое Лондон? Мои представления о нем заметно отличаются от того, каким его видят жители Бермондси, Уоппинга, Степни и Поплара. Существуют сотни Лондонов, и все они в равной степени реальны для тех, кто в них живет.

На самом деле Лондон — всего лишь множество исчезнувших с поверхности земли деревень. Под лавиной кирпичей и бетона все еще можно различить очертания деревенских улиц. Хороший тому пример — Мэрилебон-Хай-стрит. Челси также сохраняет в себе множество характерных для деревни примет, которые с известной долей вероятности можно обнаружить и в Хаммерсмите, и, конечно, в Чизвике. В конце концов, прошло не так уж много времени с тех пор, как сотни мест, ныне охваченных маршрутами лондонских омнибусов, были связаны с городом зелеными аллеями, по которым горожане восемнадцатого столетия совершали приятные загородные прогулки.

Лишь в девятнадцатом веке начался великий строительный бум, превративший Лондон в огромную, хаотическую, растекающуюся массу улиц и зданий. Этот бум продолжается до сих пор. Маршруты красных омнибусов проникают все дальше в сельскую местность. Метро время от времени выбрасывает новые щупальца, отдаленные деревни постепенно становятся пригородами.

Во время войны те люди, в обязанности которых входила эвакуация мирного населения, столкнулись с проявлением деревенского образа мыслей, свойственного столь значительному количеству лондонцев. Некоторые чиновники были неприятно удивлены силой привязанности людей к определенному месту и тем обстоятельством, что тысячи горожан связывали свое представление о Лондоне лишь с несколькими хорошо знакомыми им улицами и магазинами, кинотеатром и пабом. Камбервелл не похож на Хайгейт, а Ламбет на Хокстон, но эти районы схожи своим сельским консерватизмом, предубежденностью и неприязнью ко всему инородному.

Как только заканчивались бомбардировки, люди стремительно возвращались в свой «старый добрый



Лондон», без всякого сожаления покидая гораздо более приятные места. Это доказывает, сколь притягательны даже беднейшие районы Лондона и как прочно они привязывают к себе тех, кто с ними близко знаком.

Всякий раз, когда размышляю об этих сельских горожанах, я вспоминаю Элси — маленькую пожилую женщину, не то уборщицу, не то прислугу. До войны меня часто приводил в восторг ее неистребимо мрачный взгляд на жизнь. Она была не то чтобы пессимисткой — скорее, язвительным философом, каких, на мой взгляд, не так уж мало среди кокни. Ее крошечный мирок ограничивался парой улиц неподалеку от Кингс-роуд в Челси, и она была в курсе всего, что в нем происходило.

— Помяните мое слово, сэр, ничего хорошего из этого не выйдет, — говаривала она, когда мы обсуждали события, вселявшие, как я считал, надежду. Тогда я сам себя спрашивал, уж не предвестница ли Элси грядущего возврата к эпохе пуританства. Ее убежденность в том, что всюду правит зло, граничила с манией.

Когда началась война, я не сомневался: Элси превратится в эдакого пророка последних дней и будет оглашать улицы Лондона горестными стенаниями. Но чем хуже шли дела, тем, как ни странно, Элси становилась оптимистичнее. Она была убеждена в том, что Гитлер считает своими личными врагами всех жителей Кингс-роуд. Когда бомба угодила в соседний дом и чиновник эвакуационной службы попытался убедить Элси уехать в Гэмпшир, Элси наотрез отказалась.

— Что хорошо для короля, и для меня сойдет, — резко бросила она. — Я не уеду из Лондона, можешь на это не надеяться, Гитлер...

И не уехала. Несколько раз она находилась на волосок от гибели — и, я убежден, сполна насладились каждым из этих эпизодов, испытала мрачное

удовлетворение от сбывшегося пророчества и блаженство от предвкушения мученической смерти.

После войны Элси утратила прежний боевой пыл, и ее уговорили съездить на пару недель к своей дочери Мюриэл, которая работала няней у жившей за городом семьи. Тогда-то и выяснилось, что она никогда не покидала Челси, если не считать кратковременного отъезда, имевшего место в незапамятные годы ее юности. Тогда Элси всего-навсего рискнула провести уик-энд в Маргейте. Как ни удивительно, теперь она с нетерпением ожидала дня отъезда в Суссекс; когда этот день наступил, она попрощалась со всеми своими друзьями и отправилась в путь с таким видом, словно конечным пунктом ее поездки была Великая Китайская стена. Спустя три дня она вернулась.

— Я не смогла выдержать, — сказала она. — Это было ужасно! Мне следовало знать, что ничего хорошего не выйдет. Тишина, темнота... Просто ужасно, вот что я вам скажу. К тому же совы кричали, одна так прямо под окном моей спальни. Жуть! А еще там были летучие мыши. Можете представить, летучие мыши! Вот я и говорю моей дочке, Мюриэл, говорю я ей, знаешь, я сама стану летучей мышью, если скоренько не услышу шума своей старой доброй Кингс-роуд. Извини, но больше я и дня не вынесу. И поскакала домой...

Возвращаясь к комнате и кухне, пострадавшим от бомбежек, она в глубине своей давно очерстевшей души несомненно испытывала истинную радость. Элси была одной из многих тысяч таких же, как она, лондонцев. Когда я гляжу на парадный мундир какого-нибудь генерала, мне часто приходит мысль, что Элси вполне заслужила хотя бы одну из этих красивых орденовских лент.

## Глава шестая

# Трафальгарская площадь и Уайтхолл

*Я включаю фонтаны на Трафальгарской площади, совершаю прогулку к Уайтхоллу, осматриваю скелет Маренго, боевого коня Наполеона, и место казни Карла I, размышляю о загадках, связанных с кончиной и погребением его королевского величества, наблюдаю смену караула королевских гвардейцев, вспоминаю о Джордже Даунинге с Даунинг-стрит и направляюсь к дворцу Уайтхолл.*

### 1

Ничто не доставляет мне большего удовольствия, чем встречи с людьми, призванными заботиться о порядке в Лондоне: теми, кто подметает улицы, следит за работой канализации, включает и выключает фонари и выполняет тысячи других дел, которые воспринимаются всеми нами как нечто само собой разумеющееся. Взять хотя бы фонтаны на Трафальгарской площади. Летом, в десять утра, ежедневно в воздух взлетают столбы воды, а к четырем часам пополудни они слабеют и исчезают. Это же не естественное явление природы, как, наверное, думают многие лондонцы: за работу фонтанов отвечает определенный человек, ему за это платят. Может быть, ему по душе такая работа — кому же не понравится включать фонтаны? И наверняка ему одному известны характерные особенности каждого фонтана на

Трафальгарской площади, о чем и не подозревают жители столицы.

Незадолго до десяти я встретился со служащим министерства общественных работ — он проводил меня в подземное помещение под площадью, откуда и управляют фонтанами. Мы как будто спустились в метро. Человек в синей рабочей форме открыл нам железную дверь и вернулся к прежнему занятию: он хлопотал в комнатке, похожей на машинное отделение корабля в миниатюре. Повсюду на стенах — переплетение белых труб, электрические выключатели, контрольные панели, циферблаты и вентили. «Бассейн западного каскада» — прочел я над одним из вентилях.

Инженер засыпал меня техническими подробностями. Главная помпа, мощностью в двести лошадиных сил, качает воду к двум основным фонтанам. Другой насос, в восемьдесят две лошадиные силы, подает воду к группе бронзовых скульптур, а третий, в семьдесят одну лошадиную силу, откачивает воду из бассейна.

Помпы здесь такие могучие, что их никогда не используют в полную силу.

— Когда высота водяного столба достигает ста двадцати футов, — объяснял инженер, — струи поднимаются почти на уровень купола Национальной галереи. Но даже на сорока футах, если дует ветер, брызги разлетаются по всей площади, а потом к нам поступают жалобы от общественности, полиции и городского совета Лондона.

Инженер взглянул на часы. До десяти осталась одна минута.

— Не хотите ли включить один из фонтанов?

— Кто, я? С удовольствием!

Я взялся за вентиль и повернул.

— Осторожнее, не так сильно, — предупредил инженер. — А то вымокнет вся площадь!

Комната наполнилась гулом, похожим на шум корабельных турбин. Мне ужасно хотелось выскочить наружу и посмотреть, что я сотворил с Лондоном этим утром! Наверное, голуби в панике кружатся вокруг колонны Нельсона, дети кричат: «Ой, мам, погляди — фонтаны!» И все пешеходы, пассажиры автобусов и такси любуются сверкающей струей фонтана, который я включил своими руками.

Наконец мы поднялись наверх и осмотрелись. Все выглядело именно так, как я и представлял. Потревоженные голуби вновь опускаются на площадь, множество людей восхищается фонтанами, легкий ветерок раздувает струи воды, так что брызги летят на мостовую.

— Надо еще на пять футов пониже! — пробормотал инженер и направился обратно на рабочее место.

Бронзовые скульптурные композиции в чашах обоих фонтанов — уже послевоенное дополнение. Эти фигуры были отлиты еще до войны, но лежали в хранилище. Если стоять лицом к Национальной галерее, то та группа, что по правую руку, создана Уильямом Макмилланом, автором эскизов медали «За участие во Второй мировой войне» и медали «За победу». Мы любуемся русалкой и тритоном верхом на дельфине, в руках у них акулы, из пастей которых изливаются мощные потоки воды. Другая группа, работы Чарльза Уилера, также состоит из русалки, тритона, маленького тритончика и акул.

Англию нельзя назвать страной фонтанов, и звук текущей воды редко вызывает энтузиазм в душе англичанина. Но фонтаны на Трафальгарской площади и эти красивые бронзовые скульптуры (наверное, лучшее творение подобного рода во всей столице) прочно заняли свое место в сердцах лондонцев и являются всемирно известной достопримечательностью.

В Лондоне немного мест, в адрес которых прозвучало столько критических замечаний, сколько их было высказано по поводу архитектурных новаций на Трафальгарской площади. В викторианскую эпоху ее оформление восторгов не вызывало. Правда, сэр Роберт Пиль объявил этот уголок города «лучшим видом во всей Англии» (что, конечно же, не соответствует истине), но его похвальный отзыв — чуть ли не единственный за очень долгий период. Здание Национальной галереи, величественное и гармоничное с точки зрения современного ценителя, называли «Национальной перечницей», подразумевая его форму, и считали абсолютно бездарным архитектурным проектом. Затем, когда возникла идея поместить статую Нельсона на верхушку колонны, критики были поражены нелепостью и сумасбродством этой затеи. Статую окрестили «мерзкой карикатурой», с чем нельзя согласиться, если взять на себя труд рассмотреть ее в бинокль. На самом деле она отличается поразительным сходством с оригиналом. Интересно, сколько людей из тех миллионов, что видят статую в течение недели, смогли бы назвать имя скульптора. А звали его Эдуард Ходжес Бейли. Он родился в Бристоле в небогатой семье, его отец вырезал ростры для кораблей. Мальчик унаследовал отцовский талант и некоторое время работал у Флаксмана. Бейли стал одним из выдающихся скульпторов девятнадцатого века и прожил очень долгую жизнь. Ему было около пятидесяти, когда он создал статую Нельсона, а умер художник через тридцать лет после завершения архитектурного ансамбля Трафальгарской площади.

Огромная бронзовая капитель, на которой стоит Нельсон, сделана из орудий корабля «Король Георг», а четыре бронзовых рельефа вокруг основания колонны отлиты из металла французской пушки, захваченной во время одного из морских сражений адмирала.

Лондонские фонарщики по традиции считают восьмиугольные фонари, расположенные по углам площади, масляными лампами с корабля «Виктори» и по сей день называют их «боевыми фонарями». Я и сам долгие годы верил в эту привлекательную легенду, но, увы, истины в ней нет ни на грош. В архиве министерства общественных работ после долгих поисков мне сообщили, что в 1844 году, когда решался вопрос об освещении площади, эти фонари спроектировал Чарльз Берри, перестраивавший в то время здание парламента.

Еще одна мало кем замечаемая достопримечательность Трафальгарской площади — латунные полосы, вмонтированные в гранит со стороны Национальной галереи. Это официальные эталоны британских мер длины — от дюйма до сотни футов. Если вы вдруг засомневаетесь в правильности отмеренных ярдов или футов, можно прийти на Трафальгарскую площадь и моментально все проверить. Я часто здесь прогуливаюсь, но никогда не видел, чтобы кто-нибудь пользовался эталонами. Хотя я всегда высматриваю какого-нибудь озабоченного продавца тканей, который хочет убедиться в достоверности своей линейки.

При проектировании и создании ансамбля Трафальгарской площади было снесено много старых построек, в частности, одно очень интересное здание — Королевские конюшни. Но название «конюшни» вовсе не обязательно подразумевает, что здесь держали лошадей. В старые времена в подобных помещениях ставили клетки с охотничьими птицами в период их линьки или тренировки. Со времен Плантагенетов английские короли содержали соколов в Чаринге, и сегодня, гуляя по королевским паркам, мало кто из нас вспомнит, что средневековое увлечение соколиной охотой — одна из причин, по которой в центре современного Лондона сохранилось столько нетронутых

природных ландшафтов. Во времена правления Генриха VIII в королевских конюшнях в Блумсбери случился пожар, поэтому помещения для содержания ловчих птиц были переоборудованы в конюшни и с тех пор назывались Королевскими конюшнями.

Но Трафальгарская площадь ассоциируется не только с соколами. Толпы туристов кормят здесь голубей, и множество продавцов птичьего корма приходят сюда каждый день с мешочками сушеного гороха. Глядя на них, я думаю, что голуби Трафальгарской площади не только более многочисленны, но и более популярны, чем голуби собора Святого Павла.

Я никогда не задумывался о происхождении лондонских голубей, пока не прочел в «Естественной истории Лондона» Р. С. Р. Фиттера, что они, скорее всего, являются потомками птиц, которых содержали в средневековых голубятнях. Господин Фиттер утверждает, что не позднее 1385 года в Лондоне находили гнезда полудиких голубей. Их ныне здравствующие потомки «селятся на высотных зданиях Лондона, как на скалах, и это также доказывает, что они произошли от диких горных голубей (*Columba livia*), которые до сих пор обитают на северо-западном побережье Англии».

Господин Фиттер считает, что большинство авторов несправедливо относятся к лондонским пернатым, игнорируя сам факт их существования или отрицая их неоспоримое право считаться гражданами столицы. «Несмотря на то что число птиц постоянно увеличивается за счет беглецов из окрестных голубятен, — пишет он, — нет сомнения, что на протяжении более пяти веков лондонские голуби живут в условиях, максимально приближенных к условиям жизни в дикой природе, — насколько это вообще возможно в большом городе».



Лондонских голубей, отмечает господин Фиттер, пока еще нельзя считать новой разновидностью, их популяция состоит из различных пород английских голубей. Также автор считает, что в окрасе птиц количество белого цвета постепенно уменьшается, а значит, вся популяция постепенно возвращается к изначальной расцветке диких горных голубей.

Осенними вечерами, когда над городом сгущаются сумерки, сквозь рев машин возле Трафальгарской площади пробиваются голоса тысяч скворцов. Услышав этот звук, я много раз останавливался и поднимал голову, глядя, как скворцы возвращаются в Лондон после тяжелого дня, проведенного на окраинах города в поисках пищи. Они появляются целыми стаями, иногда по несколько сотен птиц разом, и разлетаются по округе, ища себе приют на колонне Нельсона, здании Национальной галереи и церкви Святого Мартина, забиваются в укромный уголок или в щелку, усаживаются на удобной капители одной из колонн. Они долго устраиваются на ночлег, тревожно перекликаясь друг с другом. Иногда какой-нибудь скворец срывается с насиженного местечка и в поисках нового пристанища беспокоит своих соседей: то один, то другой непоседа слетает с карнизов Национальной галереи и садится на колонну Нельсона или церковь Святого Мартина, без всякой очевидной цели — может, просто чтобы визгливо поскандалить напоследок со своими соседями перед наступлением темноты. Скворцы потрясающе жизнестойки. Невозможно представить, что вот эти самые птицы провели сегодня целый день в поисках пищи, пролетев для этого десятки миль по лондонским пригородам. Постепенно, с приходом темноты птицы успокаиваются, гомон замирает, и уже трудно представить, что тысячи очаровательных щебечущих созданий скрываются в самом центре Лондона.

В отличие от голубей, которые ведут свой род с давних времен, скворцы — новоприбывшие поселенцы. До начала Первой мировой они гнездились в парках, затем, к 1917 году, оккупировали лондонские здания — особенно собор Святого Павла, Британский музей и Национальную галерею. Теперь же скворцы встречаются повсюду, они стали неотъемлемой частью лондонских вечеров. Их гомон неотделим сегодня от образа Трафальгарской площади, и трудно представить, что так было не всегда.

## 2

Для многих людей посещение картинной галереи превращается в мучительное испытание. С каталогом в руке они с трудом ковыляют от одного произведения к другому, из одного зала в другой, а ноги все больше наливаются усталостью. Интересно, почему посещение музея может измотать человека сильнее, чем десятимильная прогулка? Вы думаете, я не люблю ходить в музеи — это не так. Я очень люблю живопись, но предпочитаю любоваться картинами по одной или хотя бы по две-три за раз, да и то только тогда, когда вдруг появится желание — как иногда хочется увидеть лица старых друзей.

Много счастливых часов я провел в Национальной галерее — и эти часы я никогда не забуду. Я считаю одним из восхитительных преимуществ жизни в Лондоне сознание того, что ты в любой момент можешь выйти на Трафальгарскую площадь и посетить великую сокровищницу шедевров мирового искусства.

Я могу месяцами не посещать музей, но потом однажды — например, в утренней неге между сном и пробуждением — в памяти всплывает когда-то виденный образ. И сначала это всего лишь туманное

воспоминание, затем оно приобретает форму и цвет, но чего-то все равно не хватает, что-то ускользает от меня. Серый это цвет или синий? А на женщине черная юбка с белой меховой оторочкой или наоборот? Собака или кошка выбегает из-за угла? Надо пойти и проверить!

И я говорю себе: «Надо пойти посмотреть «Венеру» из Рокби», или, быть может, «Мадонну» Боттичелли, «Девушку со спинетом» Вермеера, «Авеню» Хоббема или замечательную картину Хогарта «Девочка с креветками». Это может быть Веласкес, Тициан, Тернер или Рембрандт.

Возможность встречи наполняет день радостным предвкушением, наконец настает долгожданный миг, когда я поднимаюсь по ступенькам Национальной галереи и направляюсь в тот зал, где висит картина. Это мой личный способ наслаждаться произведениями искусства. Иногда Сарджент зовет меня в галерею Тейт, или «Пердита» Гейнсборо — в музей Уолласа. Надо сказать, такие свидания с картинами часто оказываются более удивительными, чем встречи с живыми людьми.

Наша Национальная галерея, созданная и оформленная с таким вкусом, появилась на свет совершенно случайно немногим более века назад. Однажды в Англию приехал четырнадцатилетний мальчик по имени Джон Джулиус Ангерштайн, русско-немецкого происхождения. Он нанялся на работу в Сити и к двадцати одному году занимал должность клерка в компании «Ллойд», которая тогда еще была кофейней. Именно благодаря влиянию и прозорливости Ангерштайна была основана та компания «Ллойд», которую мы знаем сегодня. Ангерштайн нажил большое состояние. Он был не только деловым гением, но и очень порядочным и культурным человеком. В качестве хобби он занимался коллекционированием живописи, в чем ему помогали сэр Томас Лоуренс и Бенджамин Уэст. Когда Ангерштайн умер в весьма почтенном возрасте в

1803 году, по завещанию коллекция подлежала продаже. В воздухе уже давно витала идея создания национальной галереи искусства, и потому правительство купило картины Ангерштайна за пятьдесят семь тысяч фунтов. Всего коллекция насчитывала тридцать восемь произведений, включая «Воскрешение Лазаря» Себастьяна дель Пьомбо, «Венеру и Адониса» Тициана, замечательную картину «Бахус и Силен» Каррачи, «Поклонение волхвов» Рембрандта. Также в их число входил цикл картин Хогарта «Модный брак», который сейчас можно увидеть в галерее Тейт.

С этого все началось. Вначале картины экспонировались на Пэлл-Мэлл, затем в здании Национальной галереи. Любопытный факт показывает, как сильно изменился Лондон за последние сто лет: первые отчеты членов правления галереи утверждают, что грязь и копоть, покрывающая холсты, — следствие той грязи, которую приносили толпы посетителей (огромное количество немытых тунеядцев, которые прятались в галерее от дождя), а также влияние лондонского смога.

Первая «буря» случилась в Национальной галерее во время генеральной очистки картин в 1846 году и повторилась в 1853-м. Интересно сравнить критические выступления по поводу методов реставрации, к которым присоединился Джон Рескин, с критикой, обрушившейся на тех, кто реставрировал и чистил произведения старых мастеров после окончания Второй мировой войны.

Во время первой генеральной очистки Рескин замечал «слой пыли в дюйм толщиной на рамах картин (пожалуй, все-таки преувеличение, даже в эпоху печного отопления. — Г. М.), тьма смыкается над холстами, будто кто-то опускает штору», каковое обстоятельство он приписывал «влиянию на состояние

полов и воздуха «многолюдной пахучей толпы». Как и многие современные критики, Рескин задавался вопросом, «не зашел ли процесс очистки слишком далеко, не слишком ли это большой риск и нельзя ли в будущем подыскать более простые и безопасные способы удаления копоти и грязи?».

С обратной стороны Национальной галереи, на площади Святого Мартина, находится Национальная портретная галерея, собрание более трех тысяч портретов известных личностей британской истории. Они идут в хронологическом порядке: нужно начинать осмотр с верхнего этажа, где размещены самые ранние произведения, и затем спускаться вниз сквозь века.

Высокое положение при жизни (и смерть) — это единственное необходимое условие для того, чтобы быть включенным в число экспонатов портретной галереи. Никто из ныне живущих, исключая членов королевской семьи, не может занять почетное место. Художественные достоинства также не имеют значения. Портрет должен иметь сходство с оригиналом, а в остальном, с точки зрения Национальной портретной галереи, любительская акварель может иметь такую же ценность, как и портрет кисти Гейнсборо или Ван Дейка. Самые ранние изображения относятся к эпохе Тюдоров. Среди них портрет Генриха VII в виде ростовщика, полный разоблачающего пафоса; портрет Генриха VIII, косоглазого, с маленьким, сладострастным и упрямым ртом; единственный портрет Анны Болейн не очень-то льстит оригиналу; то же можно сказать о портрете Екатерины Арагонской. Мария Кровавая, напротив, очаровательна.

Есть величественный портрет Карла II и восхитительный портрет Нелл Гвин. Босуэлл и Джонсон изображены так, как увидел их друг, сэр Джошуа Рейнольдс. Портреты Нельсона кисти Эббота и Эммы Гамильтон кисти Ромни — настоящие сокровища. Есть

рисунок Флоренс Найтингейл и фотография миссис Битон, которая написала знаменитую кулинарную книгу, — единственная, как я полагаю, фотография во всей галерее.

### 3

Большинство лондонцев, наверное, согласятся с тем, что, если вы не собираетесь завербоваться в армию, не являетесь государственным чиновником или солдатом в увольнительной и не сопровождаете какого-нибудь родственника из провинции, собираясь показать ему Конную гвардию и Кенотаф, вы нечасто ходите вдоль Уайтхолла. Вы скорее проедете мимо на автобусе или на такси по пути к мосту Ватерлоо или вокзалу Виктория, но вряд ли будете прогуливаться здесь без определенной цели.

Тем не менее однажды утром я решил неторопливо пройтись вдоль Уайтхолла и через несколько минут оказался возле скелета коня Наполеона, Маренго. Такие фантастические вещи могут произойти с вами в Лондоне на каждом шагу. Я совершенно не собирался этого делать. Все случилось как-то само собой.

В Уайтхолле, если идти влево по направлению к Вестминстеру, находится самый удивительный музей в мире. Он называется: Королевский музей обслуживания вооруженных сил. Это единственный музей из тех, что я знаю, в котором экспонаты выставлены в окнах. В каждом окне, оформленном в стиле Бонд-стрит, — один экспонат: голова акулы, зарубежная военная форма, две или три батальные сцены, вырезанные из картона. А возле входа — крашенная резная фигура с линейного корабля.

Музей располагается в помещениях, которые сохранились от древнего дворца Уайтхолл, — в бывшем

Большом Банкетном зале, который Яков I построил для проведения праздничных торжеств, не подозревая о том, что его сын Карл шагнет через одно из этих окон на эшафот. После Вестминстерского дворца Банкетинг-хаус — одно из самых красивых лондонских сооружений. К сожалению, от великолепного фасада отвлекают перегруженные деталями витрины музея и особенно бесчисленное количество флагов, которые искажают благородные пропорции здания.

Роспись потолка принадлежит кисти Рубенса, изобразившего встречу Якова I с древними богами античности. Работа настолько великолепна, полна движения и энергии, что не сразу задаешься вопросом, а что Минерва, например, или Геракл имеют общего с Яковом I. Также очень символично, ввиду более поздних событий, что принц Карл изображен здесь в виде маленького херувима, которого поддерживают разные могучие аллегорические персонажи, тогда как его отец, сидя на троне, указывает на него покровительственным жестом.

В таком помещении трудно сосредоточиться на стеклянных витринах, но это необходимо, поскольку музей полон интереснейших экспонатов. Каждый английский школьник должен хоть раз их увидеть. Здесь трофеи, собранные на полях битв от Креси до Аламейна. Среди них можно увидеть наспех набросанные карандашом приказы о выступлении, адресованные кавалерийским полкам; пули, поразившие героев войны; фрагменты кораблей, чьи знаменитые имена vyplывают из дыма давних сражений. Здесь есть мечи, пистолеты и ножи для снятия скальпов, шлемы, тапки и эполеты, седла, шпоры, барабаны, копья, футляры для депеш, трубы, горны, сабли — вся грубая сущность романтики.

Этот музей — полная летопись военных и военноморских событий с древних времен до дня «Д» в 1944

году. Есть экспонаты периода Второй мировой с 1939 по 1945 год, несколько красиво оформленных диорам, расположенных в хронологическом порядке: на них изображены битвы, начиная с времен норманнского завоевания и заканчивая высадкой британских и союзнических войск на берегах Нормандии, воздушные бои в небе над Британией.

В этих залах начинаешь понимать, что, вопреки общепринятому мнению, американцы, пожалуй, не лучшие в мире охотники за сувенирами. На протяжении веков британские солдаты и моряки с завидным постоянством пополняли коллекцию трофеев. Только представьте себе, что солдаты после каждой битвы подбирают какую-нибудь вещичку на память, чтобы послать домой маме. После битвы при Ватерлоо офицер медицинской службы, майор Уильям Уимпер установил очень высокий стандарт, присвоив цепь с садовых ворот Хогмонта! Но солдатский подвиг забывается быстро, и реликвии военных лет служат напоминанием о былых победах.

Стремление сохранить все, что предположительно может быть связано с именем героя нации, доведено до абсурда в экспонате под названием «Бутылка портвейна, часть коллекции вин лорда Нельсона, находившейся на корабле «Виктори» во время Трафальгарского сражения». Скоропортящийся продукт, бутылка вина пережила Трафальгар, а лорд Нельсон — нет! А как вам экспонат под названием «Спирт, в котором было законсервировано тело лорда Нельсона на борту «Виктори» по пути домой»? Или — «Зонтик герцога Веллингтона».

Бродя по этому удивительному и захватывающему музею, я и наткнулся на Маренго — коня светло-серой масти, 57 дюймов в холке, которого Наполеон купил в Египте после битвы при Абикуре. Этот конь стал любимцем Наполеона и носил императора, в частности, в



битве при Маренго, откуда и взялось его имя, а также под Иеной, Ваграмом и при бегстве из-под Москвы. Всем известно полотно Верне, посвященное переходу через Альпы: Наполеон на этой картине изображен верхом на Маренго.

Увы, ныне от Маренго, гордо ступавшего в былые дни по карте Европы, остался один скелет. Он помещен под стекло и стоит будто на цыпочках, что производит жуткое впечатление. При взгляде на этот череп, эти ребра и металлические стяжки, удерживающие скелет в целости, пробегает дрожь и невозможно отделаться от мысли: «Почему же его не похоронили как положено?» Ведь что бы потомки ни говорили о том или ином воине, лошадь этого воина, как жена Цезаря, всегда вне подозрений.

При Ватерлоо Маренго был ранен, а после низвержения Наполеона конь стал собственностью лорда Петре. Затем его купил генерал Ангерштайн, использовавший Маренго как жеребца-производителя в своем поместье в Или. О коне всемерно заботились, а когда он умер от преклонного возраста, из его копыт изготовили две табакерки (одна по сей день находится в караульной Сент-Джеймского дворца); скелет же, к сожалению, сохранили.

Разглядывая беднягу Маренго, я вспоминал знаменитых лошадей — из истории, из литературы, из легенд; все они по-прежнему молоды и прекрасны в людской памяти, ибо никто не видел их печальных останков: Эль-Бурак, конь, вознесший пророка Мухаммеда на седьмое небо; Буцефал, который покорился лишь Александру Великому; Пегас, крылатый конь Аполлона; Ксанф, конь Ахиллеса; Инцитат, которого безумец Калигула назначил консулом; Ламри и Спумадор, скакуны короля Артура; Грани, конь Зигфрида; Розабель, любимая верховая лошадь Марии Стюарт; Дженни Геддес, кобыла Роберта Бернса. Среди

комических лошадиных образов на ум первыми приходят Росинант, жеребец Дон Кихота, и тощая страдалица Гриззл, потрусившая с доктором Синтаксом на спине на поиски Живописности.

Все эти лошади — настоящие, живые и прекрасные образы. И таким же, до этого момента, для меня был и Маренго. И даже когда во время представления какая-нибудь белая лошадь флегматично стояла посреди огней фейерверка с актером на спине, образ настоящего Маренго оставался в неприкосновенности. Его копыта слишком твердо стояли на земле пастбищ страны бессмертия.

Как бы мне хотелось, чтобы несчастные останки этой лошади убрали в запасники и показывали только ветеринарам.

#### 4

Эшафот, на котором был обезглавлен Карл I, был возведен на уровне нижних окон Банкетного зала, возле современного входа в музей. В то время — в 1649 году — Банкетный зал был не отдельным зданием, как сейчас, а частью беспорядочного лабиринта внутренних двориков и построек всех времен, составлявших дворец Уайтхолл.

Под прямым углом к Банкетинг-хаус примыкало более раннее строение с четырьмя фронтонами, закрывавшее вид на Вестминстер. Потом следовало краснокирпичное здание с башенками — привратническая Холбейн-Гейт, похожая по стилю на нынешние ворота в конце улицы Сент-Джеймс. С другой стороны улицы находилось еще несколько построек. А потому сцена казни короля разворачивалась в тупиковой улочке или во внутреннем дворе.

Эта экзекуция вызвала ужас и возмущение во всех цивилизованных странах, так же как и убийство царя в

наши дни, но, по крайней мере, убийство русского царя было честным, его не прикрывали лицемерным фарсом издевательского судебного процесса. В долгой летописи английской истории, полной трагических событий и проявлений силы человеческого духа, не было более благородной смерти, чем смерть короля Карла I. Его поведение во время так называемого суда, его мужество в последние дни перед казнью и его смерть, подобная смерти святого мученика, обратила многих непримиримых врагов Короны в друзей и соратников.

Приговор был зачитан в Сент-Джеймском дворце 28 января 1649 года, а казнь совершилась 30 января. Стояла холодная зима, синее небо затягивало снеговыми тучами. Король пребывал в спокойном смирении. Его жена, Генриетта Мария, которую он страстно любил, была во Франции и в этот момент находилась в осажденном Фрондой Лувре. Она узнала о смерти мужа лишь месяц спустя. 29 января детям Карла (четырнадцатилетней принцессе Елизавете и девятилетнему Генриху, герцогу Глостерскому), которые попали в руки сторонников парламента, позволили попрощаться с отцом.

Впоследствии в воспоминаниях об этой встрече принцесса напишет, как расплакалась при виде отца в потрепанной одежде, с поседевшими волосами и отросшей бородой. Он усадил дочь на колени, стал утешать ее и велел внимательно выслушать то, что он скажет. Отец попросил не горевать о нем и назвал несколько религиозных книг, которые она должна прочесть. Он сказал, что простил своих врагов, попросил Елизавету передать матери, что в мыслях он всегда был с нею, и добавил, что умирает как мученик и не сомневается, что Господь вознаградит его за мучения.

— Милая, ты ведь забудешь мои слова, — промолвил король.

— Нет, — отвечала плачущая принцесса. — Я никогда не забуду, до самой смерти.

И пообещала записать все, что услышала.

Затем Карл взял на руки своего маленького сына и сказал:

— Сынок, твоему отцу скоро отрубят голову.

Маленький Генрих «пристально глядел на отца».

— Запомни мои слова, дитя. Мне отрубят голову и, может быть, провозгласят тебя королем, но помни: ты не король, пока живы твои братья, Карл и Яков.

И мальчик ответил:

— Скорее меня разорвут на кусочки!

Затем король разделил между ними бывшие при нем королевские драгоценности — в основном ордена Подвязки и Святого Георгия, чья ценность заключалась только в украшавших их камнях.

— Это все, что я могу вам дать, — произнес король.

Затем он обнял плачущих детей и, не желая затягивать тяжелое прощание, направился к себе в спальню. Но, услышав полный боли и отчаяния крик принцессы Елизаветы, он вернулся, заключил ее в объятия и расцеловал мокрые щеки девочки. Затем детей отвели в Сайон-хаус.

На следующее утро Карл проснулся еще до рассвета. Сэр Томас Герберт спал в эту ночь рядом с ним на тюфяке, и впоследствии он описал последние часы короля с точностью до минуты.

— Я поднимусь, — сказал король. — Сегодня у меня много дел.

Он велел Герберту подстричь и причесать его. Карл попросил принести ему еще одну рубашку, поскольку боялся, что на улице его от холода проберет дрожь, а враги расценят это как трусость.

— Я не боюсь смерти, — добавил он.

Когда рассвело, появился старый епископ Джаксон, они помолились. По одним данным, в восемь, по другим

— в десять часов утра король покинул Сент-Джеймский дворец и направился к Уайтхоллу. Он сказал, что небольшая прогулка через парк согреет его и поможет разогнать по жилам кровь. Король был одет в длинный черный плащ, красный полосатый жилет и серые чулки. На груди сверкала звезда ордена Подвязки. Вдоль всего пути короля выстроились солдаты, а впереди и позади под барабанный бой шагали алебардщики со знаменами, поэтому разговаривать было трудно. По правую руку короля шел епископ Джаксон, а слева, с непокрытой головой, — полковник Толинсон, офицер армии Кромвеля. Проходя быстрым шагом через парк, Карл указал на одно из деревьев и сказал, что оно было посажено его братом Генрихом.

По прибытии в Уайтхолл короля отвели в его спальню. Даже в этот последний час, хоть Карл о том и не догадывался, приказ палачу еще не был подписан. Пока король исповедовался, Кромвель с помощью насмешек и угроз пытался заставить двух своих военачальников подписать этот приказ. Один из них, полковник Хэнкс, после личного общения с королем выступал против казни. В конце концов ему нашли замену, и не успели высохнуть чернила на указе, как короля призывали на эшафот. Было около часу дня.

Епископ убедил короля съесть кусочек хлеба и выпить бокал кларета. Когда присяжные собрались на суд, король со спокойным достоинством прошел по галереям дворца мимо шеренги солдат, сдерживающих толпу. Люди молча наблюдали за тем, что Герберт назвал «самым печальным зрелищем за всю историю Англии».

Король пересек Банкетный зал (тот самый, где сегодня размещаются экспонаты в стеклянных витринах), направляясь к его северному концу, где вместо современного входа находилась стена примыкающего здания. Сквозь окно в этой стене — или

сквозь амбразуру — Карл вышел на студёный январский воздух и направился к затянутому в чёрное эшафоту.

В скопившейся на дороге к Чаринг-Кросс толпе, среди людей, пытавшихся подобраться поближе к оцепленному солдатами эшафоту, находился и пятнадцатилетний мальчуган, которому впоследствии предстояло поведать нам о жизни в эпоху Карла II, — Сэмюэль Пипс. Предполагая, что король может заупрямиться и не станет добровольно класть голову на плаху, палачи закрепили у подножия эшафота два железных кольца с пропущенной через них веревкой; эту веревку думали накинуть на королевскую шею и пригнуть голову Карла к плахе. Но веревка не понадобилась.

Подойдя к эшафоту, Карл надел белую атласную шапочку. Палачи выглядели жутко: главный палач Брэндон — или как там его звали — облачился в тесное шерстяное трико, а лицо скрыл под уродливой маской. Его помощник в дополнение к маске нацепил фальшивую бороду. Король спросил палачей, не мешают ли им его волосы, и, выполняя просьбу, зачесал их назад, после чего сказал епископу Джаксону: «Господь милосердный со мной, и Он поддержит меня».

— Я иду от порченого венца к непорочному, который никто не сможет очернить — никто в целом свете! — промолвил король немного погодя, вновь обращаясь к епископу. Затем он ещё раз спросил у палача, не мешают волосы. Сняв свой чёрный плащ и передав орден епископу, король произнес знаменитое: «Помни!», о чем неоднократно писали. Потом он повернулся к палачу и сказал:

— Я прочту короткую молитву и подам вам знак рукой.

Король ещё раз повторил эти слова и попросил палачей удостовериться, что плаха (которая была очень низкой) установлена надёжно.

Его величество снял дублет, снова надел плащ и обратился к Богу. Он опустился на колени и уже хотел положить голову на плаху, когда один из палачей подошел к королю, чтобы убрать его волосы под сатиновый колпак. Король подумал, что тот хочет нанести удар, и велел палачу подождать сигнала. Повисла короткая пауза. Затем король опустил голову на плаху, и палач отсек ее в одно мгновение. Второй палач — загадочный мужчина в маске с седой бородой — поднял отрубленную голову и прокричал: «Вот голова предателя!»

Через несколько секунд с разных сторон появились два кавалерийских отряда и начали теснить собравшихся на площади людей к Чаринг-Кросс. В ужасе от увиденного, ошеломленная толпа рассеялась. Говорят, на протяжении всего этого дня и всей следующей ночи на улицах Лондона было пусто и тихо, а многие лондонцы и вовсе остались дома под предлогом очень холодной погоды.

Тело короля перенесли в одну из комнат Уайтхолла, где доктор Тофам, хирург генерала Фэйрфакса, забальзамировал его, пришив голову обратно к туловищу. После чего открыли доступ к телу, чтобы народ удостоверился, что король действительно мертв. Неделью спустя катафалк, запряженный шестью лошадьми и накрытый бархатным покровом, появился на Виндзорской дороге. За ним следовали четыре кареты, в которых находилось не более дюжины людей во главе с Томасом Гербертом, оставшихся верными королю до самого конца и даже после.

По прибытии в Виндзор Томас Герберт предъявил коменданту крепости распоряжение парламента о том, что тело короля следует поместить в любую подходящую усыпальницу на территории замка. Решили осмотреть часовню Святого Георгия. Что и было сделано, и один из присутствующих, простукивая полы возле

клироса, услышал глухой звук. Под плитами пола обнаружился вход в склеп, где стояло два гроба: большой и маленький, накрытые бархатными покрывалами. Покровы показались присутствующим совершенно новыми, несмотря на то, что находились здесь уже больше века. Большой гроб, как выяснилось, принадлежал Генриху VIII, а маленький — его третьей жене, Джейн Сеймур. Тело короля Карла было решено оставить здесь, в обществе неожиданных соседей.

Герберт и его люди направились в замок, чтобы принести гроб с телом Карла из прежней спальни короля, строго-настрого наказав церковному сторожу закрыть двери часовни и ни под каким предлогом никого туда не впускать. Сторож выполнил все в точности, но никто не знал, что в часовне спрятался солдат, и как только двери закрылись, он выбрался из укрытия и спустился в склеп в поисках какой-нибудь ценной добычи. Он отрезал кусок бархата с большого гроба и пробил в крышке отверстие, через которое вытащил одну из костей Генриха VIII. Когда его арестовали, вор объяснил, что хотел сделать из кости рукоятку для ножа.

Тем временем тело короля осторожно перенесли в часовню. Печальный груз опустили в склеп к гробам Генриха VIII и Джейн Сеймур. Епископ Лондонский приготовился было к заупокойной службе, но комендант запретил. Похороны проходили в полном молчании.

Карл I упокоился бок о бок с монархом, который правил страной больше века назад и разительно отличался от казненного характером и темпераментом, хотя Карл с симпатией отзывался об абсолютизме Генриха. Могила королей оставалась непотревоженной на протяжении ста сорока четырех лет, пока в 1813 году рабочие, которые занимались перестройкой часовни, случайно не пробили дыру в стене склепа и не обнаружили внутри три гроба бок о бок.



Такое впечатление, что в то время, несмотря даже на показания непосредственных свидетелей похорон (например, Томаса Герберта), о месте последнего упокоения короля Карла ходили самые разные слухи. Когда до принца-регента дошли известия, что в часовне найден склеп, он решил вскрыть усыпальницу и убедиться, действительно ли третий гроб принадлежит Карлу I. Поэтому 1 апреля 1813 года сам принц-регент, его брат, герцог Камберлендский, декан Виндзора, и сэр Генри Хэлфорд, главный придворный врач, направились в часовню. Гробницу вскрыли, а затем в свинцовом гробу с надписью «Король Карл» и датой его смерти сделали квадратное отверстие.

Сэр Генри Хэлфорд впоследствии описал всю последовательность отвратительных действий, которые производились с телом. Распутав саван, покрывавший голову короля, обнаружили, что голова отделилась от туловища, к которому была пришта после казни. Голову вынули из гроба и осмотрели: черты лица в точности совпадали с портретом Карла I кисти Ван Дейка. Волосы и борода хорошо сохранились, борода все еще была рыже-каштанового цвета. На шее ясно просматривался след от удара топором. Сэр Генри, возможно, для медицинского отчета, взял с собой один из шейных позвонков короля, один зуб и отрезал прядь волос с бороды. Затем гроб запаяли и вновь запечатали склеп.

Сэр Генри Хэлфорд заботливо сохранил останки Карла I, поместив их в маленькую эбонитовую коробочку вместе с описанием, выгравированным на пластинке с обратной стороны крышки. Сэр Хэлфорд завещал шкатулку сыну, который впоследствии передал ее своему наследнику. Внук сэра Хэлфорда рассудил, что останки короля стоит вернуть обратно в виндзорский склеп, и подарил коробочку Эдуарду VII, когда тот был еще принцем Уэльским.

Затем королева Виктория дала разрешение снова вскрыть склеп. 13 декабря 1888 года по окончании вечерней службы настоятель с двумя канониками и тремя рабочими вскрыли полы и разобрали кирпичный свод склепа. Прямо над гробом короля Карла рабочие проделали в своде склепа отверстие диаметром 18 дюймов. Затем в часовне появился принц Уэльский, он опустил шкатулку с останками на крышку гроба. Рабочие заложили отверстие кирпичом и восстановили покрытие пола. Все это было проделано при закрытых дверях.

Хотя обстоятельства смерти Карла были подробно описаны непосредственными свидетелями, есть несколько спорных моментов, о которых историки и другие заинтересованные лица не устают дискутировать из поколения в поколение. Одна из наиболее занимательных проблем — кто же все-таки нанес королю смертельный удар?

Городским палачом в то время был человек по имени Ричард Брэндон. Он жил на Розмари-лейн, в Уайтчепеле. У современников сложилось мнение, что Брэндон отказался принимать участие в казни короля Карла, а потому пришлось искать того, кто согласился бы выполнить миссию палача. Сошлемся на дневники графа Лестера, опубликованные в «Sydney Papers»: «Я своими ушами слышал, что Ричард Брэндон, городской палач, категорически отказался участвовать в казни и заявил, что скорее умрет, чем пойдет на это». Все письменные свидетельства сходятся в одном: что палач и его помощник были так превосходно замаскированы (один в маске, а второй — в маске и с фальшивой бородой), что никто не смог опознать их. Граф Лестер уверяет, что на палачах была морская форма, возможно позаимствованная. Если свидетельство графа соответствует действительности, то крайне маловероятно, что городской палач принимал в

эзекуции хоть какое-нибудь участие: согласись он казнить короля, зачем бы ему маскироваться? Все равно все его друзья и соседи по Розмари-лейн знали бы об этом, даже не беря в расчет тот факт, что он наверняка был достаточно легко узнаваемой личностью.

Так же очевидно, что те, у кого во времена правления Карла II была возможность проверить спорные факты, не верили, что это Брэндон обезглавил короля. К тому же неоднократно предпринимались попытки выяснить, кто все-таки скрывался под масками палачей. Подозревали многих. Одним из подозреваемых был Генри Портер, содержащийся в дублинской тюрьме. Герцог Ормондский и совет Ирландии потребовали, чтобы Портер предстал перед английским судом «как человек, чьей рукой был обезглавлен наш покойный сюзерен, король Карл», но власти проигнорировали это требование. Подозрение также пало на некоего Уильяма Уокера, который погиб в сражении под Шеффилдом в 1700 году. На вопрос, кто же нанес королю смертельный удар, полковник Хэкер, конвоировавший Карла к месту казни, ответил, что не знает, но думает, что палачом был «майор». Полковник пообещал выяснить, так ли это, но нигде нет ни единого упоминания о подобном расследовании. Поэтому личность названного «майора» и по сей день остается загадкой.

Возможно, во времена Республики разные проходимцы просто хвастались спьяну, что это они казнили короля.

Логично предположить, что тайну могла бы раскрыть предсмертная исповедь Брэндона, который заболел и умер через несколько месяцев после казни. Он был похоронен при церкви Святой Марии в Уайтчепеле. Запись в книге регистрации гласит: «Ричард Брэндон. Возможно, обезглавил Карла I». Очень любопытен тот факт, что, кто бы ни был автором этой записи, он явно

был знаком со странной исповедью Брэндона и тем не менее ставил под сомнение его участие в казни.

Признание Брэндона заключалось в том, что через час после казни он получил 30 фунтов монетами в полкроны. А также вынул из карманов Карла маникюрный прибор, флакончик с гвоздичным маслом и носовой платок. Один господин из Уайтхолла предложил Брэндону 20 шиллингов за маникюрный прибор, но тот отказался, хотя затем, вернувшись на Розмари-лейн, продал все за 10 шиллингов.

Сразу после кончины Брэндона была издана брошюра, которая сейчас хранится среди других документов Гражданской войны в Британском музее. Ее заголовок: «Предсмертная исповедь Ричарда Брэндона, палача, относительно казни покойного короля Карла I». Согласно упомянутому тексту, Брэндон свидетельствовал, что, «вернувшись домой после казни короля, отдал жене 30 фунтов со словами: «Это самые большие деньги, которые я заработал в жизни, потому что они будут стоить мне жизни»». Эти пророческие слова вскоре полностью подтвердились, потому что с того дня Брэндон очень плохо себя чувствовал. И несмотря на то что Господь наказал его болезнью, а друзья увещевали и призывали к покаянию, он упорствовал в своих пороках и дурных склонностях. И на смертном одре, не слушая ничьих уговоров, палач ругался и изрыгал проклятия, указывал рукой на какие-то невидимые остальным образы, которые стояли у него перед глазами.

«Примерно за три дня до смерти он уже лежал молча, только стонал и тяжело вздыхал, и затем скончался в мучениях».

Очевидно, соседи Брэндона не сомневались, что именно он казнил Карла, так как на похоронах в толпе разгневанных горожан раздавались выкрики: «Закопать его в навозной куче!» Они даже угрожали «разорвать

тело на куски». И все же удивительно, что в то время, как жители Уайтчепела были уверены в том, что Брэндон был палачом короля, правительство Карла II, двенадцать лет спустя, предпринимало розыски человека, нанесшего королю смертельный удар.

Вторая интригующая история, связанная с казнью Карла I, о которой также очень много написано, связана с толкованием слова «Помните», которое так торжественно произнес король, обращаясь к епископу Джаксону, когда передавал ему орден Святого Георгия. Что за тайное взаимопонимание было между королем и епископом? Считается, что Джаксона официально спросили об этом после казни, но что он ответил — никто не знает. Тайна так и не раскрыта, если она и существует.

Есть мнение, что слова Карла напоминали о послании к супруге, Генриетте Марии, которая находилась во Франции. Орден Святого Георгия отличался великолепной отделкой: оникс в обрамлении двадцати одного бриллианта. На одной стороне — изображение Святого Георгия и дракона, а на другой — маленький медальон с портретом Генриетты Марии. Возможно, Карл просил епископа Джаксона передать королеве, что только в последний миг своей жизни он расстался с ее портретом.

Согласно другому предположению Карл хотел напомнить епископу, чтобы тот удостоверился, что орден Святого Георгия передан старшему сыну короля, Карлу. Это похоже на правду, поскольку есть мнение, что один и тот же орден изображен на портрете Карла I кисти Ван Дейка (который сейчас можно увидеть в Хэмптон-Корте), а также на портретах Якова II и Старшего Претендента<sup>[25]</sup> (которые находятся в Национальной портретной галерее). Говорят, этот орден постоянно носил Молодой Претендент, он же Красавец принц Чарли, а после его смерти, возможно, перешел в

собственность герцога Веллингтона, и затем, по какой-то прихоти судьбы, вернулся обратно в Виндзор, где предположительно находится по сей день.

Третий вопрос, который не перестает вызывать разногласия и споры (понятия не имею почему), — это поза, в которой умер король Карл. Стоял ли он в тот момент на коленях, положив голову на плаху (которая была не меньше двух футов высотой), или лежал на помосте плашмя? Есть множество доказательств, что верно именно второе предположение.

«Плаха была столь низкой, — пишет Уорбертон в своей «Истории принца Руперта и роялистов», — что королю пришлось лечь на помост ничком. Я лично видел две гравюры того времени, — утверждает хронист, — на которых король изображен именно так».

Во время дискуссии на эту тему в газете «Таймс» в 1890 году лорд Розбери заявил, что является владельцем картины с изображением казни Карла I. По его словам, эта картина была написана одним голландцем — очевидцем экзекуции, причем тот покинул Англию сразу после казни, заявив, что не будет жить в стране, которая способна убить своего короля. На этой картине король изображен лежащим на помосте. Еще одно доказательство приводит Ричард Дэйви в своих «Зарисовках Лондона». Он пишет, что у него есть письменное свидетельство очевидца казни на французском языке, в котором ясно утверждается, что Карл лег на живот — «*Couche sur son ventre*». И точно в такой же позе шесть недель спустя были казнены герцог Гамильтон и лорд Кэпел в Старом двореке Вестминстера.

Каждое утро в Лондоне отмечено знаменательным событием: ровно в 11 часов из ворот казармы конногвардейцев выезжает королевская кавалерия. В блистательной парадной форме, бряцая оружием, гвардейцы спускаются по Найтс-бридж, Конститьюшен-Хилл и Пэлл-Мэлл. Ветер раздувает белые плюмажи, солнце сверкает на обнаженных клинках, кони эффектно пританцовывают на задних ногах, и всадники сдерживают их, сжимая крупы коленями, обтянутыми белыми лайковыми лосинами.

Двое часовых у здания Конной гвардии настолько гармонируют с легкомысленным шиком города, что их можно принять за ангелов-хранителей столицы. Ни один маленький мальчик не может похвастаться тем, что он действительно видел Лондон, если его ни разу не водили посмотреть на караул. Часовые не шелохнутся, шпаги опущены, козырьки медных шлемов находятся точно над переносицей, высокие сапоги со шпорами уперты в стремя. Время от времени гвардейцы переводят взгляд с предмета на предмет, да ветер шевелит плюмажи из белого или красного конского волоса над их головами — вот и все движение.

Интересно было бы узнать, сколько километров фотопленки потрачено на съемку этих часовых, в каком количестве фотоальбомов в самых отдаленных уголках земли эти фотографии занимают почетное место.

Кому-то может посчастливиться увидеть смену караула. К часовым подъезжают сменщики и становятся позади караульных будок. В задней части каждой будки открываются ворота, и, в то время как прежние часовые выезжают спереди, новые въезжают в будку сзади: то есть в какой-то момент в будке находится только хвост отстоявшего свою смену коня и голова его сменщика.

Ежедневная смена караула в Уайтхолле — такое, казалось бы, обычное, даже однообразное зрелище — никогда не надоедает толпам зрителей, собирающимся

здесь с весны до осени. Одна пара часовых на вороных лошадях становится против другой такой же пары, и больше ничего не происходит, никаких фанфар. Ничего необычного, кроме великолепия сверкающих нагрудников, плюмажей, обнаженных шпаг в обрамлении изящной сводчатой арки ворот. Затем раздается бой часов: внезапно эта живая картина распадается без всякой затейливости, и двое часовых удаляются по направлению к конюшне.

Однажды утром, движимый любопытством, я спросил у одного из зрителей, стоявшего рядом со мной:

— Что же они охраняют?

— Военное министерство, — отозвался мужчина, вынув трубку изо рта и указывая на здание Конной гвардии.

— А я думал, что Военное министерство вон там, — возразил я, показав на здание на другой стороне улицы.

— Ну, это тоже Военное министерство, — безапелляционно заявил мой собеседник и отвернулся.

На самом деле правда в том, что лейб-гвардейский кавалерийский дворцовый полк, так звучит название целиком, охраняет традицию. Раньше здесь находились ворота Холбейн-Гейт во дворец Уайтхолл, а также двор для тренировок и состязаний, в котором первоначально располагались гвардейские казармы. Поэтому здесь и выставляли часовых — со времен правления Карла II, а может быть, и ранее. Ворота и казармы снесли уже много веков назад, а пост гвардии все еще существует и сменяется как часы.

Есть несколько фактов, касающихся Королевской гвардии, которые, возможно, не известны ее многочисленным почитателям. Количество и состав гвардейцев зависят от одного-единственного фактора — присутствия в столице короля и королевы. Если оба их величества находятся в Лондоне, обеспечивается полная, или «длинная», охрана. Она состоит из одного



капитана, одного лейтенанта, одного унтер-лейтенанта, двух сержантов, одного трубача и шестнадцати кавалеристов. В отсутствии короля и королевы обеспечивается «короткая» охрана, состоящая из одного унтер-лейтенанта, одного сержанта и двенадцати кавалеристов.

При этом, по старинной традиции, смена охраны с «длинной» на «короткую» должна происходить точно в тот момент, когда король и королева покидают пределы Лондона. Если, к примеру, их величества покидают столицу на поезде, который отправляется с Паддингтонского вокзала в 10.47 утра, то смена охраны происходит именно в эту минуту. Точное время выезда их величеств всегда сообщается Королевской гвардии заранее, чтобы можно было заблаговременно произвести соответствующие уставу изменения.

Эта удивительная традиция появилась на свет довольно любопытным образом. В далеком прошлом король всегда покидал столицу в карете только в сопровождении своего гвардейского эскорта. Лейб-гвардейцы сопровождали карету Карла II в Ньюмаркет, а Георгов — как в Виндзор, так и во многих личных поездках. В наши дни королевский эскорт можно увидеть только по особо торжественным случаям. Тем не менее суть сохранившейся традиции в том, что на выезде из города короля сопровождает его кавалерия, пусть даже и невидимая глазу!

По окончании короткой утренней церемонии у здания казарм Конной гвардии толпа зрителей рассеивается вместе с волшебным очарованием: кто-то направляется к Чаринг-Кросс, другие — к Вестминстеру, где можно задержаться и осмотреть Кенотаф, памятник великим сражениям прошлого. Но редкий турист не преминет остановиться на Даунинг-стрит. Это исключительно английская черта — такое знаменитое место — и совсем незаметная улочка, маленький

тупичок, где стоит всего несколько старых домов на одной стороне и здания правительства на другой. Смотришь на строгий и безыскусный фасад дома номер 10 — и не подозреваешь о том, что за ним находится впечатляющий зал заседаний кабинета министров, где в наше время проводится столько судьбоносных собраний. А в маленьком мощеном садике — обычном лондонском садике на заднем дворе этого самого дома номер 10 — в 1940 году сэр Уинстон Черчилль задумывал и обсуждал возможность совершить тайное путешествие через Атлантику на встречу с президентом Рузвельтом.

Сэр Джордж Даунинг, в чью честь названа эта улица, был скользким и хитрым политиком-оппортунистом. Он стал республиканцем во времена Кромвеля, а затем, когда Карл II вновь возвратился на трон, быстренько сменил окраску и заделался ревностным роялистом. Забавно, но этот человек к тому же был вторым по счету выпускником Гарварда. Когда Даунингу было пятнадцать лет, его семья эмигрировала в Новую Англию по приглашению Джона Уинтропа, первого губернатора штата Массачусетс. Но Америка, по-видимому, оказалась мала для неумных даунинговских амбиций, и он вернулся в Англию в возрасте двадцати двух лет — не отягощенный никакими моральными принципами, кроме эгоизма и личной выгоды.

Период Республики был самым подходящим временем для таких авантюристов, как Даунинг. В начале тридцатых годов он уже прочно обосновался на новом месте и был одним из лидеров движения в поддержку Кромвеля. Кромвель в качестве британского резидента послал Даунинга в Гаагу, где тот в полной мере проявил свои способности к плетению интриг и игре на два фронта. В Гааге Даунинг самым мелодраматичным образом встретился с Карлом, который в то время жил в изгнании в Брюсселе. Король решил тайно приехать в Гаагу, чтобы повидаться со

своей сестрой, принцессой Оранской. Шпионы Даунинга, по-видимому, сообщили своему шефу о приезде короля. Несмотря на то что, передав Карла в руки Кромвеля, Даунинг мог бы весьма значительно продвинуть свою карьеру, он избрал совершенно другую линию поведения. Однажды ночью, после того как Карл прибыл в Гаагу, «пожилой, почтенного вида мужчина с длинной седой бородой, в обыкновенном сером костюме» пришел в гостиницу, где остановился король, и стал умолять позволить ему увидеться с ним. Когда старика провели к Карлу, старик упал на колени и, сорвав фальшивую бороду, оказался Джорджем Даунингом — эмиссаром Кромвеля. Он предупредил Карла, что голландское правительство обещало выдать короля английскому парламенту, если тот осмелится приехать в Голландию. Возможно, это предостережение спасло королю жизнь, поскольку если бы его арестовали и передали Кромвелю, он, скорее всего, разделил бы печальную участь своего отца, Карла I.

Несмотря на этот благородный поступок, Даунинга наверняка ждала бы тюрьма, когда Карл вернулся на трон. Но гениальный талант к выживанию спасал его от любой опасности. У Даунинга находились документы, компрометирующие семью неких Говардов, и он убедил Тома Говарда, брата графа Саффолка, ходатайствовать за него перед королем. Примечательна причина, которую Даунинг привел в оправдание своего политического двуличия: он заявил, что его «засосало» в республиканство в юные годы, когда он жил в Америке, но теперь, став старше и благоразумнее, он понял, как сильно заблуждался. И это заявление было сделано почти за полтора столетия до «Бостонского чаепития»! Вероломные настроения жителей Новой Англии были настолько хорошо известны во времена правления Карла II, что подобная попытка реабилитировать себя воспринималась без удивления. Вот интересное

доказательство того, что уже тогда знали о стремлении американских колонистов к независимости: в «Дневнике» английского хрониста Джона Ивлина находим запись от 26 мая 1671 года о том, что на заседании совета, где присутствовал и Ивлин, говорилось, что при теперешнем состоянии американских колоний «есть опасение, что они будут стараться получить полную независимость от Англии». Так что те американцы, которые полагают, будто республиканские настроения распространились в обществе в георгианскую эпоху, явно ошибаются.

Когда Карл II вновь воцарился на троне, Джордж Даунинг разрывался между выгодными должностями на родине и сложными миссиями за границей. Сэмюэль Пипс был его клерком в Эксетере в 1660 году (когда и начал вести свой дневник), и Даунинг однажды похвастался ему, что его голландские агенты хорошо работают, «они умудрились выкрасть ключи из кармана Де Витта, пока тот спокойно спал в своей постели; этими ключами они открыли кабинет и изъяли документы, которые показали Даунингу, а через час уже вернули все бумаги на место и положили ключи обратно в карман Де Витта». Де Витт — это, конечно же, тогдашний глава голландского правительства.

Самым неприглядным успехом Даунинга была, наверное, его охота за бывшими друзьями-цареубийцами в Голландии. Он арестовал троих из них и отправил в Англию на военном корабле. Пипс, восхваляя это достижение, тем не менее называет Даунинга «вероломным негодяем». По словам Пипса, Даунинг также был поразительно злым и скаредным по натуре. А Ивлин, который придерживается такого же плохого мнения о Даунинге, говорит, что тот поднялся из грязи в князи и в конце концов нажил огромное состояние.

Я думаю, правда здесь в том, что совершенно беспринципный негодяй с хорошо подвешенным языком

был время от времени необходим для выполнения дипломатических миссий. Поэтому Карл покровительствовал Даунингу и, что бы ни думал о нем на самом деле, счел нужным пожаловать ему титул баронета и даровал участок земли в Уайтхолле. Скорее всего, именно на этой земле Даунинг и построил улицу, которую мы знаем как Даунинг-стрит.

Ирония состоит в том, что затем имя этого подлеца облетело весь мир и стало синонимом британского искусства управления государством.

## 6

Какое потрясающее чувство охватывает, когда ранним утром идешь вдоль здания Уайтхолла: светит солнце, на окнах министерства внутренних дел в ящиках цветут герани, тяжелыми складками ложатся флаги Кенотафа, молочник подходит к дому номер 10, красные омнибусы движутся от Чаринг-Кросс — одни идут к мосту Ватерлоо, другие к вокзалу Виктория, третьи в Челси.

Если у союза наций, которое теперь называют содружеством, есть сердце, то именно здесь, в Уайтхолле, можно услышать его биение. Сегодня, когда все прохожие выглядят в достаточной степени одинаково, никогда не знаешь, с кем столкнешься в Уайтхолле: будет ли это знаменитый военный в синей форме и черной шляпе, выдающийся государственный деятель, чиновники всех рангов — пожилые проконсулы, которые были представителями английской монархии в других странах, или люди, которые строили дороги и мосты, устанавливали власть закона в отдаленных областях империи. Уайтхолл так или иначе посещают все, кто работает в самых разных уголках земли. Наверное, мало кто из англичан ни разу не бывал здесь

по какому-либо делу, мало кого из нас ни разу не вызывали в Уайтхолл, и только немногие ни разу не заполняли анкету, чтобы потом терпеливо ждать своей очереди в одной из многочисленных приемных.

Совсем рядом с Уайтхоллом, в приемной старого министерства по управлению колониями на Даунинг-стрит, состоялась единственная встреча адмирала Нельсона и Веллингтона. Забавно, что Нельсон не знал Веллингтона в лицо, а тот сразу узнал адмирала в невысоком мужчине с грустными глазами и пустым рукавом, заправленным за борт сюртука. Вот уж действительно неожиданная встреча! И какое несходство характеров. Веллингтон впоследствии холодно отметил, что Нельсон начал говорить «исключительно о себе, в такой, надо сказать, тщеславной и глупой манере, что я был неприятно удивлен и испытывал почти что отвращение к собеседнику». Затем Нельсон вышел из приемной, а когда вернулся, уже выяснив, кто этот худощавый мужчина с неприязненным выражением лица, беседовавший с ним ранее, манеры адмирала резко поменялись. «Он заговорил, — вспоминает Веллингтон, — как офицер и государственный деятель».

Подобные случайные встречи, пусть даже и не столь высокого уровня, все еще ежедневно происходят в приемных Уайтхолла.

Я часто спрашиваю себя, в чем же заключается очарование Лондона, что так восхищает и поражает в нашей столице, как ни в каком другом городе мира, кроме, наверное, Рима? Что это за странное, тревожащее видение мостов, шпилей, башен и многолюдных улиц, которое временами посещает тебя, когда ты уезжаешь в другие края, и которое приносит столько же радости, сколько боли? Наверное, разгадка заключается в многовековой истории Лондона. За каждым древним памятником открывается новое время,

и позади что-то осталось, и так далее, сквозь века, поэтому Лондон, который мы видим сегодня, складывается из исторических образов разных эпох, проглядывающих сквозь современность. И любить его — значит погружаться в поклонение его предшественникам. Лондон — это место, где миллионы людей жили и умирали в течение очень долгого времени, определенное место на земле, которое жители орошали своей кровью, прославляли своим благородством и унижали своей низостью, разоряли и застраивали вновь, поколение за поколением, при этом никогда не разрушая видения прежних дней.

Уайтхолл — улица, пропитанная воспоминаниями и полная призраков. Таким грандиозным призрачным видением является, конечно же, сам дворец Уайтхолл, который был основной резиденцией династии Тюдоров и Стюартов. Именно здесь Генрих VIII венчался с Анной Болейн, Елизавета, увешанная драгоценностями, принимала многочисленных послов, а Карл II сардонически взирал на своих фавориток. Все это ныне исчезло: весь огромный шумный запутанный комплекс дворца стерт с лица земли, и теперь, идя по улицам между Уайтхоллом и Темзой, трудно себе представить отсвет свечей на гобеленах или услышать эхо игры на лютне или виолончели.

Тем не менее прямым и поныне существующим наследством старого дворца является тот факт, что в Уайтхолле множество правительственных учреждений и чиновников. Это произошло далеко не в одночасье: государственные службы уже много столетий назад начали захватывать здешнюю территорию. Сегодня мы и понятия не имеем о том, что значили слова «королевский двор» для людей прошлого. Ныне это просто место, где королевская семья живет в некоем подобии приватной обстановки, но раньше это был административный центр всей страны. Вокруг

королевского двора группировались всевозможные ведомства, административные службы, которые затем развивались и превратились в то, что мы сейчас называем государственным аппаратом.

Королевский двор в прежние времена был громадной организацией, включавшей огромное количество аристократов и чиновников, с обслуживающим персоналом, чье присутствие принесло процветание всей округе, а отсутствие повлекло за собой нужду и безысходность. Суд, который раньше был столь тесно связан с королевским дворцом, впоследствии поменял расположение и теперь находится на Стрэнде, но современные эквиваленты старых государственных ведомств остались на прежнем месте, и спустя столетия их все еще можно найти в окрестностях дворца Уайтхолл.

Если вы ни разу не держали в руках карту или план старого Лондона, вы не сможете себе представить, как выглядел Уайтхолл до того времени, когда через территорию дворца была проложена широкая дорога от Чаринг-Кросс до Площади парламента. Тогда стоит сходить в Королевский музей обслуживания вооруженных сил, где есть точный макет Уайтхолла времен правления Стюартов.

Дворец занимал многокилометровую территорию между Темзой и Сент-Джеймским парком: это был гигантский четырехугольник, в центре которого находилось огромное пространство — собственно королевский парк, — а вокруг, как деревенские домики вокруг центрального луга, были разбросаны отдельные здания, каменные, кирпичные и деревянные. Это было очень живописное место, настолько же колоритное, как любая соборная площадь. Застройка не производилась по единому изначальному плану, просто время от времени, по мере необходимости, добавлялись новые здания. В результате появились красивые каменные



строения эпохи Тюдоров, особняки в итальянском стиле, а рядом с этими великолепными зданиями мог приютиться какой-нибудь неброский домик, похожий на черно-белые коттеджи, которые сейчас можно увидеть в любой английской деревеньке. Дворец, как я уже сказал, был больше похож на большую деревню, чем на привычный нам образ королевской резиденции. И на протяжении всей истории приезжих иностранцев постоянно изумлял тот факт, что английские короли столь странно обеспечены жильем. Но, возможно, неспособность англичан построить для своего государя Лувр или Эскориал оказалась благоприятным фактором для английской монархии.

Во времена правления Карла II путешественник, желавший добраться от Чаринг-Кросс до Вестминстерского аббатства, был вынужден миновать королевский дворец, поскольку именно здесь пролегла одна из важнейших городских дорог. Возле Банкетного зала (единственной ныне сохранившейся части дворцового комплекса) справа можно было увидеть конюшни и казармы Королевской гвардии, примерно в том же месте, где сейчас находится здание Конной гвардии. А за ними располагался плац, огромное незастроенное пространство, где раньше устраивались рыцарские турниры, а сегодня проводятся парады.

С другой стороны находились ворота Холбейн-Гейт, красивое архитектурное сооружение из красного кирпича времен Тюдоров — северные ворота королевского дворца. Пройдя через этот вход, справа можно было увидеть группу зданий: крытые теннисные корты, площадку для состязаний и так далее, а слева тянулась длинная ограда парка. Если заглянуть через ограду, то за широким пространством газона можно было увидеть архитектурный ансамбль в строгом простом стиле, а за ним виднелись еще более высокие и величественные строения, возвышающиеся над

крышами и дымовыми трубами. В этих зданиях с видом на Темзу и находилась собственно королевская резиденция.

Далее, прогулявшись немного вдоль ограды парка, вы добрались бы до ворот Кинг-стрит — южного входа во дворец. Пройдя через ворота, вы снова оказывались на улице за пределами дворца, а перед вами открывалось Вестминстерское аббатство.

Эта царственная деревня была основной резиденцией королевского двора со времен правления Генриха VIII и до восшествия на престол Вильгельма и Марии. Дворец исчез с лица земли всего за одну ночь. В 1693 году по вине беспечной прачки начался пожар, уничтоживший весь дворцовый комплекс, кроме Банкетного зала и нескольких прилегающих построек. Это еще один Большой лондонский пожар в миниатюре. Около ста пятидесяти домов были проглочены огнем, уничтожены тысячи внутренних помещений, а еще двадцать зданий взорвали, чтобы предотвратить распространение пожара. Королю Вильгельму, голландцу по происхождению, было все равно, ему никогда не нравился дворец Уайтхолл, и он уже жил в Кенсингтоне, когда случилось несчастье. После этого печального дня, когда королевский квартал Лондона с его многовековой историей был сожжен почти дотла, королевский двор переместился в Сент-Джеймский дворец, где располагается и в наши дни.

Что приходит в голову, когда мы обследуем улицы позади Уайтхолла, между авеню Конной гвардии и Ричмонд-террас, где так тесно сгруппированы дворцовые постройки, государственные здания, жилища аристократии, придворных, фаворитов и государственных деятелей? Возможно, нам вспомнится кардинал Уолси, который первым стал украшать Йорк-хаус (как первоначально назывался королевский дворец), или Генрих VIII, сделавший его еще прекраснее.

Можно воскресить в памяти ту ночь, когда во время большого пира вдруг зазвучала барабанная дробь, возвещающая появление короля Генриха с друзьями, которые переоделись пастухами, только костюмы были из золотой парчи и малинового атласа, а бороды из золотых и серебряных нитей. Они притворились иностранцами и заявили, что до них дошел слух о том, что английские леди — самые красивые женщины в мире, поэтому они приехали, чтобы самолично в этом убедиться и поухаживать за прекрасными дамами. По окончании пира маски были сорваны, и король с придворными танцевали до упаду всю ночь напролет.

Также можно припомнить кончину короля Генриха, когда страх расползлся по всему лабиринту коридоров Уайтхолла и люди шептались о том, что могучий королевский дуб вот-вот рухнет. Генриху было всего пятьдесят четыре года, однако он уже превратился в распухшую массу больной плоти, с седой бородой, отросшей почти до пояса. Поначалу никто не осмеливался сказать королю, что он умирает, пока наконец фаворит Генриха, сэр Энтони Денни, не отважился сообщить ему о приближении кончины. В ответ Генрих зарычал от гнева и боли: «Что за судьи вынесли мне такой приговор?» — «Ваши врачи», — ответил Денни. И когда испуганные доктора вновь собрались у ложа умирающего, Генрих, ненадолго обретя свой прежний вспыльчивый нрав, закричал: «После вынесения приговора жизнь преступника больше не касается его судей, поэтому пошли прочь отсюда!» И к моменту прибытия во дворец архиепископа Кентерберийского король был уже без памяти, и последним деянием того, кто принес на землю столько горя и бед, явилась обычная предсмертная агония.

Еще мы можем вспомнить королеву Елизавету, чья прославленная девственность была внешней политикой Англии во времена ее юности, а в старости стала

дипломатическим соглашением. Елизавету на склоне лет лучше всего описывает немецкий путешественник Пауль Хентцнер.

«Затем вошла королева, — пишет он, — в свои шестьдесят пять лет (о чем он упоминает ранее) она выглядела очень величественно. Ее удлиненное лицо было все еще привлекательно, хоть и покрыто сетью морщин: маленькие, но очень живые и черные глаза, нос с небольшой горбинкой, узкие губы, уже гнилые зубы. В ушах — драгоценные серьги с жемчужинами, на голове у королевы — рыжий парик, поверх которого надета маленькая корона — по слухам, из лунбургского золота. Платье Елизаветы носила с большим декольте, по традиции незамужних женщин того времени. На шее королевы сверкало ожерелье из великолепных драгоценных камней. Руки у нее тонкие, с длинными пальцами. Елизавета среднего роста, с полной достоинства осанкой и манерой держаться. Речь королевы была мягкой, но в то же время повелительной. В тот день она надела платье из белого шелка, с каймой из жемчужин, каждая размером с фасолину, а поверх платья — мантию из черного шелка с серебряными нитями, длинный шлейф позади несла фрейлина. Шею королевы охватывал продолговатый воротник из золота и драгоценностей. Елизавета прошла по залу во всем своем великолепии, милостиво заговорила сначала с одним из присутствующих, потом с другим... Обращаясь к королеве, все опускались на колени, но она то и дело поднимала говорящих движением руки. Куда бы ни обращала она свой взор, все падали ниц».

Также стоит припомнить дорогостоящие и очаровательные спектакли, которые никогда не проводились за пределами дворца и оставались исключительно экзотическим развлечением знати. Начало положил Генрих VIII, устраивая пышную и шумную игру в переодевания. Королева Анна Датская, супруга Якова I, продолжила эту восхитительную традицию, которая достигла своего пика во времена правления Карла II. Сколько труда и денег тратилось на эти поэтические водевили, почти невозможно себе представить. Некоторые спектакли были настолько же эффектны, как профессиональная постановка на Друри-лейн. Представьте себе спектакль по сценарию Бена Джонсона, поставленный Иниго Джонсом! Яков I предпочитал смотреть на акробатов и шутов, тогда как его жена Анна Датская обожала театр масок и вместе со своими фрейлинами была такой же ярой поклонницей этого замечательного жанра театрального искусства, как некоторые сейчас восхищаются русским балетом. Самым известным ее произведением, наверное, были «Маски ночи», когда королева и одиннадцать красавиц-аристократок появились на сцене, сидя в огромной золотой раковине, при этом их лица и руки были покрыты черной краской, как у негритянок. «Их одеяния были роскошны, но, по мнению некоторых зрителей, слишком легкомысленны для таких высокопоставленных особ». Стоимость этой постановки исчислялась тысячами фунтов стерлингов.

Во времена Карла I и его супруги Генриетты Марии подобные представления продолжались. Бен Джонсон, Мильтон, Флетчер, Кэрью и Селден писали для них стихи, Ланьер и Ферабоско — музыку, а Иниго Джонс создавал «машины» и декорации. Во время представлений использовалось так много свечей, что Карл, беспокоясь за свою коллекцию живописи, велел возвести для проведения спектаклей временную

постройку, которую называли Карнавальным домом. Но начало гражданской войны положило конец развлечениям, и этот хрупкий аристократический цветок увял вместе со Стюартами.

Также нелишне будет напомнить о семейных скандалах в Уайтхолле, когда Карл I выгнал вон всех католических приспешников своей жены и приказал им убираться обратно во Францию, а Генриетта Мария в гневе разбила кулаком оконное стекло. Хорошо, что в последующие годы Карл II его супруга перестали ссориться и стали, возможно, самой любящей королевской четой во всей английской истории.

Затем можно напомнить о Карле II, живущем в Уайтхолле в окружении всех своих фавориток, как это описано у Ивлина: свечи мерцают на карточных столиках, на кону — две тысячи фунтов золотом, смех, движения рук, с галереи менестрелей доносятся французские любовные напевы, двери открыты в ночь. Можно представить себе, читая воспоминания Пипса, стайки тщеславных красавиц, которые весело щебечут в коридорах — они болтают, смеются и примеряют шляпки друг друга. «Это было самое очаровательное зрелище, — пишет Пипс, — которое я видел за всю мою жизнь — столько красивых женщин в роскошных одеяниях».

Еще приходит на ум одно февральское утро на берегу Темзы, когда пятидесятипятилетний хозяин всей этой радости и веселья лежал при смерти, говорил, как он устал жить, и просил прощения за то, что так долго не может отойти в мир иной.

Три года спустя, декабрьской ночью 1688 года, странные события имели место во дворце Уайтхолл. В окна стучал дождь, над крышами Лондона свистел ветер. Яков II и его супруга, королева Мария, как обычно удалились к себе в опочивальню в десять часов вечера. Они ждали, прислушиваясь, когда затихнут все звуки в темных коридорах дворца. Незадолго до полуночи

королева переоделась в платье прачки. Появились две женщины в грубой простой одежде, они на цыпочках вошли в спальню, неся какой-то сверток. Развернув льняные пеленки, королева увидела своего шестимесячного сына, Якова, принца Уэльского, которого впоследствии назовут Старшим Претендентом.

Король обратился к двум своим доверенным друзьям, переодетым в морскую форму, шевалье Сен-Виктору и графу де Лозун, которые появились следом.

— Я вверяю вам мою королеву и моего сына, — сказал король с глубоким волнением в голосе. — Несмотря на весь риск и опасность, доставьте их как можно скорее во Францию.

Он попрощался с женой, посмотрел на спящего сына, а затем странно одетая группа людей отправилась на цыпочках через спящий дворец, по большой галерее и вниз по лестнице к задним воротам.

Яков подошел к окну и прислушался к реву зимней бури. Вильгельм Оранский высадился на английский берег и объявил себя протестантским спасителем Британии. Трагедия дома Стюартов приближалась к развязке.

Королева со своими служанками и двумя французами пересекла Темзу на шлюпке и укрылась от дождя в стенах церкви Святого Ламбета, дожидаясь появления кареты. Она смотрела на темное скопление крыш и дымовых труб на другом берегу — на свой дом, который ей больше не суждено было увидеть. Через несколько дней король также бежал из дворца Уайтхолл, чтобы соединиться со своей семьей во Франции. Пересекая Темзу тем же путем, он протянул руку над бортом лодки, и Большая государственная печать Англии исчезла в темной воде реки.

Пожалуй, это было последнее историческое событие в жизни Уайтхолла. Стюарты, чьи подвиги и ошибки много лет составляли его историю, покинули дворец,

оставив его заброшенным и забытым, пока Судьба в образе обыкновенной прачки не предала здание огню. «Уайтхолл сгорел дотла, не осталось ничего, кроме руин» — вот и все, что говорит Ивлин о дворце, который он знавал в лучшие времена, когда Уайтхолл полнился красотой, гордостью и мощью. Пять или шесть человек погибли вместе с ним в огне, но, по словам современника, к счастью, все они были «обыкновенными, никому не известными людьми».



## **Глава седьмая**

# **Вестминстерское аббатство**

*Я иду в Вестминстерское аббатство и рассказываю о том, как его реконструировал король Эдуард Исповедник, а потом король Генрих III. Описываю надгробия монархов, Коронационное кресло и монаршие склепы, расположенные под часовней Генриха III. Глава заканчивается описанием византийской базилики, расположенной неподалеку от Виктория-стрит.*

### **1**

Последний настоятель Вестминстерского аббатства, доктор богословия де Лабильер, войдет в историю как самоотверженный человек, который отказался покинуть Лондон и свой пост даже во время воздушных налетов. Он вполне мог бы уехать в эвакуацию, и его долго убеждали сделать это, после того как бомба разнесла на куски покои настоятеля. Но он твердо стоял на своем: пока существует аббатство, в нем неотлучно служит настоятель.

Де Лабильера с благодарностью будут вспоминать все посетители аббатства, поскольку именно он распорядился открыть для прихожан западные ворота и сделать их, как положено, главным входом в собор. До этого пользовались убогим входом через северный трансепт, где человек, пришедший сюда впервые, тут же терялся среди усыпальниц и надгробий. В те дни, я думаю, тысячи людей так никогда и не сумели добраться до алтарной части.

Незабываемое впечатление производит вид, который открывается перед вами, когда вы проходите в собор

через западный вход: узкий неф, колонны и арки, отражающиеся друг в друге, словно музыкальные созвучия. А дальше, в восточной части собора, как заключительный аккорд всего этого величия, виднеется апсида пребистерия, или святая святых, в лучах света, льющегося из фонаря купола и из боковых трансептов.

Мне всегда очень трудно пройти мимо Вестминстерского аббатства. Гораздо больше времени я проводил, бродя по нему без определенной цели или сидя где-нибудь по соседству и разглядывая старые здания. Однажды, придя сюда, я попытался вспомнить, сколько событий произошло здесь на моих глазах с момента окончания войны в 1914 году. Во-первых, я хорошо помню торжественные похороны Неизвестного солдата. Церемония была глубоко прочувствованной и полной исключительного достоинства. Все те, кто потерял своих мужей и сыновей в кровавых жерновах войны, ощутили одно: даже если Неизвестный солдат и не был чьим-то сыном, мужем, братом, — по крайней мере, толика памяти о потерянных близких отныне покоится в самом сердце Лондона, увековеченная в пантеоне нашего народа. Для меня церемония была особенно значимой, поскольку в этот день я приехал из Дувра, куда на моих глазах прибыл эсминец с завернутым в национальный флаг гробом Неизвестного солдата на борту. Это было волнующее переживание — прийти на похороны вместе с королем Георгом V, который в своей фельдмаршальской форме стоял впереди всех присутствующих, в то время как останки обыкновенного английского солдата (кто знал, кто хоть раз встречал его?) хоронили рядом с великими государями и бессмертными героями прошлого.

Еще я помню похороны королевы Александры. Она доживала свои последние дни в Мальборо-хаус, становясь все более хрупкой и тонкой, — маленькая старая леди, пережиток ушедшей эпохи. Глядя на пламя

коричневых свечей вокруг ее катафалка, я думал о том, что смотрю на последний отблеск времен, подобных эпохе правления Карла II — короткого периода Реставрации, который в последний раз явил во всем блеске богатство и достоинство аристократии.

Вспоминаю также свадьбу короля Георга VI, а затем и церемонию его коронации, на которой я присутствовал. Вопреки всем законам притяжения я парил в толпе зрителей на галерее над алтарем, глядя вниз, в каменную пропасть, где в сверкании света посреди собора наше прошлое оживало с почти невероятным великолепием. Я никогда не забуду тот миг, когда с короля сняли верхние одежды для помазания. В древние времена государь обнажался до пояса, поэтому и поныне четыре кавалера ордена Подвязки держат над королем балдахин из золотой парчи, чтобы скрыть его от посторонних глаз. Я помню, как архиепископ Кентерберийский приблизился к государю в сопровождении настоятеля аббатства, который держал в руках склянку с елеем и ложку. Я видел, как настоятель налил елей в ложку, архиепископ окунул в него пальцы и, просунув руки в прорези на балдахине, коснулся вначале ладоней короля, его обнаженной груди и затем темени. И из-под балдахина вышел новопомазанный монарх, одетый только в белые атласные бриджи, чулки и рубашку из белого шелка, без каких-либо знаков королевской власти. Он преклонил колена в молитве, пока архиепископ благословлял его на правление. Затем началась сложная церемония коронации: восседая на Коронационном кресле, король в белых одеждах постепенно облачался в монаршие регалии. В конце концов король стал подобен византийскому императору: со скипетром в руке, на пальце горит рубиновое кольцо, которое называют «обручальным кольцом Англии». Вся церемония была проникнута неким священным духом, затрагивала самые

глубинные чувства, и я осознал, почему помазанники Божьи и весь народ верит в то, что руки короля обладают сверхъестественной силой и способны одним прикосновением принести исцеление или проклятие.

В церемонии коронации замечательна атмосфера ее подлинности, достоверности. Все присутствующие были в парадных туалетах, но в этом не чувствовалось никакой фальши, ничьи наряды не выглядели маскарадными костюмами. На костюмированном балу, сколь точно костюмы ни копировали бы оригинал, никто не выглядит в них «настоящим» (кроме, может быть, итальянских маскарадов, где люди каким-то образом умудряются в точности походить на своих предков). Но на коронации даже самые разодетые лорды и пэры выглядели как минимум правдоподобно, поскольку большинство из них действительно являлись важными государственными деятелями. Это был как бы внезапный выплеск прошлого в настоящее, и я всегда буду считать коронацию самым замечательным зрелищем, которое я когда-либо видел.

Последней церемонией, на которой я присутствовал в Вестминстерском аббатстве, была свадьба королевы Елизаветы и герцога Эдинбургского, хотя в промежутке между этими событиями государственного значения я десятки раз посещал различные другие церемонии. Думаю, самым печальным зрелищем, которое я наблюдал в аббатстве, была поминальная служба по Невиллу Чемберлену во время войны. Окна собора расколоты взрывами, отопления не было, и члены кабинета во главе с Черчиллем стояли в пальто — дрожащие от холода люди с несчастными лицами... И молитва, казалось, больше относилась ко всеобщему несчастью и страху, чем к покойному. Завершилась церемония уже под вой сирены очередной воздушной тревоги.

Но из всех посещений аббатства мне больше всего запомнилось, как я зашел сюда однажды вечером во время войны, еще до начала воздушных налетов. Было ужасно холодно: стоял конец января 1940 года. Случилось так, что я проходил мимо (уже ввели затемнение, и на улице не было ни единого лучика света) и остановился, пораженный величием готического силуэта на фоне ночного неба. Я слышал, что весь персонал аббатства — все высшие чины, духовенство и рядовые служители — объединились в стремлении защитить и сохранить собор в случае воздушных налетов. Вспомнив об этом, я решил зайти и посмотреть, что происходит внутри. Мне было приятно узнать, что мой старый друг, мистер Т. Хеброн, архивариус, стал начальником противовоздушной обороны. Под его руководством находилось двадцать семь служителей, тридцать шесть пожарных и четырнадцать человек для оказания первой медицинской помощи. Около сотни людей жили в аббатстве или неподалеку от него и проводили все свои дни в заботе о нем: настоятель, каноники, хористы, служители, архивариус и его штат, заведующий строительно-реставрационными работами и его подчиненные. Все эти люди зачастую даже не были знакомы друг с другом в мирное время, а сейчас сплотились в единую общину перед лицом опасности, нависшей над собором, как будто он снова превратился в отделенный от внешнего мира неприступный монастырь под началом отца-настоятеля. Было очевидно, что, если в собор попадет бомба или возникнет пожар, защитить здание смогут только те, кто хорошо знаком с его особенностями и запутанным внутренним расположением. Обычные пожарные или рабочие не смогли бы оказать нужную помощь.

Пока Хеброн объяснял мне, какие меры были предприняты, к нам подошел служитель с посланием от

настоятеля — тот желал меня видеть. При свете электрического фонарика (без него невозможно было бы найти дорогу в неосвещенном соборе) я прошел через Иерусалимский зал к дому настоятеля, красивому старому зданию, где раньше жил аббат. Войдя к настоятелю, я увидел доктора де Лабильера, сидящего за письменным столом в окружении огромного количества книг. Мы успели о многом поговорить, обсудили опасность, грозящую собору. Я сказал ему, что мне хотелось бы побродить по собору во время затемнения и узнать, как он выглядит сейчас, на военном положении.

Настоятель провел меня через несколько коридоров и переходов, и, войдя в очередную дверь, мы вдруг оказались в холодном пустом зале. Я понятия не имел, где мы находимся, но чувствовал движение воздуха в каком-то огромном помещении.

— Мы сейчас возле скамьи епископа Ислипа, — пояснил настоятель. — Здесь часто сидела королева Виктория.

Внизу под нами, в непроглядной темноте почудилось какое-то движение.

— Это пожарные, — объяснил де Лабильер. Я знал, что мы находимся над главным нефом собора, и спросил настоятеля, где могила Неизвестного солдата. Тот наклонился и крикнул в темноту:

— Зажгите фонарь около могилы Неизвестного солдата!

Едва различимые фигуры зажгли карманные фонарики и сделали пару шагов вперед. Два луча света на мгновение затерялись в пространстве между чернеющими колоннами нефа, растворяясь во тьме возле трифориума, а затем скрестились, высветив бордюр из красных цветов, окаймлявших могилу.

Я спустился вниз, и Хеброн провел меня по собору. Мало кто, кроме служителей и работников аббатства,

бывал здесь после наступления темноты. Собор производил невыразимо жуткое впечатление, когда мы шли с карманными фонариками: их лучи скользили по известным могилам и надгробиям, некоторые были погребены под завалами мешков с песком. На дежурстве в ту ночь было шестеро пожарных. Один из них, видимо новенький, сказал мне: «Меня все время пугают скамьи: они то и дело трещат, и треск раздается в тишине как пистолетный выстрел — поневоле подпрыгнешь от ужаса». Несколько раз за ночь двое пожарных поднимаются по каменной винтовой лестнице в трифориум и звонят по телефону дежурным внизу, сообщая, все ли в порядке. Чтобы облегчить доступ в верхние помещения собора, над западным входом соорудили помост, соединявший северную часть трифориума с южной.

Мы тоже поднялись по винтовой лестнице наверх, робко, будто по краю пропасти, прошли на цыпочках по трифориуму и посветили своими фонариками вниз, в чернильную тьму главного нефа. Висящие там асбестовые пожарные костюмы с огромными черными щитками, похожими на черепа, казались настоящими привидениями. В аббатстве не любят историй о призраках, но после настойчивых расспросов можно услышать неохотный рассказ о том, что иногда даже рабочие, не обладающие живым воображением, видят здесь странные вещи. В последний раз в соборе заметили привидение в канун свадьбы нынешних короля и королевы. Оно стояло на коленях перед украшенным к свадьбе алтарем, облаченное в коричневое одеяние. Видение было настолько реальным, что запертый на все засовы собор даже обыскали, думая, что кого-то случайно закрыли внутри. Но никого так и не обнаружили.

Спустившись обратно, мы направились в сводчатый подвал, где перед нами открылось необычное зрелище.

В этом маленьком каменном зале была всего одна колонна, из центра которой расходились шестнадцать ребер, поддерживающих основание Капитулярия. Здесь были заботливо сложены облачения для завтрашней службы — красивые одеяния из сверкающей парчи, прошитой серебряными и золотыми нитями, — а рядом с ними, на четырех табуретах, с чисто военной аккуратностью разложены четыре комплекта снаряжения для пожарных: резиновые сапоги, защитные костюмы, противогазы и каски. На редкость неуместное соседство, такого еще никто нигде не видел, особенно в Вестминстерском аббатстве! Мы видели снаряжение и в дарохранительнице, а затем, пройдя в норманнскую крипту, мы обнаружили, что все помещение превращено в госпиталь, где ряды коек ожидали появления первых жертв бомбардировок. Все это напоминало кельи монахов, и отвечали за порядок в госпитале две женщины — жена одного из каноников и супруга органиста. Проявив чуткость, они переместили из крипты огромную горгулью и большой каменный гроб, справедливо рассудив, что им не стоит оставаться на глазах у больных и раненых. Мое путешествие по аббатству закончилось в бомбоубежище, снабженном автономной установкой для фильтрации воздуха.

На ощупь пробираясь к почти невидимому в темноте омнибусу, я вспоминал, сколько же странных событий произошло в Вестминстерском аббатстве за девять столетий его существования! Он видел и тела мертвых королей, которые лежали обнаженными по пояс в мерцании погребальных свечей, и королеву Елизавету, которая скрылась в соборе от своих врагов и сидела на связке камышей, «потрясенная и отчаявшаяся, в полном одиночестве». На протяжении веков Вестминстер видел роскошь, благородство и благочестие вместе с алчностью, завистью и вероломством. Здесь однажды произошло даже убийство.



Но во время войны с собором случилось нечто совершенно новое, нечто такое, чего ни король, ни настоятель не могли бы даже себе представить. Мы называем это МПО, то есть мерами противовоздушной обороны, — или нашим печальным вкладом в историю.

В следующий раз я посетил собор 17 мая 1941 года, через несколько дней после того, как в него попал снаряд и полностью разрушил покои настоятеля. В тот день я записал в своем дневнике следующее. «Я пришел в Вестминстер, чтобы посмотреть на разрушения, и мне было ужасно неловко, когда я столкнулся с настоятелем. Я знал, что он потерял все, что имел, и мне было трудно выразить ему свои соболезнования. Однако он оживлен и настроен вполне оптимистично. «Пойдемте, я покажу вам, что осталось от моего жилья», — сказал он. Из кельи архивариуса мы поднялись по лестнице вверх, прошли через Иерусалимский зал, оставшийся неповрежденным, а затем — там, где раньше находились красочно отделанные деревянными панелями помещения, — перед нами разверзлась бездна под открытым небом, заваленная обугленными балками и досками. Настоятель сказал мне, что он потерял все, кроме одежды, которая была на нем в тот день, — к счастью, во время бомбежки сам он укрылся в бомбоубежище. От покоев настоятеля осталось только две спальни со всем содержимым. Мы прошли в одну из этих комнат: там сидела жена настоятеля в меховом пальто, а молодой человек, его сын, стоял рядом в солдатской форме с винтовкой без затвора в руках. Юноша сообщил нам, что был в увольнительной и теперь вместе с другими вещами лишился снаряжения. Как образцовый солдат, он по приезде снял затвор со своей винтовки и положил в сейф. В результате пожара тот превратился в бесформенный комок металла.

Настоятель указал на полку, где стояли шесть или семь книг.

— Все, что осталось от моей библиотеки, — прокомментировал он. — Я, наверное, единственный настоятель Вестминстера, у которого теперь нет ни Библии, ни молитвенника. Зато уцелело вот это. — Он вынул коричневый томик и показал мне: это была моя собственная книга «Сердце Лондона».

— Жаль, что на ее месте не оказалось ничего более ценного, — сказал я в ответ.

Ужасно было видеть ученого, который потерял всю свою библиотеку. Просто не найти слов для сочувствия и утешения.

С большим мужеством настоятель и его жена продолжали жить в двух комнатах, оставшихся в их распоряжении. Когда на следующий день аббатство посетили король с королевой, они долго убеждали настоятеля покинуть Лондон и уехать в Виндзор, но тот не хотел ничего слышать. «Пока стоит Вестминстерское аббатство, в нем должен жить и работать его настоятель», — сказал он...

После визита к настоятелю Хеброн провел меня по аббатству. Собор остался цел, пострадал только фонарь купола. Из-за зажигательной бомбы начался пожар, расплавленный свинец и обломки обрушились вниз, на то самое место, где происходила коронация государя. К большому счастью, повреждения оказались незначительными, служители убрали обломки и соорудили временный алтарь в конце нефа, так что вскоре собор снова должны были открыть для прихожан. Хеброн указал на устрашающие гипсовые статуи Гладстона, Дизраэли и других политиков, которые, казалось, в ужасе и возмущении столпились вокруг обломков, грозно глядя на них. «А этим все нипочем, правда же?» — заметил Хеброн. И не поспоришь! Их как будто защитила неуязвимая викторианская

добродетель. «Интересно, как организовал бы бомбардировку Гладстон?» — отозвался я. «Да, интересно», — улыбнулся Хеброн».

## 2

Воображаемое путешествие в далекое прошлое, которое совершают посетители Вестминстера, страшно утомительно. Глядя на толпы экскурсантов, следующих за своими гидами и внимающих бесконечному перечислению дат и имен, мне становится любопытно, какая часть всей этой информации запомнится или будет хотя бы понята слушателями. История может быть самым скучным предметом, а может — и самым захватывающим. В детстве я ненавидел историю, но с возрастом невольно увлекся. Жаль, что нет какого-нибудь волшебного заклинания, чтобы сделать каждое посещение Вестминстерского аббатства увлекательным и волнующим для всех посетителей, большинство из которых притягивает сюда некое неведомое очарование собора.

История аббатства на самом деле очень проста, но она насчитывает тринадцать столетий. Начинается она в незапамятные времена, в легендарную эпоху, когда для поклонения Господу монахи искали самые уединенные уголки мира и однажды появились в гуще ежевичных зарослей на маленьком островке Торни у берегов Темзы. Здесь они построили церковь, которая впоследствии стала центром Вестминстерского аббатства.

В то время англо-саксонская столица была хорошо видна отсюда — Лондон стоял на холме позади стены Адриана, возведенной римлянами. Англия была наполовину языческой, наполовину христианской страной. Римские миссионеры обращали в христианство неотесанных и грязных королей под могучими

английскими дубами и крестили их водой из священных источников. Иногда эти правители до конца своих дней оставались приверженцами христианской веры, а иногда возвращались к своим языческим богам. По уровню развития они находились в таком же варварском младенчестве, что и остальные дикие племена. Первый епископ Лондона, Меллит, был римским миссионером. Его изгнали из города сыновья прежнего правителя, которые вновь вернулись в язычество и не собирались становиться христианами, но хотели захватить белый хлеб, предназначенный для евхаристии. Их приводило в бешенство, что епископ раздает этот вкусный хлеб обычным людям, а им ничего не достается. В результате епископу пришлось покинуть Лондон. Я думаю, нечто похожее частенько происходит в наши дни с африканскими миссионерами.

Монахи Торни, и в то время, и позже, сочиняли полезные истории, которые в эпоху невинности считались чем-то вроде охранных заклятий. Сейчас мы читаем эти легенды и думаем, до чего же они очаровательны, но в них было и нечто такое, что ныне ускользает от нашего внимания. Одна из историй повествует о том, как однажды ночью накануне того дня, когда должны были освящать церковь на острове Торни, рыбак по имени Эдрик как всегда отправился на реку ставить сети. Подойдя к тому месту, которое мы сейчас называем набережной Ламбет, он повстречал незнакомца в чужеземном платье. Тот попросил перевезти его через реку. Оказавшись на другом берегу, незнакомец подошел к новой церкви, и она вдруг засияла в ночи нездешним светом. Охваченный благоговейным страхом рыбак замер в своей лодке, глядя, как над церковью летают ангелы. Вернувшись к лодке, незнакомец признался, что он — святой Петр и своими руками освятил эту церковь. Утром на остров прибыл епископ Лондонский, чтобы провести церемонию

освящения, но, увидев распятие и услышав эту невероятную историю, он понял: церковь уже освятил тот, кто выше любого епископа.

Таким образом новая церковь получила благословение свыше и была окружена атмосферой сверхъестественной святости. Монахи подали прошение вывести церковь из-под власти лондонской епархии и получить для нее особый статус. Прошение было удовлетворено, и церковь Святого Петра получила независимость с самых первых дней своего существования. Она никогда не подчинялась епископу Лондонскому. Ни один архиепископ или епископ не мог внести сюда свой посох без разрешения аббата или настоятеля — это разрешалось только во время коронации государя. Аббат или, впоследствии, настоятель аббатства подчинялись только королю. Поэтому Вестминстер и поныне остается маленьким независимым священным островком посреди Лондона.

Поскольку легенда о пришествии святого Петра относится к первой церкви на острове Торни, а не к более позднему периоду, как думают некоторые, значит, монахи обладали замечательным инстинктом выживания. И если правда, что Бог помогает тем, кто помогает сам себе, их процветание было обеспечено.

Монастырь Вестминстер возник во времена правления Эдуарда Исповедника, около 1042 года. Судьба предопределила королю Эдуарду быть основателем монастыря, и его останки являются таким же, если не более драгоценным достоянием аббатства, как и история о встрече рыбака со святым Петром.

Почти наверняка король Эдуард был альбиносом: у него были совершенно белые волосы, прозрачная кожа и длинные и тонкие пальцы, которые, по поверью, приносили исцеление страждущим. Поэтому современникам он казался каким-то необыкновенным существом, непохожим на обычных людей. Эдуард был

очень религиозным и набожным человеком. Он мог подолгу сидеть неподвижно в полном молчании, а то вдруг раздражался приводящим в замешательство смехом. С другой стороны, он часто впадал в ярость, бывал язвителен и даже жесток.

Прежде чем взойти на престол, Эдуард дал обет совершить паломничество в Рим. Став королем, он осознал, что не сможет выполнить свою клятву, и послал делегацию к папе римскому с просьбой об отпущении грехов. Папа согласился дать свое прощение, если Эдуард перестроит заново монастырь Святого Петра. Эта великая миссия стала главной целью короля в последующие годы. Эдуард был наполовину англичанином, наполовину норманном, а все его симпатии были целиком на стороне Европы. Он окружил себя фаворитами-норманнами и назначил норманнов на все высшие государственные должности: сам того не подозревая, Эдуард постепенно готовил почву для прихода Вильгельма Завоевателя. Поэтому вполне естественно, что когда король решил построить большой храм, он впервые принес в Англию массивные и величественные формы романской архитектуры, которая была так популярна по другую сторону Канала.

Чтобы представить себе, как выглядел Вестминстерский собор во времена Эдуарда Исповедника, стоит вспомнить собор в Дарэме, часовню Святого Иоанна в Тауэре и церковь Святого Варфоломея в Смитфилде. Собор был почти так же велик, как сегодня, и в те времена это было самое большое здание во всей Англии. На его постройку ушло двадцать лет, и считалось, что он будет стоять вечно. Саксонские церкви строились в стиле кельтских церквей Шотландии и Ирландии и в основном походили на небольшие каменные сараи с соломенной крышей, поэтому саксы потрясенно взирали на новое аббатство как на что-то колоссальное и чуждое их культуре.

Окончание строительства собора в 1065 году собирались приурочить к Святкам. Эдуард был болен. Несколько дней он пролежал в постели, затем наступило временное улучшение, но в конце концов король скончался. Ужас пронесся по всей Англии в связи с известием о его смерти; не было ли в нем первых проблесков того благоговейного страха и почитания, которое впоследствии переросло в настоящий культ Эдуарда Исповедника?

Из Лондона и всех окрестных деревень народ стал толпами стекаться к новому белоснежному зданию собора Святого Петра, чтобы поглядеть на тело короля, лежащее перед высоким алтарем, в сверкании сотен свечей, с короной на груди, в полном парадном облачении, с золотым распятием на шее и кольцом пилигрима на тонкой прозрачной руке. Пока Эдуард лежал на смертном одре в Вестминстере, его преемник, Гарольд, был спешно коронован, неизвестно — в аббатстве или в соборе Святого Павла. Но когда настало Рождество, уже Гарольд лежал в саване мертвеца, а Вильгельм Завоеватель короновал себя в Вестминстере прямо над могилой основателя храма.

С этого момента все короли Англии, кроме Эдуарда V и Эдуарда VIII, проходили коронацию и церемонию помазания в Вестминстерском аббатстве. И хотя собор был построен во славу святого Петра, он увековечил имя Эдуарда Исповедника, и гробница Эдуарда стала сердцем и душой храма с тех давних пор и до наших дней. Только это место во всей Англии и сохранилось до сегодняшнего дня из всех святынь, с которыми в Средневековье случались разные чудеса.

Будучи при жизни чудаковатым, ненадежным, ребячливым и не очень умным человеком, Эдуард Исповедник после смерти стал символом Англии. Возможно, это случилось потому, что саксы поначалу очень страдали под гнетом чужеземной власти, они все

чаще вспоминали свою жизнь при святом Эдуарде и называли те дни «старыми добрыми временами», окружая период его царствования ореолом «золотого века». А причина была всего лишь в несчастливой эпохе, которую принес с собой преемник Эдуарда. Норманны же, вместо того чтобы искоренить саму память об Эдуарде, сохранили ее из соображений династической преемственности — победители и побежденные обменялись символическим рукопожатием над могилой Эдуарда.

Все короли Англии так или иначе пытались установить некую связь между собой и святым саксонским предшественником. В самый торжественный момент своей жизни, во время коронации и помазания на власть, по обряду они на несколько мгновений присваивали себе бережно хранимые реликвии — предметы одежды Эдуарда. На плечи нового государя накидывали старинную мантию Исповедника. Плантагенеты, стоя босиком в огромном соборе, надевали, как говорят, античные котурны или штаны Эдуарда, а также его башмаки. Если волосы короля взъерошивались во время помазания, их причесывали гребнем Эдуарда. И в завершение на чело нового государя опускался старинный золотой венец, некогда увенчавший Эдуарда Исповедника.

Облаченные в старинные одеяния саксонских времен, государи каждой новой эпохи после церемонии коронации направлялись в усыпальницу Эдуарда, там с них торжественно снимали все эти одежды, оставляя их на алтаре. Затем, уже в новом современном платье, держа в руках только скипетр (который после коронационных торжеств полагалось возвратить аббату Вестминстера), они направлялись во дворец, все еще под впечатлением удивительной встречи с прошлым.

Култ Эдуарда Исповедника был явлением национального и династического масштаба, и в нем мы



видим зачатки нашей будущей истории. Уже одно то, что Эдуард в свое время на равных соперничал по значимости со святым Петром, само по себе достаточно фантастично. Мало того, со временем, в самый расцвет Средневековья, его торжественно канонизировали как национального святого, а останки перенесли и поместили рядом с мощами святого Георгия. Легенда об Эдуарде оказалась настолько могущественной, что даже сегодня, хоть мы и нечасто задумываемся о таких вещах, мы ни за что не согласимся расстаться с образом Эдуарда Исповедника — доброго бородатого английского патриарха. В современном сознании этот образ значительно более притягателен, чем официальный национальный святой, который всего лишь сразил дракона.

Тело Эдуарда видели еще как минимум трижды после погребения, и дважды его останки были потревожены в течение веков. Впервые это произошло в 1098 году, почти тридцать лет спустя после его смерти, когда Генрих I распорядился вскрыть гробницу, чтобы убедиться в нетленности останков короля. Говорят, Эдуард казался просто спящим. Епископ Гандалв вынул из белой бороды короля один длинный прозрачный волос.

Во второй раз Эдуарда видели после его канонизации в 1161 году, почти сто лет спустя после погребения. На этот раз гробницу вскрыли в присутствии Генриха II и Томаса Бекета. Церемония проходила в темную октябрьскую полночь, и при свете свечей и факелов король и священнослужители с благоговением взирали на спокойное лицо Эдуарда. Он лежал в короне и в том же полном облачении, в котором был похоронен. В тот раз его переодели в новое одеяние и сняли с пальца коронационный перстень.

В последний раз Эдуарда видели спустя еще сто шесть лет, через два века после смерти, причем вокруг

его гробницы к тому моменту все изменилось до неузнаваемости. Массивное аббатство в норманнском стиле исчезло с лица земли. Генрих III построил на его месте новое аббатство — то, которое мы видим сегодня. И вновь перед глазами потомков, столь же далеких от него, как мы сейчас далеки от битвы при Куллодене<sup>[26]</sup>, саксонский король увидел свет, и его останки были перенесены на то место, где они покоятся до сего дня.

В период Реформации, во времена правления Генриха VIII, их снова переместили, но когда на престол взошла Мария, она возвратила останки обратно в усыпальницу. В последний раз гробницу короля потревожили при самых экстраординарных обстоятельствах. Эту историю Яков II поведал Джону Ивлину, и ее можно найти в «Дневнике» Ивлина — запись от 16 сентября 1685 года. Король сказал, что, когда разбирали помост после его коронации в аббатстве, один из хористов увидел отверстие в могиле Эдуарда и сунул туда руку. Он нащупал там кости, а среди них что-то твердое и металлическое. Это оказалось усыпанное драгоценными камнями золотое распятие на цепи.

Осознав, что держит в руках драгоценную священную реликвию, хорист испугался и сунул распятие обратно в отверстие. Потом уже, спустя некоторое время, ему пришло в голову, что кто-нибудь другой может прийти и украсть сокровище. Поэтому при первом же удобном случае хорист вернулся в собор, забрал распятие и показал архиепископу Йоркскому. В конце концов реликвия попала к Якову II в Уайтхолл, и король решил оставить ее у себя.

Согласно описанию, изданному в 1688 году, распятие выглядело как украшенный эмалью и драгоценными камнями реликварий в византийском стиле. Длина креста составляла 4 дюйма, на одной стороне — эмаль с изображением Крестных мук, а на другой —

бенедиктинец в монашеском одеянии. Цепь с продолговатыми звеньями насчитывала 24 дюйма в длину и крепилась к кресту с помощью круглой золотой головки, по краям которой свисало шесть золотых бусин.

Как известно, Якова ограбили в деревушке Февершем, когда он в первый раз пытался бежать из Англии, и более всего его расстроила потеря драгоценного распятия. Что же случилось с реликвией Эдуарда Исповедника потом? Никто не знает. Может быть, грабители переплавили его или уничтожили, а может, кто-то хранит его у себя по сей день. Неудивительно, что иногда так трудно пройти мимо какой-нибудь антикварной лавки... Но разве возможно, чтобы кто-нибудь сумел отыскать распятие, некогда лежавшее в могиле святого Эдуарда, а затем украденное у короля Англии на постоялом дворе, целых шесть столетий спустя?

### 3

Генрих III, который велел снести огромный норманнский монастырь Эдуарда Исповедника, а затем построил на его месте новое здание Вестминстерского аббатства, был одним из самых неумеренных транжир среди английских монархов. Ему умело помогала такая же расточительная, но при этом очаровательная и элегантная королева Элеонора Прованская, еще более искусная в придумывании новых налогов, чем ее муж. Однако Генрих был очень умен и отличался хорошим вкусом в архитектуре. Он также был, возможно, самым большим поклонником искусства из всех государей, когда-либо занимавших английский престол.

Генрих III был среднего роста и крепкого телосложения. У него был любопытный дефект внешности: одно веко всегда полуопущено и частично

закрывало глаз. Эта черта оказалась наследственной и передалась его старшему сыну, Эдуарду I. Генрих так сильно обожал свою жену, что готов был опекать и всех ее ненасытных родственников. При этом король отличался большой набожностью. Во время официального визита во Францию Генрих столь часто и так подолгу задерживался в пути, чтобы послушать мессу в придорожной церкви, что Людовик Святой, отчаявшись ускорить продвижение своего гостя, велел закрыть все церкви и соборы.

Генрих III жил в замечательную историческую эпоху, он был современником Данте, святого Франциска, святого Доминика, Роджера Бэкона, Бонавентуры и Дунса Скота. В это время архитектура, оторвавшись от массивных норманнских корней, будто обрела крылья. В период правления Генриха строились изысканные, утонченные церкви. Большая часть таланта, мастерства и изобретательности, которая сейчас распыляется среди тысяч профессионалов и специальностей, была целиком сосредоточена во власти Церкви. Сегодня, когда люди смотрят на Вестминстерский собор или на другое подобное здание, они часто произносят расхожую фразу: «И как же в те времена можно было построить такое?» Но следует помнить, что большая часть общей гениальности нации тогда вкладывалась именно в строительство церквей и соборов.

В ту эпоху люди начали больше задумываться о благоустройстве своей родины и своего дома. Уже угасали огни крестовых походов, Европа перестала растрачивать огромное количество энергии на завоевание Палестины. Начал зарождаться новый социальный класс. Говорят, что во времена правления Генриха III в Оксфорде собралось пятнадцать тысяч ученых мужей, которые жили где и как придется. Узнав об этом, лорд-канцлер Генриха велел основать колледж Мертон, где ученые и студенты могли жить и

продолжать свое образование. Так зародилась образовательная система колледжей и университетов.

Очевидно, что это время можно считать переходным периодом в истории Англии. Состоялось рождение нового мира, в котором далеко не последнюю роль играло Вестминстерское аббатство. Забавно, что Генриху III — сыну Иоанна Безземельного, отлученного от церкви за свои злодеяния, — суждено было стать благочестивым орудием в руках судьбы. Самым большим грехом Генриха в глазах современников была его неумная страсть к чужестранцам. И тем не менее, поскольку пути Господни неисповедимы, именно он стал создателем национальной святыни Англии. И хотя сам он об этом и не подозревал, Генрих III был первым по-настоящему английским монархом.

Генрих бесконечно почитал Эдуарда Исповедника и даже назвал в его честь своего старшего сына, с которого началась длинная династическая ветвь Эдуардов. Также Генрих был первым государем, который искренне гордился своим происхождением от саксонского святого, а не просто проявлял почтение к предку из соображений государственного патриотизма. Все это было знамением — настолько очевидным сейчас и настолько подспудным тогда, — возвещавшим рождение Англии. И ныне кажется почти реальным то, что сам Эдуард Исповедник назначил день и час этого великого события и сам выбрал человека, который должен был исполнить эту миссию. Когда Эдуард лежал на смертном одре перед самым началом норманнского завоевания, он говорил о «ветви, которая будет привита на зеленом древе». Всем, кто окружал его в ту минуту, эти слова показались бредом умирающего, но, возможно, это было пророчество, предсказание будущего союза саксов и норманнов, от которого родилось прекрасное дитя — Англия.

Есть интересный факт, характеризующий положение дел в Англии со времен норманнского завоевания и до прихода к власти Генриха III, — когда был разрушен норманнский монастырь в Вестминстере, в нем не было ни одной королевской усыпальницы, хотя он простоял почти два столетия. Вильгельм Завоеватель был похоронен в Каэне, в Нормандии, Вильгельм Рыжий — в Винчестере, Генрих I — в Рединге, Стефан — в Февершеме, Генрих II и Ричард I — в Фонтевро, во Франции, а Иоанн — в Вустере.

Когда Генрих III начал сносить массивное аббатство Эдуарда Исповедника в 1245 году, ему было тридцать восемь лет, и только 24 года спустя, когда ему уже исполнилось шестьдесят два, здание собора было почти закончено (за исключением западной части нефа) и Генрих смог наконец насладиться видом своего детища. Все двадцать четыре года, пока велось строительство, король лично следил за ходом работ. Он взбирался на леса и обсуждал планы и чертежи с мастером Генри, архитектором, с Джоном из Глостера, а затем с Робертом из Беверли, который пришел на смену Джону. Таким образом король создавал достойную, по его мнению, усыпальницу для Эдуарда Исповедника, на которого он сам был столь во многом похож, а также мавзолей дома Плантагенетов. Что бы сказал Генрих III, сумей он предвидеть тот день, когда не только Плантагенеты, но и Тюдоры, Стюарты и Ганноверы соберутся вокруг могилы короля Эдуарда? Если бы он только мог знать, что впоследствии все лучшие английские умы, мастера искусства и выдающиеся люди страны: поэты, художники, музыканты, писатели, политические деятели и ученые будут восхищаться его творением. Что придет день, когда паломники со всего мира придут сюда, чтобы постоять несколько минут в здании, где сосредоточен самый дух английского народа.

В октябре 1269 года на плечах короля, его брата и сыновей новый гроб с телом Эдуарда Исповедника перенесли в великолепную усыпальницу. Три года спустя Генрих III скончался и его похоронили в старом гробу Эдуарда перед высоким алтарем. И еще некоторое время оба основателя Вестминстерского аббатства лежали бок о бок под сенью великого собора.

#### 4

Недавно мне пришлось показывать Вестминстерское аббатство знакомому иностранцу. Вскоре я выяснил, что этот человек не имеет никакого представления об английской истории. Будучи гражданином ЮАР, он многое знал о многочисленных и второстепенных правителях из региона мыса Доброй Надежды и южно-африканской провинции Наталь периода девятнадцатого века, но практически не имел представления о великих мировых общественно-политических движениях и их основоположниках.

Поэтому сложно было решить, как показывать ему аббатство, правильно расставив при этом акценты. Я подумал, что лучше всего рассказать об истории возникновения монастыря, о святом Эдуарде, о Генрихе III, и постарался сделать это как можно интереснее. Приехав в аббатство, мы осмотрели могилу Неизвестного солдата и часовню возле нее, которая служит напоминанием о трагических событиях нашего времени — о гибели на войне миллиона молодых британцев; затем долго стояли, восхищаясь потрясающим видом от центрального нефа собора до его восточного окончания. Гость обрадовал меня, сказав, что это одно из самых прекрасных зданий, которые он когда-либо видел.

Я обратил его внимание на то, что замечают немногие, — западная оконечность нефа, где мы стояли, построена на два века позже, чем восточная часть, однако более ранний стиль архитектуры так точно скопирован, что трудно различить, где заканчивается работа времен Генриха III и начинается уже принадлежащая эпохе Ричарда II и Генриха V. Необычно здесь то, что строители более позднего времени работали не в том стиле, который был в моде, а намеренно копировали архитектуру прежних дней.

Потом мы направились к усыпальнице святого Эдуарда. Здесь я попросил своего друга обратить внимание, что гробница Эдуарда Исповедника располагается в центре придела, в окружении всех монархов Плантагенетов со времен Генриха III, за исключением двоих, похороненных в другом месте. Затем я отметил удивительный вид самого надгробия. Ничего подобного не существовало в аббатстве, да и во всей Англии. У него был настолько иноземный облик, как если бы это был памятник византийскому императору или Саладину, восточный стиль подчеркивался азиатским ковром, подвешенным над надгробием и маскирующим деревянное основание. Захоронение, не отличающиеся от тех, которые Эдуард Исповедник, должно быть, видел в древних мечетях в Турции.

Пока мы все это рассматривали, подошли две женщины и молодой человек, который хорошо поставленным голосом гида произнес, к моему удивлению: «Теперь полюбуемся надгробием Эдуарда Исповедника, которое настолько великолепно, что не нуждается в комментариях. Этот шедевр англосаксонского искусства...»

Однако, сказал я про себя, это столь естественно — ошибочно считать средневековый византийский шедевр англосаксонским. Искусство к англосаксам шло с



Востока. Насколько же молодой человек был прав и в то же время ошибался!

Не случайно создается впечатление, будто эта жемчужина византийского стиля просто перенесена с того места, где она изначально находилась, откуда-нибудь из средневекового Рима или Константинополя. Аббат Варэ, находившийся в Риме, когда строительство церкви приближалось к концу, вернулся в Англию с итальянскими рабочими, среди которых был Петер из семьи Космата, мастер по мозаике. Мы никогда не узнаем, попросил ли Генрих III аббата найти иностранного художника, который сумеет спроектировать усыпальницу духовного отца, или же сам аббат, побывав в церквях Святого Клементя, Святой Пракседы и Святой Пуденцианы, был так вдохновлен мозаикой, что его энтузиазм убедил короля нанять итальянцев. Но существует странный факт: по прошествии двадцати лет, познакомившись с лучшим в современной французской церковной архитектуре, Генрих III решил поместить главную драгоценность, для восхваления которой предназначалось величественное сооружение, внутри сокровищницы, столь же поразительной, как возглас «Kyrie Eleison!» посреди богослужения на латинском языке.

Усыпальница Эдуарда Исповедника стала одной из величайших чудотворных святынь Средневековья, каковой являлась и в более ранние, норманнские времена. Полагая, что паломники будут продолжать посещать надгробие, предусмотрели места для уединения, по три с каждой стороны и по одному с каждого конца, где могли преклонить колени те, кто пришел за исцелением к останкам святого Эдуарда.

Объяснив все это своему приятелю и увидев, что его интерес не исчез, я столкнулся с проблемой представления Плантагенетов, которыми мы были

окружены, человеку, у которого их имена не вызывали никаких ассоциаций.

— Возьмем, например, всех этих королей и королев в том порядке, в котором они были захоронены вокруг надгробия Эдуарда Исповедника, — предложил я. — Первый, разумеется, сам Генрих III. Давай подойдем и взглянем на его могилу.

Мы остановились у надгробия Генриха III и увидели бронзовое изваяние благородного расточителя, возлежащего перед нами. Носки элегантных туфель выступали из-под бронзовой королевской мантии.

— Пешком, — сказал я, — и босой, в монашеском облачении король шел от собора Святого Павла до аббатской церкви Святого Петра и держал над головой хрустальный фиал с каплей крови Спасителя, присланной ему из Иерусалима. Он шел под балдахином, и два епископа, по одному с каждой стороны, поддерживали его под руки. Так он прошел через благоговейно замолкшую толпу, падавшую ниц за его спиной. Потом говорили, что «он не сводил взгляда с Крови Христа и слезы катились из глаз его». Таков был человек, построивший эту церковь.

Затем мы подошли к надгробию, следующему после могилы Генриха, где покоилась королева Элеонора Кастильская, похороненная в аббатстве через восемнадцать лет после кончины своего свекра. Она была женой старшего сына Генриха, Эдуарда I. Надгробие изображало степенную и привлекательную женщину, волосы которой спадали по обеим сторонам лица из-под изящной короны. Левой рукой она прижимала к груди цепочку, обвивавшую шею.

— Ты слышал когда-либо о королеве, которая вместе с мужем отправилась в крестовый поход к Священной Земле и отсосала яд из раны, причиненной стрелой? — спросил я.

На лице гостя отразилось смутное воспоминание.

— Думаю, да, — ответил он.

— Так вот она — королева Элеонора Кастильская. Это память о ней увековечена на Чаринг-Кросс. Когда она умерла в Линкольншире, опечаленный Эдуард воздвиг двенадцать памятных крестов, по одному на каждом месте, где останавливался траурный кортеж на пути в Лондон. Деревня Чаринг стала последней остановкой. И обрати внимание на чугунную калитку, с чередой трезубцев на навершиях, похожих не то на языки пламени, не то на клумбу крокусов. Вечером в канун дня святого Андрея, в годовщину ее смерти, двести восковых свечей насаживают на зубцы, и они горят каждый год уже на протяжении двухсот лет.

Следующее королевское захоронение принадлежало мужу Элеоноры, Эдуарду I. Он покоем по другую сторону от Генриха III. Прошло семнадцать лет, прежде чем он последовал за супругой в могилу. Он вел войны с язычниками, валлийцами и шотландцами. Он изгнал из Англии евреев и продолжал устройство страны на английский манер, начавшееся при его отце. Он так часто пропадал на войне, что Элеоноре, для того чтобы хоть как-то с ним видеться, приходилось большую часть жизни проводить в военных лагерях. Ее дети рождались в самых разных, удаленных от тихой дворцовой жизни местах, один ребенок родился в Акре, в Палестине. Во время войны в Уэльсе, в могучем замке Карнарвон Эдуард встретился с валлийскими вождями, и те согласились покориться правителю, который не говорит ни по-английски, ни по-французски, полагая, что он назначит главенствовать одного из них. Но Элеонора уже нашла решение, и Эдуард, передав вождям своего трехмесячного сына, потребовал и получил почет, и таким образом появился первый принц Уэльский.

Когда старый воин лежал при смерти, он, услышав, что Роберт Брюс вышел на тропу войны, поднялся и приказал сыновьям не хоронить свои останки, а нести

через границу впереди английской армии. Эдуард также приказал, чтобы его сердце донесли до Святой Земли. Ни один из этих приказов выполнен не был.

В 1774 году его склеп вскрыли в присутствии членов Общества ревнителей старины. Выяснилось, что Эдуард Длинноногий, как его называли, был ростом шесть футов два дюйма. Он возлежал в королевской мантии, ноги прикрыты золотой парчой. Хорас Уолпол был возмущен, узнав, что настоятель церкви и капитул перезахоронили корону, мантию и украшения, найденные в гробнице.

«Определенно, ничуть не убыло бы благочестия от того, что их сохранили бы в сокровищнице, — писал он, — вместо того, чтобы оставить разлагаться в могиле».

По-видимому, и доктор Джонсон рассматривал все эти действия как святотатство.

— Теперь, — сказал я, — мы покинем королевские могилы и осмотрим на Коронационное кресло. Под сиденьем находится Скунский камень, который Эдуард I привез из Шотландии. Собственно, это кресло Эдуард соорудил специально ради него.

Мы тщательно, насколько это было возможно, осмотрели разбитую глыбу песчаника, типичный камень с северозападного побережья Шотландии. Сложно представить себе нечто, в меньшей степени похожее на священную реликвию; однако осмелюсь ли я утверждать, что не возникла подобная мысль у того, кто увидел бы Скунский камень среди прочих камней на берегу. Тем не менее благодаря чувству патриотизма этот камень стал одной из наиболее почитаемых и священных национальных реликвий. Легенда гласит, что существовала каменная плита, на которой Иаков отдыхал у Вефиля, потом она попала в Ирландию и стала Камнем Судьбы в Таре, грохотавшим как гром при приближении претендента на трон, не имеющего на него законных прав; впоследствии плита оказалась в

Шотландии и стала Коронационным креслом шотландских королей. Перевозя камень в Англию, Эдуард хотел показать этим, что сокрушил монархию на севере, и столетие за столетием Шотландия вела переговоры с целью получить камень обратно. Позднее, даже если короли и пожелали бы с ним расстаться, их подданные не позволили бы им этого сделать. Он стал, да и до сих пор остается залогом безопасности, своеобразным палладием британского народа. Шотландцы не мирились с потерей до тех пор, пока шотландский король Яков I не был наделен полномочиями короля Англии с помощью этого камня.

Можно не сомневаться в том, что, выиграв Гитлер войну, он забрал бы Скунский камень в Германию с той же самой целью, с какой Эдуард вывез его из Шотландии. Но врагу было бы достаточно сложно найти камень. В военное время настоятель Вестминстера вместе с аббатским землемером и рабочими втайне от всех спустились в склеп капеллы Ислипа и спрятали камень. Затем они тщательно уничтожили все следы своих действий. Схема с указанием местонахождения святыни была отправлена в надежное место на хранение в Канаду, и сразу после этого ее вестминстерскую копию уничтожили, так что никто в Англии, за исключением трех человек, спрятавших камень, не смог бы его найти. Только четыре человека в Канаде были посвящены в эту тайну: сэр Джеральд Кэмпбелл, представитель доминиона, премьер-министр, покойный ныне господин Маккензи Кинг, господин Грэм Э. Тауэрс, управляющий Банком Канады, и господин Рой, секретарь того же банка, в чьих тайниках хранилась схема. Когда эта романтическая история стала известна в Канаде после войны, торонтская «Globe and Mail» напечатала статью, где о местоположении капеллы Ислипа говорилось: «В графстве Оксфордшир, примерно в шести милях от Оксфорда, на территории, где на протяжении всей

войны не было бомбежек...» Но на самом деле речь шла о территории аббатства, всего на несколько ярдов севернее того места, где обычно находится Коронационное кресло. «Даже если бы Гитлер сюда добрался, он никогда бы его нашел», — написал мне архивариус в 1946 году.

Затем мы вернулись к королевским надгробиям и подошли с южной стороны к месту, где похоронена Филиппа, жена короля Эдуарда III. Ее изображение, очевидно достоверное, представляет нам пышную фламандку с милым, круглым, добродушным лицом. Она носила своеобразный нарядный головной убор, модный в четырнадцатом веке. И еще она была матерью Черного принца.

— Ты когда-нибудь слышал о жителях города Кале? — спросил я своего друга.

Он виновато ответил, что не слышал.

Я сказал ему, что он мог видеть копию скульптуры Родена «Горожане Кале», которая — возможно, потому, что была лучшим произведением подобного рода в Лондоне, спрятана за палатой лордов в садах около башни Виктории, недоступная случайным взглядам.

— Это та самая королева, — пояснил я, — которая, когда ее муж уничтожил часть гарнизона города Кале при осаде, упала на колени и стала умолять сохранить жизни шести горожан, что, в лохмотьях и цепях, пришли к нему с ключами от города.

Хотя могущественный монарх не всегда был образцом верности, Филиппа на своем смертном ложе, как записано у Фруассара, попросила его пообещать, что он будет покоиться бок о бок с ней под сенью монастырской ограды Вестминстерского аббатства.

Ее пожелание не было соблюдено в точности, то есть Филиппа и Эдуард лежат не бок о бок — это было бы невозможно в таком ограниченном пространстве, — но он находится настолько близко к ней, насколько это

возможно. Он был одним из величайших Плантагенетов, великий король великой эпохи. Его современниками были Чосер, Гауэр, Мандевилль и Уиклиф. Среди геральдических щитов со стороны его надгробия есть один, на котором львы Англии соседствуют с лилиями Франции, — щит, символизирующий всю его жизнь. В его честолюбивые замыслы входило носить корону как Франции, так и Англии, и он бросал на континент многочисленные войска, причем отцы этих воинов обучались военному ремеслу в горах и на границах Уэльса и Шотландии. В результате возникла угроза для феодального рыцарства Франции при Креси и Пуатье. Каждый школьник, останавливаясь у этого надгробия, должен вспомнить историю о том, как повел себя король, который наблюдал битву при Креси с небольшого холма, когда его сын, Черный принц, будучи в то время пятнадцатилетним мальчиком, оказался прижат к передней линии боя. «Пусть мальчик заработает свою победу», — сказал Эдуард III, отказавшись отправить ему подкрепление.

Через тридцать лет смерть сына, одержавшего свою победу при Креси, разбила сердце старого короля. Он повернулся лицом к стене и скончался. Его конец был, возможно, более печален, чем смерть любого короля, не погибшего при трагических обстоятельствах или на поле брани. В последние годы жизни он полностью находился под властью чар одной из приближенных королевы, Алисы Перрерс. Эта женщина, чье влияние на Эдуарда объясняли колдовством, была описана враждебно настроенным современником как не имевшая ни внешней, ни внутренней красоты, но способность ее языка к лести восполняла подобные недостатки. Всемогущий паладин умер в Шине, оставленный всеми своими друзьями, и говорят, что Алиса Перрерс сняла кольца с его остывающих пальцев, перед тем как исчезла в коридорах дворца.

Портрет Эдуарда III представляет большой интерес — предполагают, что это слепок с посмертной маски. На нем изображен печальный старик с озабоченным морщинистым лицом. В этом грустном и вызывающем жалость одиночестве ничто не напоминает о могущественном победителе при Креси и Пуатье.

Еще одно надгробие завершает ряд королевских захоронений, сгруппированных вокруг Эдуарда Исповедника, и принадлежит Анне Богемской, которая умерла в 1394 году, и ее мужу, Ричарду II, последовавшему за ней спустя пять лет. Король, отмеченный трагической судьбой, и его молодая жена изображены вместе; они держались за руки, пока их фигуры не были повреждены во времена Республики.

Ричард, обожавший Анну, обезумел от горя, когда она умерла в возрасте двадцати восьми лет, по всей вероятности, от чумы. Он повелел, чтобы на ее надгробии их изобразили вместе, что и осуществили при его жизни, поэтому он, должно быть, часто видел это странное надгробие, где сам лежал, словно мертвый, сжимая руку своей любимой королевы.

Его печаль была столь безгранична, что он наложил проклятие на дворец Шин, где Анна умерла, и приказал сравнять с землей комнаты, где протекала ее недолгая болезнь. Обезумев от горя во время ее похорон, король выхватил жезл из рук сопровождающего и с такой силой ударил Ричарда, графа Арундела, который оскорбил его, что граф упал на землю и залил святое место кровью. Заупокойная торжественная месса была приостановлена и не возобновлялась до тех пор, пока однажды летней ночью аббатство не было очищено. Счастье Ричарда началось и закончилось вместе с Анной. Она умела смирять его буйный нрав, давала ему хорошие советы, без нее он совершал промахи один за другим, и, когда появился Болингброк с требованием короны, отречение



Ричарда, а возможно, и его убийство, были уже predetermined.

Тем не менее ходило столько слухов о том, что король скрылся в Шотландии, что Болингброк приказал доставить тело из замка Понтефракт в Лондон с открытым для всеобщего обзора лицом. Таинственная процессия проследовала ночью в южном направлении, рыцари и монахи сжимали факелы, пламя освещало похоронные дроги, запряженные четырьмя лошадьми в черных попонах, которые везли тело свергнутого короля. Напуганные горожане и крестьяне, наверное, с трепетом выглядывали из дверей, слышав процессию. Тело было выставлено на несколько часов на Чипсайд, и к нему поочередно подошли двадцать тысяч лондонцев, чтобы собственными глазами увидеть, что Ричард II мертв.

Его похоронили в обители Лэнгли и переместили в аббатство примерно четырнадцать лет спустя, при Генрихе V. Действительно ли это был он, а не другой человек, которого — жуткое предположение — поместили в могилу рядом с обожжаемой Ричардом Анной? Искренне хотелось бы верить, что это вправду Ричард, но настоятель Стэнли, присутствовавший при открытии склепа в 1871 году, писал: «Действительно ли король собственной персоной покоится в гробнице, подлежит серьезному сомнению». Исследователи обнаружили в захоронении два почти целых скелета, мужской и женский, но пропали короны, а они как будто должны были там быть. Остались королевский жезл, скипетр, часть державы, две пары королевских перчаток и фрагменты остроконечных туфель. Станным чужеродным объектом была пара стальных ножниц, помеченных эмблемой французского королевского дома (геральдическая лилия), очевидно, оставленных по забывчивости рабочим, когда могила снова запечатывалась во времена Генриха V.

Должно быть, тем, кто читает отчеты о вскрытиях склепов в аббатстве, не может не приходиться на ум вопрос, каким образом получается так, что многие кости в скелетах отсутствуют. Возможно, следующее письмо, отправленное настоятелю Стэнли, разъяснит это обстоятельство.

Приход Вудхем, Рочестер  
30 июня 1873

Может быть, вам будет любопытно узнать, что мой дедушка, Джерард Эндрюс, впоследствии декан Кентерберийский, в 1776 году увидел, как вестминстерский послушник запустил руку в могилу Ричарда II и вытащил нижнюю челюсть короля. Мой дедушка отобрал кость у мальчика, и теперь она находится у меня. Я неоднократно показывал ее медикам, которые говорили, что это нижняя челюсть мужчины в расцвете сил. Сохранились два зуба. На карточке, прикрепленной к кости, написано (почерк моего дедушки, Джерарда Эндрюса): «Челюсть короля Ричарда II, вынутая из его гроба послушником из Вестминстера, 1766 год». Мой дедушка и сам был служкой в аббатстве, в то время шестнадцатилетним, так как родился он в 1750 году.

Чарльз Джерард Эндрюс

Через те же трещины и, несомненно, теми же способами были изъяты из королевских захоронений варганы (щипковые музыкальные инструменты), сломанные стеклянные и табачные трубки и многие другие примечательные вещицы. К счастью, в наши дни все надгробия запечатаны и описаны в малейших деталях. Теперь владельцы находок, подобных упомянутому в письме, в соответствии с правилами

хорошего тона должны вернуть эти вещи в аббатство. При установлении подлинности находки требуется королевское разрешение, чтобы вскрыть могилу и заменить предмет. Перед самой своей смертью епископ де Лабильер сказал мне, что надеялся получить разрешение вскрыть надгробие Элеоноры Кастильской и заменить кость, перешедшую к нему во время войны.

## 5

В Вестминстерском аббатстве есть место, где человек может стоять, будто бы на небольшом холме, и смотреть одновременно в прошлое и в будущее. Это прекрасная часовня короля Генриха V. Удаляясь от усыпальницы Эдуарда Исповедника, вы обнаружите победителя при Азенкуре возлежащим в гробнице, поднятой на несколько футов выше уровня захоронений. Оглянувшись, вы увидите Плантагенетов, полукругом расположившихся вокруг Эдуарда Исповедника, как вокруг главы семьи, а впереди находятся ступени, которые ведут вниз к капелле Генриха VII, где покоятся Тюдоры и Стюарты.

В приподнятом склепе возлежит Генрих V, который связывает эпоху рыцарства и галантности и Новое время: с одной стороны люди, которые мечтали о христианском королевстве в Иерусалиме; с другой — те, кто внес свой вклад в финансирование открытия Америки. Я не знаю ни одного места в аббатстве, где человек, интересующийся историей своей страны, может провести время с большей пользой.

Здесь прерывается цепочка королевских захоронений. После похорон Генриха в 1422 году торжественная процессия умерших королей приостановилась на восемьдесят семь лет. Это время войн Алой и Белой розы. Генрих VI и Эдуард IV были

похоронены в Виндзоре, Ричард III — в Лестере, а следующим после Генриха V королем, которому предстояло упокоиться в аббатстве, был Генрих VII, первый Тюдор, основатель новой династии и предвестник новой эпохи.

Завещание Генриха V, составленное в третий год его правления, подтверждает, что он внимательно изучил переполненные часовни со склепами вокруг гробницы Эдуарда Исповедника и понял, насколько сложно было бы занять даже несколько футов земли, не затронув при этом прах умерших королей и королев. Проблема была решена следующим образом — священные останки были перемещены из восточной части гробницы Эдуарда Исповедника, и на освободившемся месте построили новый придел. Генриху V было всего тридцать четыре года, когда он скончался в Буа-де-Венсен, то ли от плеврита, то ли от дизентерии. Его власть была крепче, чем у всех предшествующих английских монархов, поскольку он был королем и Франции, и Англии. Такие города, как Париж, Руан и Лондон, оспаривали честь стать местом последнего упокоения Генриха V, и говорят, что французы предлагали большую сумму денег с тем, чтобы король был похоронен именно во Франции. Но даже если прежде о его желаниях ничего не было известно, то из завещания стало ясно, что он должен покоемиться именно в Вестминстерском аббатстве.

Похоронная процессия в две мили длиной двигалась через Францию до Кале. Убитая горем королева Екатерина Валуа по прошествии менее двух лет замужества привезла тело своего мужа обратно в Англию, когда ей едва исполнился двадцать один год. Процессия медленно миновала рубеж Кента и пересекла Лондонский мост. Четыре лошади в черных пополах тащили катафалк с гробом, на крышке которого можно было разглядеть изображение увенчанного короной Генриха, сделанное из вареной кожи, раскрашенное и

декорированное таким образом, что оно выглядело очень натурально. На портрете король возлежал на ложе, покрытом малиновым шелком, одетый в пурпурную мантию с горностаевой каймой, в правой руке он сжимал скипетр. Это был первый случай, когда на королевских похоронах можно было увидеть изображение умершего. Катафалк окружала почти тысяча факелоносцев, одетых в белое, а позже присоединились представители родовой знати Англии и Франции. Пока растянувшаяся процессия с рыданиями следовала по улицам Лондона, горожане стояли в дверях своего дома, держа зажженные свечи.

Гроб поставили перед главным алтарем собора Святого Павла, где отслужили заупокойную мессу в присутствии членов парламента. В последний путь в Вестминстер короля сопровождалось пять сотен тяжеловооруженных всадников на черных лошадях, в черном снаряжении, со снятыми шпорами; катафалк везли три любимых боевых коня. Затем следовали представители знати, которые несли королевские знамена, баннереты (рыцарские штандарты) и вымпелы.

Кортеж двигался вверх по Флит-стрит и Стрэнду к Чаринг-Кросс, оттуда к Вестминстеру, где настоятель и монахи аббатства ожидали его прибытия. Королевский гроб поставили перед усыпальницей Эдуарда Исповедника, лошадей, которых направляли вооруженные рыцари, вывели, и Генриха положили во временном склепе, до тех пока не будет построена капелла, описанная в его завещании.

Изысканная резьба нового придела была новшеством для аббатства. Она повествует о жизни короля: мы видим коронацию, видим, как, полностью экипированный, окруженный знатью, Генрих восседает на своем боевом коне на полях сражений во Франции. Это биография, запечатленная в камне. Его надгробие было и до сих пор остается самым

персонифицированным из всех королевских усыпальниц. Наверху над склепом все еще висит шлем Генриха, его седло и щит, сейчас, увы, обветшалые, потрепанные, с осыпавшейся краской и позолотой, с потускневшим бархатом; впрочем, очень приятно, что все эти предметы до сих пор находятся на своих местах. Последним штрихом является надгробное изображение короля. Оно было вычеканено из драгоценных металлов на дубовой крышке. Голову сделали из цельного куска серебра, зубы — золотые. В настоящее время мало что осталось, поскольку композиция была разграблена во время ликвидации монастырей.

Прекрасная и оригинальная по архитектурному решению капелла предназначалась для того, чтобы молящиеся у гроба могли сосредоточиться на горячих просьбах к Господу помиловать душу короля. Это было спланировано Генрихом в самом начале его правления столь же тщательно, как он спланировал битву при Азенкуре. Сегодня перед нами выдающаяся часовня, но было время — еще до постройки, — когда она существовала только на бумаге как хорошо продуманный план великого организатора и практика. Для того чтобы служить в часовне и петь тысячи месс, определенных Генрихом для успокоения его собственной души, понадобилось увеличивать численность братии и создавать своего рода специальную организацию, призванную исключительно служить в приделе. Было бы разумно предположить, что, пока тело покойного пребывало во временном захоронении, строительство курировала его вдова, Екатерина Валуа, «сладчайшая Кейт» из шекспировской пьесы.

Хотелось бы мне знать — что правда из того, что говорят об этой женщине? Генрих так сильно ее любил — «красавицу с золотыми локонами» — на протяжении их краткосрочного двухлетнего брака; однако потомки

обошлись с ней жестоко и даже выражали презрение к ее беспомощному телу, которое веками было выставлено в аббатстве, уязвимое выше талии, наполовину мумия, наполовину скелет, доступное любому вульгарному взгляду и оскорблению простолюдинов, как это сделал Пипс, который с бесчувственной грубостью поцеловал ее в губы и хвастался в своем дневнике, что имел возможность «поцеловать королеву». Тело не было должным образом захоронено до правления королевы Виктории.

Причина того, что Екатерина лишилась милости, столь же загадочна, как и романтична. Примерно через пять или шесть лет после смерти Генриха — ей тогда, возможно, еще не было тридцати лет — она безумно влюбилась в красивого и бедного молодого валлийца, имевшего более низкое положение в обществе по сравнению с ней. Это был Оуэн Тюдор, ее придворный. Об этом романе мало что известно, но, несомненно, удивительно, что столь эффектный скандал, очевидно, не вышел за границы дворца в течение тех шести лет, когда Екатерина и Оуэн Тюдор жили вместе.

За это время вдовствующая королева родила своему любовнику трех сыновей и двух дочерей, законнорожденных или внебрачных — неизвестно. Сыновьями были Эдмунд Тюдор и Джаспер Тюдор, а третий стал монахом, жил и умер в Вестминстерском аббатстве. Естественно, эта любовная связь встретила жесткое порицание со стороны двора. В конце концов Екатерина уединилась в аббатстве Бермондси, где вскоре умерла, оставив трогательное завещание своему сыну, Генриху VI, в то время пятнадцатилетнему мальчику. Тюдор был сослан в Ньюгейтскую тюрьму, из которой бежал, был возвращен обратно, бежал во второй раз, благоразумно обретя по этому случаю укрытие в родных горах.

Когда Генрих VI достиг совершеннолетия, он сделал все, что было в его силах, чтобы помочь любовнику своей матери и оказать покровительство двум своим сводным братьям. Благодаря ему появились Эдмунд Тюдор, граф Ричмонд, и Джаспер, граф Пемброк. Под влиянием короля Эдмунд женился на Маргарет Бофорт, дочери герцога Сомерсета. У них родился единственный сын, Генрих, первый Тюдор на троне, ставший впоследствии Генрихом VII, отцом Генриха VIII и дедом Елизаветы.

Несчастливая Екатерина Валуа, возможно, оскорбила чувства своего времени, но никто не в состоянии был предвидеть, что ее союз с прекрасным валлийцем ознаменует расцвет английской нации. Что бы сказали те люди, которые охотились за Оуэном Тюдором в аббатстве, пытались поймать его в вестминстерской таверне и в итоге заточили в тюрьме, если бы знали, что однажды вся Европа преклонит колени в глубоком уважении и благоговении перед величием его праправнучки Елизаветы?

Конец Тюдора был столь же бурным, как и его появление в английской истории. Он спокойно жил на своей земле в Уэльсе, но наступил день, во время войны Алой и Белой розы, когда он присоединился к валлийским сторонникам короля и принял участие в этой несчастной войне, открыто сражаясь на поле боя. Его взяли в плен у Мортимер-Кросс и отрубили голову на рыночной площади в Херефорде. Говорят, какая-то сумасшедшая забрала эту голову себе, причесала, умыла лицо и окружила кольцом из зажженных свечей.

К востоку от капеллы Генриха V, на несколько ступеней ниже пола собора, находится часовня



Генриха VII. Во многих отношениях новый придел — наивысшая точка развития архитектурных стилей Вестминстерского аббатства. Невозможно сравнивать часовню с окружающими ее склепами, и не нужно, поскольку это кульминация семи веков строительства.

Капелла — один из прекраснейших в мире образцов тюдоровской готики. Когда вы стоите у входа в часовню и смотрите на алтарь и навверх, на потолок, подобный сталактитовой пещере в раю, кажется, что вы попали в такое место, где камень перестал подчиняться законам гравитации. Камень, который бывает столь уродливым и трудно поддающимся обработке, здесь нарезан на тысячи воздушных кусочков, отражающих свет, так что все сооружение кажется скорее парящим в воздухе, нежели стоящим на земле. Так же как Парфенон, который выглядит подобно птице, готовой воспарить в небо, капелла Генриха VII вызывает ощущение неизбежности полета.

Здесь возникает поразительное чувство легкости и покоя, чувство, которое священные места вызывают в сознании у некоторых людей, будто призрачная рука ласково дотрагивается до губ. Однако я уже слышу так называемого юмориста (а они часто посещают различные достопримечательности), осмелившегося расхохотаться в этой капелле. В какой-то момент, если долго смотреть на украшенные геральдическими символами рыцарские знамена (знамена кавалеров ордена Бани), развешанные над украшенными резьбой креслами, можно как наяву услышать звук трубы; а если взглянуть на торжественно изогнутые арочные своды, на паутину окон, на каменные кружева потолка, на святых и мучеников в нишах, может показаться, что грегорианский хорал обратился в камень. Здесь замерла ускользающая красота эпохи религиозных войн.

История основания этого придела так же уникальна и так же интересна, как почти все в аббатстве. Она

логически связана с прошлым, как и все остальное в церкви, и представляет собой очередной шаг вперед в непрерывном движении истории.

В восточной части капеллы сквозь решетку можно рассмотреть надгробное изображение короля Генриха VII, покоящегося рядом с Елизаветой Йоркской. Жесткий, мудрый, приверженный к мирским благам король, основавший династию Тюдоров, выглядит более похожим на епископа или даже на протестантского наставника, чем на государя — как его часто изображают, — выигравшего битву при Босуорте и вырвавшего корону из куста боярышника. Он лежит в мантии, подобно священнику, и в биретте (головном уборе католических священников) на голове. На смертном одре он выглядит скромнее многих королей, хотя и был одним из самых великих среди них.

Если только вы не считаете, что правда всегда на стороне силы, то согласитесь, что этот внук Оуэна Тюдора и Екатерины Валуа имел самые незначительные основания претендовать на трон. Многие вожди, имевшие лучшие шансы, были уничтожены во время войн Алой и Белой розы. Генрих обосновывал свое требование тем, что он праправнук Джона Гонта, и для подкрепления своих притязаний женился на Елизавете Йоркской, старшей сестре принцев, убитых в Тауэре. Возможно, он мечтал о кровном союзе между Алой и Белой розами и, следовательно, об окончании ужасной гражданской войны, так долго раздиравшей Англию на части.

Политика Генриха, которому на протяжении многих лет угрожали претенденты на трон, заключалась в том, чтобы любым возможным способом поддерживать связь с ланкастерской династией. Около двадцати лет назад его дядя, несчастный Генрих VI, сын великого Генриха V и Екатерины, был убит в Тауэре. Это был добрый, кроткий человек, страдавший меланхолией, граничащей

с безумием. Как жаль, что его отец не смог справиться со своим королевством и покончить с войной Алой и Белой розы. Однако после смерти Генрих был причислен к лику блаженных, и говорят, что на его могиле в Чертси происходили чудеса. После смерти он стал намного более известным и любимым, чем когда-либо при жизни. Его тело переместили в Виндзор, где чудеса продолжались.

Таков был этот бедный, несчастный, замученный до смерти король, в честь которого, как, между прочим, и в свою собственную честь, Генрих VII принял решение построить капеллу. Он хотел перенести останки из Виндзорского замка в аббатство и воздвигнуть усыпальницу, которая могла бы соперничать с гробницей Эдуарда Исповедника. В центре капеллы планировалось место упокоения его «блаженного дяди», с тем чтобы со временем вокруг него собрался весь королевский дом Тюдоров. У папы римского испросили разрешение на канонизацию Генриха VI, и нет сомнений, что «святой Генрих» оказался бы в аббатстве, если бы Генрих VII согласился принять на себя финансовые обязательства.

Но ничего сделано не было. Бедный Генрих, мечтавший быть похороненным в аббатстве, потративший столько времени на то, чтобы измерить свободное пространство поблизости от Эдуарда Исповедника, стараясь найти уголок для себя, мягко постукивая по плитам посохом и робко отказываясь беспокоить останки ушедших монархов, остался в Виндзоре. И на месте, изначально предназначавшемся для «святого Генриха VI», очутился по прошествии лет основатель капеллы.

Скульптора, создавшего превосходный надгробный памятник Генриху VII и Елизавете Йоркской — наиболее величественное надгробие в аббатстве, — звали Пьетро Торриджиано. В молодости, вместе с другими юными

гениями, он изучал искусство во Флоренции, в эпоху правления Лоренцо Великолепного. Бенвенуто Челлини, с которым будущий скульптор дружил, вспоминал, что именно Торриджиано ударил Микеланджело по носу и след от удара сохранился на всю жизнь. Торриджиано много лет провел в Англии, работая для Генриха VII и потом для Генриха VIII; говорят, что он жил на старом Лондонском мосту. Торриджиано не только обогатил Англию рядом гениальных произведений, он еще изображал лица многих англичан в моменты ярости — в своих письмах он отзывался об англичанах как о «медведях». Во время одного из посещений Флоренции он пытался убедить Бенвенуто Челлини поработать на Генриха VIII, но Челлини, который определенно был не робкого десятка и никогда не избегал столкновений, очевидно, счел предложение своего друга чрезмерным: мол, он не желает жить среди «таких скотов, как эти англичане». В одном из гробов Торриджиано, изготовленном для кардинала Уолси, покоится в соборе Святого Павла адмирал Нельсон.

Особенностью капеллы Генриха VII, отличающей ее от более ранних королевских гробниц, является система подземных сводчатых склепов. Святой Эдуард, Плантагенеты, предшествующие им короли и королевы, — все похоронены в саркофагах, выступающих над уровнем пола. В новом приделе гробы впервые опускаются под землю. Какое собрание представляют они собой: Тюдоры, Стюарты и один представитель Ганноверской династии.

Кроме склепа Генриха и Елизаветы Йоркской наибольший интерес представляют собой гробницы королевы Елизаветы в северной части капеллы и Марии, королевы Шотландии, с южной стороны. В обеих есть скульптурные изображения королей, отлитые с посмертных масок. Вид Елизаветы не противоречит описаниям, сделанным современниками в последние

годы ее жизни: с большим носом, надменным выражением лица, в хорошо подобранном парике и с крупными жемчугами на шее, жесткий гофрированный воротник чопорно поднят, тело плотно затянуто в корсет, роскошная мантия наброшена сверху, держава в левой руке, в правой — скипетр, который время от времени похищали, а власти аббатства терпеливо восстанавливали. Ниже, под темным сводом Елизавета, дочь Анны Болейн, лежит бок о бок с Марией, дочерью Екатерины Арагонской.

Мемориал Марии Стюарт у противоположной стены капеллы, возможно, более величествен, чем памятник Елизавете; вероятно, так и было задумано Яковом I. При свете факелов он перенес тело своей матери из Питерборо, где ее похоронили после казни в Фодерингхей, и с королевскими почестями предал ее прах земле в аббатстве. Пока гробница строилась, тело Шотландки временно поместили рядом со склепом Елизаветы, только кирпичная стена разделяла двух королев, никогда не встречавшихся при жизни. Если судить по скульптурному изображению, Мария Стюарт была высокой женщиной — около шести футов ростом; ее руки молитвенно сложены, на голове французская кружевная шляпка, гофрированный круглый воротник, вышитый корсаж, тело задрапировано меховой мантией, фигура развернута ногами в сторону вставшего на дыбы коронованного льва.

В склепах часовни покоятся также Яков I и Анна Датская, Карл II, королева Анна и принц Георг Датский, Вильгельм и Мария, а также Георг II и королева Каролина. Так история этого выдающегося некрополя, берущая начало от саксонских святых, захороненных столь давно, приближается к современности.

Королевские склепы открывались несколько раз — либо для того, чтобы устранить какие-либо проблемы,

либо случайно, в процессе ремонта и реконструкции церкви. Наиболее интересный, но в высшей степени жуткий отчет об этих вскрытиях содержится в труде настоятеля Стэнли «Памятники Вестминстерского аббатства». В 1867 году во время установки отопительной системы под плитами капеллы обнаружили пять ступеней, ведущих в низкий сводчатый склеп, все пространство которого было занято пятью гробами, соприкасавшимися друг с другом. Они принадлежали Карлу II, Марии II, Вильгельму III, принцу Георгу Датскому и королеве Анне.

На следующий год хотели найти гроб Якова I, место захоронения которого неизвестно. Было совершено несколько неудачных попыток. Один склеп, где, как предполагалось, он мог находиться, оказался занят телом Элизабет Клейпол, любимой дочери Оливера Кромвеля! Другой содержал огромный свинцовый ящик, шесть футов семь дюймов в длину, который оказался гробом Анны Датской и наглядным свидетельством правдивости рассказов о ее необычайном росте. Исследователи, поставленные в тупик мертвым Яковом — этот король любил сбивать с толку и при жизни, — наконец пришли к выводу, что король мог пожелать быть похороненным с матерью, и решили внимательно изучить склеп Марии, королевы Шотландской.

Непосредственно под монументом находится мощный кирпичный свод двенадцати с половиной футов в длину, семи футов в ширину и шести футов в высоту. «Склеп представляет собой ужасающее зрелище, — пишет Стэнли. — Свинцовые гробы беспорядочно свалены на полу: некоторые из них стоят вертикально, большая же часть, различаясь по размеру от гроба для почти совершеннолетнего отрока до младенческого, лежит друг на друге, в то время как несколько погребальных урн разнообразных форм раскатились по всему склепу...

Первым объектом, привлечшим внимание, стал гроб в северо-западном углу, повторяющий форму человеческого тела. Несомненно, это не кто иной, как Генрих-Фредерик, принц Уэльский, старший сын Якова I, который умер от брюшного тифа в возрасте восемнадцати лет. С той стороны, где голова покойного, на свинце очертания его лица, руки и ноги обозначены вплоть до кончиков пальцев. На уровне груди припаян сундучок, очевидно, содержащий сердце, а ниже инициалы принца Уэльского и дата его рождения — 1612 год. В результате разрушения гроба очертания фигуры на крышке несколько деформированы, и вид у него мрачный, но, очевидно, изначально юноша выглядел как живой — тщетная попытка воскресить облик оплаканного наследника, подававшего такие большие надежды».

Далее вдоль северной стены нашлось два гроба, сильно сплюснутых и деформированных из-за веса четырех или пяти гробов меньшего размера, наваленных сверху. Согласно свидетельствам Крулла верхний принадлежал Марии, королеве Шотландской, нижний — Арабелле Стюарт. Но последующее, более позднее исследование привело к опровержению этого заключения и даже к обратному мнению. Ни на том, ни на другом гробе не смогли найти именных табличек. Но верхний был сильнее разбит, так что кости и череп, откатившийся в сторону, были отчетливо видны, что подтвердило мнение Крулла по поводу местонахождения Арабеллы Стюарт. Нижний гроб выпачкан смолой и сильно прижат сверху, но свинец не прогнулся. Он выглядел более прочным и следовал очертаниям тела, что полностью соответствовало традициям эпохи Марии Стюарт.

Вокруг останков Марии, королевы Шотландской, скопились свидетельства семейных трагедий династии Стюартов. Обнаружили десять младенцев Якова II и

Марии Моденской («инфант умирал за инфантом, если бы они все выжили, вопрос сохранения рода не стоял бы») и восемнадцать крошечных гробиков с детьми королевы Анны, «которой единственной потребовался такой гроб, в коий поместился бы ребенок». Прежде чем покинуть склеп, исследователи навели порядок и поместили «маленьких беспризорников и бездомных членов королевской семьи» в расчищенное пространство у ступеней.

Затем тщетно искали Якова I в гробнице Елизаветы, где великая королева и ее единокровная сестра Мария одиноко лежат в темноте. Вскрыли могилу молодого Эдуарда VI и, в качестве последней попытки, центральный склеп основателя капеллы, Генриха VII, где вместо двух гробов, которые предполагали найти, увидели три, стоящие рядом. В третьем гробу и обнаружился Яков I. Каким образом первый из Стюартов оказался рядом с первым Тюдором, хотя их разделили сто шестнадцать лет, — навсегда останется неизвестным.

Отлично вписываясь в окружающее пространство, центральная часть апсиды капеллы, которая изначально предназначалась для чудотворных останков святого Генриха VI, так там и не появившихся, в наше время посвящена современному чуду — мемориалу Королевских ВВС с витражом «Битва за Британию».

Придел, пострадавший во время налетов, чтит память тысячи четырехсот девяноста семи пилотов и членов экипажей, погибших во время боев. «Список доблести» состоит из тысячи трехсот фамилий летчиков из Великобритании и колоний, сорока семи канадцев, сорока семи новозеландцев, двадцати четырех австралийцев, семнадцати южноафриканцев, тридцати пяти поляков, двадцати жителей Чехословакии, шести бельгийцев и одного американца. Отличительная черта этого уголка аббатства — уникальный витраж. На нем



изображены небожители, встречающие души попавших в рай. Свет четырех прожекторов падает на командира эскадрильи, склонившегося перед младенцем Христом; офицера, преклонившего колени перед Богородицей, которая держит мертвое тело Христа; механика, преклонившего колени перед распятым Спасителем, и бортстрелка перед видением воскресения.

Остальное пространство великолепного витража занято Королевским знаменем Англии, эмблемой военно-воздушных сил Великобритании, флагами объединенных наций и отличительными знаками шестидесяти трех боевых эскадрилий ВВС Великобритании, принимавших участие в боях в небе над Англией.

Так капелла, созданная для короля, умершего почти пять веков назад, стала мемориалом героизму молодых летчиков, спасших Британию в наиболее тяжелый период ее истории.

## 7

Прогуливаясь по аббатству, нельзя не уделить внимание могилам великих людей со времен Чосера до наших дней. Я посетил «Уголок поэтов» — самое, пожалуй, популярное место в аббатстве — и навестил могилы, где государственные деятели, солдаты, изобретатели и исследователи похоронены в тесной близости друг к другу. Я побывал на общей могиле Томпиона, часовых дел мастера, и его партнера Джорджа Грэма, столь же великого производителя наручных и прочих часов. А упомянул я о них потому, что у меня в кармане в этот момент, как обычно, лежали чудесные золотые часы, показывающие абсолютно точное время, если только я не забываю их заводить каждые двадцать четыре часа, — часы, изготовленные Грэмом в 1735 году.

Я достал их из кармана и слушал, как они отсчитывают каждую ускользящую секунду над покоящимся в могиле прахом человека, который создал их такими точными и красивыми более двух веков назад. Судьба распорядилась так, что, пока рушились империи и исчезали целые поколения, небольшое устройство, состоящее из тоненьких колесиков и пружин, сохранялось невредимым, и человек другой эпохи использовал его с той же самой целью, для которой оно изначально предназначалось, и по прошествии всего этого времени ему суждено было тикать над могилой своего создателя.

Продолжая двигаться вперед, я подумал о том, какой любопытный учебник о человеческом горе и эмоциях всей нации можно было бы создать, описывая памятники Вестминстерского аббатства. Вы задумывались когда-нибудь о том, что традиционно является причиной горя, и о том, насколько узка грань между пафосом и пошлостью? В прошлом горе было холодным, благородным и строгим: за покойного молились, будучи уверены в его воскресении. Идея проста и ясна. Традиция изображать умерших сохранялась веками, и в итоге их начали изображать сидящими. Это была энергичная, жизнелюбивая, материалистичная протестантская елизаветинская эпоха, когда к мертвым относились как к живым — странное отрицание неоспоримого факта.

Подобная поза на могильной плите на удивление нелепа. Все началось с того, что елизаветинских матрон, носивших гофрированные круглые воротники и широкие юбки, заставили застыть в невообразимых позах, опереться на один локоть и поддерживать рукой голову. Немного позже мы увидим современников елизаветинской эпохи в слегка облегченных положениях, будто они прилегли вздремнуть днем. Затем наступает период, когда ушедшие предстают

перед нами коленопреклоненными — не статичные, онемевшие, как молящиеся Плантагенеты, но такие же естественные, как в жизни: муж смотрит на жену, ниже скульптуры их детей, мальчики с одной стороны, девочки — с другой.

Однако во времена Стюартов модой стал возврат к более ранней традиции. Теперь мертвых изображали лежащими на спине со сложенными в молитве руками, но незатейливость позы уравнивалась пространством огромных храмов и гробниц эпохи Возрождения над ними. Дальнейшее же развитие погребальной архитектуры естественным образом приводит нас к несколько безрассудному и полному энтузиазма стилю георгианской эпохи.

В период Просвещения и рационализма скульптуры выдающихся людей ни в коем случае не демонстрировали утрату жизненной энергии. Если перед нами надгробие пэра королевства, он изображен при полном параде, произносящим речь или делающим шаг вперед со свитком, указом, книгой в руках. Но и этого недостаточно. В качестве телохранителей его должны сопровождать плачущая Британия или аллегорические девы с глазами, омраченными печалью, обнимающие пьедестал в горестном исступлении и даже, кажется, пытающиеся взобраться на эту пирамиду славы, чтобы стащить с нее усопшего и снова вернуть к жизни.

Ярким примером служит памятник Уильяму Питту. Этот государственный деятель предстает перед нами в позе, призванной выражать невозмутимость, чувство собственного достоинства и гармоническое равновесие, но из-за отдельных архитектурных особенностей (благодаря присутствию девы Британии, а также некоего духа Анархии) можно почувствовать нешуточную тревогу — ведь любое неосторожное движение с вашей стороны приведет к тому, что это

удивительное сооружение опрокинется и разобьется о плиты пола.

Надгробные изображения XVIII века передают смятение человеческого разума, отринувшего Бога и идею воскресения, столкнувшегося с ужасом неизвестного и старающегося любым возможным способом закрыть на это глаза. Со временем памятники становятся все грандиознее, пока не достигают необъятности и монументальности, присущих мемориалу Джеймса Уатта, который уместнее выглядел бы на Паддингтонском вокзале, нежели в аббатстве.

Людам с практическим складом ума приходилось только удивляться, каким образом эта громадная композиция доставлена в аббатство — дверные проемы, очевидно, чересчур малы для подобных целей. Некоторые изобретательные личности даже предположили, что был вырыт специальный туннель, через который скульптуру втащили внутрь. Но я нашел в литературе гораздо более прозаичное объяснение: памятник разобрали на секции, поочередно перенесли и собрали внутри церкви, но он оказался настолько тяжелым, что перекрытия просели, и, как написал настоятель Стэнли, «возможно, знаменосец Азенкура и придворные Елизаветы и Якова восстали бы из своих могил в капелле Святого Павла, если бы им довелось увидеть этого чемпиона нового плебейского искусства, вторгшегося в аристократическое место упокоения». Все-таки есть что-то абсолютно стилистически верное в шумном и тяжеловесном прибытии того, кто усовершенствовал паровой двигатель!

Возможно, страх смерти, столь остро чувствующийся в поздних мемориалах, достигает своего пика в памятнике леди Элизабет Найтингейл работы Рубильяка. Покойная изображена на постаменте, рядом со своим супругом, который, с выражением крайнего ужаса во взгляде, пытается отвести копье, нацеленное на него

скелетом снизу. Идея памятника явно позаимствована у Бернини, чей памятник папе Александру Седьмому находится в римском соборе Святого Петра; должно быть, Рубильяк видел и тщательно изучил работу Бернини, когда ездил в Рим.

Уходя, я подумал — и делюсь этой мыслью со всеми, кто посещает аббатство, — о том, что, хотя в мире немало королевских мавзолеев, среди них никогда не было такого, как этот, где короли и королевы покоятся в окружении огромного числа своих подданных. И то обстоятельство, что двери Вестминстерского аббатства с давних пор были распахнуты для всех великих англичан (поэтов, писателей, государственных деятелей, изобретателей, представителей всех вероисповеданий и людей низкого положения), способствовало превращению Вестминстера в национальную святыню Британии.

## 8

Я вошел в прекрасный восьмиугольный Чаптер-хаус, в центре которого возвышается одинокая колонна из пурбекского мрамора. Ничто не нарушает совершенных пропорций этого здания. Под стеклом — первые уставы аббатства.

Именно здесь появилась палата общин. Здесь она собиралась на протяжении трехсот лет. Ее первые члены входили в зал вместе с монахами, и если аббату требовалось срочно наказать кого-то, возможно, палате общин приходилось делать перерыв в заседаниях. Существует легенда — и почему это не может оказаться правдой? — о том, что вестминстерские монахи жаловались на шум, доносившийся с заседаний палаты общин и мешавший молитве. В 1547 году — в первый год правления Эдуарда VI — парламентарии покинули

насиженное место и переместились в другое церковное здание Вестминстера, находящееся через дорогу, часовню Святого Стефана, где пребывают и поныне.

Где-то неподалеку, здесь же, на территории аббатства, Кэкстон поставил первый печатный станок и в 1474 году подготовил и напечатал первую книгу на английском языке. Я не располагаю информацией о том, где именно находилась его типография, но некоторые утверждают, что в Алмонри. В пользу того, что типография находилась в монастырской ограде, говорит название «Часовня», которое до сих пор используется в наименованиях ассоциаций печатников<sup>[27]</sup>. Главу гильдии печатников никогда не называли иначе как «Отцом Часовни», и это, возможно, еще одно связующее звено с монастырем.

Я нанес печальный визит в свой любимый уголок в монастырской ограде. Малые, или Фермерские, кельи подверглись во время войны сильной бомбардировке. Некогда внутренний дворик келий был удивительно милым и спокойным местом — с моей точки зрения намного более красивым, чем дворики Темпла. В центре четырехугольного двора бил фонтан, а вокруг него располагались замечательные домики с арками, построенные из красного кирпича в XVII веке. Они были прекрасны внутри, с чудесными старинными лестницами, обшитыми сосновыми панелями комнатами и лепными потолками. Для восстановления душевных сил в моменты тревоги и неудач достаточно было просто прийти туда, постоять у ворот, полюбоваться бьющими фонтанами и солнечными бликами на старых красных кирпичах.

Одна из самых красивых церквей, построенных в Англии со времен собора Святого Павла Кристофера Рена, — это римско-католический собор в Вестминстере. Его красные кирпичные стены и высокая колокольня видны из-за крыш Виктория-стрит. Эта превосходная византийская базилика с самым широким во всей Англии нефом все еще не закончена, но однажды ее стены и своды словно засветятся, украшенные лучшим мрамором и мозаиками.

Трудно представить, но Джон Фрэнсис Бентли, архитектор, никогда не видел Святую Софию в Константинополе. Когда кардинал Воэн в 1894 году попросил его спроектировать собор, Бентли исполнилось пятьдесят пять лет и здоровье его уже было неважным, поэтому он отправился изучать византийскую архитектуру на континент. Единственной великой церковью, которую архитектор счел сопоставимой по масштабу с той, которую взялся проектировать, был собор Святого Марка в Венеции. До Константинополя Бентли так и не добрался из-за вспышки холеры.

Бентли подарил Лондону одну из наиболее знаменитых в мире церквей в византийском стиле. Это триумф величественной простоты и оригинальности архитектурного решения. Здание ничем не напоминает английские католические храмы, а походит на древние римские церкви. Собор представляет собой грандиозную базилику времен раннего христианства, современный вариант Святого Марка и Святой Софии.

В одном из боковых приделов можно увидеть гробницу с телом священника Джона Саутуорта, который родился в Сэлмсбери, в Ланкашире, в 1592 году. В период преследования католических священнослужителей он искал убежища во Франции, но вернулся в Англию при Якове I, хотя гонения еще не прекратились. Он каким-то образом умудрялся оказывать помощь бедным католикам Вестминстера на

протяжении долгих двадцати пяти лет. Разумеется, был разыскан и арестован, и понес наказание в Тайберне в 1654 году, где его повесили, изрезали, выпотрошили и четвертовали.

История останков несчастного Саутуорта полна странностей. Говард Норфолк выкупил тело, его набальзамировали и секретно переправили через Канал в Дуэ, в то время — центр английских католиков в изгнании. Останки хранились в часовне церковной общины до Французской революции, потом были тайно закопаны в саду. Прошло сто тридцать четыре года до момента, когда прах доставили в Англию и поместили в церкви Святого Эдмунда в Уэре, графство Хартфордшир. Это случилось в 1927 году. Через два года Джон Саутуорт был торжественно причислен к лику святых и его мощи перенесли в Вестминстерский собор. В определенные дни во время религиозных праздников гробницу открывают, и тогда можно увидеть блаженного Джона Саутуорта в красном одеянии, возлежащего в гробу из бронзы и стекла.

Посетители Вестминстерского собора не пожалеют, если в ясный день поднимутся на самый верх колокольни, где будут вознаграждены одной из самых великолепных панорам Сити и Вест-Энда, которую только можно увидеть.



## **Глава восьмая**

# **Парламент, Букингемский дворец и галерея Тейт**

*Я посещаю палаты парламента и осматриваю новое помещение палаты общин. Затем разглядываю здание Вестминстерского дворца, наблюдаю за сменой гвардейцев у Букингемского дворца, вспоминаю историю этого здания и становлюсь свидетелем выноса знамени во время парадного построения конной гвардии. Я иду в Челси, осматриваю Королевский госпиталь, посещаю дом-музей Карлейля и галерею Тейт.*

### **1**

В ходе воздушного налета в ночь на 10 мая 1941 года здание нижней палаты парламента, в которое угодило сразу несколько бомб, выгорело дотла. Той ночью в парламенте погибли четверо — дежурный суперинтендант, двое полицейских и смотритель; утром стало очевидно, что «мать всех парламентов» подлежит эвакуации.

Впервые за столетия своего существования палата общин английского парламента покинула старый Вестминстерский дворец и вернулась, так сказать, к истокам — на территорию аббатства, где и собиралась четыре последующих месяца — в Черч-хаусе во Дворе декана. К концу этого срока был организован обратный переезд, причем члены палаты общин разместились в палате лордов, а пэры стали собираться в Королевской гардеробной. Такой порядок вещей сохранялся на всем

протяжении войны и вплоть до 26 октября 1950 года, когда король торжественно открыл восстановленное здание палаты общин.

Следует признать, что едва пожар уничтожил палату общин, как начались дебаты об ее восстановлении. В 1948 году спикер палаты заложил первый камень в основание здания, причем он позировал фотографам, держа в руках деревянный молоток — тот самый, которым пользовались при строительстве парламента сто лет назад, — и мастерок из дубовой древесины, вырезанный из уцелевшей балки старого здания палаты общин.

Помню, я заходил в здание парламента в самом начале войны, еще до того, как Лондон принялись бомбить. Мне бросилось в глаза, что парламента, подобно Вестминстерскому аббатству, представляет собой самодостаточную единицу гражданской обороны, и я записал в дневнике:

«Вряд ли в Англии найдется здание, способное соперничать с парламентом за титул главной топографической загадки страны. Один из зрителей, проработавший здесь четырнадцать лет, признавался мне:

«Я до сих пор не уверен, что изучил все закоулки парламента. Знаете, чуть ли не каждый день набредаю на что-нибудь новенькое».

Прогуливаясь по огромному зданию, я заметил, что во всех помещениях, выходящих на террасу и на реку, окна заложены мешками с песком, поэтому парламентариям, как и рабочим на заводах, приходится трудиться при искусственном освещении. В коридоре, ведущем к Библиотеке пэров, через равные промежутки были установлены стойки с ведрами, лопатами и прочими средствами борьбы с зажигательными

бомбами; эти орудия ручного труда выглядели довольно странно среди фолиантов с отчетами о заседаниях парламента, переплетенных в телячью кожу.

— В случае налета, — пояснили мне, — лорды спустятся сюда, а члены палаты общин укроются в схожим образом оборудованных помещениях на их стороне здания. В нескольких комнатах мы разместили передвижные пункты Красного Креста, чтобы оказывать раненым помощь на месте. Мы готовы ко всему, разве что дегазировать не сможем.

— Простите мое любопытство, — не сдержался я, — но где дегазируют членов парламента?

— На Кинг-Чарльз-стрит. Там находится дезактиваторная станция министерства общественных работ.

Мне также рассказали, что тридцать бойцов отряда гражданской обороны, охраняющего здание парламента по ночам, — это клерки и другие сотрудники аппарата парламента. Есть и пожарная бригада, составленная из смотрителей, а в здании имеются девяносто восемь пожарных гидрантов и соответствующее количество шлангов. Все понимают, что главную угрозу зданию представляет именно огонь. Как не помянуть недобрым словом архитектора, который проектировал лабиринт покатых крыш словно для того, чтобы в нем могли спрятаться зажигательные бомбы?

Продолжая обход здания, я столкнулся с комендантом пункта Красного Креста. Он сообщил, что медсестры дежурят в здании парламента круглосуточно с самого начала войны. Это добровольцы, работают бесплатно и,

несмотря на естественное утомление от долгого и нудного ожидания, по-прежнему крепки духом. Когда проходят заседания палат, в шести санитарных пунктах постоянно присутствуют восемь медсестер. Лорд-обер-гофмейстер уступил Красному Кресту свой кабинет, его примеру последовали и другие высокопоставленные чиновники, предложившие свои покои в качестве спален и комнат отдыха для медсестер. А девушки, по словам коменданта, подобрались просто замечательные. Многие из них продолжают работать и приходят в парламент вечерами сразу после работы, даже не заходя домой. Например, две девушки работают в магазине мануфактурных товаров на набережной Виктории. Они приносят с собой ужин и разогревают еду на газовой горелке в палате лордов. Утром они завтракают — и отправляются на работу.

Парламентские приставы, сочувствуя тяжкому бременю, придавившему хрупкие плечики, балуют девушек и регулярно выдают им пропуска на заседания парламента. Девушки мало-помалу становятся знатоками парламентских процедур. Так что, если даже романтическим фантазиям о том, как они перевязывают чело лорда-канцлера или уводят в безопасное место окровавленного спикера, и не суждено сбыться, время, проведенное девушками в парламенте, вряд ли окажется потраченным впустую. В конце концов, разве ужин, разогретый на скорую руку в палате лордов, — сам по себе не приключение?

Вступив в палату общин, я убедился, что меры безопасности, принятые здесь, ничуть не

уступают тем мерам, которые поразили меня в палате лордов. Если авианалет начнется во время заседания палаты и будет принято решение прервать дебаты, парламентариям надлежит спуститься в библиотеку и в другие обозначенные на схемах эвакуации помещения. Мне показали бомбоубежище премьер-министра — звучит, кстати сказать, весьма изысканно. Это одна из министерских комнат, выходящих на Дворик спикера. Окна заложены мешками с песком — все, кроме окна над дверью; признаться, не хотел бы я оказаться в этом помещении во время бомбежки. Из обстановки в комнате два низеньких столика, несколько стульев и цветная репродукция фрески Джорджа Клаусена «Тайное чтение Библии Уиклиффа».

Экскурсия, как и подобает, завершилась осмотром тех подземелий, в которых лейб-гвардейцы каждый ноябрь разыскивают Гая Фокса. Как ни удивительно, никому не приходит в голову использовать эти идеальные бомбоубежища — возможно, потому, что они находятся ниже уровня Темзы.

Некоторые пожилые члены парламента помнят суматоху, вызванную первым налетом «цеппелинов» на Лондон во время войны 1914–1918 годов. Около половины десятого вечера в октябре 1915 года обсуждение во втором чтении финансового законопроекта было прервано двумя взрывами. Помещение палаты, битком набитое людьми, опустело в мгновение ока; парламентарии выбегали на Новый дворцовый дворик в надежде разглядеть дирижабли. В палате остались трое — спикер, канцлер

казначейства и тот парламентарий, речь которого прервала бомбардировка.

Вернувшись на свои места, разгоряченные парламентарии (они воочию наблюдали в небе «сигарообразный» объект — обычное для тех дней образное описание «цеппелина») услышали:

— Как я говорил, господин спикер, когда наши дебаты прервал этот налет...

В первую войну несколько бомб разорвалось достаточно близко к зданию парламента, но единственный ущерб ему причинил осколок шрапнели, влетевший в окно Королевской галереи и вонзившийся в полотно «Смерть Нельсона». Дыру в оконном стекле и шрам на картине сохранили как напоминание о войне, которая должна была покончить со всеми на свете войнами».

## 2

В мае 1941 года все обстояло иначе. За какие-то несколько часов известный всему миру архитектурный ансамбль превратился в сущий хаос.

Я пришел к зданию палаты общин после того, как пожар был потушен. По лестницам еще струились темные ручейки воды, дверные проемы зияли пустотой, сквозь них открывались жуткие виды обвалившихся потолков, искореженных металлических конструкций, всюду, куда ни посмотри, виднелись остовы железных стульев, скелеты телефонных будок, обугленные стенные панели и переплетения проводов. Вот оно, современное варварство; точнее, то же древнее варварство, только в новом обличье. Невероятность случившегося подчеркивали чудом уцелевшие предметы

обстановки; они уцелели, а палата общин погибла. Я нагнулся и подобрал в луже на полу ничуть не пострадавший грифельный карандаш.

Но сколь же быстро — при наличии мужества и решимости — способен человек оправиться от удара судьбы! Всего-навсего несколько лет разделяют ужасные сцены полного разрушения от нового здания палаты общин, более современного и более, если позволительно так выразиться, изысканного.

Я не раз приходил на место стройки и наблюдал за строителями, восхищаясь мастерством, с каким они обтесывали и укладывали каменные плиты на колонны и арки; при взгляде на них вспоминались зодчие, возводившие средневековые соборы. Один из мастеров, в белом фартуке, вырезал листья на венце арки; он стоял на строительных лесах, наносил выверенные удары по зубилу, делал паузы, чтобы свериться с чертежом, и вновь принимался за воссоздание узора. Я и не представлял, что подобного рода работа выполняется *in situ*<sup>[28]</sup>. Мне казалось, резьбу высекают в мастерской.

Мастеров собрали со всей Англии, а не из Италии, как было написано в какой-то газете; мы не разучились обтесывать камни и украшать их резьбой, и наши отцы и деды могли бы нами гордиться. Над возведением нового здания палаты общин трудились двести человек, демонстрировавших свое умение работать с коричневым ратлендским камнем.

Я взобрался на леса и осторожно прошелся по помосту над полом здания. Надо мной нависала крыша, отделанная чудесными панелями из английского дуба. Плотники, восстанавливавшие крышу, опирались на столетнюю традицию своего ремесла; я с восторгом следил за ними — типичными, ничем не примечательными англичанами, которых полным-полно в лондонском метро и которые, как уверяет пресса, не интересуются ничем, кроме результатов скачек. Тем не

менее, именно они своими руками поддерживали великие традиции британского ремесленничества.

Новое здание палаты общин представляет собой улучшенную копию старого. Размеры выдержаны один в один, зато в залах и кабинетах установлены кондиционеры, а в подвале оборудован грандиозный центр управления этой машинерией. Что ж, если раньше парламентариям приходилось согревать воздух собственным дыханием, теперь достаточно будет для этой цели всего лишь щелкнуть переключателем. Да и холодный воздух, студёный, как послевоенная речь канцлера о бюджете, в жару окажется к услугам желающих. По-моему, наиболее любопытная деталь нового здания палаты общин — арка Черчилля, в свод которой, по предложению сэра Уинстона Черчилля, вделали опаленные пламенем камни старого входа в здание. Сделать это было непросто, арку собирали буквально по кусочкам, тщательно подгоняя старые и новые камни друг к другу.

Я поднялся по лестнице, еще лишенной балюстрады, и вышел на крышу здания, принципиально отличающуюся от той, что погибла в пламени пожара. Прежняя крыша была крутой, новая же — плоская, и перед парламентариями, которые решат подняться сюда, откроется один из лучших видов на Лондон. Над головой возносится Колокольная башня, каждые пятнадцать минут в воздухе разливается мелодичный бой курантов Биг Бена. С одной стороны возвышаются шпили аббатства, с другой раскинулась Темза, в излучине реки видны многочисленные мосты, вплоть до Тауэрского. Видимость была отличной, и я различил на юге высоты Сайденхэма, некогда увенчанные двумя «подсвечниками» Хрустального дворца.



В прежние времена пожилые служащие с Уайтхолл не упускали случая поправить того, кто в их присутствии упоминал о здании парламента.

«Вестминстерский дворец», — говорили они, укоризненно покачивая головами. В официальных документах здание парламента до сих пор обозначается как «Вестминстерский дворец» или «Новый Вестминстерский дворец» и имеет статус королевского дворца. Мне представляется, что, пожелай монарх обосноваться в этих стенах, он был бы в полном своем праве.

Когда двор покинул Вестминстерский дворец, в котором размещался со времен Эдуарда Исповедника вплоть до правления Генриха III Королевский суд, и перебрался в дворец Уайтхолл, в Вестминстере остались два важнейших обитателя — парламента и судебная власть. Суды проводили свои заседания в Вестминстерхолле, а парламенту приходилось ютиться в двух помещениях: палата общин занимала часовню Святого Стефана, а палата лордов — бывшее помещение суда по ходатайствам, распущенного в 1641 году. По всей вероятности, парламентарии страдали от тесноты, однако привыкли к ней настолько, что все попытки переселить их в более просторное здание встречались в штыки. На гравюрах и картинах того периода — восемнадцатый и начало девятнадцатого века — нередко изображалась часовня Святого Стефана, стоящая в окружении деревьев у самой кромки воды, в прилив плескавшейся у порога, — ни дать ни взять идиллический сельский пейзаж!

С конца восемнадцатого столетия и до вступления на престол Вильгельма IV велись разговоры о том, что парламенту необходимо новое здание; сэр Джон Соун, архитектор здания Банка Англии, представил на обсуждение свой проект, его примеру последовали и другие архитекторы, однако разговоры оказались

напрасными. Зато в одну из ночей 1834 года проблема разрешилась буквально за несколько часов. Некто, отправленный сжигать деревянные плашки, с которых печатались казначейские билеты, немного перестарался, поддерживая огонь; пламя, раздуваемое резким октябрьским ветром, в мгновение ока охватило парк и старинные здания, от которых вскоре остались лишь дымящиеся головни. К месту пожара подтянулись пожарные бригады, но пламя оказалось слишком сильным, чтобы они сумели с ним справиться. Впрочем, потомки все равно в долгу перед доблестными лондонскими пожарными, спасшими в ту страшную ночь Вестминстер-холл.

Разумеется, поглазеть на пожар собралась огромная толпа любопытствующих лондонцев. Во время предыдущей парламентской сессии Джозеф Хьюм предложил коллегам рассмотреть вопрос о новом здании палаты общин, но его предложение отвергли. Когда огонь охватил старинные постройки, некий юморист из толпы, как гласит легенда, крикнул: «Предложение мистера Хьюма принимается единогласно!»

Когда на престол взошла молодая Виктория, она с удивлением выяснила, что ее парламент не имеет пристанища. Несколько лет ушло на расчистку территории после пожара и на проведение конкурса среди архитектурных проектов; условие конкурсантам выдвигалось одно — новое здание должно быть в готическом или в елизаветинском стиле. Только представьте, как выглядел бы Вестминстер, отстроенный в манере елизаветинцев! Ни Часовой башни, ни Биг Бена, зато нечто вроде громадного универсального магазина «Либертиз» на берегу Темзы! По счастью, из девяносто семи рассмотренных проектов предпочтение было отдано проекту Чарльза Барри.

Со времен строительства собора Святого Павла в Англии не возводилось более крупного и более величественного здания; его протяженный речной фасад, с элегантной Башней Виктории над главным зданием с одного торца и Часовой башней с другого, представляет собой архитектурный шедевр, незамедлительно признанный во всем мире как «типично лондонский». Никакой другой вид Лондона, даже с собором Святого Павла, не удостоивался столь частого запечатления на полотнах иностранных художников.

Пожалуй, небезынтересно будет поведать поподробнее о человеке, который спроектировал и построил это архитектурное чудо. Он происходил из семьи зажиточного лондонского торговца канцелярскими принадлежностями и родился, как ни удивительно, в конце восемнадцатого столетия. Образование он получил в обычной торговой школе, и единственным предвестником его грядущих успехов были разве что замечательные чертежи. Покончив с учебой, он благодаря связям отца устроился на работу в лондонскую топографическую компанию, там стал изучать архитектуру — и тосковал по путешествиям в дальние края. В двадцать два года он лишился отца, приобрел несколько сот фунтов наследства и решил не упускать случая. Он объездил весь континент, побывал в Египте и на Ближнем Востоке и возвратился в Лондон два года спустя, воочию увидев все лучшее (и кое-что худшее) из мировой архитектуры.

Барри обладал не только талантом, но и кипучей энергией и амбициями, без которых сколь угодно могучий талант обречен оставаться в пределах семейного круга. В сравнительно молодом возрасте он успел построить церковь Святого Петра в Брайтоне, Королевский институт изящных искусств в Манчестере, школу короля Эдуарда в Бирмингеме (прежде чем ее

снесли, эта школа оставалась одним из немногих бирмингемских зданий, заслуживавших второго взгляда). Два клуба на Пэлл-Мэлл принесли ему признание в Лондоне; это были «Клуб путешественников» и «Клуб реформ», причем последний выглядел сошедшим со страниц исторической работы об эпохе Возрождения.

Решать неимоверно сложную — во всех смыслах — задачу строительства нового здания парламента ему выпало в сорокалетнем возрасте. Получив заказ, Барри выказал редкий, свойственный лишь великим организаторам дар подбирать нужных людей. Вместе со своими помощниками, на каждого из которых мог целиком положиться, он приступил к воплощению в камне собственных дерзких фантазий. Строительство продолжалось с 1840 по 1853 год, и столь малый его срок не может не вызывать изумления. У тех из нас, кто не понаслышке знаком с менее ангельскими сторонами человеческой натуры, отнюдь не вызовет удивления то обстоятельство, что Барри пришлось столкнуться с профессиональной завистью, невежественной критикой и откровенной злобой. Не знаю, сказалось ли строительство на его здоровье, однако умер он от инфаркта в шестьдесят пять лет, всего через восемь лет после того, как новое здание парламента распахнуло свои двери.

Это грандиозное пристанище «матери всех парламентов» считалось и считается по сей день одной из главных достопримечательностей Лондона, и туристов тянет к нему как магнитом. Тем не менее, я поразился, узнав от одного из киоскеров, что бывают субботы (единственный день недели, в который в здание пускают посторонних), когда через Вестминстер проходит от четырнадцати до двадцати тысяч человек!

Я отправился туда в одну из суббот в компании французских туристов-«однодневков». Юноша в берете и

воинственного вида костюме с брюками гольф сообщил, что они выехали из Булони накануне вечером, проведут в Лондоне целый день, а затем отправятся домой. Он уже успел побывать в Вестминстерском аббатстве и наблюдал за сменой караула у Букингемского дворца; после посещения парламента он рассчитывал заглянуть в Британский музей и в Национальную галерею, а также посетить собор Святого Павла и Тауэр!

По тому количеству теплых и водонепроницаемых вещей, которые несли эти туристы, я заключил, что то ли французская пресса не уделяла внимания обрушившейся на Англию жаре, то ли наша привычка пренебрежительно отзываться об островном климате породила на континенте тотальное недоверие к нашей погоде; по всей видимости, иностранные туристы, сходя на берег в Фолкенстоуне, ожидают, что сию же секунду сгинут в тумане, окажутся под проливным дождем или будут сбиты с ног порывом арктического ветра.

Следом за нами двигалась компания английских школьников, которых подпирала толпа провинциалов, нарядившихся по случаю выезда в Лондон в лучшие одежды.

Этих субботних посетителей гиды не сопровождают; им позволено скитаться по зданию столько, сколько пожелает душа, — при том условии, конечно, что они не заблудятся.

Проходя анфиладой сумрачных готических коридоров, посетитель выясняет, что девять помещений, от Королевских галерей до зала заседания палаты общин, расположены одно за другим и двери из одного помещения открываются в соседнее, а не в коридор или тамбур. Когда все двери распахнуты настежь — например, во время торжественного открытия парламентской сессии, — монарх со своего трона в палате лордов может видеть спикера, восседающего в кресле в палате общин.

Если посетителям хочется постоять на том месте, где когда-то находилась старая палата общин, в которой произносили речи Питт и Фокс, они должны отправиться в холл Святого Стефана — длинный коридор, ведущий к центральному залу. При проектировании нового здания парламента в 1840 году было решено по возможности сохранить черты старого здания, что и удалось осуществить в этом коридоре, воспроизводящем старинный чертеж; с удивлением понимаешь, что старое здание было футов на пятнадцать длиннее нового.

К сожалению, в Часовую башню обычные посетители не допускаются; между тем эта башня представляет собой удивительный уголок здания, а вечерами, когда только зажигаются фонари, с нее открывается незабываемый вид на Лондон. Сам я несколько раз поднимался на эту башню и навещал Биг Бен; кстати сказать, это не часы, а большой колокол, названный в честь сэра Бенджамина Холла, который занимал должность главного комиссара по общественным работам в те годы, когда на башне подвесили колокола.

Радио подарило Биг Бену мировую известность. Его особенный, низкий и раскатистый гул (связанный, как говорят, с трещиной в металле) проникает буквально в каждый уголок земного шара.

Вверх ведет узкая винтовая лестница из трехсот семидесяти четырех ступеней; если при подъеме начинают звонить колокола, каменные плиты пронизывает дрожь. С лестницы попадаешь в помещение, достаточно просторное, чтобы в нем поместился маленький автомобиль; здесь и находится механизм часов. Четыре длинные стальные трубки с огромными часовыми стрелками расходятся лучами к четырем циферблатам. Последние, которые с земли выглядят покрытыми белой эмалью, словно обычные часы, изготовлены из дымчатого стекла и поэтому светятся в темноте — благодаря электрическому свету,

отражающемуся от белых стен в пяти футах позади циферблатов. Римские цифры высотой каждая в два фута, расстояние между минутными делениями на циферблате составляет ровно фут. Самый замечательный предмет в этом помещении — маятник, тринадцати футов длиной, с балансиrom на конце (балансир весит четыре центнера). В свой последний визит на башню я заметил на балансире монету достоинством в полпенни и решил, что ее оставил предыдущий посетитель; но потом мне объяснили, что эта монетка регулирует ход маятника. Поначалу часы еженедельно заводили двое мужчин, раздевавшихся до пояса, чтобы рубахи не промокли от пота; сегодня на смену человеческой силе пришло электричество.

Над часами, в лабиринте многочисленных лесенок, висит сам Биг Бен в компании четырех Малых Бенов. Пожалуй, чтобы охарактеризовать размеры главного колокола, достаточно сказать, что весит он тринадцать с половиной тонн; не меньшее впечатление производит и гигантский «язык» весом в четыре центнера, угрожающе прижавшийся к ободу колокола и отрывающийся от него раз в час, чтобы оглушить башню грохотом. Каждому известна мелодия Биг Бена, но далеко не все знают ее слова:

О Пастырь, мне ты Вожатым будь.  
Я знаю, к свету ведет Твой путь <sup>[29]</sup>.

Когда слышишь колокольный звон с расстояния в несколько футов, в нем различаешь не гимн, а артиллерийскую канонаду.

На балконе снаружи висит фонарь, который, когда его зажигают, дает Лондону знать — в палате идет заседание. Именно с этого балкона я как-то вечером глядел на Лондон и любовался тем, как улица за улицей

оказывались во власти электрического освещения. Над фонарями угадывалась вечерняя дымка, над которой высился каменный Нельсон, четко вырисовывавшийся на фоне последних лучей заката. Увы! На наслаждение картиной мне — как и любому другому, кто поднимется сюда, — было отведено ровно пятнадцать минут. По истечении этого времени языки колоколов приходят в движение и начинается сущий пандемониум, потрясающий Лондон и заодно весь мир.

#### 4

Стоя посреди Вестминстер-холла, я бросил взгляд на потолок, и мне вспомнилась прочитанная где-то история: колоссальные дубы, из древесины которых и сделан этот потолок, проросли из желудей никак не позже шестого столетия. Если это соответствует действительности, значит, потолок Вестминстер-холла — одна из древнейших и почтеннейших архитектурных деталей не только Англии, но и всего мира. Желуди проросли в Англии, окутанной мглой Темных веков. Это было время кельтских святых и крошечных монастырей наподобие Айоны и Линдисфарна, время шаек викингов, с боем прорывавшихся к руинам древних римских поселений; это была Англия, в которой звон колокола, призывавшего к молитве, и крик чайки нередко заглушались воплями сброда в рогатых шлемах, приплывавшего грабить и убивать, набивать драккары добычей и возвращаться домой, за Северное море.

На протяжении столетий саксы и норманны загоняли оленей, охотились на диких кабанов и на волков на том самом месте, где ныне высится Вестминстер-холл; здесь же они занимались любовью и устраивали пирушки. Между тем дубы росли, становясь все толще в обхвате и отбрасывая все более густую тень, а мир вокруг



менялся, наступили Средние века, и в 1397 году сюда пришли лесничие короля Ричарда II, искавшие старейшие в Сассексе дубы, чтобы восстановить крышу королевского чертога в Вестминстере. Они срубили могучие деревья — те самые деревья, которые звались старыми уже в правление Альфреда Великого.

Поскольку я начисто лишен инженерной жилки, история о древности этих деревьев поразила меня, признаюсь, гораздо сильнее, нежели вычитанное в другой книге утверждение о том, что потолок и крыша Вестминстер-холла — шедевр инженерной мысли, ничуть не уступающий такому чуду техники, как железнодорожный мост через залив Ферт-оф-Форт. Вестминстер-холл по праву гордится своим потолком, прекраснее и изысканнее которого я не видел нигде. Кстати сказать, потолок и крыша серьезно пострадали от жука-точильщика, поэтому вскоре после Первой мировой войны была предпринята спасательная операция. Несколько изъеденных точильщиком досок сохранили в назидание потомкам; они выставлены в зале для всеобщего обозрения. Что касается крыши, то, как мне сообщили, теперь она в отличном состоянии и простоит еще десять столетий.

В Вестминстер-холле был низложен несчастный Ричард II — король, торжественно открывший первую сессию парламента в реконструированном здании; здесь же был приговорен к смерти Уолтер Рэли и здесь же, как извещает мраморная табличка в полу, состоялся процесс над Карлом I. В этом здании Уоррен Гастингс давал показания о действиях своей администрации в Индии, а герцогиня Кингстон созналась в двоемужестве.

Наше время также может похвастаться громкой историей, случившейся в стенах Вестминстер-холла и достойной того, чтобы влиться в ряд громких историй прошлого. Когда умер король Георг V, прощание с ним проходило именно в Вестминстере. Гроб с телом короля

стоял посреди зала, укрытый государственным флагом, на котором сверкала в свете ламп корона Великобритании. Люди шли нескончаемым потоком, входили в одну дверь и выходили через другую, что вела в Дворцовый дворик. В один из вечеров гвардейцев, которые несли почетный караул по углам помоста, тихо сменили четверо молодых людей в военной форме. Это были король Георг VI, герцог Виндзор, герцог Глостер и ныне покойный герцог Кентский. Не могу сказать, узнали их люди, пришедшие проститься с королем, или нет, помню только, что читал об этой истории, и уверен — она не скоро забудется.

Я видел гроб с телом Георга V, накрытый «Юнион Джеком», в маленькой деревенской церкви в Сэндрингеме; он стоял на алтаре, таком крохотном, что всякий раз, когда кто-либо входил в церковь, лесничие, которые несли караул у гроба, вынуждены были отступать в сторону, давая дорогу. Несколько дней спустя я увидел тот же гроб в убранном подобающим кончине венценосца образом Вестминстер-холле и стал свидетелем помпезной церемонии. Затрудняюсь сказать, какое из двух этих зрелищ заставило меня острее осознать боль одиночества, этого горького удела всех на свете монархов.

## 5

Наступило субботнее утро, вовсю светило солнце, и я отправился к Букингемскому дворцу, чтобы понаблюдать за сменой караула. Рядом со мной на ступенях Мемориала Виктории очутился уроженец, судя по чертам хранившего серьезность лица, северных графств. По котелку и характерному выговору я определил в нем жителя Хаддерсфилда.

Вот-вот должно было начаться величайшее из бесплатных европейских шоу. Гости Лондона — как английские провинциалы, так и иностранные туристы — дружно вскинули фотоаппараты и принялись жадно снимать ограду дворца, спины впереди стоящих, шлемы полисменов и копыта полицейских лошадей в надежде при удачном стечении обстоятельств поймать в кадр показавшегося в отдалении полкового барабанщика.

Колдстримские и шотландские гвардейцы начали смену караула. Королевский штандарт вяло плескался на флагштоке дворца; значит, король находился в Лондоне. Оркестр заиграл один из тех старинных вальсов, мелодию которых военные дирижеры, по моему, впитывают с молоком матери. Гвардейцы встали по стойке «вольно», исподволь стреляя глазами из-под меховых шапок и отчаянно, должно быть, тоскуя по увольнительной. Через площадь прошли два эсина, нахохленных, как воробьи; прошли два капитана, прошли два майора... А караул продолжал стоять.

— Слоняются тут, — проворчал мой сосед, ни к кому конкретно не обращаясь, с тем презрением в голосе, какое доступно лишь завсегдатаям футбольных матчей.

— Армия не меняется, — поддержал разговор я, постаравшись, чтобы мои слова прозвучали достаточно добродушно.

— Точно, — согласился он. — Упертые, вояки наши.

Он проводил взглядом главного сержанта, пересекавшего площадь почти строевым шагом, с зажатым под мышкой стеклом. Вот сержант остановился, приставил ногу к ноге и отсалютовал офицеру...

— Слоняются, — повторил мой сосед, на сей раз с горечью.

Неужели он приехал из самого Хаддерсфилда или из другого медвежьего угла только ради того, чтобы отпустить эти язвительные замечания? И вообще,

почему он оказался в Лондоне? По делу или развлекаться?

— Любуетесь видами? — поинтересовался я.

— Нет, — ответил он. — Вчера целый час проторчал на параде, так и там все слонялись... Я с севера, знаете ли. Из Барнсли. (Что ж, я почти угадал.) Нашу бригаду скорой помощи вызвали на ежегодную аттестацию.

Я узнал от своего собеседника, что Ассоциация бригад скорой помощи святого Иоанна каждый год проводит репетиции несчастных случаев в одном из лондонских отелей. Бригады запускаются внутрь одна за другой, без инструментов и перевязочных материалов; им надлежит наилучшим способом позаботиться о раненых исключительно с применением подручных средств.

Мне стало любопытно, какой же орешек пришлось раскусывать моему мрачному соседу, и я попросил его продолжать.

— Да чего там... — пробурчал он. — Гляжу, какой-то джентльмен расфуфыренный со слугой своим толкует. Потом — бац! — и как покатится вниз по лестнице! Шмяк! Ну, это актер был, из кино, они там падать умеют, сами понимаете. Я, значит, к нему. По тому, как он лежал, понятно было — бедро у него сломано. Никаких тебе лубков, так что я огляделся по сторонам. На стене перекрещенные мечи висели, а на столе шарфы валялись и другие тряпки. Я их быстренько схватил, мечи со стенки сорвал и такую ему шину наложил — клещами не стянуть.

— А этот джентльмен падал с лестницы столько раз, сколько было бригад? — уточнил я.

— Угу, — печально подтвердил он. — Замаялся, небось, падать-то.

Следующее испытание оказалось еще более драматичным. Моему новому знакомому сообщили, что человек попытался покончить жизнь самоубийством в

зале ожидания железнодорожного вокзала. (Я в восторге от реализма ситуаций, которые изобретает Ассоциация святого Иоанна!) Он поспешил на вызов — и обнаружил лежащего на полу мужчину со вскрытой бритвой веной на руке.

— Я его перевязал, — рассказывал он. — Потом усадил и стал вкручивать мозги: мол, самоубийство — грех, и все такое. «Он вам не отвечает», — заметил судья. Тут я догадался понюхать, чем у него изо рта пахнет. Точно, яд! Странный запах, будто мята. Я кинулся делать искусственное дыхание, но толку не было. Два балла скинули!

Его лицо помрачнело.

— А за что? — спросил я.

— Дезинфицирующее средство не заметил, — скорбно признался он. — В зале ожидания было дезинфицирующее средство, а я его проморгал. Вот так они вас и ловят, понимаете?

В это мгновение два полисмена широко распахнули ворота Букингемского дворца. Оркестр шагнул вперед, сверкая алыми мундирами и золотом эполет. Главный сержант зарычал, затопал ногами, принялся отдавать команды; раскаты его голоса сильно смахивали на гомон тюленей во время кормежки. Юные барабанщики одновременно вскинули палочки крест-накрест. Духовые, мундштуками своих инструментов отведя ото ртов выбившиеся «метелки» меховых шапок, надули щеки и приготовились как следует дунуть. Полковой барабанщик — он выглядел так, словно проглотил свой стек, — провел правой рукой вдоль груди и замер, прижав стек к телу. Кто-то выкрикнул приказ. Гвардейцы взяли на караул. Гвардейцы поставили оружие наземь. Гвардейцы принялись маршировать.

Барабанные палочки опустились, оркестр медленно, торжественно, почти помпезно вышел на площадь, наигрывая величавую полковую музыку. Мысок каждого

сапога изящно тянулся к земле, как нога танцовщика. Показался знаменосец, окруженный сверкающей изгородью штыков. Оркестр заиграл бодрую мелодию, и гвардия отправилась в свои казармы.

Толпа зрителей распалась: кто поспешил следом за оркестром, кто — более искушенная публика — направился в противоположную сторону, чтобы встретить конных лейб-гвардейцев, скачущих по Мэлл от Уайтхолла. Их латы сияли так, как, наверное, и не мечталось рыцарям короля Артура. Белые султаны гроздьями снега ниспадали на сверкающие шлемы. Поводья лейб-гвардейцы сжимали белыми перчатками. Палаши искрились на солнце. Приблизившись к дворцу, конники взяли равнение на ворота: все выпрямили спины, выпятили грудь, палаши на плечо, колени под прямым углом. Караульные у ворот вытянулись по стойке «смирно».

Так, пышно, с размахом, началось это летнее субботнее утро в Лондоне. Зрители были в восхищении. Им открылся легендарный Лондон. Невозможно не поддаться общему радостному настроению: солнце над Мэлл, герани в клумбах, зеленая листва, блики на алом, золотом и на стали, флаги, штыки, палаши, перезвон упряжи, рокот барабанов, пение духовых — и Королевский штандарт Англии на флагштоке Букингемского дворца.

Я оглянулся, отыскивая взглядом своего собеседника. Он раскуривал трубку.

— Да уж, — буркнул он. — Лондон — чемпион и все такое... Только вот надо было мне углядеть это чертово средство...

Он попрощался со мной взмахом руки и понуро побрел прочь. Мы с ним никогда больше не увидимся — разве что я ухитрюсь однажды сломать себе шею не где-нибудь, а именно в Барнсли.

Нежелание англичан обеспечить своего монарха лондонским дворцом, подобающим достоинству и могуществу венценосца, всегда вызывало недоумение иностранцев и сильно беспокоило самих подданных его величества — по крайней мере, некоторых из них: в 1828 году герцог Веллингтон, выступая перед палатой лордов, заявил, что «ни один европейский сюзерен, я бы даже сказал, ни один благородный джентльмен не может соперничать в скромности условий проживания с королем этой страны».

Впрочем, на бумаге английские монархи имели в своем распоряжении самые роскошные дворцы, какие только можно вообразить. На протяжении двух последних столетий любому монарху, остро ощутившему «скромность условий проживания» и пожелавшему насладиться полетом фантазии придворных архитекторов, достаточно было снять с полки в Королевской библиотеке Виндзорского замка пухлый том, в котором содержались проекты по меньшей мере дюжины великолепных дворцов. Любой из этих дворцов, воплотись в жизнь планы его строительства, изменил бы Лондон до неузнаваемости.

Почему же, спросите вы, ни один из этих дворцов так и не был построен? Думаю, одна из причин заключалась в отсутствии средств, а другая, менее очевидная, — в твердом убеждении англичан, что никакие Лувры и Версали не могут быть домом для британской монархии. Все же эти многочисленные неосуществившиеся проекты не лишены любопытства, поэтому в них стоит заглянуть; начнем с грандиозного проекта нового дворца Уайтхолл, разработанного гением мертворожденной архитектуры Иниго Джонсом. Проект Джонса предусматривал возведение целого

королевского «города» между Чаринг-Кросс и Вестминстерским аббатством, включавшего в себя весь Уайтхолл и Сент-Джеймс-парк. Размах проекта был таков, что Букингемскому дворцу (в ту пору Букингем-хаусу) в нем отводилась незавидная роль «королевского приюта, обсерватории и палаты редкостей», а Мальборо-хаус должен был стать «оранжереей экзотических растений». В дворце Джонса помещался бы не только королевский двор, но и парламент, суд и государственная служба, как того требовала традиция; в личное распоряжение сюзерена предполагалось передать гигантское здание на берегу реки, напоминавшее своими размерами и формой многоярусный замок.

Следующий автор дворцового проекта — сэр Кристофер Рен, который охотно взялся бы за радикальную перестройку Уайтхолла, но вынужден был усмирить фантазию; впрочем, в Гринвиче мы можем наблюдать, каков был бы результат, получи Рен заказ на работы в Вестминстере. Уильям Кент, архитектор здания Королевской конной гвардии, предлагал Георгу II изящный проект в палладианском стиле и просил выделить под строительство место на территории Гайд-парка. Сэр Уильям Чамберс по распоряжению Георга III подготовил проект и модель нового Уайтхолла. В 1766 году Джордж Райт возвел в Испании замок, проект которого он собирался предложить британской короне. В числе прочих свою лепту в изобретение проектов королевского дворца внесли также Соун и Нэш.

В этом стремлении к роскоши и помпезности отчетливо прослеживается неудовлетворенность тем обстоятельством, что французские короли жили, как подобает монархам, тогда как короли английские ютились в древних, ветшающих, неудачно спланированных зданиях, а то и в домах, уступавших размерами и богатством домам многих аристократов.



Тот факт, что на берегах Темзы до сих пор не построено здания, способного соперничать с Лувром, воспринимался частью англичан как национальный позор. И все же... Учитывая большое количество архитекторов-любителей среди аристократов той поры, не может не удивлять, что ни один, даже самый скромный, из проектов нового дворца так и не был реализован. Очевидно, все дело в том, что континентальное представление о королевском дворце не смогло прижиться на английской почве.

У нас был Букингемский дворец, который с течением лет превратился не в место нахождения королевского двора (эту функцию по-прежнему выполняет Сент-Джеймский дворец), а в главную королевскую резиденцию в Лондоне; благодаря добродетели и личным достоинствам Георга V и королевы Марии, их наследников и преемников этот дворец стал самым известным и самым любимым в мире из всех дворцов. Кстати, весьма показательно, что Букингем-хаус стал королевским дворцом, так сказать, поневоле; это прекрасная иллюстрация типичного английского нежелания строить дворцы с размахом.

Территорию, на которой стоит Букингемский дворец, в правление Якова I занимали плантации тутовника; Яков верил, что шелководство «способно избавить народ от праздности и порождаемых ею пороков». Впрочем, эта теория умерла вместе с Яковом, а на месте плантации возник придорожный трактир, в который кавалеры Карла II приводили своих дам и угощали их пирожками с тутовой ягодой. В этом трактире бывали Ивлин и Пипс, а Джон Драйден приводил в него свою фаворитку, актрису мадам Рив.

По соседству с тутовой плантацией были построены три дома — Горинг-хаус, Арлингтон-хаус и, последним, Букингем-хаус. На офортах времен королевы Анны мы видим симпатичный квадратный дом из красного

кирпича в голландском стиле; две полукруглые колоннады соединяют его с конюшней и хозяйственными постройками. Перед домом широкий двор с фонтаном, железная ограда и кованые ворота, украшенные венцом и гербом герцога Букингемского — подвязка и святой Георгий. Выглядывая из окон верхнего этажа, герцог видел аллею вязов и лип — нынешнюю Мэлл. Вдалеке возвышался купол собора Святого Павла, окруженный шпилями церкви Сити, а чуть ближе и правее, за лугами и парком, виднелась колокольня Вестминстера. При взгляде на Мэлл герцогу открывался вид на длинный канал и утиную заводь, выкопанные по распоряжению Карла II; сегодня это озеро в парке Сент-Джеймс. Рассказывая о новом доме в письме к другу, герцог поведал, что под самыми окнами остался клочок леса, где водятся дрозды и соловьи.

После смерти герцога Букингем-хаус перешел во владение вдовствующей герцогини, третьей жены Букингема, по слухам, незаконнорожденной дочери Якова II от Катарины Сидли; достоинства последней были столь сомнительны, что Карл II искренне полагал, будто она — живая епитимья, наложенная исповедником на его грешного братца [\[30\]](#).

После кончины высокомерной и эксцентричной дочери Якова и Катарины дом приобрел Георг III в качестве свадебного подарка королеве Шарлотте; с того самого дня Букингем-хаус неразрывно связан с королевской семьей. Король Георг и королева Шарлотта вели в этом сельском домике приятную и спокойную жизнь, оставив для приемов и придворных увеселений дворец Сент-Джеймс. Когда наш великий строитель принц-регент взошел на престол под именем Георга IV, он, как и следовало ожидать, призвал к себе архитектора Риджент-стрит и повелел перестроить Букингем-хаус (или Куин-хаус, как его стали называть). Однако Нэш успел переделать дворец только снаружи —

когда пора было браться за интерьер, и он, и его венценосный покровитель уже умерли. Новому королю Вильгельму IV Букингемский дворец категорически не нравился, поэтому он наотрез отказался туда переезжать и даже предложил его в качестве временного помещения для парламента после пожара, уничтожившего Вестминстер.

Такое впечатление, что судьба берегла Букингемский дворец для юной Виктории. Сразу после коронации Виктория перебралась в этот дворец; первое распоряжение королевы касалось установки в Букингемском дворце парадного трона. Впрочем, дворец Виктории принципиально отличался от современного Букингемского дворца — ведь он строился по проекту Георга IV. Передний фасад был отодвинут вглубь, от центрального портика отходили два крыла. Современному лондонцу и не представить, что перед дворцом стояла триумфальная арка Марбл-Арч, служившая главным въездом; над ней трепетал на ветру королевский штандарт.

Дворец перестраивался дважды — в 1847 году и в 1914-м, накануне войны, когда был принят план строительства памятника королеве Виктории, согласно которому Мэлл надлежало расширить и установить в одном конце улицы арку Адмиралтейства, а в другом — Мемориал Виктории; на фоне этих «новостроек» дворец выглядел старомодно и нелепо. Фасад — тот самый, который мы наблюдаем сегодня, — возник всего за три месяца, словно по мановению волшебной палочки, причем строители трудились над ним, не вынимая стекол из оконных проемов.

По счастью, заднего фасада дворца реконструкция не коснулась. Многие из тех, кому доводилось посещать королевские приемы в саду, утверждали, что существует значительная разница между лицевым и задним фасадами дворца. Задний представляет собой

творение Нэша и Блоура, сохранившееся до наших дней почти в первозданном виде. Это прекрасный образчик классического стиля, лучше всего он смотрится в солнечные дни с берега искусственного озера. Королевская семья живет в задней части дворца, окна которой выходят на одну из протяженнейших лужаек в мире.

На протяжении долгих лет вдовства королевы Виктории Букингемский дворец как бы выпал из жизни столицы, однако война 1914–1918 годов заставила вспомнить о его существовании; более того, он стал оплотом нации в эти тяжкие годы. Вероятно, побуждаемые неким инстинктивным влечением к законному монарху, люди впервые собрались на Мэлл в августе 1914 года и стали славить короля. После войны Георг V, благодаря радиовещанию и своему хорошо поставленному голосу, превратился в истинного отца нации.

Во Вторую мировую Георг VI и королева Елизавета распорядились не спускать королевский штандарт с флагштока над дворцом, несмотря на частые бомбардировки и близкие попадания. С воздуха Букингемский дворец, узнаваемый по прямой как струна Мэлл и обширному парку вокруг, представлял собой отличную цель. Мне доводилось слышать самые невероятные рассказы о подземных бомбоубежищах, якобы сооруженных под Букингемским дворцом; могу со всей ответственностью заявить, что эти бомбоубежища существовали лишь в воспаленном воображении людей, распространявших подобные слухи. Даже в самые горячие деньки (и ночи) король с королевой оставались во дворце, выказывая фаталистическое отношение к опасности, — как убедились на собственном опыте многие их подданные, это отношение было самым правильным.

Королевское «бомбоубежище» находилось в кладовой в подвале дворца; оно вряд ли уберегло бы и от близкого взрыва, не говоря уже о прямом попадании. В кладовой стояло несколько позолоченных стульев и просторный позолоченный же диван — типичнейший антураж королевских дворцов; эта мебель смотрелась в подвале довольно странно. Напротив двери помещался круглый викторианский стол красного дерева, на котором руки опытного слуги аккуратно расставляли и раскладывали масляные лампы, электрические фонари, пузырьки с мазью от ожогов и номера свежих журналов. На стенах висели топоры, чтобы, если дверь завалит, королевская чета могла прорубить себе выход наружу. Мне довелось побывать в этой кладовой во время войны; по-моему, крохотная комнатка в подвале заслуживает как минимум мемориальной таблички.

## 7

Июньским утром, в официальный день рождения короля, я стоял на плац-параде Королевской конной гвардии и наблюдал за тем, как королевские гвардейцы несут навстречу монарху знамя своего полка; этот церемониал, известный под названием «Вынос знамени», был введен при Георге II радениями, как утверждается, герцога Камберленда. Признаться, всякий раз, когда мне доводится наблюдать за этим церемониалом, я вспоминаю о военных парадах, которые проводились в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге во времена Мальборо.

Король в форме полковника гвардии неторопливо ехал по Мэлл, принцесса Елизавета держалась рядом с отцом, за ними следовали придворные в пышных парадных облачениях. Один за другим они заняли свои места у арки Королевской гвардии, а сверху, из окна, на

них смотрела королева и другие члены августейшего семейства.

Загрохотали барабаны, гвардейская бригада пришла в движение, впереди торжественно вышагивали пять полковых барабанщиков — в белом и золотом, на головах бархатные жокейские шапочки, на ногах белые гетры. Одно из самых восхитительных зрелищ — когда воинские подразделения по команде дружно поворачиваются, выполняя перестроения с несомненным изяществом. Так и представляешь себе какого-нибудь эксцентричного монарха восемнадцатого столетия, днями напролет муштрующего своих гвардейцев, — ведь красиво!

После марша состоялся вынос знамени. Каждый год один из гвардейских полков передает для церемонии свое знамя; на сей раз эта честь выпала 2-му батальону полка шотландских гвардейцев. Знамя проносят между шеренгами замерших по стойке «смирно» солдат, знаменосца сопровождает вооруженный гвардеец. Первым знамя берет в руки сержант, по бокам которого встают двое часовых с примкнутыми штыками. Втроем они выходят из строя, останавливаются, сержант передает знамя офицеру, эскорт берет на караул, а сержанты на флангах замирают, прижав оружие к груди, всем своим видом показывая, что застрелят любого, кто осмелится покуситься на знамя. Под звуки марша, который играют пять оркестров, знамя торжественно проносят по периметру плац-парада.

В воинских церемониях есть нечто бесконечно трогательное, хотя, как мне представляется, людям того века, который пережил две мировые войны и всерьез рассуждает о третьей, не пристало восторгаться милитаристскими ритуалами; впрочем, и я сам, и люди вокруг меня не могли сдержать восторг, наблюдая за церемониалом выноса знамени. В конце концов, мы же не на войне, правда? Война — это бедная старая леди,

ютящаяся под лестницей вместе с ненаглядной кошечкой, и юнец, парящий в небе в тысячах футов над этой старухой, не испытывающий к ней ни капли ненависти, даже не подозревающий об ее существовании, но прилагающий все усилия, чтобы убить ее саму и уничтожить улицу, на которой она живет...

Внезапно донесся гулкий рокот кавалерийских барабанов — этот звук не спутаешь ни с чем. На площадь выехали лейб-гвардейцы Королевской конной гвардии во главе с барабанщиком на пегом жеребце, чьи поводья крепились к шпорам седока. Следом за барабанщиком ехали два эскадрона лейб-гвардейцев, солнце сверкало на блестящих нагрудниках, ветер шевелил белые султаны шлемов.

Затем торжественным маршем двинулась гвардейская пехота. Нам напомнили, что в этом году честь выноса знамени досталась шотландским гвардейцам: когда пехота шла медленным шагом, оркестры играли «Наряд старого гэла», а когда перешла на быстрый, стали играть марш «Шотландский горец».

У арки король, восседая на своем жеребце, салютовал каждому подразделению.

— Вольно!

Этот долгожданный приказ вызвал внезапное оживление в замерших по стойке «смирно» алых рядах: кто ослабил ремешок под подбородком, кто поправил меховую шапку, кто повел плечами под тяжелой скаткой.

Король тоже воспользовался случаем и на мгновение сдвинул меховую шапку на затылок. Секунду спустя гвардейцы снова замерли. Заиграла музыка, сотни башмаков загрохотали по мостовой. Король с дочерью заняли место во главе конной гвардии и медленно двинулись обратно по Мэлл к Букингемскому дворцу.

— Мой бог, — воскликнула стоявшая рядом со мной молодая американка, — до чего же шикарно!

## 8

Когда наступает двадцать девятое мая, ветераны из Челси меняют свои голубые матросские куртки на красные, добавляя лишнюю толику цвета к пестроте лондонских улиц. В этот день раньше отмечался «день чернильных орешков»; сегодня об этом празднике помнят разве что дети и челсийские ветераны. В этот день триста лет назад Карл II триумфально вернулся в Лондон и снова воссел на престол; кроме того, двадцать девятое мая — день рождения Карла. Свое прозвище этот праздник получил в память о том, как король после разгрома при Вустере укрывался под Боскобелским дубом, а подручные Кромвеля тщетно искали предводителя своих врагов по окрестностям. В старину роялисты в этот день украшали одежду дубовыми листьями с чернильными орешками.

Перед последней войной я напечатал в одной газете статью по поводу «дня чернильных орешков»; в этой статье я, в частности, вспоминал о том, как, будучи ребенком (мое детство прошло в Уорикшире), вскакивал утром 29 мая с постели и бежал собирать дубовые листья с чернильными орешками. Еще мы с друзьями нарывали крапивы и с криками: «Изменник!» гонялись за всеми ребятами, у которых на одежде не было дубовых листьев, и хлестали крапивой по голым коленкам. Порой среди «изменников» попадались крепкие, мускулистые ребята постарше, которые давали нам отпор и от души проходились крапивой уже по нашим коленкам.

После выхода номера газеты с моей статьей меня буквально завалили письмами со всех уголков страны; писали в основном школьные учителя, сообщавшие, что



дети до сих пор соблюдают этот ритуал. (Дело было в 1938 году.) Интересно, играет ли в эти игры сегодняшняя детвора — или война положила им конец? Детские голоса, выкрикивающие: «Изменник! Изменник!», троекратное «ура!», которым встречали Карла II ветераны на плац-параде Королевского госпиталя, радость «кавалеров»<sup>[31]</sup>, приветствующих возвращение монарха на трон предков, — обо всем этом вспоминаешь, очутившись двадцать девятого мая на улицах Челси.

Ветераны из Челси отмечают этот день потому, что именно Карл II основал Королевский госпиталь, как утверждается — и этому утверждению хочется верить, — по просьбе Нелл Гвин<sup>[32]</sup>. Легенда гласит, что толпа нищих однажды окружила карету, в которой ехала Нелл. Среди тех, кто просил подаяния, был и старик-инвалид, ветеран войны, увечья которого так растрогали госпожу Гвин, что она не успокоилась, пока не уговорила Карла основать приют для ветеранов. Разумеется, фактов, которые могли бы подтвердить эту легенду, не существует, однако отсюда вовсе не следует, что в ней нет ни слова правды. В своем завещании Нелл Гвин отписала некоторую сумму на облегчение страданий несчастных должников; почему бы ей, в самом деле, было не позаботиться о людях, пожертвовавших здоровьем на благо родной страны? Так или иначе, чтобы убедить Карла в необходимости потратить 150 000 фунтов стерлингов на постройку английского «дома инвалидов», когда король отчаянно нуждался в средствах, требовалось существенное внешнее давление — политическое или более интимного свойства.

Учреждение открыто для посещений семь дней в неделю, однако относительно немногие лондонцы пользуются возможностью осмотреть старинное здание и поговорить с живущими в нем ветеранами. Зато туда

частенько заглядывают американцы и другие иностранные туристы, причем среди них регулярно попадаются архитекторы, что ни в коей мере не должно удивлять — ведь Королевский госпиталь, наряду с Гринвичским, представляет собой шедевр мирской архитектуры, осененный гением сэра Кристофера Рена.

Я доехал на омнибусе до Слоун-сквер и двинулся пешком по Кингс-роуд в направлении госпиталя, где и провел около часа за разговором со стариками в алых куртках: одни бродили по крытым аркадам, другие курили трубки и читали, поправляя сползавшие на нос очки, в просторном помещении, оборудованном под комнату отдыха.

Вопреки распространенному мнению ветераны из Челси проводят время отнюдь не за разыгрыванием прежних битв, со спичечными коробками в роли кавалерийских бригад и табачными плитками в качестве батарей конной артиллерии. Конечно, если поманить их пинтой пива, некоторые пустятся в воспоминания апокрифического свойства, однако большинство ветеранов подозревает — и вполне обоснованно, — что посетители, интересующиеся подобного рода историями, на самом деле переодетые журналисты.

Не стану скрывать, о чем они и вправду говорят между собой, — о ревматизме, скачках и диете. Для тех, кто дожил до семидесяти лет, наличие либо отсутствие зубов гораздо важнее «Атаки кавалерийской бригады»<sup>[33]</sup>. Наиболее пожилые ветераны находятся в лазарете, куда посетителей пускают неохотно; они говорят в основном о своем возрасте. Мне объяснили, что если человек перевалил через семидесятилетний рубеж, он вполне может дожить до девяноста. После семидесяти своим возрастом начинаешь гордиться. Каждый день рождения — настоящий праздник. В восемьдесят принимаешься хвастаться и приписывать

себе в разговорах годок-другой, а от собеседников требуешь документальных подтверждений их возраста.

Порой в лазарете можно столкнуться со сморщенным старичком, чья седая борода снежной пеленой укрывает яркие ленты боевых заслуг. Завидев гостя, он вынимает трубку из беззубого рта и сообщает тоненьким детским голоском:

— Мне девяносто пять, правда-правда.

И смотрит на тебя с обезоруживающим нахальством маленького хвастунишки пяти-шести лет.

Потом указывает черенком трубки на другого престарелого ветерана.

— Я старше его. — Тоненький голосок дрожит. — Ему только девяносто, а мне девяносто пять, правда-правда.

— Что тут за шум? — сурово интересуется медсестра.

— Я просто говорю, что я его старше.

— Я знаю. — Тон медсестры мгновенно меняется, становится ласковым. — Мы все знаем, что вы здесь самый старший.

— Да уж...

Сдается мне, разговоры девяностопятилетних стариков поразительно схожи с разговорами юнцов пяти лет от роду.

Три главные достопримечательности Королевского госпиталя — это жилые помещения ветеранов, которые напоминают пассажирскую палубу старинного корабля с рядами «кают» красного дерева, часовня и холл. Старики собираются в холле, чтобы почитать, поиграть в карты или просто поболтать друг с другом. Стены увешаны древними знаменами, в дальнем конце холла стоит стол, на который некогда опустили тело герцога Веллингтона. Под стеклом — сабля сержанта Шотландского грейского полка Юарта, «рыцаря Ватерлоо»; над саблей — орел французского 45-го пехотного полка, захваченный сержантом в разгар кавалерийской атаки.

Неподалеку стоит ящичек, куда складывают награды, не востребованные после смерти их обладателей. На многих наградах — женская головка, портрет юной королевы Виктории. Эти награды повествуют не только о тяготах походной жизни и опасностях сражений — они рассказывают и об одинокой старости, когда на пороге смерти ты особенно остро понимаешь, что тебе некому передать омытые твоей кровью ордена и медали.

Часовня выглядит практически так же, как представлял ее себе Рен два с половиной столетия назад. Под потолком висят увитые призрачной паутиной древки с наполеоновскими орлами на навершиях. Те старики, которые отвоевывали у врага эти древки и знамена, давным-давно покинули сей бранный мир.

Ветеран с единственным зубом во рту сообщил мне, что заведует золотым запасом госпиталя, после чего отпер сейф и достал пару превосходных золотых подсвечников, несколько кувшинов, потир и золотое блюдо времен правления Якова II.

По его словам, королева, недавно побывавшая в часовне, восхищалась этим блюдом и тем, как хорошо оно сохранилось, а под конец попросила название чистящего средства, которым пользуются в госпитале.

— А я ей и говорю: «Мадам, вам когда-нибудь доводилось слышать о мифической микстуре из солдатского пота и рукава рубахи?»

Логично предположить, что ветеран, которому исполнился сто один год и который побывал во множестве схваток, будет в госпитале в безопасности от врагов Короны. Однако мы живем в изобилующем опасностями мире: в 1941 году в госпитале взорвалась парашютная мина, убив тринадцать человек, в том числе ветерана, родившегося в 1840 году — в год свадьбы королевы Виктории.

Поскольку ноги все равно привели меня в Челси, я решил провести в этом чудесном районе весь день.

В доме Карлейля на Чейн-роу я не бывал с начала войны — и, честно говоря, не знал уцелел он или нет под бомбардировками. К счастью, музей не пострадал и был открыт для публики, желающей познакомиться с жизнью Томаса Карлейля.

По-моему, этот дом занимает особое место среди литературных музеев Лондона. Писатели и художники в целом — беспокойное племя, постоянно переезжающее то туда, то сюда, в зависимости от собственных успехов или неудач, или просто потому, что прежнее жилье им наскучило и они желают сменить вид из окон. Скажем, доктору Джонсону абсолютно не сиделось на месте, и поэтому в его «послужном списке» значатся шестнадцать лондонских адресов. Почти столь же часто меняли свои адреса Диккенс и Теккерей. А вот Карлейль прожил в своем доме на Чейн-роу почти пятьдесят лет. Пожалуй, и не вспомнить другого литератора, настолько привязанного к своему крову. В этом доме были написаны все сочинения Карлейля, кроме романа «Сартор Резартус».

Дом буквально дышит Карлейлем. Если вам нравится этот автор, вы не останетесь разочарованным. Лично мне Карлейль не слишком интересен; я считаю его чем-то средним между Бернардом Шоу и Джоном Ноксом и не испытываю к нему той симпатии, какую вызывают у меня Босуэлл, Джонсон, Лэм, Ли Хант, Диккенс и многие другие. Насколько мне известно, у Карлейля не было простительных человеческих слабостей: он не страдал неводержанностью к спиртному, как Босуэлл, не боялся смерти, как Джонсон, не идеализировал женщин, как большинство писателей. Тем не менее в нем должно

было быть что-то привлекательное. В конце концов, человек, способный набить табаком глиняную трубку и положить ее на порог, чтобы любой проходящий мимо бедняк мог сделать затяжку-другую, просто обязан иметь в своем характере привлекательные черты — хотя чаще всего он бывал надменен и раздражителен.

Музей представляет собой очаровательный маленький домик в георгианском стиле с садиком позади; Карлейль арендовал его всего за 35 фунтов в год — любопытный штришок, показывающий, как обесценились деньги за минувшее столетие. Комнаты, разумеется, изобилуют предметами, свойственными любому дому-музею: мебель, которой пользовались Карлейли, перья, письма, фортепьяно, на котором играл Шопен, услаждая слух миссис Карлейль, картины, бюсты и — так и видишь воочию презрительную гримасу на лице Карлейля — халат великого человека и шаль его жены, обернутые целлофаном.

На верхнем этаже дома расположена звукоизолированная комната, в которой Карлейль тщетно стремился укрыться от шума улицы и реки и от кудахтанья «демонических птиц» во дворе соседнего дома. Его семейная жизнь с Джейн Уэлш Карлейль сопровождалась взаимными упреками и взаимным недовольством, хотя, как мне кажется, эти двое были искренне привязаны друг к другу. Вероятно, рождение ребенка — единственное, что могло бы утешить Джейн и облегчить ей жизнь с бессердечным эгоистом. Когда Карлейлю был семьдесят один год, а Джейн — шестьдесят пять, она отправилась на прогулку в экипаже, прихватив с собой собачку. Животному не сиделось, экипаж остановился, собачка выскочила на мостовую — и угодила под колеса другого экипажа. Джейн вышла, подобрала бездыханное тельце, вернулась в экипаж и как ни в чем не бывало продолжила прогулку. Однако умерла она от инфаркта,

в том самом экипаже; когда открыли дверь, то увидели Джейн, сидящую со сложенными на груди руками, и тело собачки у нее на коленях.

В доме на Чейн-роу супруг покойной принялся изводить себя напрасными сожалениями о том, что при жизни не уделял Джейн достаточно внимания. Да, он был общепризнанным светилом английской литературы, как Джонсон в прошлом веке, но это больше не имело значения для унылого старика, который в последующие пятнадцать лет становился все более хрупким и вялым и постепенно утрачивал разум. Те, кому довелось навещать его в последние годы, видели перед собой дряхлого старика в халате — седая борода топорщится, голубые глаза уже подернулись пеленой, на голове ночной колпак, на ногах тапочки без задников... Он принимал гостей, сидя в кресле у камина, обложенный подушками. «Мне осталось немного, — сказал он одному посетителю, — и, по мне, уж чем скорее, тем лучше». В феврале 1881 года Карлейля перенесли из спальни в гостиную на первом этаже. Ему было тогда восемьдесят шесть лет. За день до кончины он, как утверждают, пробормотал себе под нос: «Так вот ты какая, смерть...»

Мои печальные размышления — а вся обстановка в доме напоминает о последних годах жизни Карлейля — прервала служительница, извинившаяся за то, что смогла уделить мне внимание только сейчас.

— У нас работают водопроводчики, — пояснила она. Сразу стала очевидной причина доносившегося откуда-то из глубины дома стука. — Понимаете, мы решили наконец провести канализацию и установить ванну. Я проработала здесь сорок пять лет и никак не могу поверить! Потому и бегаю к ним при каждом удобном случае, чтобы убедиться, что это не сон.

— Неужели у Карлейля не было ни ванны, ни уборной? — удивился я.

— Он пользовался сидячей ванной, а уборная в саду.

Я попрощался с Чейн-роу в отличном настроении — еще бы, ведь мне удалось оказаться здесь в поистине исторический миг!

## 10

Два других гения, Тернер и Уистлер, окончили свои дни по соседству с Карлейлем. Мемориальная табличка на стене дома номер 119 по Чейн-уок извещает, что Дж. М. У. Тернер скончался здесь в 1851 году. Этот маленький дом стал свидетелем экстраординарного «исчезновения» художника — в самом расцвете славы (или, быть может, уже в начале пути с вершины).

Тернер был весьма странным человеком. Сын лондонского цирюльника, он отличался красным, цвета лобстера, лицом и пронзительными серыми глазами. На публике он вел себя грубо и невежливо, тогда как с друзьями бывал весел и добродушен; впрочем, он всегда оставался подозрительным и уклончивым в ответах, и, как ни удивительно, этот великий импрессионист совершенно не умел излагать свои мысли и чувства в словах.

Когда ему исполнилось семьдесят два года, он решил исчезнуть. Ему принадлежал очаровательный дом в Вест-Энде, однако сам он там не появлялся, хотя дом был открыт для гостей, которых радушно встречал эконо́м. Как бы то ни было, на протяжении четырех лет никто не знал, где Тернер обитает.

Он внезапно объявлялся на публичных мероприятиях и столь же внезапно исчезал. Как ни пытались друзья выяснить, куда он пропадает, Тернер ловко выпутывался из расставленных ими капканов и умело заметал следы.

Лишь перед самой его кончиной выяснилось, что все четыре года он провел в доме номер 119 по Чейн-уок под именем адмирала Бута — или «Пагги». Вместе с ним



под крышей этого дома проживала развязная шотландка, гигантского роста женщина по имени София Кэрлайн Бут, с которой он познакомился еще в молодости. Он звал ее «старушкой», она его называла «голубчиком». На крыше дома он установил перила и, выходя на рассвете в старом халате, опирался на них, наблюдая восход солнца над Темзой. Те, кто знал его исключительно под именем адмирала Бута, должно быть, полагали, что видят перед собой старого морского волка, на склоне лет осевшего на суше; при этом Тернер, хоть он и был богат, последние годы жизни провел так, словно за душой у него не осталось и шиллинга. Дом, ныне перестроенный и расширенный, был так мал, что, когда Тернер умер, гробовщики не смогли пронести гроб в спальню и им пришлось, вопреки обычаю, переносить вниз покойника.

Уистлер жил на расстоянии нескольких домов от Тернера по той же Чейн-уок. В молодости он наряжался в диковинные эксцентричные наряды, не лез за словом в карман, к месту и не к месту проявлял остроумие — словом, был в Челси довольно заметной фигурой еще до того, как стал знаменитым художником. Арендовав в тридцать с небольшим лет дом номер 96 по Чейн-уок, он устроил что-то вроде торжественного приема по этому поводу. На приеме присутствовали многочисленные друзья и знакомые, в том числе брат и сестра Россетти. По неведомой причине украшение гостиной он пожелал отложить на утро того дня, когда был назначен прием. Двое молодых людей, приглашенных им в помощники, запротестовали — дескать, краска не успеет высохнуть.

«Подумаешь! — беспечно воскликнул Уистлер. — Тем красивее она будет смотреться!»

К вечеру стены гостиной приобрели оттенок человеческой кожи, а двери отливали желтым, и эту цветовую гамму гости уносили домой на своей одежде.

В этом доме художнику позировал Карлейль — для того самого портрета, который получил такую известность. Первоначально Уистлер сказал, что ему хватит трех сеансов, однако в итоге сессия затянулась. Карлейль оказался нетерпеливой моделью. Он неоднократно предлагал Уистлеру «подстегнуться», а художник прикрикивал на него: «Ради всего святого, не вертитесь!»; наконец Карлейль взбунтовался и стал рассказывать всем вокруг, что Уистлер — «самый бестолковый тип на земном шаре».

Художник покидал Челси, возвращался, снова уезжал — и вернулся в последний раз, чтобы умереть. В пятьдесят три года он женился на вдове по имени Беатрикс Годвин, чья кончина девять лет спустя погрузила его в пучину одиночества и отчаяния. Несколько лет подряд он скитался по Лондону, жил то у друзей, то в меблированных комнатах, пока, уже больным шестидесятисемилетним стариком, не нашел обратную дорогу на Чейн-уок — на сей раз в дом номер 74.

Перед теми, кто знал его в буйной молодости и славной зрелости, предстал совершенно незнакомый человек.

«Когда мы увидели Уистлера, бродившего в поношенном пальто по просторной студии, — писали в своей книге «Жизнь Джеймса Макнейла Уистлера» Э. Р. и Дж. Пеннелл, — нас поразили его облик: дряхлый, измученный, едва живой старик. Для нас не было зрелища печальнее и трагичнее. Трагедия усугублялась тем, что он всегда был записным франтом, истинным денди, и сам себя таковым называл... Но теперь никто не сумел бы угадать бывшего денди в этом всеми покинутом старике, облаченном в ветхое пальто и еле переставлявшем ноги».

Здоровье Уистлера продолжало ухудшаться, и спустя год он умер. Так вот окончили свои дни на Чейн-

уок два великих художника, обессмертившие своей кистью рассветы на Темзе; судьба отказала им в достойной и умиротворенной старости, они покинули мир, которому подарили красоту, в одиночестве, небрежении и тоске.

## 11

Размышления о Тернере и Уистлере навели меня на идею завершить день посещением галереи Тейт, полное название которой — Национальная галерея британского искусства. Однако никто не называет ее полным именем, она — галерея Тейт или просто «Тейт».

Каждому лондонцу известна галерея Тейт, но многие ли знают что-либо об ее основателе Генри Тейте? Этот человек обязан своей славой и карьерой потрясающему в своей элементарности изобретению. Он изобрел кусковой сахар! Начиная с помощника бакалейщика в городке на севере Англии, в Ливерпуле стал торговать сахаром и быстро сообразил, от скольких неудобств себя избавит, если будет продавать сахар не бесформенными головами, а одинаковыми кусками. «Сахарные кубики Тейта» мгновенно стали известными всему миру. Удивительно, что никто не додумался до этого раньше.

Тейт со своим кусковым сахаром, Липтон со своим чаем, Леверхьюм со своим мылом — все они принадлежали краткому эдвардианскому периоду, покончившему со строгой викторианской моралью, периоду яхт, загородных домов, коллекций живописи и необычайно щедрых пожертвований на благотворительные нужды. Генри Тейт коллекционировал картины, которые висели в галерее его особняка в Стритхэме. Он приобрел, в частности, лучшие работы Миллеса — Офелию, утонувшую в пруду с лилиями, «Северо-восточный переход» и «Долину

покою». Эти и другие картины современных ему художников Тейт хотел передать Национальной галерее, но возникли определенные сложности, и в конце концов было принято решение, что правительство выделит место, а Тейт построит галерею современного искусства и передаст управление ею совету Национальной галереи. И здесь очень кстати оказался снос Милбэнской тюрьмы — громадного, как крепость, здания, напоминавшего формой колесо телеги, с домом начальника тюрьмы в качестве ступицы.

Взаимоотношения между галереей Тейт и Национальной галереей аналогичны тем, которые существуют между Лувром и Люксембургским дворцом. Желая изучать современное британское искусство, представленное на Трафальгарской площади лишь несколькими работами, идет в Тейт. Отличным примером распределения работ между музеями могут послужить работы Тернера. Вероятно, лучшие его полотна — «Фрегат «Смелый», буксируемый к месту последней стоянки на слом», «Дождь, пар и скорость», равно как и картины на классические сюжеты, находятся в Национальной галерее, а в галерее Тейт творчеству Тернера посвящено несколько залов, которые должен осмотреть всякий, интересующийся работами этого мастера.

Я отправился в Тейт именно для того, чтобы взглянуть на Тернера, но, к своему стыду, не дошел до нужных залов. Меня отвлек Сарджент. Какой все-таки замечательный художник! Подобно Ван Дейку или Веласкесу, он олицетворяет собой целый период в истории живописи. Если вы хотите увидеть эдвардианцев такими, какими они хотели показаться в глазах потомков, вам следует посетить Тейт и бросить взгляд на картины Сарджента — семейство Вертхеймеров (отец, мать, сыновья и дочери), лорд

Рибблздейл как «хозяин гончих»<sup>[34]</sup>, миссис Карл Мейер, сестры Хантер и все прочие.

Порой в театре, во время представления, вы неожиданно вспоминаете о «машинерии зрелища», обо всех этих мужчинах с закатанными до локтей рукавами — электриках, рабочих сцены и остальных, ждущих команды сменить декорации, невидимых публике, но жизненно необходимых театру, потому что без них спектакль попросту не состоится. Картины Сарджента восхищают меня тем, что, смотря на них, я осознаю многое из оставшегося незапечатленным. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Сарджент не написал ни единого портрета, где не подразумевалось бы присутствие привратника, лакея или горничной. Их не видно, однако век, привыкший самостоятельно умываться и чистить обувь, знает: они там, на картинах.

Все портреты Сарджента передают насыщенную сигарным дымом атмосферу эдвардианского процветания. На полотнах присутствуют яхты, куропаточки, пустоши, грандиозные загородные особняки, биржа — а также величественного вида мужчина с окладистой бородой, большую часть своей жизни известный как принц Уэльский.

Мне кажется, сэр Осберт Ситуэлл прекрасно охарактеризовал Сарджента и его манеру в своем романе «Левая рука, правая рука».

«Чтобы заработать на жизнь в Англии времен конца правления королевы Виктории и эдвардианского периода, — пишет сэр Осберт, — художник-портретист был попросту вынужден до известной степени подражать старым мастерам, поскольку клиенты, которые могли себе позволить покровительствовать ему, требовали: «Ну-ка нарисуйте мне что-нибудь под того Гейнсборо, что был у моего деда (или — что случилось гораздо чаще — у чьего-то деда, чей внук решил продать картину), только не такое старомодное».

Сарджент, воспроизводивший манеру старых мастеров и добавивший к ней легчайший налет французского импрессионизма, непривычного для английской публики, идеально отвечал этому требованию».

Именно величественностью восхищают зрителя многие работы Сарджента. Но он умел быть другим. Просто нелепо, что картина «Отравленные газом», написанная после поездки на Западный фронт во время войны 1914–1918 годов, ныне висит в Имперском военном музее, поскольку, видите ли, имеет военную тематику. Ее следует перевезти в Тейт и повесить как можно ближе к портрету лорда Рибблздейла.

Признаюсь, я в восторге от Сарджента. Он был великим художником. Благодаря ему я перенесся из нашего сугубо самостоятельного века в мир, где деньги еще имели ценность. Сарджент никогда не был женат, он умер в Челси, в старой студии Уистлера на Тайт-стрит в возрасте шестидесяти девяти лет. Как и следовало ожидать от самого Сарджента, его искусства и эпохи, в которую он жил, содержимое студии, наброски, картины и личные вещи были проданы на аукционе «Кристи» за 175 260 фунтов. Эдвардианский период был Золотым веком, и Сарджент оказался зеркалом этого века.

## Глава девятая

# Сент-Джеймс, Гайд-парк и Кенсингтон

*Я направляюсь к Сент-Джеймскому дворцу и вспоминаю тот день, когда он стал убежищем для прокаженных женщин. Прогуливаюсь по Сент-Джеймскому парку, Грин-парку и Гайд-парку и вспоминаю историю этих мест, которые в старину были охотничьими угодьями. Посещаю Кенсингтонский дворец и осматриваю комнату, которая была спальней молодой королевы Виктории.*

### 1

Прогуливаясь однажды утром по Сент-Джеймс-стрит, я любовался на старые красные ворота Холбейн-Гейтвэй, ведущие к тому самому дворцу, который Хогарт поместил на четвертую картину «Карьеры мота». Внешне ворота с тех пор не изменились; вдоль распахнутых, как обычно, створок вышагивали двое часовых.

Я увидел небольшую группу посетителей, которые никак не могли набраться храбрости заглянуть внутрь. Спрятавшись за фургон торговца рыбой, который по случаю остановился здесь, они дождались, пока часовой отошел как можно дальше от ворот, и поспешно вбежали во двор, чтобы тут же убедиться: Сент-Джеймский дворец — самая доступная и приветливая королевская резиденция в Лондоне.

Если верно утверждение, что англичане по характеру сдержанны, то Сент-Джеймский дворец

можно считать архитектурным воплощением этого утверждения. Кажется невероятным, что это скромное здание с пологой крышей, в окна которого может заглянуть любой прохожий, и есть Сент-Джеймский дворец, куда на протяжении многих веков императоры, короли, султаны и президенты направляли своих послов. Само слово «дворец» звучит странно по отношению к этому зданию. Подумать только, и здесь находится королевский двор Англии?

В том-то и заключается очарование Сент-Джеймского дворца. Он маленький, «домашний» и не имеет ограды. Но это весьма важная часть Лондона. Здесь король был ближе к своему королевству, чем когда он находился на Баркли-сквер. Пипс записал в своем дневнике 19 октября 1663 года: «По возвращении в Сент-Джеймс мне сказали, что королева прекрасно отдохнула, проспала сегодня 5 часов подряд, затем приняла ванну, прополоскала рот и снова легла спать».

Как это точно! Как прекрасно эти слова описывают уютную атмосферу небольшого дворца, будто воплотившегося в реальность из детского стишка. Вы чувствуете, что, приоткрыв одну из этих маленьких дверей, можете увидеть короля, собственноручно пересчитывающего деньги, или королеву, вкушающую в будуаре хлеб с медом. Сохранилась запись, что в правление Георга II один из посетителей дворца упал, скатился вниз по лестнице, пролетел через двери и остался без чувств лежать на пороге. А когда он пришел в себя, то увидел, что суровый человек невысокого роста, светлобровый и краснолицый, наклеивает ему на лоб пластырь. Посетитель чуть не влетел прямоком в кабинет короля. Какая очаровательная сцена, как будто со страниц «Алисы в Стране чудес»!

Даже в наши дни можно пройти через сторожку у ворот, на которой видна монограмма Генриха VIII, и побродить по внутреннему дворику, где на некоторых



фонарях сохранились короны. Здесь можно встретить мальчика, доставляющего мясо во «Двор Йорков», или бакалейщика, заносящего товары в одну из многочисленных дверей или передающего их в окошко. Детали внутренней жизни дворца, обычно столь тщательно скрываемые от публики, здесь, при королевском дворе в Сент-Джеймсе, открыты для всего Лондона. Вы можете узнать, откуда во дворец привозят мясо, птицу, овощи и зелень, прочитав надписи на фургонах, въезжающих в Посольский двор.

Внутри дворец обычно можно увидеть только утром, когда проходит королевский прием, но присутствующие больше рассматривают друг друга, чем дворец. Однажды утром я прошел внутрь с чиновником из управления лорда-канцлера, он первым провел меня сквозь двери Знаменного двора. Я открыл одну из неизвестных красот Лондона. Двор прекрасен, как двор Темпла, и даже еще привлекательнее и демократичнее, ведь вместо чопорных и скучных адвокатов здесь присутствуют женщины. В центре окруженного административными зданиями двора возвышается почти полностью сгнивший деревянный столб с отверстием глубиной примерно в 5 дюймов. Это флагшток, на котором два века назад крепился флаг во время смены караула.

Больше всего Знаменный двор очаровал меня своей внутренней жизнью. Как часто я видел мясника, въезжающего на велосипеде в Посольский двор и таинственно там исчезающего! Теперь я знаю, что мясник скрывался в Знаменном дворе, где передавал товары женщинам, суесящимся на кухне. Вместо того чтобы позвонить в дверь, он передавал свертки через окно. Это очень старая традиция. Я полагаю, таким способом доставки пользовались еще при Карле II. Его величество обычно наблюдал за этой процедурой из

окна сверху, особенно если замечал поблизости симпатичных молочниц.

Чиновник из управления лорда-канцлера достал из кармана ключ и открыл «наши Сент-Джеймские апартаменты». Мы оказались в небольшом зале с изящной лестницей, по которой король поднимался во время приемов. Лестница привела нас в парадные залы. Я с удивлением обнаружил, что мы во дворце одни. Парадные апартаменты отделены от жилых помещений, они открываются лишь для торжественных церемоний.

Как это заведено во дворцах, одна комната переходила в другую, со стен пристально смотрели Стюарты и Ганноверы. Первые Георги делали курбеты на белых лошадях, бесчисленные забытые принцессы смотрели на нас свысока, с их плеч струились белые мантии. Стюарты благосклонно смотрели на Ганноверов, а те в ответ не менее благосклонно взирали на Стюартов. Время от времени мой попутчик дергал за шнурок на шторах, впуская немного света в этот пустой дворец, где представители великих династий жили среди чехлов для мебели и тишины.

Так мы переходили из одной комнаты в другую, и вдруг я подумал: а что бы сказал придворный тех времен, хорошо знакомый с Лувром, Версалем и Фонтенбло, об этом небольшом и скромном английском дворце? Сегодня он кажется нам достаточно пышным, но во времена, когда даже частные особняки строились с таким расчетом, чтобы впечатлить гостей достатком и социальным статусом владельцев, Сент-Джеймский дворец, поражал посетителей, и среди них Джона Филдинга в 1776 году, тем, что «не отражает величие Королевства и является насмешкой над иностранцами». Петр Великий заметил Вильгельму III, что, будь он королем Англии, он перенес бы дворец в здание Гринвичского госпиталя, а госпиталь перевел бы во дворец.

Да, заключил я, могущественные правители, которые проживали в самых известных дворцах мира, уже исчезли вместе со своими монархиями, а послы иностранных держав до сих пор приписаны к королевскому двору в Сент-Джеймсе.

Одна из самых интересных комнат, которую мы посетили, находилась в апартаментах, где на камине эпохи Тюдоров видны инициалы Генриха VIII и Анны Болейн, заключенные в сердечко. Какое неожиданное свидетельство умершей любви; какая неожиданная находка в самом сердце Лондона. Вероятно, Генрих собирался жить здесь со своей обворожительной молодой королевой; а увековечивать свою любовь на каминных досках вошло у него в привычку. Удивительно, что последующие супруги не убедили Генриха уничтожить память об Анне Болейн.

Мы зашли в тронный зал, сняли чехол с трона, и перед нами предстали роскошный красный бархат и королевский герб, усыпанный драгоценными камнями. Я заметил у подножия трона, под ковром — деталь, на которую обычно не обращают внимания, — довольно большой квадрат дощатого пола. Мне пояснили, что Георг V не любил подолгу стоять на мягком ковре (а во время приемов выстаивать приходилось до полутора часов), поэтому он приказал между ковром и полом положить деревянный настил, благодаря чему ноги уставали гораздо меньше. Рядом с Тронным залом есть окно, выходящее на Монастырский двор, где глашатаи сообщали о восшествии на престол нового монарха; около этого окна молодая Виктория залилась слезами, когда толпа приветствовала ее как королеву.

В многовековую историю Англии с ее почтенной компанией королевских дворцов Сент-Джеймский дворец ворвался последним. При Плантагенетах двор помещался в Вестминстерском дворце, при Тюдорах и при Стюартах — в Уайтхолле, и только при Георгах из

династии Ганноверов Сент-Джеймский дворец стал королевской резиденцией. Кажется, настоящее предназначение этого дворца — быть родительским домом для королей. Количество принцев и принцесс, рожденных здесь, весьма велико, а почин положила Мария Генриетта, влюбленная в Сент-Джеймс и пожелавшая родить своих детей именно здесь. В этом дворце родились Карл II и Яков II, Мария II и Анна. Вдобавок дворец стал свидетелем удивительной истории: Яков Эдуард, отец Красавца принца Чарли, был неродным сыном королевы — его тайно доставили во дворец в металлической грелке для согревания постели.

У дворца имелась и другая роль — пристанища для королевских фавориток. В свое время здесь одновременно проживали две женщины с сомнительной репутацией. Одна из них, мадам де Боклер, была любовницей Якова II, а другая — потрясающе красивая Гортензия Манчини, герцогиня Мазарини — любовницей Карла II. Обеих дам их августейшие покровители скрывали в Сент-Джеймском дворце, где они стали близкими подругами, увлеклись спиритизмом и заключили договор: та, которой выпадет умереть первой, будет призраком являться оставшейся. Спустя несколько лет после смерти герцогиня явилась своей подруге во Сент-Джеймском дворце, и через несколько часов та скончалась. Эта история передавалась из поколения в поколение и подарила дворцу единственного, насколько мне известно, «штатного» призрака.

В какой комнате провел последние три ночи своей жизни Карл I, достоверно не установлено. Пожалуй, Французскую революцию можно было предсказать за век до того, как она произошла, обрати люди внимание на ту жестокость, которой окружен был король в последние часы своей жизни. Лорд Кларендон в одном из вырезанных цензурой фрагментов своего

исторического труда описывал, как солдаты из охраны Кромвеля применили к королю силу и как они насмехались, курили и пили в его присутствии, будто находились среди своих товарищей в караульной.

## 2

Задолго до того, как появился, хотя бы в воображении, Вест-Энд, на месте, где ныне находятся Сент-Джеймский дворец и Чаринг-Кросс, не было ничего, кроме редких домов и коровников, — и в этой глуши изолировали четырнадцать «прокаженных девушек», помещенных в лепрозорий Святого Иакова. Это богоугодное заведение содержалось на деньги богатых купцов из отдаленного Лондона, шпили которого страдалицы могли видеть из своих окон, выходящих на восток. Стоу говорит, что эти бедные создания жили «целомудренно и честно, служа Господу».

Чтобы поддержать это заведение, Эдуард I в 1290 году пожаловал лепрозорию доходы с ярмарки, проводившейся раз в году и длившейся несколько дней. Начиналась она в канун дня святого Иакова, 24 июля. Это событие, известное под названием ярмарки святого Иакова, постепенно стало одним из наиболее известных карнавалов средневекового Лондона. Каждое лето шуты и жонглеры, коробейники, музыканты, поводыри медведей, крепкие мужчины и толстые женщины — вечные и неизменные участники ярмарок со всего мира раскидывали свои палатки, балаганы и прилавки вокруг лепрозория, давая убогим и несчастным возможность ощутить вкус жизни.

Всякому, кто бродил по рыночным улицам Лондона и посещал такие почтенные места, как ярмарка в Барнете, отлично известно: нет ничего более привычного и более ревностно оберегаемого, чем сохранившееся с

незапамятных времен право покупать, продавать и напиваться в определенном месте и в определенное время года. Можно снести дворцы, можно даже с помощью бульдозера сравнять с землей горы, но без разрешения парламента и привлечения полиции нельзя изменить традицию или упразднить старый рынок. Таким образом, на протяжении столетий ярмарка Святого Иакова превращала луга Вестминстера в арену карнавала. Именно она привлекла внимание Генриха VIII к местности вокруг лепрозория. Король решил построить себе охотничий домик, договорился с Итонским колледжем, которому принадлежала эта территория, — точнее, выменял ее у колледжа на другую недвижимость. Вместе с территорией Генрих получил и прокаженных. Лепрозорий снесли, прокаженных взяли на королевское содержание, а Генрих обрел свой домик. Так, собственно, и возник «наш двор в Сент-Джеймсе».

История ярмарки также весьма интересна. Генрих VIII не предпринимал попыток разогнать толпу, которая каждое лето собиралась за воротами его охотничьего домика, но когда этот домик стал королевским дворцом, ярмарка превратилась в помеху. Во время чумы Карл II решил перенести ярмарку за рынок Сент-Джеймс, чуть в сторону от Хэймаркет. Потом и эта территория начала застраиваться, поэтому ярмарке пришлось переехать еще дальше на запад, на Брукфилдские пустоши севернее Пиккадилли, через которые протекал ручей Тайберн. В 1688 году Яков II скрепил государственной печатью Англии указ о проведении в этом месте ежегодной майской ярмарки.

Так появился Мэйфэр.

Англичане всегда нежно любили природу. Уменьшили ли эту любовь испытания войны, когда землевладельцам приходилось выполнять обязанности, которые прежде лежали на слугах, жить в подвалах загородных домов, в садовых домиках и даже во времянках, — время покажет. Горожане, однако, продолжают сентиментально наслаждаться живописными сельскими ландшафтами и прелестями деревенской жизни, как когда-то их предки, и не упускают ни единой возможности съездить за город.

Удивительно ли, что проявления подобных черт национального характера нашли свое отражение в облике Лондона? Что такое лондонская площадь, как не кусочек сельской местности, захваченный и окруженный городом? Что такое оконный ящик с цветами, как не площадь в миниатюре, небольшой кусочек сельского ландшафта на подоконнике, попытка оживить и освежить тусклые улицы напоминанием о сельских красотах?

Конечно, больше всего проявлений сельской жизни в парках. Лондонские парки отличаются от тщательно распланированных континентальных парков так, как Баркли-сквер отличается от римской Площади Испании. Наши парки — это сельская Англия, сохранившаяся в Лондоне. Это напоминание о любви Лондона к сельским пейзажам. Отнюдь не многолетние усилия садовых архитекторов придали нашим паркам нынешнюю совершенную, естественную красоту, — они всегда были такими. И любые попытки придать им некую определенную форму будут с негодованием отвергнуты.

Наиболее известными и популярными являются королевские парки, их три: Грин-парк, Сент-Джеймский парк, а также Гайд-парк и Кенсингтонские сады; они занимают площадь около девяти сотен акров. Любознательному иностранцу, изучающему Лондон и его жителей, может показаться странным, что парки,

называемые «королевскими», доступнее для широкой публики всех прочих лондонских парков. Так повелось со времен Реставрации. До того монархи считали королевские парки своей частной собственностью, однако, начиная с Карла II, они не смели уже на это и надеяться. Хорошо известен ответ сэра Роберта Уолпола королеве Каролине, поинтересовавшейся, сколько будет стоить присоединение части парка к королевскому саду: «Всего три короны, мадам», — разумея не монету, а монаршие венцы.

Королевские парки — все, что осталось от охотничьих угодий предыдущих правителей. Генрих VIII мог охотиться на оленя, гнать зайца или выпускать своих соколов на пространстве от Вестминстера до Хэмпстед-Хит. Любопытно, что его величество, попуская охотиться на этих хорошо охраняемых территориях, закрепляло тем самым за грядущими поколениями лондонцев право устраивать пикники под сенью дубов, играть в крикет на зеленых лужайках, плавать или кататься на лодках по озеру Серпентайн. Правительство Кромвеля продало королевские парки частным лицам, но после возвращения Карла II на престол эти лица лишились права собственности, а парки вернулись в королевское достояние. Именно при Карле II парки приобрели свое современное назначение — служить территорией для отдыха и развлечений. В ту пору карет и наемных экипажей было достаточно; по свидетельству Сэмюэля Пипса, ни для обычных горожан, ни для придворных из Вест-Энда не составляло большого труда добраться до Сент-Джеймского парка или Гайд-парка — чтобы поглазеть на гуляющих или просто посидеть на зеленой траве (эта привычка была свойственна лондонцам всегда).

Для любого, кто жил в Лондоне, разница между этими парками очевидна. Гайд-парк — уменьшенная модель английской провинции, что-то наподобие вида из



окна поместья. Сент-Джеймский парк — это сад; а Грин-парк, меньший из трех, — это фактически полоска дерна вдоль Пиккадилли. Последний — наименее искусственный из трех парков и во многом схож с парком Букингемского дворца. Прогулка по Грин-парку — самый простой способ спрятаться от шума и суеты Вест-Энда. Миллионам людей, которые каждый день проезжают мимо на автобусе, радует глаз зелень листвы и травы; девять из десяти лондонцев предпочтут сесть на той стороне автобуса, что окажется окнами на Грин-парк, а не на Пиккадилли.

Многие, наверное, удивляются, почему этот парк называли Грин-парком. Ведь он не зеленее <sup>[35]</sup> Гайд-парка или Кенсингтонских садов. Дело в том, что в давние времена в верхней части парка находился олений заповедник, почти полностью лишенный деревьев. Олени выщипывали траву почти под корень, и в правление Стюартов и пришедших им на смену Георгов местность выглядела как огромная зеленая лужайка. Если с вершины Конституишн-Хилл бросить взгляд в сторону Мэлл, парк предстанет перед вами таким, каким он был много лет назад. Думаю, в Грин-парке до сих пор лучший в Лондоне газон.

Маленький Грин-парк имеет собственную ауру. На севере он граничит с самой известной и людной улицей в мире. Какой гость Лондона не увозил с собой воспоминания о том, как летним утром он сидел в Грин-парке и смотрел сквозь деревья на поток машин, летящих по Пиккадилли? Я помню, как однажды разговаривал в Грин-парке с неким иностранцем, и он сказал мне, что этот парк — самое необычное место в Лондоне.

— Почему? — спросил я.

— Да вы взгляните! — воскликнул он. — Вокруг пасутся овцы — в самом центре Пиккадилли! В голове не

укладывается! Разве овцы в городе — это для вас обычно?

И я с ним согласился.

Обычное явление для Грин-парка — люди, спящие на траве. Впрочем, сейчас их меньше, чем прежде. В период между войнами Грин-парк стал настоящей спальней на открытом воздухе для безработных и нуждающихся. Многие были бродягами, некоторые забредали сюда случайно, но преобладали, естественно, завсегдатаи, хорошо известные парковым сторожам.

«Я знаю всех их, — сказал мне один сторож, — уже многие годы. И сейчас, и раньше среди них попадались те, кому действительно не повезло, но большинство и дня в своей жизни не проработало. Нынче вроде как ни к чему на улице спать, но они лучше умрут, чем пойдут ночевать в приют или ночлежку. Верно, их пугает одна только мысль о мытье. Они слоняются ночами по аллеям, иногда засыпают на скамейках, а утром, как только парк открывается, идут на Овечий луг, который мы, сторожа, зовем «ночлежкой». Иногда кто-нибудь исчезает, бывает, что надолго. Даже начинаешь беспокоиться, уж не умер ли, бедолага? А потом вдруг замечаешь — да вот же он, полеживает себе на травке с газетой на лице. Окликнешь его: «Привет! Вернулся?», а он ничего тебе не ответит, в лучшем случае, проворчит что-нибудь себе под нос».

Летними вечерами жизнь в Грин-парке в основном сосредоточена вокруг эстрады для оркестра и на гравийной дорожке, которая ведет от Пиккадилли к Мэлл. Называется эта дорожка, да будет вам известно, Аллеей королевы — в честь королевы Каролины, жены Георга II, обожавшей лондонские парки и придумавшей озеро Серпентайн.

Непохожая на истории двух других парков, история Грин-парка довольно банальна, за исключением связанных с ним серии ограблений и нескольких дуэлей;

тем не менее в восемнадцатом столетии мода неожиданно презрела Гайд-парк и Сент-Джеймский парк и благосклонно обратилась к Грин-парку. Тогда вдруг стало модным прогуливаться в парке вечерами, с четырех до пяти, а летом — пока не зайдет солнце. В то время здесь можно было встретить весь высший свет Лондона — аристократов, богачей и красавиц в вечерних туалетах; эти люди прогуливались по аллеям парка и вели между собой непринужденные беседы. В те дни общество было небольшой, замкнутой кастой, все знали друг друга, а широкая публика слеталась на аристократов и их прекрасных спутниц, как современная толпа — на звезд кино на премьере. Полагаю, королевская ложа в Эскоте<sup>[36]</sup> — последний реликт былого парада роскоши и стиля; что касается подобных парадов в Грин-парке, они длились около полувека. Сколько драгоценных часов жизни тратилось на тщательные приготовления: натягивание перчаток, завязывание галстуков, надевание париков, примерку нарядов, отглаживание и отпаривание, нанесение пудры и прочей косметики... А ведь еще требовалось покрутиться перед зеркалом! И все для того, чтобы в течение часа прогуливаться по парку! Перед мысленным взором произвольно возникают картины: жилище франта с разбросанными по нему галстуками, неприбранная дамская спальня, служанка, в слезах собирающая чулки, нижние юбки и пеньюары, которые мадам, сладко улыбающаяся по-над веером в парке, бессовестно разбросала. Как не улыбнуться грандиозности усилий, которые расходовались на то, чтобы подобрать соответствующий жилет, подыскать новую шляпку или, тем более, платье. Однако в те времена этот парад мод воспринимался чрезвычайно серьезно — и пользовался такой популярностью, что дома с балконами по Арлингтон-стрит, откуда открывался прекрасный вид на аллеи парка, сдавались в

наем за баснословные деньги — четыре тысячи фунтов в год.

Но неожиданно река атласа и парчи прекратила свой бег. Жеманный смех, хорошо продуманные эпиграммы и комплименты больше не звучали здесь, веера не трепетали кокетливо, черные трости больше не постукивали по гравию. Ужинать стало модно в 8–9 вечера, и эта перемена погубила парад. Появляться в парке означало ныне объявить себя вне общества, которое на континенте именуется «высшим светом».

Снятся ли тем, кто спит на траве, проходящие мимо туфли с красными каблуками? Представляли они себя когда-нибудь в центре толпы, разряженной в атлас и парчу, толпы, насмешливо взирающей на них сквозь очки, тычущей в них тростями из слоновой кости и величаво шествующей далее? Толпа хохочет, пожимает плечами — мол, откуда взялись в Грин-парке эти грязные, немытые оборванцы?

«Чтоб мне провалиться! — воскликнул бы пробудившийся бродяга. — Верно, кино приснилось!»

#### 4

В молодые годы я написал роман о лондонских влюбленных, о бедняках и романтиках, что работали в Сити. Влюбленные все время пытались остаться наедине, но им это не удавалось. Помню, в одной из глав они даже забрались на Монумент<sup>[37]</sup>, чтобы наконец поцеловаться. Конечно, в те дни я не знал о любви и Лондоне столько, сколько знаю сейчас, и никто не просветил меня, что влюбленные чувствуют себя уединенно даже на футбольном матче.

Эти смешные юношеские глупости вспомнились мне, когда однажды утром я прогуливался в Сент-Джеймском парке. В эти часы он полон молодых людей, читающих

газеты в ожидании открытия офисов. Понаблюдав за ними некоторое время, я сообразил, что многие приходят сюда так рано, чтобы повидаться с девушками, обменяться с ними приветствиями — столь мимолетными, что они одновременно оказываются и прощаниями. Влюбленные, такие наивные и юные, что становятся как-то не по себе, держатся за руки или, напротив, пытаются не держаться за руки, присаживаются на минутку под деревьями — и расходятся: он спешит на королевскую службу, а она — к своему «ундервуду» или в отдел женского платья.

На моих глазах юноша прощался с девушкой с таким надрывом, будто ей предстояло в одиночку пешком пересечь Конго, а не пойти на Пиккадилли. Это было душераздирающее прощание. Даже я, человек абсолютно посторонний, не остался равнодушным. В конце концов они смогли расстаться. По пути она несколько раз оборачивалась и махала рукой, а он понес свое уязвленное сердце в Уайтхолл. В любовной хвори непременно наступает момент, когда больному кажется, что если где-нибудь в Лондоне рухнет дымовая труба, она непременно свалится на голову твоего возлюбленного. Молодой человек явно находился именно на этой стадии. Вполне вероятно, эта пара встретится за ленчем из сэндвичей, но ведь до ленча еще нужно дожить! Принято считать, что в Уайтхолле работают люди, в чьих жилах кровь давно переродилась в чернила, но прогулка ранним утром по Сент-Джеймскому парку доказывает: среди обитателей Уайтхолла немало романтических Пеллеасов и прекраснотушных Мелисанд [\[38\]](#).

Ровно в девять утра парк меняется. В нем остаются няни с детскими колясками и те, у кого сегодня выходной; последние расставляют складные стульчики поближе к озеру. В тишине летнего утра мерное щелканье компостера, которым контролер пробивает

билеты, разносится от здания Королевской конной гвардии до Букингемского дворца.

Сент-Джеймс — наиболее культурный из всех парков. Грин-парк не имеет ни одной клумбы, а Сент-Джеймский парк ими изобилует. Это парк-сад. О приходе весны возвещают тюльпаны, осенью цветут георгины. Другая особенность парка, придающая ему дополнительное очарование, — озеро. Представьте себе, в самом центре Лондона есть окруженное садом озеро, над которым летают дикие птицы; верховодит ими пеликан, чей далекий предок попал сюда при Карле II.

Этот парк — своего рода памятник Карлу II. Король не мог оставить после себя наследства лучшего, чем парк, полный цветов, и озеро с птицами! Сразу по возвращении на престол Карл II решил переделать Сент-Джеймский парк. В изгнании король видел на континенте лучшие садовые ландшафты того времени, восхищался садами, которые окружали короля Франции. Должно быть, вернувшись в Уайтхолл и найдя Сент-Джеймский парк неухоженным и запущенным, Карл испытал шок. Он распорядился посадить цветы, проложить дорожки, выкопать озеро и построить птичник в той части парка, которая до сих пор зовется Аллеей птичьих клеток.

Жаль, что сегодня Карла помнят исключительно из-за его многочисленных любовных похождений. Этот монарх внес огромный вклад в восстановление Лондона после Большого пожара и в развитие Вест-Энда! Вдобавок он был настоящим специалистом в кораблестроении и морском деле! В его характере легкомыслие и ветреность уживались с любовью к прогулкам и привязанностью к братьям нашим меньшим.

Говорят, в год своего возвращения на престол король послал во Францию за ле Нотром, архитектором парка Тюильри, который, осмотрев Сент-Джеймский парк, отказался работать с этим очаровательным

лондонским пейзажем. Если это правда, значит, Карлу пришлось действовать самостоятельно, и он с этим справился. Первое, что он сделал, — объединил все водоемы в единый протяженный Голландский канал, предшественник современного озера. Этот канал тянулся от заднего фасада здания Королевской конной гвардии до Букингемского дворца. С одной стороны от него отходили каналы поменьше, проложенные для того, чтобы в них могли гнездиться утки.

Простой народ больше всего восхищался Карлом за его привычку гулять в Сент-Джеймском парке с собаками, часами играть с птицами на Аллее птичьих клеток или кормить уток в канале. Король ничуть не стеснялся показываться своим подданным за этими, казалось бы, не подобающими монарху занятиями. Иногда Карл даже купался и мылся в канале.

Пеликаны Сент-Джеймского парка — одна из главных достопримечательностей Лондона, но мало кто знает, что эти птицы — напоминание о Карле, Нелл Гвин, Пипсе и Рене. Первый пеликан был подарен Карлу русским послом; Ивлин, увидевший птицу в феврале 1664 года, записал в дневнике:

«Зайдя в Сент-Джеймский парк, увидел я различных животных и заглянул в клюв *Onocrotylus*, или пеликана, птицы средней между журавлем и лебедем, крупной и меланхоличной, привезенной русским послом из Астрахани. Занятно было наблюдать, как этот пеликан переворачивает плоскую рыбину, камбалу или палтуса, дабы отправить прямо в глотку, а мешок под клювом сильно растягивается, дабы рыба поместилась целиком».

Карл часто терял в парке своих любимцев — как все избалованные собаки, они часто заигрывались и не

обращали внимания на королевские окрики, — и в газетах того времени нередко печатались объявления о пропаже. В «London Gazette» от ноября 1671 года значилось:

«Четыре или пять дней назад в Сент-Джеймском парке потерялась собака Его Величества, в голубых пятнышках, с белой полосой на лбу, в холке не выше голубя-вертуна».

Считается, что следующее горькое объявление написано Карлом собственноручно:

«Мы вновь обращаемся к вам с просьбой найти Нашу собаку. Порода — между борзой и спаниелем. Шерсть — короткая, черная, ни единого белого пятнышка. Это личная собака Его Величества; она несомненно была украдена, ибо эта собака родилась и воспитывалась не в Англии и ни за что не покинула бы своего хозяина. Кто найдет эту собаку, должен сообщить о находке в Уайтхолл, где эту собаку знают все и каждый. Неужто народ никогда не перестанет грабить Его Величество? Или Нам впредь не заводить собак? Место этой собаки (не такое уж и плохое) — единственное, которого никто не сможет занять».

История умалчивает о том, удалось ли Карлу вернуть собаку. В каждой фразе этого объявления сквозит горькая ирония, обычно не свойственная человеку, носившему прозвище Веселый монарх.

Сент-Джеймский парк постепенно преображался, в нем появился новый пэлл-мэлл — прообраз современного Мэлла. В большинстве европейских городов имелись просторные, затененные деревьями площадки для игры



в крокет; итальянцы называют эту игру *palamaglio*, а французы — *raille-maille*. Для нее требовались деревянные молотки длиной в четыре фута и шары из самшита. Эта игра старше, чем принято считать. Королева Мария Шотландская играла в крокет и в гольф в 1568 году в Ситоне, как гласит «Шотландский календарь», «прямо на свежем воздухе». Мода на крокет пришла в Шотландию из Франции на полвека раньше, чем в Англию. В 1598 году Доллингтон в своих «Путевых записках» упоминал, что видел во Франции чудесную игру, и удивлялся, почему в нее не играют в Англии. Возможно, на юг крокет пришел из Шотландии с Яковом I.

Когда Вест-Энд начал расти, здания стали наползать на площадку, поэтому пришлось проложить новую аллею, неподалеку от современной Мэлл. Деревья, которые сегодня стоят вдоль Мэлл, были высажены отнюдь не на подъезде к Букингемскому дворцу: дело в том, что крокетные площадки всегда обсаживались деревьями и кустарником.

Пипсу довелось беседовать с человеком, в чьи обязанности входило следить за порядком на новой площадке:

«Я гулял в парке и разговаривался со зрителем пэлл-мэлл, который подметал площадку. Он сказал, что почва тут неровная, так что приходится посыпать ее измельченными ракушками, чтобы шары катились быстрее, однако в сухую погоду поднимается пыль, которая замедляет движение шаров».

Служитель, отвечавший за состояние площадки, носил звание «рассыпателя королевских ракушек».

У Карла II в Сент-Джеймском парке имелись и другие развлечения, о которых мы узнаем, например, от Ивлина, гулявшего по парку в марте 1671 года: «Я слышал и видел весьма личный разговор между королем и мистрис Нелли, как принято называть эту бесстыжую

комедиантку. Она выглядывала с террасы на верху стены, а король стоял внизу. Мне было чрезвычайно неловко за то, что я невольно подглядел эту сцену».

Любителям покататься на коньках будет интересно узнать, что в декабре 1662 года в Лондоне состоялось первое катание на коньках со стальным лезвием по замерзшей поверхности канала в Сент-Джеймском парке. «Кавалеры», вернувшиеся из Голландии, привезли с собой коньки, к удивлению и восхищению лондонцев. Пипс и Ивлин не скрывают своего восторга по этому поводу. «Повидать мне довелось и диковинное искусство катания по льду на новом канале Сент-Джеймского парка, устроенное пред очами Их Величеств джентльменами и прочими на голландский манер, и сколь быстро они катились, и как внезапно и резко останавливались, — писал Ивлин. — Я отправился домой по воде, но без трудностей не обошлось, ибо Темза начинала замерзать и льдины грозили окружить нашу лодку».

Ради подобных сцен, любовно сохраненных для нас авторами дневников, стоило бы, пожалуй, перенестись на денек-другой в тот далекий, восхитительный и надменный Лондон эпохи Реставрации. Было бы интересно увидеть, например, Карла, гребущего в одиночестве по Темзе, что вошло у него в привычку по причине тех самых любовных походов, о которых упоминалось выше. В майский вечер 1668 года король отказался от экипажа и охраны, чтобы нанести визит герцогине Ричмонд в Сомерсет-хаус.

«Без всякого предупреждения, — писал Пипс, — он взял пару весел, сел в лодку и поплыл в Сомерсет-хаус. Садовая калитка оказалась закрыта, и он самолично перебрался через стену и прошел к герцогине, не помышляя о позоре».

Эта сцена выглядела «позорной» в глазах Пипса, но нам она кажется вполне романтической: парик

обрамляет смуглое лицо короля, кружевные манжеты сбились на запястьях, мелькают атласные бриджи и вышитый жилет, когда его величество взбирается на стену! Интересно, что сказала герцогиня, увидев этого ночного разбойника?

## 5

Как-то после обеда я шел по Гайд-парку, выбирая дорогу среди людей, лежавших на земле, словно мертвые. Если не ошибаюсь, такое поведение свойственно только Лондону. Ни в Париже, ни в Риме, ни в каком-либо другом европейском городе я не видел стольких горожан, «павших в объятия Морфея». Отсыпаются ли они после вечеринки или, как Наполеон, считают, что здоровый человек может уснуть в любом месте и в любое время?

Захоти я поспать в Гайд-парке, я бы постарался отыскать самое укромное место, и не только потому, что ненавижу, когда меня застают в беспомощном состоянии, но и потому, что заснуть на открытом месте не позволила бы осторожность; по той же причине я стараюсь не садиться спиной к открытой двери. Возможно, те, кто предпочитает спать на газонах Гайд-парка, — сомнамбулические эксгибиционисты.

Много раз я видел, как отзывчивые люди в замешательстве останавливались рядом со спящими, неподвижность которых мнилась порой сродни неподвижности мертвецов, и пытались определить, живы те еще или нет. А те, кто спит в Гайд-парке, принимают во сне какие-то совершенно собачьи позы — и, подобно собакам, неожиданно просыпаются, встряхиваются, оглядываются по сторонам и уходят.

На кого еще обычно обращают внимание в Гайд-парке, так это на лежащих в обнимку влюбленных.

Приезжие с «распущенного континента» при виде таких парочек бледнеют и отводят взгляд, а потом удивляются, откуда взялись слухи о том, что Англия — земля сдержанных и скромных людей? Кстати сказать, откуда вообще взялась подобная репутация? Впрочем, даже если она когда-то и была обоснованной, сегодня от нее ничего не осталось; чтобы убедиться в этом, достаточно заговорить с лондонцем о воздушных налетах!

Продолжая прогулку, я размышлял о том, что для людей, интересующихся традициями разных народов, Гайд-парк — лучшее место в Лондоне. Полагаю, иностранец оценит, как это по-английски: тысячи людей, лежащих в тени деревьев, семейные пикники, дети, собаки, крикет, и отовсюду, пронзая воздух, как жужжание насекомых пронзает неторопливый летний полдень, доносится шум Лондона.

Я подошел к эстраде, где военный оркестр играл вариации «а темы из оперетт Гилберта и Салливана. Парусиновые кресла стояли полукругом; как только музыка замирала, раздавались аплодисменты. В нескольких ярдах от сцены танцевала маленькая девочка, не старше пяти лет. Все вокруг смотрели только на нее, и она это знала, но время от времени останавливалась, чтобы убедиться во всеобщем внимании. Пухленькие миниатюрные ножки в детских розовых туфельках притоптывали по земле. Зрители улыбались девочке.

«Не правда ли, она прелесть?»

Лица родителей девочки выражали восторг и упоение. Мальчики одного с ней возраста казались гусеницами в сравнении с этой бабочкой!

Я увидел слепого мужчину с профилем Цезаря; сидевшая рядом удивительно некрасивая женщина читала ему газету. Когда у нее сбивалось дыхание или она переворачивала страницу, мужчина с

признательностью улыбался. Слепые живут в мире звуков и прикосновений, поэтому его рука порой поглаживала женщину по плечу, как если бы пальцы были глазами. Подумать только, некрасивая женщина, уверенная в мужской любви! Сердечное тепло исходило от этой пары, лицо женщины преобразалось, когда мужчина касался ее кожи; впрочем, на его улыбку она не ответила — знала, что он все равно не увидит, а потому просто продолжила чтение.

Ноги привели меня к Серпентайну, на берегах которого загорали розовые, как креветки, купальщики. Вдоль озера я дошел до площади Чайного домика, где мне посчастливилось отыскать свободный столик. У моих ног суетились в поисках крошек воробьи, напоминавшие повадками ручных мышей.

Этот домик — самое удобное, я бы даже сказал, самое подходящее место для того, чтобы поведать долгую и наполненную событиями историю Гайд-парка. Когда Вильгельм Завоеватель делил завоеванные территории между своими приближенными, поместье Гайд отошло рыцарю по имени Джеффри де Мандевилль, или Маневилль, предку семейства Мандевиллей и графов Эссекс. В ту пору это была просторная равнина, кое-где прерываемая невысокими холмами — нынешними Хэймаркет и Пиккадилли. Над безлюдными просторами пели жаворонки, олени щипали траву, дикие кабаны копошились в густых зарослях, а зимой, когда далекий Лондон заносило снегом по самые крыши, в Гайд-парке были волки, чьи охотничьи угодья простирались от Хэмпстеда до деревни Чаринг.

С вершины самого высокого холма в своем поместье Джеффри де Мандевилль мог увидеть пастбища на берегах Темзы, норманнское аббатство на болотистом островке Торни и монастырскую церковь Минстер-ин-зе-Вест, построенную Эдуардом Исповедником. Когда Этла, жена Джеффри, умерла, заупокойную службу отслужили

монахи — бенедиктинцы из Вестминстера; перед собственной кончиной Джеффри завещал поместье Гайд аббатству.

Во владении Вестминстерского аббатства Гайд-парк оставался почти четыре с половиной столетия. Аббатство процветало, монахи рыбачили на берегах многочисленных речек, вроде Вестборна, что брал начало в Хэмпстеде, пересекал Гайд-парк и впадал в Темзу. Когда Генрих VIII решил обзавестись своими знаменитыми охотничьими угодьями, он убедил монахов обменять поместье Гайд на пустующую обитель Хэрли в Беркшире — точно так же, как убедил Итонский колледж уступить ему лепрозорий, позднее превратившийся в Сент-Джеймский дворец. Немногие из тех, кто бывал в беркширском монастыре (в его сторожке сегодня размещается гостиница «Bell Inn»), знают, что этот монастырь — цена присоединения Гайд-парка к королевским владениям.

Завладев Гайд-парком, Генрих тут же обнес его оградой, чтобы дичь не разбежалась, а в 1536 году издал указ, запрещающий под страхом тюремного заключения охотиться «на территориях от Вестминстерского дворца до церкви Сент-Джайлс-ин-зе-филдс и оттуда до Излингтона, церкви Пречистой Девы под дубом, Хайгейта, Хорнси-парка и Хэмпстед-Хита».

Какая картина встает перед мысленным взором, когда читаешь это описание тюдоровского Лондона: город на возвышенности, окруженный живописными окрестностями, звуки охотничьих горнов доносятся из оврагов и зарослей на всем протяжении от Гайд-парка до Хэмпстеда.

Больше века, сменяя друг друга, Генрих VIII, Елизавета, Эдуард VI и Яков I охотились на этих землях. Всякий раз, когда в страну прибывал заезжий принц или новый посол, в честь этого события организовывалась охота в Гайд-парке.

Карл I больше известен как коллекционер картин, нежели как охотник. Он открыл Гайд-парк для простолюдинов, благодаря чему началась новая глава в истории общественной жизни Лондона. Сити расширял границы, первые дома поднялись на полях вокруг Сент-Джеймского парка и Пиккадилли. Знатные семьи взяли за привычку покидать родовые поместья и проводить несколько месяцев вблизи королевского двора.

Главным развлечением той поры был ипподром Гайд-парка, носивший название «Кольцо» (откуда, собственно, и полное название Чайного домика — Кольцевой чайный дом). Ипподром представлял собой всего-навсего огороженной скаковой круг и напоминал современную ярмарочную площадь. В 1632 году Джеймс Ширли написал пьесу «Гайд-парк», в которой букмекеры вели себя точь-в-точь так, как это происходит сегодня. Многие герои пьесы делали рискованные ставки, некоторые дамы выставляли «пару алых чулок» против «пары надушенных перчаток». Много лет спустя Пипс видел постановку этой пьесы в театре, причем в спектакле были заняты живые лошади.

Помимо скачек здесь устраивали гонки в экипажах и соревнования бегунов. Последние, которых иногда именовали на старинный манер странным словечком «свистуны», должны были обогнать конный экипаж, а зрители-аристократы подгоняли их тростями с серебряными набалдашниками.

Состязания вызывали бурю страстей; иногда участники, еще более азартные, нежели зрители, стремясь победить во что бы то ни стало, сбрасывали одежду и бежали обнаженными.

С Гайд-парком и «Кольцом» связано и начало моды на Вест-Энд. Минули времена, допустим, того же правления Елизаветы, когда кавалеры искали развлечений либо в азартных играх, либо в медвежьей яме в Саутуорке. Между Сити и Вест-Эндом наметился

раскол, окончательно оформившийся уже в георгианскую эпоху. Гайд-парк стал первым шагом к тому блестящему, «модному» аристократическому обществу, которое образовалось при королевском дворе. Этот «первенец» Вест-Энда стал столь популярен, и так много семей покинули свои поместья ради лондонских увеселений, что Звездной палате<sup>[39]</sup> пришлось просить дворян покинуть столицу и вернуться в свои имения. В дни, когда местные лорды, рыцари и сквайры были не более чем администраторами без жалованья, им не позволялось транжирить время в Гайд-парке или Уайтхолле. Поэтому новой звезде Вест-Энда, после ложного восхода, пришлось ждать правления Карла II, чтобы наконец взойти на небосклон. Тем временем началась гражданская война, и Гайд-парк из места увеселений превратился в лагерь кавалерии Кромвеля. Король был казнен, Англия на одиннадцать лет стала республикой. Гайд-парк продали с аукциона. В архивах палаты общин имеется короткая, но содержательная заметка, датированная 27 ноября 1652 года: «Решено, что Гайд-парк будет продан за наличные деньги». Парк выставили на торги в трех лотах и продали за 17 068 фунтов 2 шиллинга и 8 пенсов. Все лондонские торговцы недвижимостью буквально позеленели от зависти.

Тремя счастливыми, прикупившими себе по толике Гайд-парка, были Ричард Уилкокс из Кентербери, купец Джон Трэйси и корабельных дел мастер Энтони Дин из прихода церкви Святого Мартина-в-полях. О первых двух ничего не известно, а Дин был другом Пипса и вместе с ним оказался в Тауэре по обвинению в шпионаже в пользу Франции.

Дин настроил против себя народ тем, что сделал вход в парк платным. «Я отправился подышать свежим воздухом в парк, который у государства приобрели корыстные люди, и теперь за въезд экипажа нужно платить шиллинг, а за лошадь — шесть пенсов», —



писал Ивлин в апреле 1653 года. Вскоре Дин передал свою долю парка в аренду некоему фермеру, а тот, в свою очередь, еще больше увеличил плату за вход. Таким образом, прогулку по Гайд-парку во времена Республики едва ли можно назвать демократичным развлечением.

Кромвель часто проезжал по парку в своем экипаже, и толпа, которая раньше собиралась, чтобы хоть мельком увидеть Карла I, теперь ожидала лорда-протектора. Пуритане пытались усмирить веселый нрав Гайд-парка, но на его лужайках все равно царило веселье, особенно в Майский праздник, когда в парк приходили, чтобы продемонстрировать новые наряды. В 1654 году одна из пуританских газет написала, что «этим летом отмечать наступление весны пришло больше людей, чем в предыдущие годы; и они вели себя грешно, пили и сквернословили. Гайд-парк наводнили сотни экипажей с разодетыми молодцами и дамами. Наиболее постыдно выглядели мужчины в напудренных париках и наруганные и накрашенные женщины. Некоторые играли в серебряный шар, другие находили себе иные развлечения».

Кромвель чуть не погиб в Гайд-парке при несчастном случае. Он получил в подарок от герцога Голштинского экипаж с шестью лошадьми. В один из дней он катался на этом экипаже по парку и стал слишком сильно подгонять лошадей. Те, непривычные к подобному обращению, понесли, кучер не смог ничего поделать. Кромвеля выбросило из экипажа на постромки, на которых он и повис, а потом все же свалился наземь. Экипаж пронесся мимо, но нога Кромвеля зацепилась за упряжь, его потащило по земле — и в это время пистолет в его кармане разрядился сам собою.

Когда Карл II взойшел на престол, одним из первых решений парламента продажа королевских земель была объявлена незаконной. Сразу после обретения

утраченных было владений Карл объявил вход в Гайд-парк свободным, что народ воспринял с большим энтузиазмом. Так начался самый блестящий период в истории парка. Вест-Энд развивался. Дворянские семьи приобретали дома в Лондоне. Люди всех сословий стекались в Лондон, чтобы увидеть короля, и Гайд-парк стал центром всех праздничных мероприятий столицы.

Пипс сохранил для нас прекрасное описание Гайд-парка тех дней. Будто наблюдая все воочию, мы слышим смех и любуемся беззаботной и веселой толпой придворных Карла II. Каким, должно быть, радостным был Майский день 1669 года, когда Пипс и его терпеливая жена впервые катили по парку в собственном экипаже! Женщина надела мешковатое платье двухлетней давности, зато Сэмюэль облачился в шикарный новый костюм. В гривы лошадей заплели красные ленты, поводья украсили зелеными.

Иногда сам Карл со своей многострадальной королевой выезжал в экипаже, запряженном шестью пегими лошадьми; впрочем, чаще его величество выезжал один, покататься по «Кольцу», и дамы встречали его улыбками. Когда мавританский посол со своей свитой въезжал в парк, экипажи и всадники замирали в изумлении: мавры подбрасывали вверх копья и ловили их на скаку.

Именно с этого модного собрания, встречавшегося на месте, где сегодня можно выпить чаю под зонтиком, и пошла безрассудства Вест-Энда, мода Вест-Энда и сам Вест-Энд.

Я обнаружил, что прогулка вокруг Серпентайна после обеда или ранним вечером — отличное средство против усталости и меланхолии. Дети, собаки, утки,

веселая суета, которой нет дела до большого мира с его проблемами, — чем не способ отвлечься?

Дети — в основном горластые мальчишки, вооружены самодельными удилищами и банками из-под варенья. Они настолько поглощены игрой, что, упади вы случайно в воду, я уверен, ребята продолжали бы ловить рыбу. Ловля этих маленьких рыбешек — настоящее приключение, и любой рыбак одобрит детскую увлеченность.

Эта полоска воды, которая доставляет столько удовольствия детям, собакам, уткам, купальщикам и гребцам, когда-то была болотом, образовавшимся из одиннадцати заводей, которые питала речушка Вестборн. Королева Каролина — самая наша садолюбивая королева после, быть может, королевы Марии (супруги короля Георга V) — решила избавиться от этого болота. Осенью 1730 года, при молчаливом одобрении сэра Роберта Уолпола и государственного казначейства, королева приказала запрудить речушку и вырыть озеро.

По сравнению с длинным и прямым Голландским каналом искусственно созданное декоративное озеро являлось несомненным новшеством. За плавные изгибы береговой линии его называли Серпентайн<sup>[40]</sup>.

На протяжении веков озеро подпитывалось водами Вестборна. Затем в Паддингтоне стало строиться все больше домов, воды засорялись, и со временем Вестборн, так же как Флит и Уолбрук, превратился в сточную канаву. Воду в Серпентайн стали подкачивать из Темзы. Сегодня действует достаточно сложный механизм: вода поступает из глубокого колодца в верхней части озера, из подземных источников, из колодцев Сент-Джеймского парка и из обычной водопроводной магистрали. Вдобавок Круглое озеро в Кенсингтонских садах, Серпентайн, озеро в саду Букингемского дворца и озеро в Сент-Джеймском парке

соединяются между собой, и вода перетекает из одного озера в другое.

Станция Королевского общества спасения утопающих находится на северном берегу озера и имеет долгую историю. Это уже третья спасательная станция, возведенная на этом месте. Первая появилась около 1774 года в одной из комнат старого фермерского дома, — возможно, Чизкейк-хауса, о котором упоминал Пипс. Нынешнее здание было построено в 1837 году. Первый камень в его основание заложил герцог Веллингтон. Общество спасало жизни купальщиков на протяжении полутора веков и по сей день внимательно следит за порядком на воде. Началась же его история с первых опытов по искусственному дыханию, которые проводил житель Лондона доктор Уильям Хоувс. Он утверждал, что утопленника можно вернуть к жизни, и предлагал денежное вознаграждение тому, кто доставит ему тело только что утонувшего человека. Два года он тратил деньги из собственного кармана, вне зависимости от того, удачными или нет оказывались опыты. Хоувс подружился с доктором Томасом Коганом, который жил в Голландии и был знаком с работой голландского общества спасения на водах, учрежденного в Амстердаме в 1767 году. Эти двое объединили усилия и организовали в Англии Королевское общество спасения утопающих. В те времена, когда по льду Серпентайна катались на коньках, у лодочников общества спасения было столько же работы, сколько у современных спасателей в купальный сезон.

Небольшая площадка около станции Королевского общества спасения утопающих служила местом для дуэлей. Обычно подобные поединки, предшественники современных судебных тяжб, проходили с шести до девяти вечера. Одна из самых известных дуэлей произошла в 1712 году между герцогом Гамильтоном и

лордом Моганом. Теккерей описал ее в своем романе «Генри Эсмонд». Оба дуэлянта погибли. А одна из самых необычных дуэлей случилась в 1765 году, когда Редмонд Макграт сражался с четырьмя противниками, обезоружил их и сломал им шпаги.

Так много людей погибло на дуэлях, так много разбойников пряталось в тени деревьев, так много самоубийц покончило с собой в укромных уголках парка, так много преступников обрело конец на виселице соседнего Тайберна, что Гайд-парк со временем приобрел репутацию места, где водятся призраки. Два самых известных призрака, населявших этот парк (хотя вряд ли их можно встретить в наши дни), — Дик Терпин верхом на Черной Бесс<sup>[41]</sup> и Джек-Потрошитель с девочкой, которую он утопил в Серпентайне.

Тот, кто сохранил в себе способность быть благодарным, не уйдет из Гайд-парка, не воздав должного архитектору, который спроектировал многочисленные парковые павильоны, эти незамечаемые и неоцененные достопримечательности Лондона. Один павильон стоит у Гросвенор-Гейт, два других — у Стэнхоуп-Гейт, четвертый — это Камберленд-Лодж, пятый — павильон при входе в парк, шестой — армейский склад около Серпентайна. Они выполнены в классическом греческом стиле, который был моден в период Регентства. Децимусу Бертону едва исполнилось двадцать пять, когда он строил эти павильоны и оформлял в античном стиле вход в парк. Бертон оказался не только самым молодым, но и самым удачливым из всех архитекторов, причастных к изменению облика Лондона; фоном для его творений всегда служила сама Природа.

Он прожил 81 год — бок о бок с восхитительными творениями своей молодости. И как бы ни гордился он павильонами, главным его шедевром совершенно заслуженно признается триумфальная арка (ныне

находящаяся на Конститушн-Хилл); по плану эта арка должна была располагаться на одной оси с входом в парк и как бы его предварять.

Увы, Лондону не везло с триумфальными арками. Для них никогда не могли подобрать подходящее место. У нас их три, если считать и ту псевдоантичную конструкцию, преддверие Глазго, что находится у вокзала Юстон; кстати сказать, ее единственную не разбирали на фрагменты и не возили по Лондону будто ненужную мебель. Арка Марбл-Арч появилась на карте Лондона в 1828 году в качестве парадного въезда в Букингемский дворец; сейчас это въезд в никуда. Арка Конститушн-Хилл (она же арка Грин-парка, арка Веллингтона и арка Пимлико) также утратила всякий смысл. А ведь бедолага Бертон много лет трудился над конной статуей герцога Веллингтона, такой громадной, что во время дружеской пирушки перед вывозом этой статуи из студии в ней поместилась дюжина человек, пивших за здоровье скульптора!

Говорят, некий французский офицер, рассматривая арку, столь нелепо увенчанную скульптурой Веллингтона, язвительно заметил: «*Nous sommes venges!*» («Мы отомщены»). Тот, кто захочет посмотреть на статую сейчас, найдет ее у лагеря Цезаря в Олдершоте<sup>[42]</sup>, где она, безусловно, более уместна.

## 7

Понаблюдав, как молодой яхтсмен выписывает пируэты на Круглом озере, я пошел к Кенсингтонскому дворцу. Нельзя сказать, что это здание производит впечатление. Оно пострадало в 1940 году от зажигательных бомб, несколько раз рисковало быть полностью разрушенным в 1943-м, но счастливо

избежало этой участи, а в 1944 году в него попала ракета «Фау-1».

Немногочисленные посетители бродили по комнатам с сосновыми стенными панелями, а за ними наблюдали из темноты в углах призраки натужно кашляющего астматика Вильгельма III, замершей в раздумьях о том, что бы съесть на ужин, королевы Анны, вечно раздраженного Георга II, слепой принцессы Софии, дочери Георга III, герцогини Кентской и юной Виктории.

Думаю, единственная комната во дворце, представляющая интерес, — спальня Виктории, в которой принцесса в июньскую ночь узнала, что стала королевой. Это самая обычная комната, со стенами, оклеенными обоями в цветочек. Сохранились предметы интерьера того времени, среди которых задерживает на себе взгляд пара гимнастических булав на выступе над громоздким камином. Только подумайте — Виктория в молодости или в зрелые годы, подбрасывающая булавы!

Легко представить себе восемнадцатилетнюю девушку, беззаботно спящую на подушках тем июньским утром, птиц, поющих за окном в Кенсингтонских садах, утреннее солнце и эхо, вторящее стуку в дверь: двое гонцов ехали ночь напролет из Виндзора, чтобы сообщить Виктории о смерти Вильгельма IV.

Как часто случается, когда нужно передать какую-либо весть, не терпящую отлагательств, обстоятельства будто нарочно сложились так, чтобы досадить гонцам — а ведь один из них был не кто иной, как архиепископ Кентерберийский, а другой — лорд-канцер лорд Конингем. Сначала они никак не могли разбудить дворецкого. Наконец тот вышел, впустил гостей во двор и тут же исчез. Во дворце царила тишина, слуги не появлялись. Архиепископ позвонил в колокольчик. Пришел заспанный лакей. Архиепископ и лорд потребовали срочной аудиенции у принцессы Виктории. Лакей удалился. Подождав некоторое время, они снова

позвонили. Лакей сообщил, что принцесса спит так сладко, что ее жаль будить. Тут уж архиепископ и лорд-канцлер не сдержались и воскликнули: «Мы пришли к королеве по делу государственной важности, и даже если она спит, мы к ней пройдем!»

Через несколько минут они преклоняли колени перед босой девушкой в белом пеньюаре и шали на плечах, по которой рассыпались неприбранные волосы. Такой вышла королева Виктория на свою первую аудиенцию. В своем дневнике она записала:

«Вторник, 20 июня. В 6 утра меня разбудила мама, сказав, что архиепископ Кентерберийский и лорд Конингем стоят внизу и желают со мной говорить. Я встала с постели и прошла в гостиную (в одном пеньюаре), куда их провели. Они сказали, что моего бедного дяди больше нет на свете, он умер в 12 минут третьего этой ночью, и что я теперь королева...

Раз уж Провидению было угодно, чтобы я заняла этот трон, я приложу все усилия, чтобы исполнить долг перед своей страной. Я молода, и мне, конечно же, очень и очень недостает опыта, но я уверена, что мало кто сможет соперничать со мной в стремлении сделать для моей страны все...»

Спустя два часа юная королева провела свое первое заседание Тайного совета.

«Невысокая, всего пять футов ростом, она заполняла не только свое кресло, но и всю комнату», — прокомментировал герцог Веллингтон.

Интересная комната, не правда ли, — комната, в которой началась великая, лишенная страха викторианская эпоха. Мы, живущие в сумерках опасений и нерешительности, не можем не сожалеть о былом



покое и уверенности. И все же я думаю, что самые интересные предметы в этой комнате — гимнастические булавы.

## 8

Тре Фонтане, местность за городской чертой Рима, где, по преданию, был обезглавлен апостол Павел, имела славу рассадника малярии. Более чем восемьсот лет назад туда пришел набожный пилигрим Рагере, норманн из далекого Лондона, придворный шут Вильгельма Рыжего, принявший духовный сан при следующем короле, Генрихе I.

В Тре Фонтане он подхватил малярию. Во время болезни ему явился святой Варфоломей, и Рагере дал обет: если поправится и вернется домой невредимым, то построит в Лондоне монастырь и больницу для бедных. Вот так, благодаря укусу малярийного комара, в Лондоне появились церковь Святого Варфоломея Великого, Смитфилд и больница Святого Варфоломея, больше известная как «Барте», самая старая больница англоязычного мира.

Воскресным утром я доехал на омнибусе до Ньюгейт-стрит и, насладившись видом собора Святого Павла над строительным забором вокруг развалин, двинулся в направлении Смитфилда. Трудно представить себе, что этот невыразительный район офисов, складов и мясных рынков когда-то был местом рыцарских турниров — а еще местом казни ведьм и христианских мучеников.

Весьма образованный молодой полисмен, с которым я завязал разговор, сообщил, что в наши дни Смитфилд — чрезвычайно спокойное местечко.

— Никаких преступлений, сэр, — сказал он. — Честно говоря, тут тихо, как на кладбище.

И, указав на свой шлем, добавил:

— А мы по-прежнему ходим в этих штуках, будто все ждем, что из-за угла выскочит какой-нибудь Билли Сайкс с дубинкой. Шлемы — такая нелепость! Шансов, что тебя ударят по голове, — один на миллион. Скорее уж «ствол» наставят.

Я продолжил путь, оставив полисмена досадливо разглядывать пустые воскресные улицы и время от времени проверять, заперты ли складские ворота.

К портику церкви Святого Варфоломея Великого ведут ворота в тюдоровском стиле. Я окинул взглядом церковь и больницу, вспомнил комара из Тре Фонтане и в который раз подивился неисповедимости путей Господних.

В эту церковь я всегда вхожу, испытывая восторг и изумление. Другой такой церкви нет во всем Лондоне, не считая часовни в Тауэре. Это две самые старые церкви Лондона, единственные места, где можно с полным правом сказать себе: «Я в Лондоне первых норманнских королей». Часовня Тауэра выглядит более завершенной, да и смотрится новой, а церковь Святого Варфоломея Великого почернела от времени. Это заметная часть норманнского Лондона, огромная и величественная, как все те крепости, которые норманны возвели во славу Господа.

Утренняя служба только началась. Я послушал церковный хор в красных стихарях (эта церковь находится под покровительством Короны) и направился в санктуарий. Христианские богослужения начались в этой церкви примерно в 1123 году и продолжаются до наших дней благодаря тем, кто поднимал церковь из руин, в которые она превратилась после протестантской Реформации<sup>[43]</sup>. Достаточно сказать, что в часовне Богоматери размещалась типография, в которой в течение года работал Бенджамин Франклин. Северный трансепт превратили в кузницу, крипту — в погреб для вина и угля, крытые аркады — в конюшни. История

церкви в минувший век есть история избавления церкви от унижения и восстановления ее истинного предназначения.

Я присел рядом с огромными колоннами и продолжил размышления. В правление Генриха I на смитфилдские церкви никто еще не покушался. Этот король сменил на престоле Вильгельма Рыжего; после того как затонул Белый корабль, на котором плыл его сын и наследник, Генрих «не позволял себе улыбаться»; умер он, как известно каждому школьнику, объевшись миногами. Лондон времен Генриха I был двуязычным: в нем уживались саксы и норманны. Тауэр, как и Вестминстер-холл, только-только построили, собор Святого Павла также считался новым, а Вестминстерское аббатство пока оставалось норманнской церковью, возведенной Эдуардом Исповедником. По всему Лондону норманнские церкви вытесняли старые деревянные, крытые соломой церкви саксов, а большей части саксонского Лондона было суждено сгореть в пожаре 1136 года.

Когда служба закончилась, я обошел церковь кругом и подошел к гробнице Рагере к северу от санктуария. Под резным каменным пологом находилась расписанная статуя человека, который много веков назад построил церковь Святого Варфоломея и больницу. Рагере лежал на камне в черном одеянии монаха-августинца, и маленький ангел стоял перед ним на коленях.

Совершенно другая, но не менее интересная церковь стоит возле Холборнского виадука.

Или-Плейс в Холборне — занятный тупичок с воротами и сторожкой в дальнем конце, с домами георгианской эпохи, ныне арендуемыми юридическими конторами и различными фирмами. До недавнего времени местечко Или официально не относилось к Лондону и числилось в Кембриджшире. Здесь не платили лондонских налогов и сборов.

Ситуация коренным образом изменилась в конце прошлого столетия, когда кто-то оставил младенца на пороге одного из домов Или. Младенца передали в приют, а власти, спохватившись, постановили, что приют содержится на деньги налогоплательщиков, поэтому Или должно немедленно обложить налогами — что и было сделано.

Впрочем, Или сохранил часть старинных традиций. Полиции запрещено входить в эти кварталы, и каждую ночь сторож запирает ворота. До начала последней войны сторож обходил улицы и каждый час выкрикивал время. Другое напоминание о том, что это местечко когда-то не принадлежало Лондону, — почтовые адреса: наша почта исправно доставляет в Холборн письма, адресованные в Или-Плейс, Холборн-Серкус, Кембриджшир.

Особым статусом Или обладал с тех времен, когда здесь находился лондонский дворец епископов Илийских. От дворца не осталось и следа, только маленькая католическая церковь Святой Этельреды в конце улочки, бывшая дворцовая церковь Или. В 1874 году здание приобрела религиозная организация «Братья милосердия». Это единственная дореформаторская церковь в Лондоне, в которой до сих пор проходят мессы.

Я спустился в крипту — все, что осталось от церкви после попадания в здание бомбы. Священник сказал мне, что деньги на реставрацию уже собраны, и когда-нибудь эта церковь будет среди самых красивых готических церквей Европы.

Каждое воскресенье после мессы участники церковного хора и несколько прихожан собираются в пабе «Митра» на окраине Или. Это старая таверна, к которой можно пройти по узкому переулку. Первая «Митра» была построена в 1546 году епископом Гудричем для челяди епископского дворца. Бывали

времена, когда лицензию на торговлю спиртным этот паб получал в графстве Кембриджшир.

Самый странный пережиток прошлого, сохранившийся в баре, — это обычай, по которому к каждому стакану прилагается кусочек вишневого дерева; в старину это дерево обозначало границу епископского сада. Хотя оно уже много лет как мертво, однако его корни еще, по-видимому, сохранились. Чем это дерево знаменито, я не знаю, и никто в «Митре» не смог меня просветить.

## 8

Во время войны 1914–1918 годов лондонские улицы изменились. Исчезли танцующие медведи и духовые оркестры, это наследие Средневековья, с которым я регулярно сталкивался в юношеские годы. Исчез и еще один колоритный персонаж лондонских улиц — итальянский шарманщик. У него были жирные волосы, в ушах сережки, на плече сидела мартышка в красной юбочке. Наконец, минули, кажется, века с того дня, как я последний раз слышал на улицах Лондона шотландского волынщика.

Мы стойко переносим механические шумы и даже безумный грохот пневматического отбойного молотка, но стали крайне нетерпимы к более приятным звукам. Уличная музыка утратила популярность, а ведь всего несколько лет назад никого не удивляли шарманщики и группы танцующих детей.

На Чаринг-Кросс сидит — или сидел — чистильщик обуви в красной куртке, а буквально на днях мне попался на глаза на Слоун-стрит мужчина, ремонтировавший прямо на тротуаре плетеные кресла. Я устремился к нему, как к старому знакомому. Он рассказал, что и отец, и дед его занимались этой

работой. Точильщики ножей все еще с нами, но вот торговцы булочками могут исчезнуть, потому что невозможно представить булочки без масла. Я помню этих торговцев в период между войнами, помню, как воскресными вечерами они ходили по улицам, звеня в колокольчик, и носили на голове корзины сдобных пышек и булочек в белых салфетках. В те дни масло стоило шиллинг и 8 пенсов за фунт, а есть маргарин считалось неприличным.

Представление Панча и Джуди ныне превратилось в диковинку, а уличные торговцы на Ладгейт-Хилл, пускавшие под ноги прохожим механические игрушки, давно исчезли. К счастью, сохранились трубочисты. Они разъезжают по городу на велосипедах или на крохотных автомобилях. Некоторые лондонцы до сих пор считают, что, если дотронешься до трубочиста, когда тот проходит мимо, это принесет удачу.

Пока еще можно повстречать и старьевщиков, хотя их тоже почти не осталось. Недавно я встретил весьма странного человека — старика небольшого роста и с густой седой бородой. Он толкал перед собой тачку и кричал, что берет пустые бутылки, старую одежду и металлолом. Признаться, я обрадовался, что хоть что-то осталось неизменным: на голове старика торчали два надетых друг на друга серых цилиндра — отличительный признак лондонских старьевщиков времен моей юности.

## Глава десятая

### Вест-Энд

*Как Пиккадилли стала центром Вест-Энда. История развития западного Лондона во времена Карла II. Прогулка по Бонд-стрит и посещение коллекции Уолласа. Я отправляюсь на Шепердский рынок и рассказываю кое-что о лондонских таксистах.*

#### 1

В краткий срок между двумя мировыми войнами цветочницы с Пиккадилли чувствовали себя полноправными хозяйками Вест-Энда, который предстает в памяти ярким, удивительным, нарядным и дешевым: костюм с Сэвил-роу стоил 12 гиней, мясное филе — половину кроны, дюжина устриц — 5 шиллингов.

Расположившиеся вокруг фонтана «Эрос» с корзинками цветов «девушки» (они были наделены постоянной молодостью, и даже прабабушки, которые среди них иногда встречались, не звались «женщинами») дни напролет оживленно шутили, привнося в сердце Вест-Энда здоровый дух ист-эндских кокни. Находясь в самом сердце моды и ее великих законодателей, которые каждый день проходили у них перед глазами, «девушки» одевались чудовищно безвкусно, их наряды были, откровенно говоря, фантастическими. Цветочницы носили обычные для женщин Ист-Энда соломенные шляпки или мужские кепки, проколотые шпилькой, платки и передники. Казалось, что они попали на площадь прямо с иллюстраций Джорджа Крукшенка<sup>[44]</sup> — знаменитой «Жизни в Лондоне».

Если мужчина выглядел щеголем или попросту носил в петлице бутоньерку, цветочницы окликали его: «Капитан!» или «Красавчик!» (вероятно, так проявлялась последняя нежность восемнадцатого века). И даже если он спешил на какую-либо деловую встречу, это приветствие заставляло сбавить шаг и почувствовать себя настоящим мужчиной.

Фонтан «Эрос» принадлежал им и только им. Он занимали его ступени и освежали гвоздики и розы в его воде. Их голоса, перекрывая шум Пиккадилли, разрезали воздух как ножи:

— Фиалки, красавчик, фиалки! Пенни за букетик...

— Доброе утро, капитан! Как насчет моих прелестных гвоздик?

Это был своего рода столичный шик, отголосок эпохи рыцарской галантности, снизошедшей на век шляпкотелков; мужчины, которым она была адресована, удалялись с ощущением, что серж<sup>[45]</sup> их костюмов не серого, а алого цвета, и в руках у них не зонтик, а шпага.

Положившие начало пестрым цветочным рядам на самых известных площадях мира, всеобщие любимицы, цветочницы с Пиккадилли были девушками из низов, кокни. И только сейчас, когда они, последние жрицы богини Флоры, исчезли, мы осознали, насколько без них поблек Лондон. Почему они ушли? Не потому ли, что прошел век бутоньерок?

Не потому ли, что Вестминстерский муниципальный совет запретил уличную торговлю на Пиккадилли? Я полагаю, именно поэтому.

Что за ужасная перемена постигла площадь после ухода восхитительных цветочниц! Со времен войны к ступеням фонтана стал приходить неопрятный заезжий люд, провинциалы, солдаты, моряки и их подружки; они часами сидят, наблюдая за оживленной жизнью площади, а ночью созерцают огни города,



представляющие, по словам Г. К. Честертона, замечательное зрелище для тех, кто не умеет читать. Центр площади Пиккадилли, который выглядел так чудесно с корзинками примул и фиалок весной, роз — летом и георгинов — осенью, сейчас, по моему мнению, являет собой весьма гнетущую и прискорбную картину. Я думаю, привычка сидеть вокруг фонтана появилась во время войны, и привнесли ее американские солдаты, которые жевали жвачку и мрачно курили сигары, недоумевая, какого черта они делают в Лондоне.

Популярность статуи «Эрос» — творения, отправившего своего создателя Альфреда Гилберта в изгнание, — необъяснима. Почему эта маленькая крылатая фигура стала такой популярной в наши дни? Ее любят не за изящество и красоту, или, лучше сказать, не только за это. Возможно, за то, что она излучает легкость и веселье, традиционно царящие на Пиккадилли. Я помню, как однажды на викторине, которая помогала скоротать время путешествия через океан, одна из сильных команд проиграла, не ответив на вопрос: «Из чего сделана статуя Эроса?» Правильный ответ — алюминий. Думаю, это первая статуя, сделанная из алюминия. И конечно, Эрос — не просто статуя, а своего рода легкий алюминиевый каламбур. Когда Гилберту поручили спроектировать мемориал седьмого лорда Шэфтсбери, филантропа, в честь которого названа Шэфтсбери-авеню, скульптору пришла в голову идея поместить на пьедестал бога-лучника, который как бы посылает стрелу на авеню имени филантропа. Но кто-то из министерства общественных работ, тот, кто, очевидно, не любил каламбуров, развернул Эроса, и шутливая идея Гилберта потеряла смысл. Бедняга Гилберт был чрезвычайно темпераментным человеком и любил крушить свои работы; он так рассердился, что предложил расплавить готового Эроса, продать и раздать деньги бедным. Затем, стряхнув английскую

пыль со своих ног, он на двадцать лет уехал жить за границу и вернулся только по личной просьбе короля Георга V.

Как бы я хотел, чтобы ученые вместо обещанных нам полетов на Луну изобрели машину времени и предлагали время от времени провести уик-энд в прошлом! Я бы хотел перевести стрелки часов назад и прогуляться по Пиккадилли времен Якова I, например в 1603 году. Тогда я мог бы дать ответ, насколько все написанное лондонскими топографами о Происхождении странного названия «Пиккадилли» является правдой.

В 1600 году на месте, которое ныне зовется Пиккадилли, не было домов, и носило оно название «дорога на Рединг». «Диким воловиком поросли сухие склоны канав», — пишет Герард в «Травнике»; там, где сегодня громоздятся высокие каменные дома, журчали ручейки, зеленели пастбища и живые изгороди. В средневековых записях 1623 года найдено упоминание о том, что некий йомен Уильям Кебл проживает около «усадьбы Пиккадилли». Это первое упоминание о Пиккадилли. Пройди мы по Пиккадилли в 1623 году, когда правил Яков I, а после смерти Шекспира прошло семь лет, мы бы увидели пять-шесть небольших строений на возвышенности Хэймаркет и один очень красивый дом (ныне Грейт-Уиндмилл-стрит) под названием «Усадьба Пиккадилли», принадлежавший портному по имени Роберт Бейкер.

Полагаю, в этом названии таилась насмешка: современники Бейкера, видимо, решили, что он слишком усердствует в своем желании быть похожим на дворянина, проживающего в деревне. Другими словами, ставит себя немного выше, чем он есть на самом деле. Возможно, некоторые остряки, зная, что его магазин полон *picadils*, или *picadillas*, на которых Бейкер и сделал

состояние, в шутку прозвали его дом «усадьбой Пиккадилли» и так невольно подарили миру одно из самых известных названий.

*Picadil* — так назывался тугой накрахмаленный рюш или воротник, иногда натянутый на каркас из проволоки. Он стал модным в начале XVII века, а к середине века превратился в широкий кружевной воротник, закрывавший плечи. Этот воротник часто встречается на картинах Ван Дейка. Мода прошла во времена Карла II, когда огромные мужские парики сделали ношение *picadil* невозможным. На смену ему пришел галстук и шейный платок.

На Пиккадилли располагалось еще одно заведение с интересным названием «Поместье цирюльника». Тут находился один из самых известных игорных домов того времени, который держал цирюльник графа Пемброка Саймон Осбальдстон. В поместье имелись две лужайки для игры в шары, теннисный корт, тенистые, посыпанные гравием аллеи, столовая и четыре комнаты на последнем этаже для карточных игр и игры в кости.

Названия некоторых улиц также связаны с давним прошлым Пиккадилли. Уиндмилл-стрит служит напоминанием о мельнице, которая стояла напротив современного мюзик-холла «Уиндмилл». Сено веками продавалось на сенном рынке Хэймаркет. А название Вайн-стрит напоминает о виноделах и виноторговцах и родилось во времена, когда монахи-бенедиктинцы Вестминстерского монастыря держали здесь виноградник. Пиккадилли начала обретать нынешние очертания с появлением особняков знати в правление Карла II.

Старые средневековые дворцы Стрэнда, больше похожие на оксфордские колледжи, чем на дома аристократов семнадцатого века, безнадежно устарели, и жилой район Стрэнд утратил прежний облик. Старые

дворцы были проданы, их место заняли новые улицы, но имена прежних владельцев сохранились.

Развитие Лондона за пределы городской стены началось с закрытия монастырей в правление Генриха VIII и, несмотря на репрессивное законодательство, продолжилось в эпоху Елизаветы и первых Стюартов. До этого город был зажат со всех сторон владениями мужских и женских монастырей. Монастырь кармелитов в Уайтфрайарз, монастырь францисканцев в Холборне, монастырь ордена Святого Иоанна Иерусалимского, а также бенедиктинская женская обитель в Кларкенвелле и монастырь в Смитфилде — лишь немногие и самые известные из них.

С переходом этих обширных территорий из церковной собственности в частное владение Лондон начал разрастаться во всех направлениях, за исключением королевских земель на западе. Ни постановления парламента, ни королевские запреты не могли остановить застройку бывших монастырских земель и быстрое расширение перенаселенного города, наступавшего на окрестные деревни.

Это был естественный рост, и ничто не могло его остановить. Вест-Энд в этом смысле значительно отличался от остальной части города. Здесь торговля землей и строительство обрели аристократический размах. Особняки знати появились при Карле II, потом застройка городского квартала была приостановлена из-за гражданской войны и получила новый стимул с восстановлением на троне Карла II. Ажиотажу вокруг Вест-Энда способствовал и Большой пожар. Те, кто разделял изгнание с королем, были награждены землями, и Вест-Энд начал развиваться вокруг королевского двора: появлялись особняки, имения, дома, площади.

«Доходные дома — очень старый способ делать деньги, — писал Джон Саммерсон в «Георгианском Лондоне». — Корни его уходят во времена Средневековья, когда возник институт ростовщичества. Доход от ренты существовал и во времена Тюдоров. Если аристократ уезжал из города, его дом переходил к другому владельцу и мог быть разрушен или отдан под жилье нескольким бедным семьям, что обеспечивало доход новому хозяину. Такое жилье снимали люди из самых бедных слоев общества, приезжавшие в город из доведенных до нищеты деревень. Им сдавался минимум площади за смешную плату. Но со временем коммерсанты нацелились выше. Уровень городской жизни рос, сословие высокообразованных специалистов (учителя, адвокаты и т. д.) становилось все многочисленнее, увеличивалось количество служащих, поэтому добротные городские дома, не дворцы, но и не лачуги, росли в цене».

Четвертый граф Бедфорд задал новое направление развития Ковент-Гардена еще при Карле I, но трудности в получении лицензии на строительство и годы гражданской войны помешали его последователям. Однако нельзя сказать, что коммерсанты теряли время при Карле II. Двумя самыми известными коммерсантами того времени были: четвертый граф Саутгемптон, строивший в Блумсбери, и Генри Джермин, граф Сент-Олбанс, подвизавшийся в районе Сент-Джеймс. Схема Саутгемптона весьма примечательна. Он решил строить жилье для нетитулованных дворян и для нового класса высокообразованных специалистов. Так возникли эти хорошо спроектированные и похожие друг на друга здания, они постепенно меняли свой облик в эпоху

Георгов и королевы Виктории, обретая привычный вид домов добропорядочных лондонцев.

Схема Джермина слегка отличалась от схемы Саутгемптона, и ее воплощению помешали некоторые события. Джермин был известный льстец и аферист. Его влияние на Генриетту Марию было таким сильным, что многие подозревали, что между ними существует любовная связь. Как и многих других, кто вернулся из изгнания вместе с Карлом II, Джермина щедро вознаградили за преданность. Будучи, по замечанию Карла, «больше французом, чем англичанином», он решил, следуя французской моде, создать на территории вокруг Сент-Джеймского дворца квартал аристократических особняков, таких роскошных фамильных дворцов. Но замыслы Джермина не успели воплотиться в жизнь — чума, последовавшая за Большим пожаром, опустошила Лондон. Ситуация на рынке жилья изменилась. Половина Сити лежала в руинах. Поток людей двинулся в Вест-Энд. Джермину повезло: не успев застроить Сент-Джеймс-сквер, он изменил схему и построил большое количество домов не для богатых аристократов, а для дворянства средней руки, которые и начал сдавать в аренду.

Большое строительство развернулось в Вест-Энде еще до того, как сюда хлынул поток погорельцев. На Сент-Джеймс-сквер появлялись здания, абсолютно не похожие на роскошные особняки Пиккадилли, преемники дворцов Стрэнда.

Интересно было бы взять экипаж и прокатиться по Пиккадилли тех времен, как это делали Пипс и Ивлин, увидеть луга, заваленные кирпичами, известью и брусом. Три самых больших дворца на Пиккадилли — это Кларендон-хаус в начале Сент-Джеймс-стрит (откуда расходятся Бонд-стрит, Довер-стрит, Албемарл-стрит и Стаффорд-стрит), Бэрлингтон-хаус и Баркли-хаус, впоследствии Девоншир-хаус. Все три здания были

построены в период с 1664 по 1668 год. Каждое из них проектировалось как загородная усадьба в черте Лондона. При каждом особняке есть большой сад, отделенный высокой кирпичной стеной. Нынешние Бэрлингтонские сады принадлежат саду старого Бэрлингтон-хаус. Площадь Баркли была частью сада Баркли-хаус. И хотя вскоре первые улицы Вест-Энда устремились через поля к Оксфорд-стрит, эти городские усадьбы и через пятьдесят лет все еще походили на загородные имения. Когда Гендель останавливался у лорда Бэрлингтона в 1715 году, ему отвели комнату в задней части дома, потому что композитор любил вид на поля и деревья.

Кларендон-хаус принадлежал к числу самых красивых особняков Лондона, но судьба здания оказалась печальной. Он был построен Эдуардом Гайдом, графом Кларендоном, лордом-канцлером Карла II. Ему, известному государственному деятелю эпохи Елизаветы, было суждено утратить власть при Карле. Он не участвовал в развлечениях двора, не заискивал перед королевскими фаворитками. Карл находил его добродетельно скучным. Когда разразилась Голландская война<sup>[46]</sup> и жизнь стала опасной, Кларендона сделали козлом отпущения, и Карл решил избавиться от него. Лондонцы ненавидели Кларендона и винили его во всех несчастьях эпохи. Уже будучи пожилым человеком, он уехал в изгнание во Францию, где написал «Историю восстания». Сам он объяснял свои злоключения в Англии не политическими страстями эпохи, а в большей степени «человеческой слабостью и тщеславием», которые заставили его построить Кларендон-хаус, и «вспышкой зависти», которую этот роскошный дворец вызвал у соотечественников.

И Пипс, и Ивлин видели, как строился этот особняк, а девятнадцать лет спустя они наблюдали, как его сносили.

Пипс отзывался о нем как о самом прекрасном здании, которое он когда-либо видел. Ивлин подтверждал: «Без преувеличения, это самый интересный в архитектурном отношении, самый изящный и величественный дом в Англии». Вскоре после завершения строительства в 1667 году Ивлин нанес визит лорду Кларендону. Он нашел лорда сидящим в кресле-коляске, тот как раз наблюдал, как ставят ворота в саду. Измученный подагрой старик выглядел подавленным. На следующий день Ивлин услышал, что Кларендон уехал в ссылку во Францию. Шестнадцать лет спустя Ивлин снова стоял на Пиккадилли: после ужина он направился посмотреть, как сносят Кларендон-хаус.

На месте этого роскошного особняка группа негоциантов во главе с сэром Томасом Бондом проложила Бонд-стрит, Довер-стрит, Албемарл-стрит и Стаффорд-стрит. Сэр Бонд, в честь которого названа одна из самых фешенебельных улиц мира, как и Джермин, разделил изгнание с Генриеттой Марией и вернулся в Лондон вместе с Карлом II, чтобы пожать плоды Реставрации. Он жил в Пекхэме, где Ивлин навел его в доме «с чудесным садом и видом на луга и Лондон за ними». Я уверен, что всего несколько человек из тех тысяч людей, которые видят эти четыре улицы каждый день, знают, что их «корни» восходят к Лондону Карла II. Помню, как во время последней войны, при воздушном налете, мне пришлось забежать в дом на Пиккадилли, в конце Довер-стрит (сейчас в этом доме находятся несколько магазинов и фирм). Под своей рукой я почувствовал удивительные широкие перила эпохи Стюартов. Я вовсе не ожидал найти такое сокровище в здании, которое с виду не давало и намека на то, что по его ступеням ходил человек, живший в Лондоне эпохи Карлов, Нелл Гвин, Пипса, Ивлины и Рена. Эта мысль так восхитила меня, что я долго стоял здесь и



рассматривал балюстраду при свете сигареты, пока не услышал вой приближающегося «Фау-1».

## 2

Люди, которые построили первые дома и улицы Вест-Энда, носили шитые золотом камзолы и шпаги на боку, локоны париков спускались им на плечи, на шляпах покачивались страусовые перья, колени охватывали шелковые ленты, а трости их были из черного дерева и слоновой кости. Романтики думают, что они постоянно ухаживали за хорошенькими женщинами, дрались на дуэлях и писали стихи (в ту пору каждый истинный джентльмен мог срифмовать стихотворение). Романтики полагают, что больше всего их интересовала любовь, и кажется невозможным представить, что гораздо больше этих людей интересовали деньги. Основоположники Вест-Энда — люди, постоянно искавшие выгоду с тем же рвением, что и наши современники, живущие в Лондоне, Нью-Йорке или Йоханнесбурге. Финансовое чутье, которое ошибочно ассоциируется только с сегодняшним временем фондовых бирж и телефонов, было очень хорошо развито в эпоху шпаг и атласа. Под огромными париками скрывался острый и цепкий ум. Думаю, что, например, доктор Николас Барбон (или Бэйрбонс), сын мрачного старого пуританина Бэйрбонса по прозвищу «Хвала Господу», мог бы удивить Лондон и в наши дни.

Барбон, родившийся в 1640 году и живший во времена Веласкеса, Кромвеля, Карла I, Мильтона, Лили и Беньяна, был настоящим бизнесменом в полном смысле этого слова и обладал недюжинным интеллектом. Он написал несколько экономических трактатов по финансовому делу (на его работы ссылался Карл Маркс!). Пожар в Лондоне навел его на мысль о страховании жилья. Но главной сферой его интересов

была скупка старой недвижимости и создание новых улиц и площадей. Барбон был великолепным знатоком душ человеческих. Как замечательно описал Барбона в своей «Автобиографии» знакомый с ним лично Роджер Норт! Место действия — Лондон времен Карла II, действующие лица — доктор Барбон и люди, готовые выступить против него. Норт пишет:

«Они пришли в условленное место заранее и, подбадривая друг друга, пытались утвердиться во мнении, что доктор должен принять их условия. Так они прогуливались, пытаясь убить время и посматривая, не пришел ли доктор. Наконец кто-то сообщил, что он появился, и все потянулись к столу. Доктор пришел! Он был разодет как постельничий на именинах. Должен признать, что он всегда так выглядел. Эти люди, готовые высказать ему свое несогласие, и в самых оскорбительных выражениях, увидев столь бравого господина, лишь растерянно сняли шляпы. Доктор, как и подобало джентльмену, обратился с витиеватой речью к этим господам и предложил свои условия, которые, как ни верти, неизменно оказывались в пользу вышеозначенных его противников. Все поменялось в один момент. Некоторые не поняли его уловки, другие просто не поверили ему, а остальные пребывали в изумлении, тем временем доктор разыгрывал из себя милейшего человека и настоящего друга. Тех, кто ему не доверял, он стремился подкупить. К следующей встрече некоторые приняли его сторону, остальные последовали примеру. Если кто-нибудь начинал упираться, то доктор Барбон незамедлительно пускал слух, что снесет дом строптивца, а на освободившейся земле что-

нибудь построи́т. Таким образом он доводил упрямцев до сердечного приступа, и они трусливо соглашались на любые условия ради собственного спокойствия и мира».

Как часто нам доводилось видеть такого вот доктора Николаса Барбона, но не в расшитом камзоле, а в костюме с Сэвил-роу, выходящего из «роллс-ройса» или сидящего за столом красного дерева с сигарой в холеных пальцах! Как часто мы видели его лицо, излучающее благополучие и внушающее доверие!

Полагаю, что если кого-то и можно назвать изобретателем массового производства, так именно Барбона. Его лестницы, которыми ныне мы восхищаемся, каминные полки, оконные рамы и карнизы выпускались тысячами штук. Этот современник Мильтона почти приблизился к идее конвейера и во многом предвосхитил Генри Форда!

Барбон — лишь один из тысяч спекулянтов, социальное положение которых колебалось от пэра до ремесленника. Стоит назвать Колена Пэнтон (Пэнтон-стрит), профессионального афериста; Абрахама Стори (Сторис-Гейт), одного из каменщиков Кристофера Рена; сэра Томаса Кларджа (Клардж-стрит), политика; Джорджа Кинга (Кинг-сквер, ныне площадь Сохо), писавшего политические памфлеты. Всех их интересовали деньги. А за спекулянтами приходили первоклассные мастера, готовые строить дома, годами совершенствовавшие свое ремесло. В умелых руках Вест-Энд рос очень быстро, это беспокоило Сити. Спустя несколько лет после пожара все улицы Сити опустели, столь притягательна была сила нового района за Чаринг-Кросс. Эта тенденция сохранилась по сей день. И если мы можем представить мужчин того времени воюющими с пуританами, пьющими за короля или флиртующими с дамами, то с тем же успехом мы

должны представить себе их стоящими среди кирпичей и печей для обжига извести или вглядывающимися в поля вокруг Пиккадилли острым взглядом коммерсанта.

### 3

Улица, которую сэр Томас Бонд построил два с половиной века назад, — это короткая улица, которая многие годы упиралась в поле, пока в 1721 году Нью-Бонд-стрит не протянулась севернее, в сторону Тайберн-роуд и Оксфорд-стрит. Это улица чудесных и дорогих вещей: картины, гравюры, украшения, книги, золото и серебро, женская одежда. Даже самая простая вещь, если она куплена на Бонд-стрит, становится особенной.

Торговцы предметами искусства мудры и опыты, поэтому если заглянуть в их магазины, поговорить с ними, посмотреть на картины, гравюры, фарфор, золото и серебро, то, можно сказать, приобщишься к тайнам коллекционеров. В молодые годы я мечтал о богатстве, чтобы иметь возможность покупать все эти изящные вещицы с Бонд-стрит, которые так привлекали мое внимание. Но в свои нынешние годы я думаю, что обладание всеми этими вещами не дало бы мне и половины того удовольствия, которое я получаю, разговаривая с теми, кто покупает и продает их.

Я помню Бонд-стрит между войнами, когда, как нам казалось, она еще хранила изящество восемнадцатого века. Здесь прогуливались изысканные дамы. В воздухе витало ощущение беззаботности. «Бездельники» с Бонд-стрит еще не исчезли. Впрочем, хотя витрины магазинов Бонд-стрит практически не изменились, люди, которые в них заглядывают, кажутся мне совершенно иными. Война, налоги, послевоенные трудности, поколение, выросшее без прислуги, — все это лишило нас свободного времени и тяги к роскоши; пускай

существуют те, кто продолжает покупать бриллиантовые браслеты и картины старых мастеров, — иначе Бонд-стрит утратит смысл, — однако выглядят эти люди совсем не так, чтобы в них можно было заподозрить аристократов-вертопрахов.

Коллекционеры с достаточным количеством денег неохотно признаются, что лучшие предметы коллекции были найдены на Бонд-стрит и переулках, ведущих к ней. Коллекционер с умеренными средствами со злобой смотрит на богатых коллекционеров, которым достаточно взять чековую книжку, чтобы перед ними раскинулись все сокровища Бонд-стрит, недостижимые для прочих. Бонд-стрит — настоящая пещера сокровищ! И если вы попросите меня показать вам часы Томпиона, подлинного Констебля или средневековую дароносицу, мы неизбежно окажемся на Бонд-стрит. Обычный прохожий не знает, какие чудесные предметы хранятся в сейфах на Бонд-стрит даже в наше жалкое время.

Некоторым нравится Бонд-стрит утром, когда солнце только начинает пригревать и в воздухе чувствуется весна, а я люблю эту улицу осенним вечером. Фонари только зажглись, люди спешат домой, витрины заманчиво светятся и соблазняют — там мебельный гарнитур Хэпплуайта, тут жемчужное ожерелье, кусочек нефрита, часы Нибба или Квора, норковая шубка, книги в красном или зеленом сафьяновом переплете. И каждый предмет великолепен настолько, насколько это вообще возможно. Далеко не все способны купить такую вещицу, но у каждого есть право посмотреть на нее и расспросить о ней.

Когда сумерки опускаются на Лондон и морозный воздух напоминает о близкой зиме, приятно прогуляться по Бонд-стрит, проиграть на торгах вещицу, о которой вы долго мечтали, а потом идти по улице и объяснять себе, что ничего страшного не произошло, что вы счастливы и без нее и что вы все равно никогда бы не

смогли себе ее позволить. Но гораздо лучше идти по Бонд-стрит, одержав победу, с чем-то, о чем вы долго мечтали и что купили на аукционе за сумму гораздо меньше той, которую были готовы заплатить, с чем-то настолько замечательным, что вы не можете поверить, что эта вещь наконец ваша, с сокровищем, которое вы украдкой рассматриваете при свете фонаря, дабы убедиться, что это не сон.

Когда мне было скучно в Лондоне (что бывает крайне редко и ненадолго) я заходил на распродажи в «Кристи» или «Сотби». Откуда идет этот бесконечный поток сокровищ? Это одно из чудес Лондона. Так продолжается уже много веков. Богатые люди георгианской эпохи приходили на аукцион, чтобы торговаться за полотна мастеров итальянского Возрождения, как мы сейчас торгуемся за мастеров георгианской эпохи. Только платили они гораздо меньше! Подвалы «Кристи» и «Сотби» подобны пещере Али-Бабы, из которой во время сезона распродаж выносят чайные сервизы королевы Анны, чиппендейльские кресла, гобелены, бронзу и фарфор. Некоторые из этих предметов имеют долгую историю. Они перепродавались на протяжении многих веков, а некоторые даже вернулись на Бонд-стрит и Сент-Джеймс-стрит из Америки. Другие предметы появились здесь впервые и описываются в каталоге многозначительно, например: «собственность джентльмена». Эту фразу стоило бы продолжить так: «который сделает что угодно за пятьсот фунтов».

Давайте заглянем на один из аукционов. Аукционист сидит в кресле лицом к довольно разнородной лондонской толпе. Вот лорд и леди Х, которые буквально наживаются на своих предках, избавляясь каждый год то от портрета пятого графа на аукционе «Кристи», то от кровати на аукционе «Сотби». Странно думать, что человек, который сражался при Бленхейме и

Рамильи, станет в 1951 году выплачивать подоходный налог за своих потомков! А вот сидит американский коллекционер — представительности никакой, но зато какая чековая книжка! Неизменно присутствуют несколько почтенных дам из разряда «леди в стесненных обстоятельствах» и большое количество торговцев и агентов — некоторые из них выглядят процветающими, другие ковыряют в зубах трамвайным билетом, пока презрительно изучают очередного Гейнсборо.

«Итак, — говорит аукционист сладким голосом, — лот номер 84 «Портрет леди»! Ваша цена?»

Двое мужчин в фартуках из зеленого сукна поставили на мольберт картину, написанную три века назад. Красавица презрительно взирает на толпу. Она молода. Грудь приподнята лифом платья. Прелестную шейку украшает жемчужное ожерелье, две жемчужины каплями сверкают в ушах, и волосы тоже убраны жемчугом. Вид у нее несколько капризный и чуть игривый, в духе общей атмосферы при дворе Карла II.

Она никогда не говорила по телефону, не пила коктейлей, не водила машину, не летала на самолете, но была очень современной, и я почувствовал, что мог бы с удовольствием пригласить ее позавтракать в «Клариджиз» или «Баркли».

— Три сотни гиней, — откликается мужчина, который выглядит так, будто не может заплатить и пять шиллингов.

Торги начались.

— Пятьсот, — предлагает коллекционер.

— Шестьсот, — это американец.

Все это время за подмигиваниями и кивками наблюдала девушка, чьи черты лица определенно имели сходство с дамой на портрете. Завей она каштановые волосы, вставь в уши жемчужины, надень коричневое

платье с глубоким вырезом, манерно сложив руки на коленях, эта девушка стала бы копией леди с картины.

— Шестьсот гиней... продолжаем с шестисот гиней, — кричит аукционист, смакуя каждое слово, как жирный кусок.

Удар молотка.

Когда служащие в зеленых фартуках снимали холст, мне показалось, что на одно мгновение глаза дамы на картине и глаза девушки из зала встретились, и взгляд сказал:

«Итак, моя дорогая, мне нужно оплатить твою свадьбу. Мои кости превратились в пыль два века назад, но мое лицо — твое богатство».

И девушка вышла на Бонд-стрит, думая о своем приданом.

На следующую картину внимательно смотрит маленькая пожилая женщина в черном. Ее знаменитый Веласкес наконец-то продается.

Тысячи людей, владельцы работ кисти старых мастеров, считают их верным подспорьем в трудную минуту жизни. Их вера в ценность этих картин так сильна, что даже когда сокровища оценены и доподлинно установлено, что это подделки, они отказываются верить. Эти люди считают, что оценщики вводят их в заблуждение, чтобы купить шедевр за бесценок.

Старая леди, посмотрев на своего Веласкеса, встала. Вероятно, она думала, что если выручит за картину всего 3000 фунтов, то сможет купить небольшой загородный домик, а если 20 000, как ей всегда говорил адмирал, который никогда не ошибался, то она проведет остаток своих дней в роскоши и поможет тем, кто нуждается. Она помнит, с какой гордостью адмирал обычно показывал эту картину после ужина. «Отдал всего пятьсот, хотя картина стоит пять тысяч, если



вообще не бесценна!» Она не знала, что эту картину адмиралу всучил в Барселоне некий аферист.

— Итак, — говорит аукционист, — лот номер 85. Школа Веласкеса.

Неприятная тишина, затем грубый голос произносит:  
— Пять гиней.

Еще одна неприятная пауза.

Мужчина неопрятного вида подходит к картине и встряхивает головой.

— Пять гиней... шесть... шесть... десять... шесть гиней... начнем с шести...

«Дама в стесненных обстоятельствах» сидит, онемев от горя, потрясенная происходящим. Какое счастье, что адмирал не знает! Что бы он сделал? Что бы он сказал? Она будто видит, как он встает, его голубые глаза пылают негодованием, в сознании звучит его голос:

«Да это же мошенничество...»

Какое счастье, что адмирал не знает!

— Восемь гиней, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, двенадцать... кто-нибудь даст выше двенадцати?..

Молоток опустился!

И пожилая леди выходит на Бонд-стрит, продав свою последнюю надежду за двенадцать гиней.

#### 4

На краю того квартала, что граничит с Оксфорд-стрит, среди длинных улиц и площадей, где полным-полно приемных врачей и специализированных магазинов медицинской техники, находятся Хартфорд-хаус и Коллекция Уолласа.

Очень полезно в наши дни, когда обладание чем-то расценивается чуть ли не как социальный грех, заглянуть в Хартфорд-хаус и посмотреть на сокровища,

которые богатая семья копила в течение столетия или около того. В Лондоне нет ничего похожего на Коллекцию Уолласа: это маленький Лувр. Возможно, во всем мире больше нет такой выставки приобретений нескольких состоятельных и утонченных аристократов. Это самый роскошный подарок, который один человек когда-либо делал целой нации.

Четвертого лорда Хартфорда, который начинал собирать эту коллекцию, современники считали нелюдимым и эксцентричным. Он родился в 1800 году, а умер в 1870-м. Большую часть жизни он провел в Париже. Говорят, он уехал из Англии из-за спора с властями по поводу канализационных труб в его доме на Пиккадилли. Чтобы не продавать дом за бесценок, он оставил лестницу незаконченной, закрыл ставни и объявил место непригодным для жилья и таким образом избежал уплаты налогов, после чего уехал во Францию.

Его доходы составляли больше 240 000 фунтов в год. Лорда Хартфорда не интересовала общественная жизнь и люди. Целью его жизни было искать и покупать красивые вещи. Картины, настенные часы, мебель, бронза, мрамор, фарфор — все это привлекало его внимание, если было первоклассным. Он редко посещал аукционы, но все торговцы Парижа знали английского милорда, который предлагал баснословные деньги, поэтому они были счастливы доставить ему любые шедевры еще до аукциона. Он получал удовольствие, если уводил произведение искусства прямо из-под носа соперника, особенно если соперником был император, король или принц.

Лорд Хартфорд умер в возрасте семидесяти лет, будучи владельцем самой потрясающей частной коллекции искусств. Его компаньоном и преемником был его побочный сын Ричард Джексон, который позже взял имя Ричард Уоллас. Разница в возрасте между отцом и сыном была небольшой: Джексон, он же Уоллас,

родился, когда лорду Хартфорду было восемнадцать лет.

Когда Уоллас решил перевезти сокровища в Лондон, его ожидал удивительный прием. Хартфорд-хаус пустовал тридцать пять лет. Старые верные слуги поддерживали дом. Когда они умерли, их сменили сыновья и дочери. На протяжении тридцати пяти лет они убирали дом, чтобы тот был всегда готов к внезапному возвращению хозяина. И вот сэр Ричард Уоллас прибыл; сопровождавший его друг вспоминал: «Несмотря на то что все было готово к приезду хозяев, везде царила торжественная тишина. На стенах гостиной прекрасные пейзажи Рейнольдса и Гейнсборо висели бок о бок с портретами кисти Ван Дейка, великолепными произведениями Тициана и Рубенса, представленного одним из его поздних шедевров, знаменитой «Радугой». Но все эти, такие живые и наполненные светом, картины были тронуты легкой патиной времени, под которой, как под вуалью, красота их обретала таинственность и печаль минувшего».

Сэр Ричард и его жена (она была француженкой) жили в Лондоне так же замкнуто и размеренно, как лорд Хартфорд в Париже. Они редко выезжали и общались лишь с несколькими друзьями. Очевидно, инстинкт коллекционирования передается по наследству: Уоллас продолжил дело отца, увеличив и без того огромную коллекцию. Когда он умер, то все собрание шедевров оставил жене. После ее смерти и по ее желанию коллекция перешла государству.

Я часто покидал Хартфорд-хаус, размышляя о том, действительно ли обладание таким огромным количеством восхитительных вещей приносит счастье, и если так, то приносили ли счастье сами предметы или чувство обладания ими, которое по своей силе сродни любви, жалости и ненависти?

И еще мне интересно, насколько человек, привыкший к жизни в окружении такого количества позолоченной французской мебели, полотен Буше, Ланкре и Фрагонара, не говоря уже о картинах Гейнсборо, Рейнольдса и Ромни, сочтет сносным пребывание в течение нескольких дней в привокзальной гостинице в Манчестере? Конечно, есть шанс, что владелец подобного богатства будет находиться в состоянии абсолютного счастья в почти преступно бедной комнате, блаженно разглядывая закопченный дубовый шкаф и гравюру Маркуса Стоуна. Ведь как ни чудесно располагать необходимыми для коллекционирования всех этих шедевров познаниями и средствами, я уверен, наступает момент, когда от них хочется сбежать.

При упоминании о Коллекции Уолласа в памяти сразу возникают прелести дам, столь откровенно изображенных на картинах Буше. Нигде больше вы не увидите так много картин Буше, и среди них изысканный и изящный портрет покровительницы художника, маркизы де Помпадур. Она стоит в своем саду в Бельвю, ее рука покоится на постаменте скульптурной группы «Любовь и Дружба» Пигаля, которая сейчас находится в Лувре. Комнатная собачка по кличке Инес сидит у ног на мраморной плите. На маркизе платье с низким, по моде того времени, расшитым кружевами лифом, широкая юбка с кринолином. У нее лицо мальчика-пажа. Она смотрит на вас спокойно и высокомерно.

Маркиза де Помпадур была одной из величайших и хладнокровнейших фавориток в истории. Портрет был написан, когда маркизе было тридцать семь, то есть за пять лет до ее смерти. Возможно, портрет льстит ей, в противном случае маркиза его бы не хранила. Этот портрет призван был отметить интересный этап в ее

отношениях с Людовиком XV — момент, когда любовь перешла в дружбу.

Кажется, эта любовная связь нашла особое отражение в творчестве Буше. В этой же галерее есть четыре больших, изобилующих телесностью панно «Визит Венеры к Вулкану», написанные на пять лет раньше портрета, когда маркиза полагала, что любовь короля уходит. Эти панно украшали ее будуар, поскольку нравились королю. Но его внук, Людовик XVI, посчитал панно непристойными и приказал убрать их. Во время Французской революции они были вывезены в Германию, затем вернулись во Францию, где их купил лорд Хартфорд. Он украсил ими ширму в своей спальне на рю Лафитт. Когда панно перевезли в Лондон, сэр Ричард Уоллас повесил их в будуаре своей жены. Какая удивительная судьба у этих картин: их история началась два века назад в будуаре королевской любовницы и закончилась в тихом лондонском доме!

В Хартфорд-хаусе можно найти еще одну примечательную особу, вызывавшую много толков, это миссис «Пердита» Робинсон, чье христианское имя было Мария. В Коллекции представлены три портрета этой красавицы: работы Гейнсборо, Ромни и Рейнольдса. Каждый великий художник увидел в ней что-то свое, поэтому кажется, что на вас смотрят три разные женщины. Лучшая картина (менее всего схожая с оригиналом) — это парадный портрет кисти Гейнсборо. Мария Робинсон изображена сидящей на фоне природы, лицо ее выражает доброту и мягкость.

В двадцать лет она добилась успеха на театральных подмостках, играя Розалинду (роль которой позволяла ей продемонстрировать великолепную фигуру) и Пердиту, в роли которой она и покорила доступное сердце принца-регента.

Она получила вексель с королевской печатью на 20 000 фунтов (так и не предъявленный к оплате), но

вскоре надоела принцу. Да, она была красива — но при этом тщеславна и обидчива, и еще ей не хватало утонченности. Однако, к ее чести, она тоже устала от своего любовника-принца и искренне влюбилась в ветерана войны за независимость Америки полковника Банастра Тарлтона. Он и был причиной трагедии ее жизни. Чтобы спасти его от кредиторов, она совершила долгое путешествие в почтовой карете и подхватила простуду. После болезни она осталась парализованной. Ее было всего двадцать четыре года, и она осталась калекой на всю жизнь. Мария стала профессиональной писательницей. Она писала мемуары, песни и стихи. Умерла Мария, когда ей было сорок или сорок два, бедная, одинокая и прикованная к постели. Никто из тех, кто смотрит на эту чудесную девушку на картине Гейнсборо, не может себе представить, сколько унижений ей пришлось испытать в жизни.

Я всегда покидаю Коллекцию Уолласа слегка сбитый с толку таким невероятным количеством замечательных вещей: картины, табакерки, мебель, статуи, бронза, фарфор, медали и миниатюры. Ярче всего в память врезаются Франция XVII века, королевские дворы Людовика XV и Людовика XVI, розовые красавицы Буше, пасторальные пирушки Ланкре и две изысканные и хорошо известные картины Фрагонара «Лебедь» и «Сувенир». На последней изображена женщина, которая царапает на коре дерева любовное послание, рядом сидит маленькая собачка и смотрит на нее. В описании в каталоге эта картина сравнивается с ноктюрами Шопена.

А еще меня, как и многих других посетителей, изумляет, что всадник Франца Хальса называется «Смеющийся всадник». Если бы он назывался «Насмехающийся всадник» или «Надменный всадник», думаю, это было бы немного ближе к истине.

Я свернул на Уйатхорс-стрит и вскоре оказался на Шепердском рынке. Этот осколок георгианско-викторианского захолустья вполне мог бы находиться не в Вест-Энде, а в любом старинном ярмарочном городке Англии. Несмотря на его внешний вид, этот рынок может удовлетворить самый изысканный вкус. Но вряд ли вы заметите это днем, прогуливаясь здесь и заглядывая в витрины овощных, мясных и бакалейных лавок, во все эти маленькие дружелюбные магазинчики.

У меня нет знакомых, которые живут у Шепердского рынка. Я никак не соберусь прочитать несколько книг, говорят, интересных, на написание которых авторов вдохновил этот рынок. Люди, которые живут в квартирах над магазинами, должно быть, последние деревенские жители в Лондоне. Наверное, здесь все знают друг о друге все, как в любом поселке или деревне.

После наступления темноты, когда под сводами лавочек зажигаются фонари и здания наполовину скрываются в тени, Шепердский рынок выглядит как Лондон в голливудских фильмах. Не хватает только кэба, но зато здесь есть еще более старинная вещь — портшез.

Однажды вечером я заглянул здесь в светящийся розовыми огнями модный бар. Публика была весьма разношерстной, и все это походило на лагерь беженцев. Слова «старина» и «дорогой» повторялись в разговоре каждую минуту, так что я даже подумал мельком, не перенесся ли в Мэйфер Майкла Арлена<sup>[47]</sup>.

Облокотившись на портшез, рядом с телефоном стоял огромный черный мужчина, абсолютное воплощение самоуверенности. Мужчина был дорого, почти кричаще дорого, одет (на американский манер),

на каждом пальце по кольцу, во рту сигара, шляпа сдвинута назад. Он рассматривал толпу, не снимая руки с портшеза. Странное зрелище!

Я представил себе темнокожих рабов, избалованных маленьких темнокожих мальчиков в тюрбанах, темнокожих кучеров и лакеев, которые удовлетворяли тщеславие людей восемнадцатого века. Этот чернокожий выглядел вызывающе, но никто не обращал на него внимания. У меня возникло необоримое желание подойти к портшезу и вызвать по телефону Питера Чейни<sup>[48]</sup>.

Эдвард Шеперд, по имени которого назван этот небольшой уголок Лондона, был архитектором и строителем, он приложил руку к строительству площадей Гросвенор-сквер и Кавендиш-сквер. Шеперд получил разрешение построить рынок для крупного рогатого скота на месте нынешнего Мэйфера в 1738 году. И каждый май купцы, разносчики товаров, фокусники, актеры, канатоходцы, поводыри танцующих медведей и дрессировщики обезьян собирались вокруг рынка и устраивали ежегодную ярмарку. Так продолжалось многие века — сначала рядом с лепрозорием Святого Иакова, позже рядом с Сент-Джеймским дворцом, затем на Хэймаркете и, в конце концов, в Мэйфере.

Этот некогда совершенно необычный район, чью лебединую песнь так проникновенно явил публике Майкл Арлен, включает улицы между Баркли-сквер и Парк-лейн. Ярмарка проводилась на месте, где ныне Хартфорд-стрит, Керзон-стрит и Шепердс-маркет. Это было бурное и шумное событие, длившееся две недели. Там продавали горячительные напитки, устраивали лотереи, разыгрывали представления, проводили скачки и бои быков, повсюду стояли карусели. В свое время это место было весьма популярно у городской знати, но в целом пользовалось самой дурной славой в Вест-Энде. В



1701 году всеобщее внимание привлек приезд канатоходки по имени Леди Мэри. Говорили, что она дочь итальянского дворянина, которая сбежала с Финлеем, хозяином цирка. В следующем году королева Анна начала кампанию за чистоту нравов и издала указ о поощрении добродетели, который читали в церквях. В том же году Майскую ярмарку посетили констебли, они арестовали одну весьма известную женщину, после чего разъяренная толпа посадила констеблей в загон для овец и забросала обломками кирпичей. Один из констеблей, Джон Купер, умер. В его смерти обвинили мясника из Глостершира, которого незамедлительно повесили в Тайберне. Этот случай вызвал большие волнения, но их быстро подавили. Ярмарку называли очагом «нарушения общественного порядка» и «рассадником пороков и безбожия». Но ярмарка выжила и сохранила все свои прежние атрибуты: «пьянство, распутство и азартные игры». Так продолжалось до 1750 года, когда влиятельные люди, которые жили на прилегающих улицах, наконец возмутились и упразднили ярмарку.

Сидней Смит однажды заметил, что квартал между Оксфорд-стрит, Пиккадилли, Риджент-стрит и Гайд-парком «заключает в себе больше ума, дарования, не говоря уже о состоятельности и красоте, чем такое же по площади место где-либо еще в мире».

И возможно, так оно и было в недавнем восемнадцатом веке.

## 6

Лондонские такси, которые столь часто становятся объектом насмешек приезжих американцев, из-за неизменного дизайна получили прозвище «механической извозчичьей кареты». Они так же

естественны для современного Лондона, как кэб — для викторианского. Наблюдать кэбы на ипподроме «Эпсом Даунс» во время недели скачек Большого приза не менее странно, чем увидеть какую-нибудь лондонскую достопримечательность, например Грифона, среди сельского пейзажа. Куда бы ни заезжали лондонские такси-кэбы, а иногда они уезжают очень далеко, скажем, в Брайтон, они везут с собой тень столицы.

Водители такси-кэбов — это отдельный народ. Я знаком с ними и восхищаюсь ими уже многие годы. Некоторые из бывалых ездили еще на экипажах, запряженных лошадьми, но их поколение постепенно исчезает. Ритм жизни и война, недостаток бензина, ужасная привычка вешать перчатку над счетчиком, езда с недозволенной скоростью не улучшили ни манеры, ни имидж лондонских водителей такси.

Как-то я случайно встретил старого шофера, который, должно быть, приходился родственником «старине Биллу» Барнсфазера<sup>[49]</sup>. Я сидел и смотрел на его затылок, на его седеющие волосы, восхищался тем, как он ведет машину, и недоумевал, сколько же ему лет. Я оставил ему большие чаевые, потому что он мне понравился — и потому что он был стар. Он посмотрел на деньги на ладони, улыбнулся, подмигнул мне и сказал:

— Спасибо, шеф. Не часто встретишь славного малого в наши дни, по правде говоря!

Какая неожиданная отсылка к прошлому! Он помнит времена «славных малых», «пижонов» и «шишек»!

— Монетки, — сказал он, продолжая разглядывать деньги. — А знаете, чего бы мне вместо этого, а, шеф? Мне бы бифштекса хорошего да пинту портера.

Затем он наклонился ко мне и высказал все, что думал, о веке, в котором мы живем. Этот старый сноб любил «славных малых», «джентльменов», «истинных джентльменов», которых всегда отличишь от всяких

прочих. «Это я вам точно говорю. Но в наши дни водить кэб по Лондону — чтоб мне провалиться, каких только типов не повстречаешь, жуть! Зато раньше...» О, эти прежние времена, когда в твоём распоряжении всегда имелись хороший бифштекс и пинта портера! Что это были за времена, чудесные времена, каких уже больше не будет...

И он уехал прочь.

Вас никогда не интересовало, как водители ориентируются в Лондоне? Не интересовало, почему так редко пассажирам удается озадачить и удивить таксиста? Площадь лондонского столичного округа составляет 699 квадратных миль, водитель знает эту территорию как свои пять пальцев. До того как ему позволят водить такси, он должен сдать труднейший из всех экзаменов, какие только можно вообразить: экзамен по топографии. Экзамен проводится в Отделе общественного транспорта на Ламбет-роуд, экзаменаторами являются полицейские. Заветную лицензию обеспечивают не менее 66 % правильных ответов. До войны из двадцати тысяч желающих успешно сдавали экзамен только пятьсот человек. Неудачник может сдавать экзамен так долго, как выдержит полиция. Я слышал, что один водитель такси получал лицензию три года.

«Знание Лондона» — гласит надпись на двери. Внутри — несколько маленьких комнат, где полицейские разговаривают с не очень счастливыми на вид людьми. Возглавляет экзаменующих старший полицейский офицер. К нему лучше не попадать. У него в голове карта всего Лондона. Он знает все улицы, все учреждения, клубы, театры, памятники, парки. Однажды я спросил, как ему удалось так досконально изучить Лондон.

— Когда я был мальчиком, — ответил полицейский, — мой папа очень интересовался

Лондоном и в выходные мы гуляли по городу, милую за милую. Это единственный способ изучить Лондон. Это невозможно сделать на машине. Вы должны ходить пешком. Часто я проходил по сорок миль за день по асфальту, заучивая названия улиц и мысленно составляя карту Лондона.

— Сдал ли вам экзамен хоть один человек с первого раза?

— Нет. Был один, который сдал со второго. Это исключительный случай. У нас был слушатель, сдававший экзамен девяносто восемь раз. Он до сих пор сдает! Мы в него верим. Не хотите ли послушать, как проходит экзамен? Хотите?

Он нажал на звонок. Вошел полисмен.

— Пришлите нам Джона Джонса, — сказал старший полицейский офицер.

Серьезный и явно нервничавший молодой человек зашел в комнату и скромно присел на край стула. Это была его одиннадцатая попытка сдать экзамен.

— А теперь представьте, — сказал полицейский, — что мы находимся около «Хэрродз» и я прошу вас отвезти меня железнодорожную станцию «Ройал-Оук».

Джон Джонс уставился в потолок, как школьник.

— Итак, сэр, я оставляю «Хэрродз» справа, затем Бромптон-роуд, пересекаю Хилл-стрит, Монтпильер-сквер, направо, налево, и на Монтпильер-стрит...

Старший полицейский офицер начал сердиться, шея его напряглась.

— Полагаете, что сначала Монтпильер-стрит?

— Да, сэр, — неуверенно ответил Джон Джонс.

— Дальше, — сказал полицейский.

— Затем, — продолжил Джон Джонс, — я сворачиваю на Кенсингтонский мост, налево к Александра-Гейт, Гайд-парк, Виктория-Гейт; поворачиваю налево, Бейзуотер-роуд, поворачиваю направо, Вестборн-стрит; затем Вестборн-кресент... кресент... кресент...

— Продолжайте!

Бедный Джон Джонс почти увидел, как лицензия исчезает в неизвестном направлении. Он запаниковал. Он посмотрел на потолок, но, к сожалению, не нашел там ответа.

— Глостер-террас, — выпалил он в отчаянии, — затем Постер-Плейс...

— А Глостер-террас переходит в Вестборн-гроув? — строго спросил полицейский.

Джон сдался.

— Я не помню, — сказал он.

— Придете еще раз через две недели, — сказал полицейский. — Возьмите свою карту и учите Лондон. Ходите по нему. Это единственный способ.

В двенадцати комнатах экзаменуемые совершали воображаемые путешествия по Лондону.

— Представим, — говорил инспектор своей жертве, — что я остановил вас у Королевского яхт-клуба на Темзе. Как вы довезете меня до Фулхэмского кладбища?

В следующей комнате обсуждалась еще более грустная поездка.

— Как вы довезете меня от кладбища Бромптон до тюрьмы Уормвуд-Скрабз?

Зато в третьей комнате составляли маршрут повеселей.

— Если я остановил вас у клуба «Сэвидж», как вы довезете меня до центра Фулхэма?

За четвертой дверью обсуждали забавную, но совершенно невероятную поездку.

— Как вы повезете меня из родильного дома в Финсбери-парк-Эмпайр?

Потенциальные водители стояли с несчастным видом, крутили в руках кепки и шляпы, смотрели в потолок, будто надеясь прочитать там правильный ответ.

— Будь я на дороге, я бы смог вас доставить кратчайшим путем. Я помню все кратчайшие пути, но не могу сейчас вспомнить названия! — пытается защититься претендент.

— Хорошо, — отвечает экзаменатор. — Мы верим, что вы знаете кратчайший путь, но если вы не назовете его, я не смогу выдать вам лицензию.

— Но, сэр, если бы я был на дороге...

— Вздор! Приходите через неделю.

Расстроенные и угнетенные, несостоявшиеся водители выходят на Ламбет-роуд.

Конечно, порой кто-нибудь сдает этот экзамен. Тогда он получает лицензию. Затем ему предстоит пройти тест на вождение. Переодетый инспектор — единственный, кому в Лондоне позволено сидеть рядом с водителем, — подвергает его испытанию. Шофер должен проехать между столбиками. Если он задевает столбик, экзамен провален. Если водитель сдал этот тест успешно, он выезжает в Лондон. Мне предложили прокатиться с только что сдавшим тест таксистом.

Инспектор садится рядом с водителем. Он следит за каждым его движением.

— Поехали, — командует инспектор.

— Куда бы вы хотели поехать? — спросил водитель.

Так никогда не говорят настоящие таксисты.

Инспектор устало улыбнулся.

— Сказал бы: «Куда вам, сэр?» — проворчал инспектор. — Без лишнего подобострастия.

— Лондонская библиотека, — ответил я.

Мы тронулись. Инспектор трижды останавливал водителя и трижды заставлял его сворачивать в переулки.

Когда мы доехали до Сент-Джеймс-сквер, счетчик ничего не показывал. Я видел такое первый раз в жизни.

— Я ваш первый пассажир?

— Да.

Я дал ему пять шиллингов на удачу.

— Надеюсь, — сказал инспектор с какой-то особой важностью, — в дальнейшем вы будете так же удачливы. Сплюньте на удачу. А сейчас отвезите меня в новый Скотланд-Ярд...

У водителей кэбов-такси и водителей лондонских автобусов долгая и любопытная родословная. Первыми, кто стал перевозить людей с одного места на другое, были лодочники с Темзы. В дни, когда дороги были узкими и годились только для вьючных лошадей и людей, которые вели их за поводья, лодочников на Темзе были тысячи. По свидетельству Стоу, во времена Тюдоров на Темзе насчитывалось сорок тысяч лодочников. Скорее всего, это преувеличение, но тем не менее по реке плавало не меньше лодок, чем гондол по каналам Венеции. Неудивительно, что на картинах Каналетто, приехавшего сюда в восемнадцатом веке, Лондон так напоминает Венецию. Странно лишь видеть в итальянском пейзаже купол собора Святого Павла или башни Вестминстерского аббатства.

В одежде лодочников не было единообразия, но они носили повязки на рукаве, как современные таксисты, только вместо нынешнего: «Такси!» то и дело слышалось: «Лодочник!» и «Весла!». Некоторые лодки имели одного гребца, другие — двоих, эти последние шли быстрее, но и поездка стоила в два раза дороже. Лодочники всегда ощущали себя вымирающим видом и были чутки к любым изменениям в привычках столицы.

Во времена Шекспира театры находились на южном берегу реки, что приносило лодочникам хорошие деньги. Когда «Друри-Лейн» и «Ковент-Гарден» перевели на другой берег, лодочники, конечно, расстроились. Их положение еще более ухудшилось с появлением наемных экипажей.

Кажется, первый экипаж появился в Англии в 1555 году у лорда Ратленда. Экипажи, разумеется, были у королевы Марии и у Елизаветы. В роскошный, но отнюдь не комфортабельный экипаж без рессор запрягали шесть серых венгерских лошадей, чьи длинные хвосты были покрашены в ярко-рыжий цвет. Экипажи, подобно портшезам и зонтикам, сначала считались средством передвижения для изнеженных женщин, и сильные мужчины их избегали. К 1634 году по Стрэнду курсировало 20 наемных экипажей. Во времена Карла II в Лондоне насчитывалось уже шесть тысяч карет и сто двадцать семь наемных экипажей. Возможно, в те времена проблемы с «пробками» на дорогах были еще серьезнее, чем в наши дни.

Джон Тэйлор, «поэт воды», вложил все свое отчаяние в следующие слова: «О, грохочущий, бурлящий, суетливый век!» — и далее в стихах:

Кареты, кэбы, экипажи разъезжают,  
Достатка нас лишают, обижают, унижают.  
Стоим растерянно, следим — ужасный сон! —  
Как наши прибыли уносит колесо.

Любопытной чертой жизни на Темзе была грубая брань, которой никто, даже высокопоставленные и благородные лица, не мог избежать. Любой ступающий на борт лодки обязательно слышал ругательства в свой адрес от лодочника или его пассажиров. По негласному закону полагалось ответить бранью на брань. В 1810 году Малкольм написал, что, «кажется, у Темзы есть свой устав грубости; сыновья Тритона и Нептуна имеют не только свободу, но и лицензию на речь любого рода».

Непопулярные монархи, равно королевы и короли, подвергались словесной атаке, пока королевская барка плыла по реке. Часто насмехались над несчастной



Екатериной Браганца. Причинами тому были любовница ее мужа и неспособность королевы родить наследника. Замечания, которые на суше сочли бы словами изменника, на Темзе воспринимались как шутка. До эпохи Ганноверов монархи не обращали особенного внимания на вольности «водной речи», но с приходом к власти этой династии появились попытки укротить ее. Я где-то читал, что Гендель сочинил сюиту «Музыка на воде» по специальному заказу, чтобы заглушить поток брани, который ожидал короля Георга I при первой прогулке по реке.

В литературе много примеров речных перепалок, но классической считается остроумная реплика доктора Джонсона, который, как рассказывает Босуэлл, в ответ на нелicenseприятное замечание лодочника по поводу его внешнего вида ответил: «Сэр, ваша жена хоть и делает вид, что держит публичный дом, на самом-то деле занимается скупкой краденого».

Еще одним видом транспорта в старинном Лондоне были портшезы. Среди носильщиков преобладали дюжие ирландцы, зачастую пьяницы; порой они сговаривались с факельщиками и входили в долю с грабителями и разбойниками. Те, кто утверждает, что первые портшезы появились в Лондоне в 1643 году, забывают о жене французского посла, которая в 1603 году весь путь от Эдинбурга до Лондона в кортеже Якова I проехала в кресле. Кресло несли восемь мужчин, по четыре человека в две смены.

Название кресла (*sedan-chair*) вряд ли связано с французским городом Седан и происходит, по-видимому, от итальянского *sedere*, что означает «сидеть» (более точного определения этого слова не дает даже Оксфордский словарь английского языка). Видимо, кресло было итальянским по происхождению и обрело популярность во времена Карла I, когда некий сэр Сандерс Дункум получил монополию пользоваться этим

креслом на протяжении четырнадцати лет. Хотя считалось позорным и унижительным низводить человека до положения вьючного животного, однако критика никак не влияла на популярность такого вида транспорта. Конечно, человеку, одетому в новый бархатный костюм или белое атласное платье, весьма удобно, не ступая на грязную дорогу, прибывать на прием или в театр прямо в кресле!

Современным водителям такси предшествовали кэбмены и извозчики двухколесных викторианских экипажей. Портшезы были типичны для Лондона восемнадцатого века, а двухколесные экипажи — для викторианского Лондона. «Лондонскими гондолами» называли их романтики того времени. Их изобрел Джозеф Алоизиус Хэнсом, архитектор, родившийся в Йорке в 1803 году. Он хотел разбогатеть на своих «безопасных кэбах», позднее получивших его имя, но что-то пошло не так, и триста фунтов оказались его единственным заработком. Этот чудесный вид транспорта, портшез на колесах, был более удобным, а главное, более быстроходным средством передвижения, нежели четырехколесная карета с кучером.

Когда первые автомобили появились на улицах Лондона (а они приобрели популярность примерно в 1907 году), водили их автомеханики. Эту новую профессию стали осваивать самые молодые, склонные в силу возраста к авантюрам кэбмены. Подобно большинству нововведений, такси, поначалу воспринимавшееся как неудачная шутка, со временем составило серьезную конкуренцию каретам и кэбам и постепенно вытеснило их с лондонских улиц. Таксометр (первоначально его называли «таксаметр») был изобретен в Германии в 1890 году для повозки, запряженной лошадьми. Лондонские извозчики не желали с ними связываться. Многие кэбмены, видимо, люди более современные, нежели немецкие извозчики,

признали его удобство. Но именно водители такси сделали счетчики обыденными и незаменимыми для лондонской жизни.

Сегодня, с появлением самолетов, слово «такси» в английском языке даже стало глаголом.

## 7

Мой друг пишет триллеры, и как-то ему понадобилось проникнуться соответствующей атмосферой, для чего он предложил мне посетить станцию метро «Пиккадилли» после того, как уйдет последний поезд.

Час ночи. Лондон спал или, по крайней мере, должен был спать. Над Пиккадилли нависла усталость. Было много искусственного света и мало людей. Эрос нацелил свою стрелу на тех, для кого любовь была притворством и посмешищем. Полицейский направлялся в сторону Вайн-стрит рука об руку с маленьким человечком с непокрытой головой, который, очевидно, считал себя Геркулесом.

Мы посвистели у закрытых ворот, и нас впустили в экзотический подземный цирк — вестибюль станции. Он пустовал. В витринах восковые женщины выставляли напоказ свои пижамы, ночные рубашки, чулки и предметы нижнего белья перед небольшой группой мужчин с молотками, торчащими из сумок. Работяги раскурили трубки.

— Чтоб мне провалиться! Вот бы моей старухе такое...

— Не бойсь, еще увидишь!

— Не бойсь, не увижу! Я ей клипсы подарю.

Восковая женщина пристально и неодобрительно глядела на мужчин; выражению ее лица позавидовали бы многие женщины из плоти и крови.

Мы спустились по неподвижному эскалатору и оказались в одном из самых жутких мест Лондона — на опустевшей подземной станции.

— Это как раз то, что мне нужно, — сказал мой друг. — Представь мою героиню, убегаящую от шайки бандитов и выпрыгивающую из последнего поезда на Пиккадилли...

Возможно, из-за того, что станция всегда ассоциируется с толпой, движением, шумом и светом от поезда, с возгласами «Освободите вагон, пожалуйста!» и хлопаньем дверей, тишина пустого зала казалась таинственной, ненормальной. Я всматривался в темный туннель, вслушивался, не идет ли поезд. Обычно приближение поезда ощущается загодя, но сейчас не было ничего, кроме абсолютной, пугающей тишины.

Реклама в час ночи вызывала тошноту. Сама мысль о том, чтобы выпить виски или даже хуже — вермута, поехать в Шотландию, распрощаться с закомплексованностью школьницы, заказать «басс» или «гиннесс», посетить зоопарк, купить обручальные кольца или подписаться на «Панч», казалась в это время суток фантастической до невозможности. Даже самый впечатлительный и поддающийся влиянию человек не смог бы в тот миг поддаться рекламе — разве что ему попались бы на глаза плакаты с одеялами, матрацами, подушками, грелками и предостережениями об опасности ночного голодания.

Делясь впечатлениями, мы прохаживались по платформе и посматривали на невозмутимого уборщика. Он собирал мусор, оставленный пассажирами. Пришли два расклейщика афиш с лестницей, ведром и рулоном бумаги.

— Ток отключили, Билл? — спросил один.

— Проверь, — меланхолично предложил уборщик.

— Пошел ты... — ответил расклейщик афиш, зажигая сигарету.

Каждую ночь после отхода последнего поезда небольшая армия служащих проходит сто семьдесят одну милю под землей и проверяет каждую лампу, диск, провод, сигнал, болт, винт и шпалу. Четырехчасовая проверка, пока весь Лондон спит, — возможно, самое важное дело в ночи. С кожаными рюкзаками за плечами, эти люди собираются на опустевших станциях, стоят на краю платформы и внимательно смотрят на рельсы, ожидая прекращения подачи тока. Иногда им не хватает терпения, и они совершают пробную вылазку, рискуя жизнью.

Бригадир спустился вниз, положил небольшую металлическую колодку на один рельс и предмет, похожий на кукольный домик, — на другой. В кукольном домике мгновенно зажглись двенадцать электрических лапочек — ток еще не отключили.

— Если не ложиться поперек рельсов, с вами будет все в порядке, током не ударит, — объяснил бригадир. — Его скоро отключат.

Вся группа прыгнула вниз, в опасную зону, и мы последовали за ними. Это так просто, но неприятно — быть храбрым на публике.

— Куда мы идем? — спросил я.

— На Лестер-сквер, — ответили мне, и мы зашагали между поблескивающими рельсами.

По тоннелю пронесся возглас: «Отключили!»

Мы пошли смелее. Рабочие начали постукивать по рельсам.

Прогулка под землей от Пиккадилли к Лестер-сквер — самое кошмарное ночное путешествие, какое можно себе представить. В туннелях зажегся зеленый свет, и рабочие пошли медленнее, будто исследователи в египетской гробнице. Мне сказали, что под землей комары живут круглый год, потому что там постоянно средняя температура. Порой они просыпались и кусали нас, и это посреди зимы!

Неожиданно показалась станция «Лестер-сквер». Горел свет, но не было ни души. Туннели, откуда обычно стремительно вырываются поезда, были пусты. Рабочие походили на крыс.

Мы взобрались на пустую платформу.

— Какие впечатления! — произнес мой друг. — Какая атмосфера!

А я подумал, что когда-нибудь, через тысячу лет, археологи, которые будут вести раскопки на месте станции метро «Лестер-сквер», напишут книгу о поколении, интересовавшемся исключительно спиртным, мылом, пудрой и корсетами.

## 8

Букинистические ряды Букселлерс-роу давно переехали со Стрэнда и образовали прекрасную сеть букинистических магазинов, которая начинается почти на Тотнэм-Корт-роуд и тянется по обеим сторонам улицы до Лестер-сквер; именно здесь собрана самая большая в мире коллекция букинистических книг на английском языке.

На тротуаре у магазина стоят полки с дешевыми экземплярами, прохожий может самостоятельно брать книги и выбирать нужные ему сколь угодно долго. Внутри хранятся пользующиеся спросом редкие книги. Этим лавочкам присуща особая, одновременно холодная и трогательная атмосфера осиротевших книг, которые ждут, чтобы их купили, прочитали, оценили и поставили на полку рядом с другими. Книги лежат в подвалах, которые тянутся под улицами, громоздятся стопками и шаткими лесенками на всех этажах и даже на мансардах. Удивительно, как эти этажи, полы и стены выдерживают многотонный «мертвый груз».

Тот, кому никогда в жизни не доводилось забывать о времени и еде на Чаринг-Кросс-роуд и в конце дня выходить на улицу с книгами в руках, с книгами, которыми он горд и счастлив обладать, — не испытал одного из самых возвышенных удовольствий, которое дает Лондон. Дорога заполнена машинами. Один поток направляется к Оксфорд-стрит, другой к — Трафальгарской площади. По тротуарам постоянно спешат люди. Критики, читатели, охотники за книгами, книжные гурманы и книжные маньяки стоят спинами ко всему миру — поскольку книги, как и спиртное, могут действовать на мозг, — абсолютно забыв о том, что они находятся не на пустой улице.

Я знаком с Чаринг-Кросс-роуд уже тридцать лет. Я знаю каждый магазин и каждого продавца. Для меня все эти магазины разные, у каждого свои особенности. Есть магазин, в который я зайду в последнюю очередь. Есть магазин, в который я пойду, если мне нужна зарубежная книга. В третий — если хочу купить книгу о Буше, Яне Стене или любом другом современном или старом художнике. Есть магазин, в котором я могу купить книги восемнадцатого века в современном переплете, и магазин, в который зайду, если мне понадобится что-нибудь действительно редкое, от «Циклопедии Пирса» до первого издания Босуэлла.

Я знаю всех продавцов и помню их прежними, еще до того, как они поседели и прибавили в весе. И хотя мы провели бесчисленное количество часов за разговорами о книгах, я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы я заговорил с другим покупателем книг. Мы, книголюбы, — молчаливая, человеконенавистническая толпа одиноких. Еще я никогда не встречал женщин-библиофилок. Я могу допустить их существование, но, к моему счастью или несчастью, встречать их не доводилось. Женщина заходит в магазин за определенной книгой и тут же выходит из него. Она не

проводит целый день в поисках неизвестно чего. В конце концов, я склонен думать, что на самом деле таких женщин попросту не бывает, не считая студенток и молодых леди, листающих книги по балету. А если где-то и бывают, то они молоды и веселы, потому что просто невозможно себе представить особу женского пола в образе пыльного книжного червя с очками на носу, каковыми являются постоянные посетители Чаринг-Кросс-роуд. И конечно, ни одна почтенная дама не будет тратить целый день на поиски неведомо чего.

Думаю, коллекционеры книг согласятся со мной в том, что ни в коем случае не женщины и даже не все мужчины могут быть настоящими компаньонами в охоте за книгами. Если женщина влюблена в охотника за книгами, она с огромным энтузиазмом начнет ему помогать. Она будет подбегать с совершенно неподходящей книгой и говорить: «Я нашла кое-что интересное для тебя, дорогой!» Спустя несколько часов она начнет тосковать, надует губки и, коль скоро любимого библиофила невозможно будет отвлечь, с обиженным видом опустится в ближайшее кресло и погрузится в какой-нибудь роман. Товарищем в нашем деле может стать только мужчина, который ищет книги о бабочках или Византии, в то время как вы — о чем-нибудь другом.

Был такой случай: однажды некий мужчина зашел в магазин и спросил: «Есть ли у вас книга под названием «Рассвет и закат империи Холборна»?» А другой мужчина, в пиджаке для верховой езды, взял мою книгу о Святой Земле (она называлась «По следам Иисуса») и спросил: «У вас есть что-нибудь еще об охоте?»

Большинство продавцов букинистических магазинов могут написать увлекательные романы о своих клиентах. Они все встречались с книжными маньяками, для которых собирательство книг — непреодолимый невроз. Я думаю, они все вспомнят мужчину небольшого



роста в потрепанной одежде, который на протяжении многих лет кружил, как ястреб, над книжными полками и однажды был обнаружен мертвым в своем старом доме то ли в Болхэме, то ли в Брикстоне, забитом книгами от погреба до крыши. Полицейским пришлось протискиваться боком между гудами книг. Только холостяк может стать настоящим книжным маньяком. Большинство жен излечивают жертву, когда книги начинают заполнять спальню и ванную. Иногда ловкому собирателю книг удастся выбраться на Чаринг-Кросс-роуд без ведома жены.

Я помню, как однажды обратил внимание на горбуна, который рылся в книгах с жадностью коллекционера. Я встретил его в магазине. Все продавцы были с ним знакомы. В конце концов я спросил одного из них об этом горбуне.

«Он живет в пригороде, — ответил мне продавец. — Приезжает в Лондон примерно раз в полгода. Перед тем как уехать, обещает жене, что не купит ни одной книги. Но, как видите, он не может удержаться, потому что был коллекционером многие годы. Как только он приезжает в город, сразу идет на Чаринг-Кросс-роуд. Перед тем как он вернется домой, один из нас помогает ему сделать так, чтобы покупка осталась незаметной для жены. Он снимает пальто, а мы упаковываем книги с обеих сторон его горба. Я сам помогал ему много раз. Удивительно, сколько книг он может унести на спине. Хотя, конечно, с фолиантами ему не справиться...»

Я часто думаю о том, что лучшие места Лондона свободны для посещения и осмотра: Национальная галерея и Британский музей, Гайд-парк и Кенсингтонские сады, плацы смены караула и мосты и набережные Темзы, Бонд-стрит и, конечно, Чаринг-Кросс-роуд. Потерянные для мира, здесь стоят любители книг и листают, ищут и иногда даже находят то, что им нужно. Я люблю вспоминать часы, которые провел здесь,

все равно — весенним утром или зимой, не обращая внимания на замерзшие ноги, слыша лишь, как звенит дверной колокольчик, впуская или выпуская очередного посетителя. Но особенно дороги мне те бесконечные вечера, когда при свете лампы поблескивали золотом за стеклами буквы на переплетах.

## 9

Танцплощадка на Тоттенхэм-корт-роуд сотрясалась от новомодной музыки — если можно так назвать эту абсолютную дисгармонию, — известной как «бибоп». Размеры площадки поражали воображение. Большинство танцующих составляли чернокожие, изгибавшиеся в танце с грацией пантер, причем партнершами у многих были белые девушки. Я разглядел жилистого ямайца, смуглого полинезийца, высоких и более светлых, чем прочие, банту. Наряды некоторых выглядели весьма экстравагантно: американские костюмы с квадратными плечами, коричневые ботинки, яркие галстуки; другие смотрелись бедновато, а третьи — потрепанные и какие-то растерянные, словно попали на Тоттенхэм-корт-роуд прямо с междугороднего автобуса. Зато все они прекрасно знали, как нужно двигаться под эту музыку: партнерши то оказывались от них на расстоянии вытянутой руки, кружились, затейливо перебирали ногами, то вновь подлетали вплотную — и продолжали вертеться и топотать.

Африканская интервенция — нечто для Лондона новое. Чайна-таун уже далеко не тот, что прежде, а африканские кварталы Лондона тянутся от Чаринг-Кросс до Юстона. Считается невежливым называть этих людей «черными» или «неграми», предпочтительнее именовать их «цветными джентльменами».

Полицейский инспектор, с которым я столкнулся на выходе с танцплощадки, сказал мне, что чернокожее население Лондона все увеличивается. Многие из этих «цветных джентльменов» — студенты, попавшие в метрополию стараниями министерства по делам колоний. Некоторые из них — вполне приличные люди, но далеко не все. Кроме того, в городе много нелегальных иммигрантов, в первую очередь из Вест-Индии; после краткого тюремного заключения за нарушение иммиграционного законодательства они оказываются на улице, вынужденные самостоятельно добывать средства к существованию — и, разумеется, чаще всего попадают на «дно».

Инспектор согласился со мной в том, что черный Лондон — нечто неожиданное и неведомое. Сравнивать лондонские «черные» кварталы с нью-йоркским Гарлемом не совсем корректно: ведь здешние цветные — сплошь мужчины, ни о какой семейной жизни не идет и речи. Цветное население Лондона состоит из юношей-студентов, мужчин, числящихся студентами, и нелегальных иммигрантов мужского пола из африканских государств и зависимых территорий.

На танцплощадке я заметил нескольких лощеных типов с сигарами, явно местных вожаков, которых раньше (и позже) встречал в Гайд-парке, где они витийствовали о несправедливости белого мира по отношению к черным. На танцах, как мне показалось, они охотно забывали свои обиды на мир белых.

Я спросил инспектора, много ли преступников среди чернокожих. Его ответ был краток, но весьма выразителен.

— А как по-вашему, министерство по делам колоний понимает, чем рискует? — уточнил я.

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — усмехнулся инспектор.

## Глава одиннадцатая

### Музей мадам Тюссо и Британский музей

*Я осматриваю Риджентс-парк, посещаю зоопарк и музей восковых фигур мадам Тюссо. Вспоминаю старый Каледонский рынок и сожалею о том, что его больше не существует. Отправляюсь в Британский музей, где осматриваю Милденхолльский клад и корабельное погребение Саттон Ху, и присутствую при операции в одной лондонской больнице.*

#### 1

Поклонники принца-регента (полагаю, таковых сегодня немало, судя по тому, какой популярностью пользуется мебель в стиле эпохи Регентства), вероятно, согласятся с тем, что одним из его выдающихся достижений на ниве градостроительства стала Риджент-стрит. Это одна из самых красивых улиц Лондона, без нее уже представить город так же невозможно, как изображать Вест-Энд крохотным, ничем не примечательным кварталчиком. В добрый для Лондона час регент принял решение построить себе дворец на Мэрилебон-Парк-Филдс и соединить его длинной и широкой, подходящей для церемониальных шествий улицей с дворцом Карлтон-хаус. За образец были взяты те замечательные улицы, которые приблизительно в ту же пору строил в Париже Наполеон.

Риджент-стрит пролегла через район жутких трущоб, базаров и старых постоянных дворов, где бандиты с большой дороги прятали награбленное добро,

и через заболоченную местность, где еще совсем недавно любители охоты вроде генерала Оглторпа стреляли вальдшнепов. Дворец регента так и не был построен, но я уверен, что его планировали возвести в том месте Риджентс-парк, где сегодня находится Сад роз королевы Марии. Дворец Карлтон-хаус, где «Принни» развлекал своих друзей и многочисленных любовниц, полностью исчез, если не считать нескольких колонн, которые ныне поддерживают портик здания Национальной галереи и часовню Букингемского дворца.

Изящный изгиб Риджент-стрит в том месте, где она, пересекая площадь Пиккадилли-Серкус, уходит в сторону Оксфорд-Серкус, — одно из красивейших мест Лондона. Даже реконструкция не смогла лишить улицу очарования. Архитектор Нэш был вынужден пойти на такую планировку в связи с невозможностью выкупить ряд частных владений к востоку от новой дороги. Столкнувшись с суровой необходимостью, он весьма умело обратил ее во благо и чрезвычайно удачно обогнул эти владения. Нэш был валлийцем из Кардигана, и это Княжество<sup>[50]</sup>, вне всяких сомнений, гордится своим талантливым сыном, внесшим столь заметные изменения в облик столицы; ведь Риджент-стрит следует рассматривать не иначе как «королевскую милю», ведущую к террасам Риджентс-парк.

Это единственный парк в Англии, а возможно, и в любой другой стране, спланированный с учетом архитектурных особенностей его окружения. Риджентс-парк был первым дачным пригородом Лондона. Говоря о Риджентс-парке, мы подразумеваем не только парк, но и расположенные по соседству дома. Если кто-то называет местом своего жительства Риджентс-парк, это вовсе не означает, что он живет в палатке или под деревом; при этом если нам говорят, что кто-то живет в Гайд-парке, мы либо относимся к подобным словам с недоверием,

либо считаем, что имеется в виду Найтсбридж или Бейзуотер.

Нэш строил дома и террасы Риджентс-парк согласно единому, гармоничному плану; хотя его творения часто подвергались резкой критике, этот последний всплеск классицизма производит весьма сильное впечатление. Посещая Риджентс-парк, я всякий раз поражаюсь тому, сколь искусно Нэш приспособил античные архитектурные формы к потребностям английского дворецкого.

В облике Риджентс-парк есть нечто изысканно-аристократическое, и порой кажется, что Нэш каким-то образом сумел перенести Афины в Итон. Город Бат был построен теми, кто умел читать по-гречески и по-латыни, а Риджентс-парк представляется мне великолепным переводом с этих древних языков. Я был знаком с некоторыми из его обитателей; к моему великому удовольствию, меня неоднократно приглашали туда на ленч, чай и обед. Оказавшись по ту сторону великолепного фасада, я приближался к расположенной за огромными колоннами квартире какой-нибудь старой леди, — и частенько ловил себя на мысли, что мои ощущения можно сравнить с ощущениями человека, устроившего себе приют в дальнем углу съемочной площадки фильма «Последний день Помпеи».

И все же, думаю, в нынешнюю эпоху серой обыденности нам следует быть благодарными за все, столь же изысканное и незаурядное, как Риджентс-парк, эта лебединая песня «первого джентльмена Европы».

На днях я побывал в Риджентс-парк и увидел огромное поле, на котором и молодежь и пожилые люди играли в крикет. Не знаю, сколько игр происходило одновременно, но смею утверждать, что все поле было усеяно игроками. Еще я увидел озеро, по водной глади которого плавали маленькие яхты, а также игровую площадку, где детишки выпускали свою поразительно

неистощимую энергию, раскачиваясь на качелях или копаясь в песочницах.

Видел я и театр под открытым небом, где под аккомпанемент фортепьяно танцевала в полном одиночестве изящная девушка в черной вуали. Она репетировала танец из какой-то шекспировской пьесы. Затем я посетил Сад роз королевы Марии. Это настоящий музей роз, который отличается от других музеев тем, что если вам очень понравился какой-либо экспонат, вы можете записать его название (на всех деревьях и кустах есть аккуратные бирочки), пойти в питомник, купить рассаду и высадить ее в собственном саду. Держу пари, что этот музей не оставит равнодушным даже самого нерадивого садовника, а уж цветоводу он покажется сущим раем.

Как и любой другой лондонский парк, Риджентс-парк несомненно отражает национальный характер. Я имею в виду отсутствие всякого интереса к скульптуре. В Лондоне произведения этого вида искусств всегда персонифицированы, причем личность, увековеченная в скульптуре, непременно должна совершить нечто выдающееся. Наткнувшись на какую-нибудь неизвестную статую, люди часто спрашивают: «А чем он знаменит?» Стоит ли удивляться тому, что наши улицы переполнены статуями государственных деятелей и конных воителей?

В парке имеется лишь несколько достойных внимания скульптур, среди которых «Гилас и нимфа» в Сент-Джонс-Лодж-Гарденс и очаровательный фонтан «Мальчик с лягушкой» неподалеку от Сада роз; прочие не заслуживают упоминания. Фонтан очарователен: маленький обнаженный мальчик сидит на земле, рядом с ним присела лягушка, изо рта которой бьет вода, и струя попадает прямо в подставленную ладонь ребенка. Этот фонтан чем-то напоминает римский Fontana delle Tartarughe (фонтан с черепахами).

Затем я отправился в зоопарк. Это удивительное место. Здесь поддерживается образцовый порядок. Обитатели зоопарка явно чувствуют себя вольготно, что вполне естественно для страны, жители которой обожают животных. К тому же здесь они находятся в гораздо большей безопасности, нежели в естественной среде обитания. Если бы меня попросили указать мой любимый уголок зоопарка, я бы, конечно, назвал аквариум. Цветовая гамма подводных ландшафтов с их невероятного вида обитателями, миниатюрные, закованные в броню монстры, на создание которых Природа потратила столько трудов, вычурные морские языки, подрагивая, скользящие вверх и вниз в толще воды, мрачный глаз осьминога, спрятавшегося за камнем, небольшие морские коньки, похожие на брошенные в воду шахматные фигуры, — все это производит незабываемое впечатление.

Посещая зоопарк, я — всякий раз безуспешно — пытаюсь отыскать одного странного человека, с которым познакомился во время войны. Он был художником-анималистом — и убежденным противником вегетарианства. Впервые мы встретились в террариуме, где во время войны «нейтрализовали» некоторых особо опасных змей — из опасений, что, если в террариум попадет бомба, они могут выбраться наружу, в Риджентс-парк. В течение многих лет этот человек увлекался приготовлением блюд из необычных животных. Когда в зоопарке выпускал дух аллигатор или жираф, он приходил и просил разрешения забрать домой часть тела умершего животного, чтобы приготовить какое-нибудь экзотическое блюдо.

Он говорил мне, что фламинго на вкус похож на фазана, а нутрия на зайчатину. Питон, которого он попробовал лишь однажды, по вкусу весьма напоминает телятину, хотя полное вкусовое соответствие с телятиной имеет только мясо крокодила. Мясо жирафа



похоже на конину, а страусятина представляет собой нечто среднее между фазаном и говядиной (на мой взгляд, совершенно чудовищное сочетание).

Медвежатину он считал превосходным мясом и утверждал, что по вкусу она напоминает вырезку первосортной шотландской говядины. Однажды в зоопарке умер малайский медведь, и мой знакомец приготовил отличный пирог с медвежьим мясом и почками. Два разделивших с ним трапезу друга заявили, что это лучший пирог, который они когда-либо пробовали. Но когда выяснилось, что пирог приготовлен из малайского медведя, обоих стошнило. «Лишнее доказательство странности человеческих предубеждений», — прокомментировал анималист.

Одно из его замечаний доставило мне искреннее наслаждение. После минутного молчания, продолжая голодными глазами разглядывать какого-то аллигатора, он грустно обронил: «А вот игуану я так и не попробовал».

Во время войны у членов Зоологического общества и их друзей вошло в моду брать на себя ответственность за обеспечение животных продовольствием. Они еженедельно вносили собственные деньги в кассу зоопарка и брали животных под свою опеку. Практика оказалась настолько популярной, что продолжается по сей день. Чтобы стать «приемными родителями» колибри, нужно платить по шиллингу в неделю. Это самое дешевое опекунство из всех возможных. Если вы захотите взять под опеку слона, то, как и следует ожидать, подобная ответственность окажется самой дорогостоящей: двадцать шиллингов еженедельно. Возможно, только в этой стране, жители которой обожают животных, могла возникнуть необходимость в уведомлениях следующего содержания: «Обращаем внимание на то, что приемных животных запрещается выводить за пределы парка».

Одно из моих самых ранних, еще детских воспоминаний о Лондоне связано с восковыми фигурами мадам Тюссо. Эти фигуры произвели на меня такое впечатление, что, даже став взрослым, я старательно обходил музей стороной.

Ночью 18 марта 1925 года редактор отдела происшествий сообщил мне, что в районе Мэрилебон-роуд сильный пожар, и я со всех ног помчался в указанном направлении. Прибыв на место, я стал свидетелем одного из самых опустошительных пожаров, какие мне только приходилось видеть. Сотни восковых фигур музея мадам Тюссо охватывали языки ярко-красного пламени. На какое-то мгновение пожар, казалось, потух, но затем разгорелся с еще большей силой и пожрал пару королев, какого-то президента и нескольких поэтов. Утром я поговорил со спасателями, и они разрешили мне осмотреть все еще дымившиеся руины. Огонь не пощадил ни единого экспоната.

Все были уверены, что с выставкой мадам Тюссо покончено, но, к счастью, уцелели формы, с помощью которых и отлили заново экспонаты этой исторической коллекции. Таким вот образом возникло новое, еще более грандиозное собрание фигур мадам Тюссо, которое по праву занимает достойное место среди прочих достопримечательностей Лондона. Именно его я и увидел, когда все-таки отважился снова посетить этот музей.

Большинство справочников заставляют поверить в то, что восковые фигуры стали популярны в этой стране только после того, как мадам Тюссо нашла прибежище в Лондоне после треволнений, выпавших на ее долю во времена Французской революции. Но это неверно. Восковые фигуры пользовались в Англии

популярностью. Участники похоронных процессий несли восковые изображения мертвецов, которые впоследствии выставлялись на всеобщее обозрение перед жаждущими зрелищ толпами в Вестминстерском аббатстве. Приблизительно за сотню лет до того, как мадам Тюссо прибыла в Англию, в Лондоне имелись по меньшей мере три действующие выставки восковых фигур. Вероятно, самой известной была выставка миссис Сэлмон, в таверне «Хорн» на Флит-стрит. Кроме нее, существовала экспозиция миссис Голдсмит на Грин-Корт в Олд-Джуэри и коллекция миссис Миллз во внутреннем двореке Эксетер-Чейндж на Стрэнде. Миссис Миллз не только демонстрировала фигуры великих людей того времени, но и указывала в своем рекламном листке, что «желающие могут на приемлемых условиях получить собственные восковые фигуры или фигуры своих почивших друзей». Интересно отметить, что еще до прибытия в Англию великой королевы восковых фигур этот бизнес уже находился в женских руках. Хотелось бы знать, почему.

Мне кажется, многие из тех, кто приходит в музей мадам Тюссо, не подозревают о том, что эта маленькая экстравагантная женщина прожила гораздо более яркую и насыщенную событиями жизнь, чем большинство персонажей ее выставки. Мари Гресхольц родилась в швейцарском городе Берне в 1760 году. В шесть лет она уехала в Париж вместе с доктором Жаном Христофором Курциусом, приходившимся ей дядей. В Париже он открыл ставший модным музей восковых фигур. Его студию часто посещали представители французской аристократии и такие люди, как Вольтер, Дидро, Руссо и Мирабо. Вскоре юная Мари превзошла своего дядю в искусстве создания восковых фигур. «Своими тонкими пальчиками она творила колдовство», — высказался о ней один писатель.

Уж не знаю, каким образом и почему искусство создания восковых фигур стало всеобщим увлечением. Подобно Нерону, который, как говорят, играл на кифаре, когда горел Рим, французская аристократия лепила из воска яблоки и груши, когда революционеры точили ножи гильотины. Юной Мари предложили поселиться в Версале, чтобы помочь сестре Людовика XVI Елизавете овладеть этим искусством. При королевском дворе, на который вот-вот должна была обрушиться неистовая ярость Французской революции, она провела девять лет. Одним из первых признаков надвигающейся трагедии оказалась разгневанная толпа, собравшаяся 12 июля 1789 года возле студии Курциуса. Чернь требовала выставить восковые фигуры на всеобщее обозрение. Таким же способом они добились выдачи бюстов Неккера и герцога Орлеанского. С этими бюстами простолюдины шумной толпой прошли по улицам Парижа; так на парижских улицах впервые пролилась кровь: толпа, которая несла восковые фигуры, ввязалась в стычку с отрядом из состава Германского полка. Всего лишь два дня спустя была взята Бастилия.

Предугадав ход событий, Курциус забрал племянницу из Версаля и поселил ее в своей студии. Между тем революция обернулась разгулом террора. Самым неожиданным образом музей восковых фигур приобрел новую, весьма зловещую славу. Кто лучше Курциуса и его племянницы мог воспроизвести в воске фигуры жертв гильотины? Сразу же после казни в студию привозили окровавленные головы и приказывали делать слепки и копии. Юной Мари частенько приходилось снимать посмертные маски с лиц многих благородных, ни в чем не повинных людей, в том числе друзей. Говорят, в такие моменты она работала со слезами на глазах.

Когда террор обратился против тех, кто его вызвал, Мари Гресхольц пришлось снимать посмертную маску с

«друга народа» Марата, с Шарлотты Корде и Робеспьера. Не прошло и часа с момента казни последнего, как ей доставили его голову. Невозможно отделаться от мысли, что Комната ужасов, которая вот уже более столетия является частью экспозиции музея Тюссо, не что иное, как дань тем суровым испытаниям, через которые прошла Мари Гресхольц. Часто говорят, что на создание этой отвратительной экспозиции Мари вдохновила Пещера преступников, представлявшая собой часть парижской выставки ее дяди. Но разве не очевидно, что атмосфера чудовищной жестокости, царящая в Комнате ужасов, имеет более глубокую психологическую подоплеку?

Как только кто-то усомнился в искренности республиканских симпатий Мари, ее сразу же бросили в тюрьму. В то время среди ее подруг по несчастью была и Жозефина Богарне, впоследствии ставшая женой Наполеона. Выйдя на свободу, Мари обнаружила, что музей восковых фигур пребывает в плачевном состоянии. Дядя умер (возможно, был отравлен своими политическими недругами) и оставил ей уйму долгов. В течение нескольких лет Мари едва сводила концы с концами. В возрасте тридцати пяти лет она вышла замуж за Франсуа Тюссо, который, судя по отрывочным сведениям в архивах, был то ли виноделом, то ли инженером. Совместными усилиями они восстановили экспозицию музея. Но через несколько лет брачный союз не выдержал испытаний, и Мари решила покинуть Францию. С двумя маленькими сыновьями и собранием восковых фигур она оказалась в Лондоне эпохи правления короля Георга III. Когда на Стрэнде открылась ее первая выставка, ей было сорок два года.

Мадам Тюссо была храброй женщиной; как у многих людей маленького роста, энергия в ней была ключом. Со своей экспозицией она объехала всю Англию и Шотландию и почти добралась до Ирландии, но судно,

перевозившее восковые фигуры, потерпело катастрофу и часть груза оказалась утраченной. У ирландских берегов еще не бывало столь необычных кораблекрушений. На протяжении нескольких дней волны выносили на побережье графства Корк тела королей, королев, известных красавиц, преступников, художников, драматургов и писателей. Мари удалось вновь восстановить коллекцию и обратить несчастье в триумф.

Вернувшись в Лондон, она обнаружила неподалеку от Бейкер-стрит похожее на амбар строение, которое одно время использовалось в качестве столовой для гвардейской бригады. Впоследствии здание реконструировалось, сгорало дотла, отстраивалось заново, и, несмотря на все эти пертурбации, выставка по сей день размещается именно здесь.

В возрасте восьмидесяти одного года мадам решила уйти на покой и передала дела двум своим сыновьям, Фрэнсису и Джозефу. Она умерла в 1850 году, дожив до девяноста лет. Фрэнсис и Джозеф завещали дела фирмы внуку мадам Тюссо, Джозефу Второму. Тот передал бразды правления своему сыну Джону — правнуку основательницы выставки, который долго и успешно вел дела музея. Именно при нем музей стал одной из главных достопримечательностей Лондона. Джон Тюссо умер в 1946 году, в возрасте восьмидесяти четырех лет. Он стал свидетелем гибели экспонатов музея в пожаре 1925 года и зафиксировал серьезные повреждения, полученные ими во время воздушных налетов 1940 года.

Нынешний Тюссо — сын Джона, праправнук «Мадам». Его зовут Бернард Тюссо, и большую часть своего времени он проводит на Бейкер-стрит, создавая образы королей, кинозвезд и преступников.

Я попросил мистера Тюссо рассказать мне, что именно происходит, когда он решает включить в свою экспозицию фигуру какой-либо знаменитости.

— Прежде всего я провожу собеседование, — начал он. — Затем снимаю множество мерок. Вместе со мной работает фотограф, который выбирает самые необычные ракурсы. Взгляните, вот что я имею в виду...

Открыв ящик картотеки, он вытащил снимки — макушки, затылки, руки, ступни, подбородки, носы... Это самая необычная в мире галерея знаменитостей. Пожелай вы узнать, как выглядит затылок сэра Уинстона Черчилля или макушка Ага-хана, на Бейкер-стрит вам тотчас отыскали бы нужные фотографии.

— Пока я леплю из глины голову и шею, портной или портниха снимают мерки, по которым мы создаем гипсовое тело, — продолжал мистер Тюссо. — Только лицо и руки делаются из воска. Когда глиняная голова вылеплена полностью, с нее делают гипсовый слепок. Полученную форму заполняют расплавленным воском. Застывая, он в точности воспроизводит глиняный оригинал.

Следующая трудность — глаза. Стекланные глаза нужного размера и формы мастерски вставляются в соответствующие углубления. Мистер Тюссо утверждает, что именно на этом этапе фигура приобретает (либо теряет) сходство с оригиналом. Стороннему наблюдателю метод создания бровей и волосяного покрова на голове покажется невероятно сложным.

Я видел, как в соседнем со студией помещении молодая женщина весьма ловко накладывала на голый восковой череп одной популярной актрисы шапку пышных волос. Голову слегка нагревают, каждый волос вставляется в отверстие глубиной в четверть дюйма. Мне сказали, что создание бровей и стандартного волосяного покрова на голове занимает две недели.

Затем делают гипсовые слепки рук знаменитости. Если это по каким-то причинам невозможно, используют человека с похожими руками. Когда работа над фигурой

закончена, она поступает в распоряжение костюмеров. И здесь мы вновь сталкиваемся с одной из тех замечательных, хотя и малозначимых подробностей, которыми славится Лондон, — оказывается, все восковые фигуры сначала одевают в нижнее белье, без которого одежда попросту не сидит должным образом! Экспонаты музея Тюссо чаще всего облачают в превосходные костюмы и платья с плеча самих знаменитостей. Костюм, воротничок и галстук на фигуре президента Трумэна принадлежали самому президенту и были доставлены в Лондон на самолете — причем не нарочным, а самим мистером Эттли, когда он возвратился с Вашингтонской конференции. Маршал Тито для своей фигуры прислал из Белграда элегантный мундир, а также орденские ленты и кавалерийские сапоги.

Думаю, настоящей Комнатой ужасов является то складское помещение, в котором беспорядочно разбросаны по полкам слепки голов, сделанные мадам Тюссо в годы Французской революции. Почти на всех шеях остались рубцы, на всех лицах застыло неподдельное выражение ужаса, которое не смог бы передать ни один скульптор. Голова Робеспьера представляет собой жуткого вида посмертную маску. На щеке и челюсти отчетливо видны следы выстрела, сделанного либо им самим, либо жандармом за день до казни (Робеспьер пытался покончить с собой).

Первый и единственный раз я побывал в этом музее еще в детстве, и вот теперь, снова осматривая его экспонаты, размышлял о том, насколько восковые копии могут быть похожи и одновременно непохожи на оригиналы. Похоже, стремление достичь подлинного реализма с помощью настоящей одежды, настоящих очков и носовых платков иногда приводит к обратному эффекту. Одни восковые фигуры получаются замечательно, другие не слишком, но я обнаружил, что,



по какой-то неведомой причине, копии умерших людей выглядят более убедительно, нежели копии ныне живущих. Ушедшие в мир иной государственные деятели и первые президенты Америки выглядят чрезвычайно правдоподобно, тогда как государственные деятели сегодняшнего дня имеют какой-то нереальный вид. Почти каждый выглядит моложе, чем в действительности. Вероятно, причина в том, что большинство восковых фигур имеет более или менее одинаковый цвет лица.

Думаю, наиболее правдоподобной фигурой музея является ветеран из Челси, который, стоя в полумраке, наблюдает за тем, как умирает Гордон. Я видел, как одна девушка то ли случайно наступила ему на ногу, то ли ненароком задела. Она даже извинилась, но когда поняла, что обращается к восковой фигуре, вскрикнула от ужаса и поспешила прочь!

Наиболее реалистичная, запомнившаяся мне с давних пор сцена — «Убийство принцессы в Тауэре». Иллюзия присутствия будет почти полной, если попросить фонарик у одного из служителей музея, прячущихся за фигурой Брэкенбери. Как и в восемь лет, «Гибель Гарольда при Гастингсе», со стрелой, торчащей из окровавленной глазницы воина, произвела на меня жуткое впечатление.

Но Комната ужасов больше не приводит меня в смятение. Скорее, это собрание мужчин и женщин угрюмого вида, как и весь этот хлам из камер смертников, внушает омерзение, а не ужас. Широко распространенное убеждение в том, что любого, кто проведет здесь ночь, ждет награда, является не более чем городской легендой. В музей приходят письма со всего света, в которых люди просят разрешить им провести ночь в Комнате ужасов. Охранники, сторожащие музей, говорят, что после нескольких часов пребывания в Комнате ужасов страх обуревают даже

тех, кто привык к музею. Прямо под Комнатой ужасов пролегает линия метро, и стены здания постоянно сотрясаются. И когда ночью внизу проходит запоздавший поезд, часто кажется, что фигуры убийц машут вам рукой.

На мой взгляд, именно работы, созданные руками самой мадам Тюссо, превращают эту галерею восковых фигур в собрание произведений искусства. Эти работы настолько изящны и качественны, что им почти нет равных. Потомкам мадам Тюссо не суждено было превзойти этот высочайший уровень мастерства. Портрет Наполеона, несомненно, является одним из важнейших экспонатов музея и обладает большой исторической ценностью, поскольку его лепили с натуры. Находясь в тюремном заключении, Мари Гресхольц познакомилась с Жозефиной Богарне; вне всяких сомнений, именно императрица уговорила Наполеона позировать. Согласно семейному преданию Тюссо, слепок лица Наполеона был сделан в шесть тридцать утра. Перед тем как покрыть лицо императора гипсом, Мари заткнула ему ноздри и уши и сказала: «Умоляю вас, сир, не пугайтесь». Говорят, в ответ на это Наполеон заметил: «Мадам, я не испугался бы, даже приставь вы к моей голове дюжину заряженных пистолетов».

С натуры был создан и портрет Веллингтона. Говорят, Веллингтон часто приходил посмотреть на парадный портрет Наполеона. Согласно семейным преданиям Тюссо, он обычно появлялся в начале дня, когда залы были еще безлюдными, и молча вглядывался в лицо своего соперника. Хотел бы я знать, о чем он в такие моменты думал. Должно быть, Веллингтон был привержен жестокости, поскольку он частенько посещал Комнату ужасов. Однажды мадам Тюссо выразила удивление тем обстоятельством, что он испытывает интерес к подобным вещам. Веллингтон будто бы

ответил: «А почему бы и нет, мадам? Ведь это тоже часть жизни».

С натуры слеплены и фигуры двух других выдающихся личностей — Байрона и Вальтера Скотта. Когда в 1828 году мадам Тюссо приехала в Абботсфорд, Скотт подарил ей комплект своей одежды, бархатный жилет и гетры. Его фигура и сегодня облачена в этот наряд; Скотт стоит на фоне леса, у его ног охотничья собака и шотландская куропатка. Один из самых интересных экспонатов — автопортрет основательницы музея, сделанный в ту пору, когда мадам Тюссо было уже за семьдесят лет. Мы видим изящную, чем-то похожую на маленькую птичку женщину с крупным носом и тонкими губами. Из-под стекол очков в стальной оправе на нас внимательно смотрят умные глаза. На голове, поверх домашнего чепца, огромный капор, наподобие тех, какие носят сотрудницы Армии спасения. Эта маленькая женщина не могла не вызывать удивления, особенно в эпоху, когда представительниц прекрасного пола, добившихся финансового успеха и положения в обществе, можно было пересчитать по пальцам. Ее яркая и долгая жизнь пришлась на бурный период мировой истории. В юности она делала слепки с голов, доставляемых прямо с гильотины, а в старости путешествовала по викторианской Англии в поездах!

Меня всегда интересовал принцип отбора, согласно которому на выставке восковых фигур появляются новые персонажи и исчезают старые. Ведь восковые знаменитости с Бейкер-стрит постоянно отправляются в плавильный котел, чтобы уступить свое место вновь прибывшим. Говорят, единственным критерием включения того или иного персонажа в экспозицию является интерес публики. В музее всегда присутствуют наблюдатели, которые следят за посетителями, отмечая, какие фигуры вызывают у людей интерес, а мимо каких они проходят с полным равнодушием. Если посетители

дружно игнорируют ту или иную восковую фигуру, ее уничтожают. Позорная практика так называемого «исключения» началась еще при жизни мадам Тюссо и продолжается до сих пор! Наверху есть комната, заваленная головами ныне живущих людей, хорошо известных общественных деятелей, а также знаменитостей театра и кино, уже не вызывающих интереса у публики. Из сострадания я воздержусь называть их имена.

Мне сказали, что фигуры членов королевской семьи все еще являются наиболее популярными экспонатами музея. А вот популярность актеров кино, как ни странно, резко падает. Жизнь кинозвезды достаточно коротка, но на Бейкер-стрит она становится еще короче. В течение нескольких лет количество восковых актеров и актрис шло на убыль, ныне публика проявляет больший интерес к комментаторам и другим представителям радио. Это вполне понятно. До тех пор пока телевидение не станет общедоступным, сотрудники радио будут ассоциироваться только с голосами, а ведь людям хочется посмотреть на лица. В семнадцатом и восемнадцатом столетиях, задолго до изобретения фотографии, люди часто ходили на выставки восковых фигур. Их влекло туда желание выяснить, как выглядят великие мира сего, — желание, не утоленное и сегодня.

Раз в неделю королей, королев, полководцев и моряков, кинозвезд и чемпионов по теннису, актеров, писателей и убийц переодевают в чистое белье. Каждая восковая фигура музея имеет два комплекта нижнего белья! По утрам, перед тем как двери музея откроются, каждую фигуру тщательно приводят в порядок. Волосы на голове расчесывают, бороды и усы подравнивают, чистят обувь, а металлические пуговицы натирают до блеска. Волосы многих женских фигур раз в неделю моют шампунем, закручивают и укладывают.

Должен сказать, что лично я получил на Бейкер-стрит огромное удовольствие. Я радуюсь, когда слышу вполне искренние возгласы ужаса, которые порой срываются с губ посетителей музея. Тысячи лондонских достопримечательностей, в свое время весьма популярных, исчезли, не оставив после себя ничего, кроме разве что редких упоминаний в дневниках и письмах, поэтому жизнеспособность музея мадам Тюссо, подлинной реликвии восемнадцатого столетия, не может не вызывать уважения.

### 3

Одной из исчезнувших в годы войны достопримечательностей Лондона стал «блошиный рынок», собиравшийся по пятницам на Каледонском рынке. Я крайне сожалею о том, что эта традиция так и не возродилась — ведь она доставляла подлинное удовольствие тысячам людей.

Мечта найти спрятанное сокровище живет в любом человеке, независимо от его возраста. Как богатых, так и бедных будоражит надежда обнаружить в каком-нибудь захудалом магазине почерневший холст, который после небольшой обработки льняным маслом и метиловым спиртом окажется утерянной картиной Рембрандта. Тысячи людей, никогда в жизни не находивших и ломаного гроша, продолжают поиски в надежде на то, что однажды им что-нибудь обязательно да подвернется. Значительная часть лондонских искателей сокровищ каждую пятницу отправлялась в Излингтон, дабы побродить среди рядов с самым полным на свете собранием творений рук человеческих. В целом, надо признать, зрелище было довольно жалкое, поскольку основную массу товара составляли изношенные, никуда не годные вещи.

Я частенько приходил на рынок ранним утром, чтобы успеть понаблюдать за появлением тысяч разносчиков, спекулянтов, лоточников, уличных торговцев и продавцов всякой мелочи, стремительно занимавших места и раскладывавших свои запасы. Те, кто посolidнее, прибывали на машинах, другие катили тележки с товаром, третьи приходили пешком, в сопровождении своих привыкших к лишениям жен. Они несли на спинах какие-то таинственные, возбуждающие любопытство мешки из дерюги и грубой оберточной бумаги.

Каким-то удивительным образом тысячи торговцев очень быстро заполняли весь рынок, прилавки и ограждения которого исчезали под серо-коричневой массой людей, готовых начать торговлю. Они заполняли длинные ряды прилавков, а те, из них, кто не удостоился такой чести, раскладывали свои сокровища прямо на мостовой. Посетитель обходил один торговый ряд за другим, чем-то напоминая полководца, проверяющего содержимое вещевых мешков своего весьма потрепанного войска.

Характерной чертой этого рынка служило то обстоятельство, что он привлекал к себе людей, как правило, избегающих магазинов. Каждую неделю на рынок приходили сотни охотников за антиквариатом, собирателей изделий из серебра и нефрита, коллекционеров картин, книг и мебели. В надежде найти то, что их интересует, они совершали медленный обход торговых рядов. На этой грандиозной барахолке царила такая азартная атмосфера, что люди приходили сюда каждую пятницу, рассчитывая обнаружить-таки что-нибудь стоящее.

Другой особенностью рынка были американцы, на которых поневоле натыкался почти у каждого прилавка. Повсюду слышались их голоса:

— Скажите, сколько это стоит?

— Пять фунтов.  
— Думаю, слишком дорого.  
— Поверьте, леди, это еще очень дешево. За четыре возьмете?

Американка гордо следовала дальше, а продавец серебряной чайницы мгновенно переориентировался на соотечественников.

— Три фунта, — называл он цену в ответ на вопрос, заданный с английским выговором.

Потом было очень забавно изображать из себя кокни.

— Так почему?

— Фунт.

— Десять монет.

— Говорю тебе, фунт.

— Двенадцать и шесть...

— Нет. Фунт.

— Да ладно, чего ты уперся? Восемнадцать шиллингов, а?

— Договорились. Считай, даром отдаю.

Вот в таком духе и велась торговля. Большинство торговцев Каледонского рынка назначали первоначальную цену в зависимости от внешнего вида и выговора покупателя.

Мне часто хотелось узнать, откуда берется все это добро. Где можно увидеть еще более ошеломляющую кучу хлама? Должно быть, доставленные оттуда вещи заслуживали внимания, иначе коллекционеры не посещали бы рынок с таким постоянством. Но мне всегда было трудно в это поверить.

За каких-нибудь десять минут мне могли предложить полицейский шлем, охотничью флягу в кожаном футляре, стеклянный резервуар, заполненный огромными заморскими бабочками, шесть индийских миниатюр, серебряное ведерко для охлаждения шампанского, сломанную паровую ванну, мешок с бутафорскими драгоценностями, китайский заварочный

чайник, пару жутких на вид роликовых коньков, громадную курительную трубку и фарфоровую ванну. Столь разнообразный ассортимент порой приводил в полное замешательство. Как сложилась судьба каждого из этих столь разнообразных, совершенно не связанных друг с другом предметов, выставленных на рынке и отделенных друг от друга несколькими ярдами? Насколько необычной или вполне заурядной оказалась жизнь каждого из них?

Философ, которому этот рынок, должно быть, казался еще более привлекательным, нежели коллекционеру, волей-неволей предавался мрачным размышлениям о печальной и унижительной трагедии умирания. Почему, например, свадебное платье с грязными пятнами апельсинового сока до сих пор не превратилось в пыль, ведь этим оно спасло бы себя от нахальных пальцев какого-нибудь торговца старой одеждой?

Посетители, которые прохаживались вдоль торговых рядов, напоминали скорее океанские волны, набегающие на берег после шторма, а странные, перемешанные в фантастическом беспорядке предметы более всего походили на выброшенный на берег топляк. Волнами, которые каждую пятницу выбрасывали эти обломки на берег, были волны Забвения, Увядания и Нищеты. За фантастической мешаниной бесполезных предметов виделись тысячи людей, лежащих на смертном одре, тысячи разрушенных домов, тысячи вещей, которые когда-то считались незаменимыми, а теперь превратились в груды хлама. Сюда приносили немыслимое количество совершенно невероятных вещей, хранившихся в темных чуланах.

Только безумец или отъявленный циник мог выставить на продажу вещи, настолько древние и бесполезные, что они не имели ни малейшего шанса найти своего покупателя. Кто мог извлечь хоть какую-то



пользу из странного вида кусков железа, мертвых внутренностей давно исчезнувших механизмов, треснувших зубчатых колес и ржавых поршневых шатунов, разложенных так, чтобы привлечь внимание проходящих?

Я с изумлением замечал, что многие обходят торговые ряды, не проявляя интереса к чему-либо конкретному или же интересуясь всем, что выставлено на продажу. В одном месте такой посетитель подбирает старый башмак, в другом вожаденно разглядывает пару тапочек, вертит в руках выпотрошенные часы, поглаживает допотопную кухонную раковину. Эти люди всегда настроены оптимистически, но никогда не теряют бдительности. Такие покупатели бодро направляются в сторону малопривлекательных каркасов железных кроватей и вдруг с видом первооткрывателя отодвигают допотопный черный капор, за которым обнаруживается лишенный головы бронзовый торс Аполлона.

Ничто на этом рынке не приводило меня в больший восторг, чем старые туфли и башмаки. Тысячи пар жалкого вида обуви выставлены в длинных торговых рядах, каждая отражала индивидуальные особенности своего бывшего владельца. Например, часто встречалась обувь, разношенная в месте, где выступала «косточка» большого пальца. Некоторые башмаки выглядели так, словно прошли весь путь по печальной дороге упадка. Другие свидетельствовали, что их владелец жил не ведая забот. Некоторые, как, например, выдавшие виды тапочки из атласа, говорили о том, что в жизни их владельца было много радости и веселья. Пара москитозащитных сапог явно принимала участие в рискованных колониальных авантюрах. Как и головные уборы, обувь является самым ярким отражением индивидуальности владельца. Не знаю почему, но именно конечности человека столь выпукло отражают

особенности его характера. Однако перчатки, как ни странно, практически ничего не говорят о личности своего владельца. Другое дело обувь. Фраза «примерять обувь мертвецов» вселяет ужас. Мне всегда хотелось узнать, кто обладает настолько крепкими нервами, что может позволить себе купить чужие поношенные туфли или ботинки. Всякий раз, наблюдая за тем, как какая-нибудь пара обуви идет по рукам, точнее, по ногам, я испытывал чувство искреннего недоумения.

Впрочем, и сам я, бывало, совершал не менее предосудительные поступки. Думаю, мало кто способен повторить «подвиг», совершенный мною в юношеском возрасте. Тогда я стал владельцем мумии, которая (это была мумия ничем не примечательной жрицы богини Исида) обошлась мне всего в десять шиллингов.

Так или иначе, прошло по меньшей мере двадцать лет, прежде чем я вновь ступил на мостовую Каледонского рынка. На сей раз меня интересовали колоритные личности, а не возможность задешево приобрести георгианскую солонку.

Об этом рынке знают во всем мире, но, как мне кажется, особенной популярностью он пользуется в Соединенных Штатах, так как американские туристы входят в число наиболее частых его посетителей. Несколько месяцев назад я был в Южной Африке и обедал вместе с несколькими англичанами, живущими в Капской провинции. Наша беседа носила ностальгический характер. Некоторые вспоминали, как выглядит Бонд-стрит летним утром, другие предавались воспоминаниям о Пиккадилли или Сити, вспоминали Темзу, парки и мосты. В условиях теплого климата кое-кто даже начал испытывать ностальгию по лондонской зиме. Рядом со мной за столом сидела театральная актриса, когда-то хорошо известная по ролям в музыкальных комедиях. К моему удовольствию, эта женщина упомянула о том, что, среди прочих

лондонских достопримечательностей, иногда вспоминает и Каледонский рынок.

— Как я его обожала, — сказала она. — Он был... да, был самым Лондоном, разве не так?

С этим рынком ее познакомила костюмерша по имени Рози.

— Милая Рози была настоящей лондонской кокни, — продолжала актриса. — Однажды я повстречалась с ней в театре. На ней была какая-то ужасная шуба, если и меховая, то явно из меха неизвестного науке животного. «Рози, — окликнула я ее, — ты великолепно выглядишь! Где ты это достала?»

«На камнях, мисс», — ответила Рози, медленно поворачиваясь перед зеркалом.

«На камнях? Что ты имеешь в виду?»

«Да будет вам, мисс, уж не хотите ли вы сказать, что не бывали на Калли?»

«На камнях» — только кокни может употребить такое замечательное выражение.

Всякому, кто побывал на Каледонском рынке в эпоху его расцвета, это выражение моментально освежит память, и он словно воочию увидит покупателей, медленно обходящих заполненные хламом торговые ряды. Кто-то из них задерживается у одного прилавка, кто-то торгуется у другого. Одни ищут Рембрандта, другие — шубы, не менее ужасные, чем шуба неведомой мне Рози.

#### 4

Вид усеянного голубями здания Британского музея всегда пробуждает во мне самые приятные воспоминания. Эта огромная мрачная сокровищница искусства, в которой всегда царит торжественная атмосфера, напоминает гигантский и таинственный

древний храм. В молодости я приехал в Лондон, чтобы зарабатывать себе на жизнь. В те годы я посещал Британский музей в свободное от работы время, то есть либо в субботу днем, либо по будням, в обеденный перерыв. В том и в другом случае залы музея всегда были заполнены посетителями. Зайдя в любую столовую неподалеку от Грейт-Рассел-стрит, я поспешно проглатывал сэндвич и мчался в музей, чтобы побродить по Египетскому и Греческому залам.

Не могу вспомнить когда и при каких обстоятельствах, но мне удалось познакомиться и подружиться с выдающимся египтологом, сэром Эрнестом Уоллисом Баджем. В чем-то он вправду был вздорным и грубым стариком, хотя лично я никогда не мог понять, чем он заслужил свою дурную репутацию, поскольку ко мне он всегда относился по-доброму. Сам того не подозревая, я, должно быть, часто испытывал его терпение, досажая вопросами в маленьком кабинете по соседству с залом мумий. Именно здесь он написал большинство своих научных работ. Изменяя своим правилам, он неизменно был ко мне добр и всегда приходил на помощь. Помню, однажды я то ли написал, то ли сделал нечто, вызвавшее раздражение женщины, которая в то время имела большое влияние в Лондоне. Бадж погрозил мне пухлым пальцем и торжественно изрек: «Запомните, мой мальчик, у молодого человека, который сам себе прокладывает путь в этом мире, не может быть более опасного врага, чем богатая женщина с хорошей кухаркой».

Седой и очень полный, он неуловимо напоминал то ли Труляля, то ли Траляля<sup>[51]</sup>. Обычно он носил сюртук и цилиндр, но сюртук явно нуждался в чистке, а цилиндр смахивал на черного кота, старого и шелудивого. Мне очень нравилось встречать Баджа по утрам, когда он шел в музей, чтобы с новыми силами приступить к какому-нибудь переводу с коптского или к Книге

Мертвых. Помню, он любил стоять во внешнем дворе музея с мешочком гороха в руке, а вокруг него кружились голуби, некоторые садились ему на плечо. Кроме того, он души не чаял в музейном коте.

Уоллис Бадж с ног до головы был человеком девятнадцатого столетия. При нем таким был и весь Британский музей. Тогда никому и в голову не приходило отправить часть экспонатов в запасники: все, что имелось, было выставлено в залах. В последние годы Британский музей более критически оценивает свою коллекцию и выставляет лишь самые лучшие экспонаты, а менее значительные произведения хранятся в подвалах, где их используют в качестве наглядных пособий для студентов.

Во время войны на долю музея выпали тяжкие испытания, которые он с честью выдержал. За год до войны были изготовлены сотни раскладных ящиков, все сокровища нации поделили на «портящиеся» и «непортящиеся». Когда началась война, все экспонаты этой огромной коллекции были упакованы и вывезены из музея. Некоторые отправились в сельскую местность, однако большая часть оказалась в тоннелях станции метро «Чэнсери-лейн», на глубине восьмидесяти футов под лондонскими мостовыми. Я увидел их там в первые дни войны. Это было жуткое зрелище. За сохранность экспонатов отвечали два человека, которые жили, ели и спали рядом с сокровищами. По всей вероятности, эти двое находились в самом безопасном месте Лондона! Помню, как один из них что-то готовил на электрической плитке рядом с упакованными в ящики головами фараонов и цезарей. Когда я заметил, что здесь, внизу, так мило и уютно, он сказал: «Да, конечно, вот только слишком далеко ходить за солью!»

Казалось, сэр Джон Форсдайт, тогдашний директор музея и глава отряда противовоздушной обороны, получал удовольствие от воздушных налетов. На мой

взгляд, история бомбардировок музея является самой захватывающей и самой невероятной из всех, которые я слышал. Во время одного из налетов бомба прошла сквозь галерею Эдуарда VII, пробила пол и упала в помещениях нижнего этажа, но так и не взорвалась. Впоследствии, во время другого налета, вторая бомба угодила в тот же самый пролом — и тоже не взорвалась! Вероятность такой счастливой случайности ничтожно мала; тем не менее она оправдалась! Огромным достижением работников музея стало то, что в течение всей войны был открыт читальный зал.

Недавно я снова посетил Британский музей и пришел к выводу, что после войны он находится в лучшем, чем прежде, состоянии. Выставленные в его залах экспонаты прошли более тщательный отбор. Коллекция мраморных скульптур Парфенона, привезенная лордом Элгином, впервые выставлена в новой галерее музея. К большинству из этих скульптур можно подойти вплотную. Однако больше всего меня интересовали предметы, обнаруженные в результате двух весьма романтических открытий в Саффолке: одно во время войны, а другое за год до того, как она началась. В течение нескольких лет над восстановлением этих предметов трудились химики и реставраторы, и вот, наконец, они стали доступны публике. Милденхолльский клад представляет собой богатую коллекцию древнеримского серебра, которая приблизительно в 400 году н. э. была закопана одним римлянином, надеявшимся уберечь свою мощну от саксов. Он настолько хорошо спрятал свои сокровища, что те пролежали нетронутыми в течение пятнадцати столетий, вплоть до того дня, когда англичане вновь столкнулись с необходимостью прятать богатства! В 1942 году этот клад случайно обнаружили во время вспашки поля, расположенного неподалеку от Вест-Роу, близ Милденхолла в графстве Саффолк. Эта местность

находится у самого края Кембриджширских болот. В кладе нашлись серебряные тарелки, кубки, ложки, чаши и ковши, но самый восхитительный предмет — серебряное блюдо диаметром два фута, получившее название Чаши Нептуна<sup>[52]</sup>. Оно украшено искусной резьбой. В центре находится голова Нептуна — спутанные волосы, косматая борода; его лицо очень похоже на лицо каменного Нептуна, который находится в музее насосной станции города Бат. Голову бога окружают сидящие на морских чудовищах nereиды. Они образуют ближний круг, а дальний круг, большего диаметра, образуют фурии и сатиры, мчащиеся в безумной пляске вокруг Геркулеса. Последний, как указано в каталоге, «явно пьян», его поддерживают два сатира. Принадлежащие Геркулесу шкура льва и палица выпали из его рук и лежат на земле. Думаю, это блюдо является самой красивой из всех доставшихся нам реликвий римской Британии.

Другое открытие было сделано на песчаной пустоши неподалеку от моря, приблизительно в десяти милях от Ипсвича. Это место называется Саттон Ху. Миссис Притти, которой принадлежало расположенное там поместье, решила разгадать тайну трех больших курганов, так называемых «тумули», стоявших на ее территории. Один курган оказался пустым, в другом были обнаружены следы корабля, а в третьем находилась знаменитая погребальная ладья. Когда землекопы вскрыли этот курган, они увидели вросшие в землю шпангоуты огромного военного корабля, длина которого составляла восемьдесят футов. Все дерево сгнило, остались лишь ржавые гвозди. В этой ладье находились самые разнообразные предметы: золото, драгоценности, серебряная посуда, оружие, чаши, остатки котлов, ведер, бронзовая посуда, рога для питья и набитый деньгами кошелек.

Сначала решили, что это захоронение викингов. Своих погибших предводителей викинги укладывали на драккары и направляли корабли в открытое море. Некоторых хоронили на суше, но все равно в ладье. Данная находка весьма напоминала подобное захоронение. Судя по всему, лодку волоком приблизительно полмили тащили по земле, затем с помощью катков подняли на вершину холма. Там ее опустили в специально выкопанную яму, положили в нее все, что принадлежало покойнику, а затем засыпали ладью землей. Среди прочих предметов в ладье был обнаружен меч: клинок и ножны заржавели так, что их было не оторвать друг от друга. Самой же замечательной находкой оказался позолоченный бронзовый шлем вождя. Петлями к нему крепились два наушника. Откинув заднюю часть шлема, также снабженную петлями, можно было защитить тыльную часть шеи. Опускался и передний щиток, который прикрывал лицо от переносицы до подбородка. В нем имелось два отверстия для глаз и одно для рта. Те части щитка, которые прилегали к носу и рту, были отлиты из золоченной бронзы, а над прорезью для рта красовались аккуратные, вполне современного вида усы.

Словом, все было сделано для того, чтобы, оказавшись в Вечности, предводитель ни в чем не нуждался. Но где же сам человек, которому предназначались эти доспехи, оружие и утварь? От него не осталось и следа. Возможно, его кремировали где-то неподалеку от кургана, а может, он погребен в каком-нибудь другом месте и его останки еще предстоит найти. Археологи говорят, что, возможно, в кургане Саттон Ху имели место похороны короля Восточной Англии Этельхера, скончавшегося приблизительно в 655 году н. э.

Римское серебро из Милденхолла великолепно, но погребальная ладья выглядит более романтично,



вызывает больше дискуссий и представляет собой гораздо более необычную находку. Ведь в Англии ничего подобного раньше не находили.

## 5

Однажды я обедал в клубе со своим другом, выдающимся хирургом. Он сказал, что во второй половине дня ему предстоит оперировать в одной лондонской больнице, и я тотчас спросил, нельзя ли мне пойти с ним и посмотреть, как он работает.

Он согласился, и вскоре мы отправились в путь. В больнице его встречали поклонами, так, словно он был членом королевской фамилии. Впрочем, наблюдая за ним, я понял, что он разыгрывает комедию. Передо мной был знаменитый хирург. Всем своим видом он показывал, что полностью уверен в себе. Этого от него, собственно, и ожидали; такова была атмосфера, в которой он работал. Молодые врачи не находили места от радости, когда он с ними заговаривал, а медсестры, которым он бросил несколько игривых острот, глядели на него с обожанием.

На нас надели белые халаты, на головы водрузили белые шапочки, а нижнюю часть лица закрыли белыми марлевыми повязками. После этого мы вошли в операционную — просторное помещение с куполом ослепительно белого цвета. Чем-то она напоминала декорацию футуристической пьесы.

— Ага, вот это, да? — сказал хирург, взглянув на рентгеновские снимки. Затем подошел к медсестре, и та, чуть ли не с реверансом, протянула ему резиновые перчатки, которые знаменитость соизволила натянуть на руки.

В этот момент я почувствовал, что настоящий спектакль только начинается. Увертюра была сыграна,

занавес начал открываться. Я забыл о Лондоне и о жизни, которая пульсировала где-то снаружи, на прилегающих к больнице улицах. Мнилось, весь драматизм этого мира сосредоточился именно здесь, в этом белостенном зале.

Открылась дверь, и в помещение бесшумно скользнула каталка. Вот тогда-то я и увидел его — маленького, уснувшего под наркозом пожилого лондонца. Казалось, сама Судьба пинком вышвырнула его из жизни и ждет, когда он встанет на ноги, чтобы отправить в очередной нокаут. Как много пришлось выстрадать этому бедняге! Похоже, его дела всегда были плохи, он постоянно испытывал нужду. Совершенно невозможно было представить его в каком-нибудь загородном доме, делящим воскресную трапезу со своими домочадцами. Судя по всему, ему никогда не приходилось любить женщину или целовать ребенка.

Бледный как полотно, он лежал на каталке, чем-то напоминая снятого с креста Иисуса.

Яркий свет подвесных ламп заливал впалую грудь. Пациента окружила группа людей в белых халатах. Подошел и мой друг. Его брошенный поверх марлевой повязки взгляд выражал уверенность в себе, отсутствие каких-либо эмоций и даже некоторое пренебрежение. Скрытые под тонкой резиной перчаток руки приобрели красно-коричневый оттенок, казалось, от них исходит некая сверхъестественная сила. Женская рука в резиновой перчатке протянула маленький сверкающий скальпель.

Желание отвести глаза было настолько сильным, что я с трудом совладал с собой. Взяв скальпель тем же энергичным, уверенным и красивым движением, каким берет смычок прославленный скрипач, хирург начал операцию.

Среди всех событий, ежедневно происходящих в Лондоне, это действие, несомненно, является самым

удивительным. Оно в большей степени, нежели все остальные, внушает благоговейный трепет. По сути, жизнь оперируемого висит на волоске, она буквально балансирует на лезвии ножа. В течение нескольких минут должен решиться вопрос, будет он жить или нет. В окна белого зала стучится сама Смерть. Я был слишком потрясен увиденным и потому не сразу понял, что хирургическая операция вовсе не столь ужасна, как на картине Рембрандта<sup>[53]</sup>.

Во время операции я не слышал никаких звуков, кроме лязга металла о стекло и какого-то шипения из соседнего помещения. Хотя — я слышал еще, как мой друг-хирург разговаривает сам с собой. Судя по напряженным позам ассистентов и по тому, как внимательно они следили за руками хирурга, его невнятное бормотание свидетельствовало о ключевом моменте операции. И это бормотание чрезвычайно бодрило, поскольку состояло исключительно из утвердительных предложений.

— Вот так... — глухо приговаривал хирург, — хорошо... Да, теперь вот здесь... Да, вот так... Хорошо... Ну вот.

Его ничто не могло удивить. Тщедушное тело несчастного пациента вовсе не показалось ему чем-то необычным. Он напоминал человека, который, открыв ящик с документами, сразу же нашел то, что и ожидал найти. Наибольшего внимания заслуживали его руки. Они стали совсем другими. Это были уже не те руки, которые держали рентгеновские снимки и надевали белую шапочку. Теперь они жили собственной жизнью. Эти руки перестали быть просто инструментом. Они не делали ни одного лишнего движения. Если им что-либо требовалось, они на секунду поворачивались ладонями вверх, и женская рука подавала им какую-нибудь блестящую вещицу. Руки сжимали ее и продолжали свое дело. Закончив работать с инструментом, они просто

отшвыривали его в сторону, поскольку это был самый быстрый способ от него избавиться, а затем вновь поворачивались ладонями вверх в ожидании другого инструмента.

Обслуживавшая руки хирурга операционная сестра заслуживала почти такого же внимания, как и он сам. Досконально зная все этапы операции, она предугадывала каждое движение рук и всегда понимала, что им в данный момент необходимо. Она ни разу не ошиблась, подавая маленькие блестящие инструменты, которые лежали на стеклянном столе.

— Можете подойти поближе, — сказал мне хирург.

Набравшись мужества, я подошел к операционному столу.

— Вот это его и убивало, — сказал он, и я, взглянув на неподвижное тело, увидел нечто размером не более нескольких сложенных вместе зернышек.

Хирург отошел назад. Медсестра взяла стеклянные ампулы, обернула их тканью и надломила. Окунув стерилизованный кетгут в дезинфицирующий раствор, она принялась передавать нити хирургу, одну за другой. Вскоре операция закончилась.

Хирург вышел в коридор, снял шапочку и марлевую повязку.

— Вы спасли ему жизнь?

— Да, думаю, спас.

И руки, которые только что боролись за человеческую жизнь, неуклюже зашарили в карманах жилета в поисках портсигара. Теперь это были совершенно обычные руки, совершавшие вполне обычные действия. Он вынул сигарету и щелкнул зажигалкой. Но та не сработала! И его чудесные руки ничего не могли с ней поделать. Я чиркнул спичкой.

— Спасибо, — поблагодарил он.

Вскоре пришел молодой врач с отчетом. Моему другу предстояла новая схватка со смертью.

Чарльз Диккенс больше любого другого писателя способствовал увековечиванию Лондона таким, каким тот был на заре викторианской эпохи. Он изобразил покрытый туманом город со всеми его мерзостями и нищетой, узкими улочками и освещенными газовыми фонарями дворами, преуспевающих, самодовольных горожан и беспросветную нищету лондонского «дна». Подобно тому как почитатели Джонсона приходят на Гау-сквер, прибывающие со всех концов света поклонники Диккенса посещают дом номер 48 на Даути-стрит.

Этот аккуратный, без каких бы то ни было архитектурных излишеств дом, расположенный в районе Блумсбери, стал первым собственным жильем Диккенса. В возрасте двадцати пяти лет он подписал договор о трехлетней аренде этого дома и въехал в него вместе со своей женой, месячным младенцем, обожаемой семнадцатилетней сестрой жены Мэри и своим младшим братом Фредом. Среди произведений, написанных в доме на Даути-стрит, «Записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Николас Никльби» и часть романа «Барнеби Радж».

Не прошло и двух месяцев после переезда, как случилось событие, которое до конца дней преследовало Диккенса, особенно в те минуты, когда он пребывал в дурном настроении. Взяв с собой жену и ее сестру, он отправился в театр. Вернувшись домой в восторге от спектакля, они вскоре легли спать. Услышав крик из комнаты Мэри, Диккенс кинулся на помощь и обнаружил, что девушка задыхается. Вскоре она умерла у него на руках. Горе Диккенса не поддавалось описанию. Он снял кольцо с пальца Мэри и носил его до своей кончины.

На протяжении нескольких месяцев он не мог написать ни слова и был вынужден прервать публикацию как «Записок Пиквикского клуба», так и «Оливера Твиста», которые печатались отдельными главами. Вместо очередного долгожданного фрагмента читатели вынуждены были довольствоваться следующим текстом: «С тех пор как вышел последний фрагмент этой работы, редактор оплакивает внезапную кончину милой юной родственницы, к которой он был чрезвычайно привязан и общество которой в течение долгого времени вдохновляло его на труд».

Но постепенно горе отошло на второй план, и Диккенс снова взялся за перо. «Записки Пиквикского клуба» пользовались успехом, и это ободряло писателя. «Остается только поражаться его глубокому уму и жизнелюбию, — пишет Уна Поуп-Хеннеси в своей книге «Чарльз Диккенс». — Тот самый человек, который часами неподвижно сидел в кабинете перед портретом Мэри и которого, казалось, ничто не могло утешить, спустя несколько часов председательствовал на банкете книгоиздателей или весело танцевал на вечеринке... Его поведение невозможно объяснить, можно лишь установить, каким оно было».

Смотритель дома-музея Диккенса сказал мне, что перед тем, как в 1924 году дом был куплен Обществом Диккенса, в нем находился пансион и его вполне могли перестроить до полной неузнаваемости или снести. Теперь этот дом реконструирован и более или менее соответствует своему облику 1837 года, когда в нем жил Диккенс. Комнаты изобилуют рукописями, письмами, автографами, картинами и бюстами Диккенса, а также обычными для любого писателя диковинками.

Работал Диккенс в задней комнате на первом этаже. В расставленных повсюду витринах хранятся первые издания написанных Диккенсом книг. Подвал превращен в копию кухни поместья Дингли Делл, где в Рождество

мистер Пиквик играл со слугами в карты. Весьма необычно видеть материальное воплощение идеи, возникшей в комнате наверху.

Мне поведали, что почитатели Диккенса приезжают сюда, чтобы походить по дому, почитать письма Диккенса, поглядеться в его зеркало, осмотреть его кресло, трость и бокал для пунша, а также постоять в маленькой комнате, где были написаны некоторые из романов.

Из дома на Даути-стрит Диккенс переехал в более солидный дом номер 1 по Девоншир-террас, в окрестностях Мэрилебон-роуд. Похоже, этот дом в основном сохранился таким, каким был во времена Диккенса. Впрочем, как следует его рассмотреть мне не позволила ограда прилегающего сада. На этом здании имеется голубая мемориальная доска Совета Лондонского графства, так что рыскающие по Лондону почитатели Диккенса могут удостовериться в том, что именно здесь великий романист закончил «Барнеби Раджа» и написал «Мартину Чеззлвита», «Рождественскую историю» и «Сверчка на печи», а также большую часть «Дэвида Копперфильда».

## 7

Ранним утром на лондонской площади не услышишь ни единого звука, за исключением надоедливого чириканья воробьев. Солнце уже поднялось, но в это самое лучшее время суток Лондон хранит молчание. Вместе с первыми лучами солнца на пустынных улицах появляются первые омнибусы, которые медленно проезжают мимо еще закрытых магазинов.

Раздается скрип колес и позвякивание бутылок с молоком. Эти звуки отражаются эхом от Йоркского камня площади. Наверное, в это мгновение пони

молочника уже ступил на мостовую и ждет, когда его хозяин подойдет поближе, чтобы вместе двинуться дальше. В саду обязательно сидит какой-нибудь кот и внимательно наблюдает за воробьями, еще несколько котов переходят дорогу. Что касается лондонских котов, они считают, что с полуночи и до семи утра им принадлежит весь город.

Ранним утром в Лондоне царит атмосфера невинности. Кажется, что все человеческие пороки, тщеславие и зло развеялись вместе с ночной тьмой. Каждый лондонский рассвет похож на первый день нового года, и звонкие утренние песни воробьев, чирикающих на каждом дереве, крыше и карнизе, звучат так радостно и обнадеживающе, что поднимают настроение. Они добавляют недостающего мужества, пробудят чувство юмора и помогут обрести веру, то есть даруют те три важнейших человеческих качества, которые пожелала бы младенцу любая крестная мать.



## Глава двенадцатая

### Гринвич и Хэмптон-Корт

*Несколько слов о сокровищах Южного Кенсингтона, посещении Королевского военно-морского колледжа в Гринвиче и Морского музея. Я отправляюсь во дворец Хэмптон-Корт, чтобы пройтись по его галереям и посидеть в садах. Иду в центр радиовещания и, когда куранты Биг Бена бьют полночь, стоя на Вестминстерском мосту, я желаю Лондону спокойной ночи.*

#### 1

О Сохо, Блумсбери и Южном Кенсингтоне можно было бы написать множество книг, и они действительно написаны.

Сохо представляет собой весьма обветшавший памятник георгианской эпохи. В давние времена этот район стали заселять гугеноты, и с тех пор Сохо привлекателен для иностранцев. В восемнадцатом столетии здесь жил король Теодор Корсиканский, а в девятнадцатом — Карл Маркс. Сегодня в Сохо преобладают рестораны и кинотеатры. Толпа чужаков, заполняющих его улицы, отличается от типичной лондонской толпы, а экзотические бакалейные лавки Сохо, в которых продаются оплетенные бутылки кьянти, пармезанекий сыр, тунец и чеснок, отличаются от лавок обычных английских бакалейщиков.

В Сохо царит скорбная атмосфера изгнания. Когда Жак, участник французского движения Сопротивления, и его жена-итальянка, брат которой был антифашистом, заработают достаточно денег, они продадут свой

маленький ресторанчик и уедут жить во Францию. Когда киприот Николас прослужит достаточно долго и его уже лоснящийся вечерний костюм не будет стоить и ломаного гроша, он упакует чемоданы и отправится домой, в Ларнаку. Подобные планы вынашивают все обитатели Сохо. Люди работают здесь, а жить мечтают в каком-нибудь другом месте. Здесь есть изгнанники-греки, изгнанники-турки и даже изгнанники-китайцы. Последняя война только увеличила количество национальностей, представителей которых можно здесь встретить.

Улицы Сохо излучают, скажем так, подмоченное жизнелюбие. Быть может, люди здесь имеют чуть более смуглый оттенок кожи и чаще жестикулируют. Бывает, что они, собравшись в группы, выходят на мостовую и о чем-то спорят. Эти люди покупают какие-то совершенно немыслимые газеты на чужих языках. Ароматы экзотической пищи, исходящие из подвалов и вентиляционных труб Сохо, и группы жестикулирующих на улицах людей придают этому району некоторое сходство с римской Пьяцца дель Пополо, афинской площадью Конституции или мадридской Пуэрта-дель-Соль, а случайно услышанная фраза на незнакомом языке — на фоне типичного лондонского фонарного столба — на мгновение перенесет то ли в Вену, то ли в Варшаву.

Но даже несколько столетий иностранной «оккупации» не сумели придать Сохо континентальный вид. Этот район не что иное, как весьма ветхая часть Лондона георгианской эпохи. Нижние этажи некоторых зданий перестроены, теперь в них продаются саксофоны и кинопроекторы. Другие оснащены стеклянными дверями, которые ведут в отделанные хромированным металлом коктейль-бары. Но верхние этажи убеждают, что перед вами те же самые дома из красного кирпича, какими они были во времена Босуэлла и Джонсона.

Блумсбери, как и Сохо, представляет собой памятник архитектуры георгианского периода. Здесь расположены здания Британского музея и Лондонского университета, и здесь же сосредоточен беспокойный мир конечных железнодорожных станций. И то и другое заслуживает внимания. Этот район приспособился к современной жизни, хотя в нем и сохранилось многое из того, что служит мучительным напоминанием о днях былого величия, о днях, когда на прекрасных площадях стояли роскошные дома, в которых жили богатые купцы и выдающиеся актеры.

Величественные площади Блумсбери все еще напоминают о славном прошлом этого района, хотя здесь едва ли найдется дом, помещения которого не были бы отведены под офисы и квартиры или перестроены в пансионы. Размышляя о Блумсбери, я всякий раз представляю себе голубей, которые прохаживаются перед зданием Британского музея, и слышу чириканье сидящих на деревьях воробьев. Я вижу какую-нибудь площадь и железную ограду, за которой стоят несколько высоких платанов. Группа иностранных студентов, засунув книги под мышки, не спеша прогуливается по району. Они вышли из своего пансиона, перестроенного из трех или четырех старых домов. Археолог и востоковед медленно проходят мимо магазинов на Грейт-Рассел-стрит. Обитающие там книготорговцы знают о Востоке и о литературе почти все. В моменты триумфа, когда мне казалось, что научная работа есть нечто более привлекательное, чем утомительная писанина, пределом моих мечтаний была квартира в Блумсбери с видом на Британский музей.

В Блумсбери проживало так много знаменитостей, что всех их трудно будет перечислить. Среди поэтов можно назвать Грея, Шелли, Каупера, Кольриджа, Уильяма Морриса, Суинберна и Кристину Россетти. Среди писателей — Диккенса, Теккерея, Маколея,

Хэзлитта, Лэма, Исаака Дизраэли и Дарвина. И наконец, среди художников — Констебля, Берн-Джонса и Миллеса. В уже не столь отдаленные времена Блумсбери, благодаря своим новым обитателям, стал восприниматься как пристанище интеллектуалов и коммунистов. «Блумсберийский интеллектуал» или «блумсберийский большевик» — так стали называть современного лондонца, независимо от того, насколько это определение справедливо в отношении какого-нибудь разговорчивого молодого человека с бородой, курившего трубку и носившего пестрые рубашки. В период между двумя мировыми войнами здесь появилось множество таких молодых людей.

Южный Кенсингтон своим возникновением обязан принцу-консорту и «Великой выставке» 1851 года. Этот район — подарок неблагодарной нации от Альберта Доброго, супруга Виктории, искренне желавшего поднять интеллектуальный уровень англичан. Его имя увековечено в Мемориале Альберта, в Альберт-холле и в музее Виктории и Альберта. В Кенсингтоне так же много пансионатов и гостиниц, как и в Блумсбери. Но если Блумсбери «специализируется» на иностранных студентах, то в Кенсингтоне предпочитают селиться пожилые дамы. Впрочем, в подобных вопросах сложно делать какие-либо обобщения.

Когда «Великая выставка» в Гайд-парке закончилась, было решено впредь проводить ее в Сайденхэме и размещать в Хрустальном дворце. Однако некоторые экспонаты выставки признали достойными сохранения. Именно они стали ядром огромной коллекции, из которой впоследствии вырос музей Виктории и Альберта. Сначала цель экспозиции обозначалась как стремление показать взаимосвязь искусства и промышленности и научить тому, каким образом можно эту взаимосвязь использовать. Весьма примечательна классификация экспонатов, которые

разбиты на следующие группы: «Изделия из дерева», «Изделия из металла», «Керамика» и т. д. Основатели выставки, люди викторианской эпохи, понимали, что цивилизации машин недостает вдохновения цивилизации мастеров. Обычно пространство музея всегда ограничено, но в Южном Кенсингтоне места было вполне достаточно, поэтому фонды музея Виктории и Альберта щедро пополнялись всевозможными устройствами, практическое предназначение большинства из которых ныне, увы, не поддается определению.

Мне сложно сколько-нибудь подробно описать этот музей, поскольку в данный момент в нем все еще продолжается начавшаяся после войны реорганизация. Замечу только, что это единственная во всем мире коллекция столь удивительных экспонатов. Едва ли найдется достойное внимания творение человеческих рук, которое не было бы в нем представлено: мебель, гобелены, ковры, глазурь, скульптура, слоновая кость, стекло, наручные и настольные часы, изделия из золота, серебра, железа и латуни, кружева и ткани, живопись, силуэты и миниатюры...

Здесь есть помещения, интерьеры которых воспроизводят обстановку старинных домов. Они обставлены мебелью соответствующих исторических эпох. Имеется и галерея, демонстрирующая трехвековую историю развития мужского и женского костюма. Едва ли возможно изучить все собрание выставленных здесь экспонатов; посещая этот музей, каждый раз узнаешь что-нибудь новое.

Тому, кто решил познакомиться с достопримечательностями Южного Кенсингтона, понадобится не один день, чтобы вдоволь побродить по галереям музея Виктории и Альберта. А если после этой экскурсии еще останутся силы, то можно пройти по Экзибишн-роуд и попасть из музея Виктории и Альберта

в музей естественной истории, где представлено множество диких созданий, населяющих эту планету вместе с людьми. Оказавшись внутри этого построенного в готическом стиле здания, посетитель, чувствительный к обстановке, несомненно ощути себя внутри кафедрального собора, в котором почему-то нашел прибежище Лондонский зоопарк.

Экспозиция расположенного поблизости музея науки подчеркивает значение научного прогресса в жизни общества в той же степени, в какой экспозиция музея Виктории и Альберта подчеркивает влияние искусства на промышленность. Здесь можно увидеть «Пыхтящего Билли», «Ракету» и других праотцев современных локомотивов. К потолку подвешен биплан, на котором в 1912 году летал полковник Коуди. Здесь же выставлен аппарат фирмы «Виккерс-Вайми», на котором в 1919 году Элкок и Браун совершили первый трансатлантический перелет. Красноречивым свидетельством покорения человеком воздушного океана является демонстрируемая в разрезе модель V.1, иначе «Фау-1», он же самолет-снаряд.

Возможно, самой популярной экспозицией этого музея является Детская галерея. Здесь можно увидеть искусственную радугу и дверь, которая таинственным образом открывается с помощью невидимых лучей. Думаю, в наше время эти чудеса производят менее сильное впечатление на детей, постепенно привыкающих к достижениям атомного века.

Если после осмотра этих музеев ваши ноги еще в состоянии идти, следует посетить музей практической геологии, экспозиция которого гораздо интереснее, чем можно предположить из названия. Интерьер зала украшен вращающейся моделью земного шара, со всеми геологическими формированиями и окрашенным в различные цвета рельефом. Однако еще более

зрелищной является модель Везувия, который извергается с удивительным постоянством.

В центре зала выставлены геологические образцы, которые называют драгоценными камнями и которые с легкой руки Мужчины, удовлетворявшего запросы Женщины, приобрели излишне высокую стоимость. Здесь есть копии получивших самую громкую (и дурную) славу алмазов и всевозможные драгоценности.

Вероятно, ни один другой район Лондона не может конкурировать с Южным Кенсингтоном по тематическому охвату представленных в его музеях экспозиций, среди которых любой найдет то, что его интересует. Эти огромные здания, неприступные на вид, заполнены красивыми вещами, которые к тому же представляют большой интерес. И очень хочется верить в то, что выставка 1951 года внесет посильный вклад в пополнение того научно-технического богатства, которое с течением лет собралось вокруг экспонатов «Великой выставки» 1851 года.

## 2

В ожидании катера в Гринвич я стоял в очереди неподалеку от Вестминстера. Передо мной и позади меня выстроились самые разные люди, в большинстве своем, судя по виду, провинциалы. Впрочем, теперь все так похожи друг на друга, что ошибиться несложно. Моим соседом по очереди оказался низенький седоволосый мужчина опрятного вида. Страдая от жары, он обмахивался панамой.

Над нами возвышались прокаленные солнцем здания парламента. Отбивая час, прогромыхал Биг Бен; разгоняя теплый воздух, мимо пронесся трамвай.

— Клянусь честью, сущее пекло, не правда ли, сэр? — обратился ко мне низенький.

На нем был серый альпаковый пиджак и темные брюки. Мне сразу же бросились в глаза эдвардианские манеры и характерный выговор, но по костюму я не мог догадаться о профессии собеседника. Ярд за ярдом мы продвигались вместе с очередью, напоминая животных, ожидающих погрузки в Ноев ковчег. На причале очередь разделялась. Одни направлялись к судам в Ричмонд, Кью и Хэмптон-Корт, другие — к тем, которым предстояло идти вниз по реке, к Гринвичу.

Поднимался прилив. Двигаясь против течения, буксиры и следовавшие за ними баржи поднимали такую волну, что на ней плясали прогулочные лодки и катера. Это зрелище развлекало пассажиров.

— Обожаю Лондон, сэр, — заявил низенький мужчина, — и без ложной скромности скажу, что хорошо его знаю.

— Вы давно здесь живете?

— Всю свою жизнь, сэр. Как вы думаете, сколько мне лет?

На вид этому человеку было около семидесяти пяти, но, чтобы доставить ему удовольствие, я сказал, что, наверное, шестьдесят.

— Нет, сэр, вы далеки от истины. — Ему явно польстил мой ответ. — Мне семьдесят три.

В этот миг к нам повернулась стоявшая впереди женщина довольно неряшливого вида.

— Ничего подобного, Альфред, — сказала она, — не обманывай джентльмена. Тебе ведь и семьдесят один еще не исполнился.

Этот упрек смутил моего собеседника, очевидно стремившегося произвести на меня впечатление. Помолчав, он захотел узнать, что я думаю о его спутнице, вероятно жене. Манеры и тон этой женщины несомненно вредили его репутации. Мне вдруг подумалось, уж не состоит ли он у кого-то в услужении и не являются ли его чересчур правильные и потому



неестественные манеры копированием поведения неизвестного мне хозяина. Эта чопорная аккуратность вполне подошла бы какому-нибудь старому светскому льву, живущему в одиночестве на Сент-Джеймс-стрит. Что касается его жены, то лет сорок назад эта могучая женщина наверняка была хорошенькой пухленькой горничной. Впрочем, как раз подошла наша очередь подниматься на борт катера, и это отвлекло меня от размышлений.

Мы стояли слишком далеко, чтобы успеть занять места под тентом, поэтому устроились в средней части судна, повернувшись спинами к реке. Закурив сигарету, мужчина в шапочке яхтсмена завел двигатель, взял в руки штурвал, и мы отплыли. Некоторые женщины вытащили вязанье, фотолюбители прикинули к камерам, а молодой человек с микрофоном принялся потчевать нас информацией.

— Леди и джентльмены, — начал он, — справа от нас находится здание Совета графства и выставочные павильоны. Сейчас мы приближаемся к железнодорожному мосту Хангерфорд, а слева от нас находится станция Чаринг-Кросс...

Мы послушно разглядывали все эти хорошо известные достопримечательности, которые со стороны реки почему-то выглядели непривычно незнакомыми.

— Слева от нас, — продолжал вещать молодой человек, — находится Игла Клеопатры, а сейчас мы приближаемся к новому мосту Ватерлоо...

Мы увидели великолепный ряд белых легких арок, перекрывавших течение реки. Войдя в их тень, мы на секунду ощутили прохладу, но вскоре вновь оказались на солнце.

— Слева от нас Сомерсет-хаус, а напротив него стоит на якоре корабль капитана Скотта «Дискавери»... Слева вы также видите Шелл-Мекс-хаус, а рядом с ним отель «Савой»... Там, где деревья и лужайки, находится

знаменитый Темпл. Леди и джентльмены, перед нами мост Блэкфрайаз.

— Эмма, двинься немного, ладно? — услышал я шепот своего недавнего собеседника. — Иначе я просто погибну от жары.

После нашего разговора он, к моему удивлению, перешел на простонародный говор. Я предположил, что это и есть его естественная манера речи. Кто же он все-таки такой? Ни один из заброшенных мною «крючков» пока не принес улова.

Мое внимание приковала великолепная панорама города, над крышами которого возвышался купол собора Святого Павла в окружении шпилей и колоколен. В то утро Лондон чем-то напоминал пейзажи Каналетто — голубое небо, река, лодки и мосты. Мы проплыли под Лондонским мостом и слева увидели рынок Биллингсгейт, затем приблизились к Тауэру, серебристо-серая громада которого возвышалась за рядом пушек на пристани. Впереди высился Тауэрский мост. Проезжавшие по нему машины были похожи на механические игрушки.

— Вы хорошо знаете Сити? — поинтересовался я, размышляя о том, что мой собеседник, возможно, бывший клерк.

— О нет, сэр, совсем не знаю. Зато я знаю Вест-Энд.

Может, официант? Но почему в этот жаркий день меня так волнует этот человек? Ответ на заданный самому себе вопрос состоял в том, что я инстинктивно чувствовал: новый знакомец наверняка представляет для меня интерес.

Мы вошли в акваторию Нижнего порта и увидели лабиринты доков, мрачного вида пристани и пакгаузы. Проплыв мимо Уоппинга, мы резко свернули в сторону Лаймхаус-Рич — и тут вышел из строя микрофон! Мой собеседник отреагировал мгновенно: сорвался с места и кинулся проверять провода. Потом достал из кармана

пиджака отвертку, что-то подкрутил, и микрофон вновь заработал!

— А вы разбираетесь в технике, — заметил я. — Должно быть, вы специалист по радио?

— Нет, сэр, не специалист, но немного разбираюсь в электричестве, — ответил он.

— Это ваша работа? — спросил я.

— Была когда-то, сэр. Лет шестьдесят назад я ходил в учениках электрика, работавшего на Бонд-стрит. Сами понимаете, в ту пору от электричества еще все шарахались. Фирма, в которой мы работали, была вполне уважаемой и обслуживала аристократов. Да, сэр, она обслуживала высшие слои общества, и попасть в эту фирму было совсем непросто. Все сотрудники, которых отправляли в дом какой-нибудь герцогини, чтобы заменить пробки, проверить газ или электричество, должны были работать в сюртуках и цилиндрах. Кроме того, мы всегда ходили в перчатках. Не правда ли, забавно, сэр, говорить об этом сейчас, когда в дома, расположенные на Парк-лейн, приезжают по вызову электрики в голубых комбинезонах! Но в пору моей молодости всех нас перед выходом на работу проверял глава фирмы. Нам ни в коем случае нельзя было носить сумку с инструментами. Вместо нас сумки носили мальчишки. И еще — мы всегда выезжали на место в экипаже с извозчиком.

— Похоже, в те времена жизнь электрика весьма напоминала жизнь джентльмена?

— О да, сэр, такую политику проводила фирма. Как я уже говорил, сэр, электричество было новинкой и аристократы очень гордились тем, что у них есть этот чудесный электрический свет. Но, вспоминая те времена, просто поражаешься, насколько все было примитивно! Когда в Вест-Энде давали бал, я часто получал задание сидеть до двух часов ночи возле распределительного щита, на случай, если перегорят

пробки. И все равно мне приходилось одеваться надлежащим образом.

Я был восхищен его рассказом. Этот маленький человек оказался для меня настоящей находкой, я не ошибся в своих предчувствиях. Его манеры, его голос, фальшивый аристократизм — все это напоминало об ушедшем в мир иной эдвардианском периоде. Тогда даже электрикам с Бонд-стрит приходилось надевать сюртуки, цилиндры и перчатки, если они обслуживали аристократов.

— Фирма установила еще одно правило, — продолжал он. — Нередко случалось, что мастер входил в спальню какой-нибудь леди и видел разбросанные повсюду драгоценности (видит бог, сэр, в те времена в таких домах мы чего только не навидались, ведь эти аристократы возвращались домой вдрызг пьяными и швыряли вещи где попало). Так вот, правило фирмы гласило, что нужно позвать дворецкого и попросить его собрать драгоценности и запереть в надлежащем месте. Дело не в том, что фирма не доверяла своим работникам. Вовсе нет, сэр. Глава фирмы часто нам повторял: «Вам-то мы доверяем, но если однажды вечером ее милость вдруг потеряет свой жемчуг, она может обвинить электрика, а нам этого не надо!»

Пока мы плыли вниз по Темзе, невзрачный человечек в альпаковом пиджаке успел нарисовать мне полную картину минувшей эпохи: «господ», которые в качестве чаевых раздавали электрикам золотые соверены, восхитительных дам в глубоких декольте, которые, опьянев от шампанского, неверной походкой шли к туалетным столикам, дворецких, которые показывали дорогу электрикам с Бонд-стрит, и молодого рабочего, который осторожно, стараясь не повредить краску, натягивал полученные от фирмы шелковые перчатки.

— Это был совсем другой Лондон, — сказал мой собеседник.

— Более благополучный? — уточнил я.

— Вне всяких сомнений, сэр, — подтвердил он. — В те времена люди не были столь недоброжелательны. Вы можете со мной не соглашаться, но аристократы были настоящими сливками общества, сэр. Помимо прочего, сэр, на совершен можно было купить столько, сколько сейчас купишь на десять фунтов<sup>[54]</sup>. Но сегодня, сэр, никто не может считать себя счастливым.

На этой печальной ноте наша беседа и закончилась — мы прибыли в Гринвич.

### 3

Я не был в Гринвиче со времен войны. Ступив на берег, я первым делом обратил внимание на то, что гостиница «Корабль» пострадала от бомбардировок. В этой гостинице я, если память меня не подводит, останавливался трижды; в ней, сидя у окна, я поедая сметки и любовался Темзой. Каждый визит поднимал мне настроение, поэтому при виде вдребезги разбитого старого здания, я испытал такое чувство, словно потерял кого-то из близких.

Во всех известных мне гостиницах и ресторанах сметки слегка обжаривают, вследствие чего они приобретают коричневатый оттенок. Но в гостинице «Корабль» их готовили по старинному рецепту, и они становились белыми. Когда я побывал здесь в последний раз, официантка (я даже помню, что эта девушка была родом из северной Англии) сказала мне, что шеф-повару потребовалось два года, чтобы научиться готовить сметки. Впрочем, она тотчас добавила, что ее тошнит от одного их вида. Она не могла себе представить, как можно есть эти головы, хвосты и глаза!

Мне всегда нравился Гринвич. У него есть свое лицо и своя атмосфера. Королевский военно-морской колледж

— самое впечатляющее здание на Темзе, не считая дворца Хэмптон-Корт. Ничто на берегах Темзы, от Лондонского моста и до Вестминстера, не сравнится с этим зданием. Город, парк и Блэкхит — все пропитано духом восемнадцатого столетия. И даже множество уродливых деталей (газометры, высокие дымовые трубы, прилегающие к реке убогие поселки, которые со всех сторон вплотную окружают Гринвич по обеим берегам) не могут лишить Гринвич остатков былого великолепия.

В книгах о Лондоне, написанных около восьмидесяти лет назад, встречаются упоминания об отставных военных моряках, которые частенько появлялись в Гринвичском парке. Там они в латунные подзорные трубы наблюдали с откосов за проплывавшими по реке кораблями. Эти старики, многие из которых были ветеранами Трафальгарского сражения, жили в здании, ныне именующемся Королевским военно-морским колледжем, а тогда звавшемся Гринвичским госпиталем и представлявшем собой военно-морской аналог Королевского госпиталя в Челси.

Похоже, гринвичские ветераны во многом походили на ветеранов из Челси, разве что они намного больше пострадали во время войн, о чем свидетельствуют старинные рисунки и гравюры. Художники того времени почти всегда изображали этих моряков либо с черной повязкой, прикрывавшей потерянный на войне глаз, либо с деревяшкой вместо ноги, вроде той, на которой ковылял Джон Сильвер, либо с железной рукой, наподобие руки капитана Крюка.

Адмиралтейство, выказывая отеческую заботу, предоставило этим старикам возможность самим выбрать вид содержания. Большинство из них провело всю свою жизнь на палубах деревянных кораблей, поэтому они решили, что лучше окончить дни независимыми отставниками, нежели пансионерами,

запертыми в стенах учреждения, которое к тому же напоминало формой корабль. И около 1873 года Гринвичский госпиталь перестал быть приютом для ветеранов и превратился в Королевский военно-морской колледж.

Покидая пристань, я думал о том, что Гринвич, наверное, до сих пор хранит память об этих старых морских волках. Быть может, именно поэтому обстановка здесь не слишком сильно изменилась. Темза во многом осталась точно такой же, какой была в те времена. Великолепные (хотя даже это слово к ним не слишком применимо), величественные, грандиозные здания, которые ныне составляют комплекс военно-морского колледжа, сохранились в своем прежнем виде. Не изменились и зеленые откосы Гринвичского парка, на которых сживали престарелые моряки со своими подозрными трубами. Пожалуй, я не удивился бы, повстречав Джона Сильвера, ковыляющего на своей деревяшке по улицам Гринвича.

И точно, не успел я выйти на главную улицу, как увидел человека на деревянной ноге! В наше время эти устаревшие фальшивые конечности стремительно исчезают. На самом деле я уже и не вспомню, когда в последний раз видел такой протез. Владелец деревянной ноги, замеченной мною, был не старый морской волк, а подросток лет четырнадцати. Маленький бедолага ковылял по улице, мужественно посмеиваясь над собственными неловкими движениями, которые напоминали движения птицы с перебитым крылом. Сопровождавший мальчика молодой человек поднял было его на руки и понес, но мальчик запротестовал и воспользовался деревянной ногой как оружием, с помощью которого заставил своего друга поставить себя на землю. Так он и шел по улицам Гринвича, постукивая деревяшкой по мостовой, и этот

звук, должно быть, напоминал серым камням о героях Трафальгара.

Я шел в направлении Гринвичского парка, одного из самых красивых королевских парков. Он расположен на отлогом холме, с которого открывается изумительный вид на Лондон и Темзу. С террасы у памятника Вольфу я увидел лежавший на западе Лондон. Купол собора Святого Павла возвышался точно над центром Тауэрского моста. На переднем плане виднелась та вошедшая в историю излучина реки, что получила название Гринвич-Рич. По ней шли корабли — одни в Лондонский порт, другие в чужие края. Этот вид Лондона столетиями открывался перед путниками, приближавшимися к столице по Дуврской дороге. Я не знаю места, с которого бы панорама Лондона казалась более величественной.

В этом парке есть несколько прекрасных каштановых аллей, посаженных по указанию Якова I. Вероятно, во всем Лондоне не найти более старых деревьев. Одной из любопытных реликвий является «Дуб королевы Елизаветы», от которого ныне остался лишь заросший плющом пенёк с дуплом; дерево стояло на этом месте вплоть до 1875 года. Во всяком случае, так написано на мемориальной табличке. Неожиданно для себя я оказался в очень милом саду, где увидел несколько огромных кедров. На фоне типично английского паркового ландшафта они выглядели весьма необычно. Старый садовник сказал мне, что перед войной сотни японских туристов посещали Гринвич специально для того, чтобы посмотреть на эти кедровые.

— Некоторые, — сказал он, — кланялись до земли и, когда входили в сад, вели себя так, как ведут в своих храмах. Знаете, японцы в обыкновенных европейских костюмах и кланяются деревьям... Странное, доложу я вам, зрелище.



На мой взгляд, гораздо более экзотической достопримечательностью, чем кедровая роща, является Королевская обсерватория, расположенная на вершине холма. В прежние времена можно было увидеть, как медленно раздвигаются ее похожие на луковицы купола. Они раскрывались, подобно перезревшему на солнце плоду, который лопается от жары. В этих куполах были скрыты мощные телескопы, с помощью которых королевские астрономы исследовали вселяющие ужас просторы космоса. Но теперь и Королевская обсерватория, и ее астрономы переехали в Херстмонсе в графстве Сассекс.

Но с помощью этих телескопов они, конечно, не сумели бы установить нулевой меридиан! На него стоит взглянуть, но должен сказать, что для долготной линии такой важности он выглядит необычайно скромно. Это всего лишь черта, которая пересекает аллею. Она начинается в точке внутри обсерватории и постепенно теряется где-то в кустарнике. Система исчисления среднего времени по Гринвичу производит несколько более яркое впечатление. В расположенной на восточной стороне обсерватории башенке имеется сигнальный шар. В мгновение, когда наступает час дня по Гринвичу, шар с такой пунктуальностью падает вниз, что ни у кого не возникает желания усомниться в точности времени. Лично мне жаль, что астрономам пришлось покинуть Гринвич после стольких лет пребывания в нем (и после того, как Гринвичский меридиан был отмечен на картах). Но они, несомненно, сохраняют память об этом маленьком здании, в котором они еще со времен Карла II изучали Вселенную.

Существующий поныне роскошный Гринвичский дворец начинал свою жизнь как госпиталь для отставных моряков. Теперь же он стал Королевским военно-морским колледжем. Датский архитектор Стен Расмуссен, автор лучших книг о Лондоне, написанных иностранцами, считал, что дворцу «абсолютно не подходила роль госпиталя». И разумеется, был прав. Любой дворец, в котором когда-либо проживал король Англии, не обладает и половиной великолепия, присущего Гринвичскому дворцу. Можно себе представить, как изумлялись в прежние времена иностранцы, когда, проплывая по Темзе, узнавали, что Гринвичский госпиталь — не королевский дворец, а прибежище уставших от жизни моряков.

Думаю, во всей Англии, от мыса Лэндс-Энд и до границы с Шотландией, вы не найдете более трогательного памятника любви и уважения морякам, которые в этой стране, чья сила издавна опиралась на морское могущество, всегда были в почете. И не будем забывать, что дворец был спроектирован, построен — и передан старым морякам за столетия до полного принятия обществом демократических ценностей, которые, как принято считать, являются побудительным мотивом любых благотворительных акций.

Дворцовый комплекс разделен надвое проходящим через него шоссе. Та часть, которая расположена ближе к реке, и есть военно-морской колледж. Здесь везде бросается в глаза итальянское великолепие, свойственное творениям Рена в период расцвета его гения. За колледжем, чуть выше, стоит изысканный Дворец королевы, построенный Иниго Джонсом для Анны Датской. Рен, которому не позволили снести этот дворец, построил здание военно-морского колледжа перед ним, но сделал это так, что со стороны реки Дворец королевы смотрится вполне органично, а более

поздние здания образуют для него нечто вроде огромной рамки.

В колледже открыты для свободного посещения лишь часовня и Расписной зал. Однако во Дворце королевы находится один из самых интересных музеев страны — Национальный морской музей. Он был основан перед последней мировой войной по постановлению парламента, в соответствии с которым экспозиция музея должна рассказывать об истории военно-морского, торгового и рыболовецкого флотов.

Я ходил по залам этого музея, каждый из которых посвящен какой-либо стороне морского дела древности или современной эпохи. Поднимаясь по лестнице, я услышал, как пробил склянки колокол какого-то корабля. Казалось, мы находимся в открытом море. Спустившись вниз, я увидел хранителя музея, который и отбивал склянки. Он пояснил, что это колокол с фрегата флота Его Величества «Вэнгард». Лестница из тика, снятого со старых линейных кораблей, вела в изумительную картинную галерею, где глядели с полотен адмиралы в костюмах из бархата и обрамляющих лица пышных париках. Они стояли на берегу моря и смотрели вдаль, а у них за спинами мчались по волнам военные корабли.

На церемонии открытия Георг V подарил музею судовой журнал второй экспедиции капитана Кука. Я обратил внимание на красивый портрет Кука, написанный Натаниэлем Дансом, и на яркое полотно Дзоффани, которое весьма выразительно показывает сцену трагической гибели Кука: в 1779 году дикари Гавайских островов насмерть забили его дубинками.

Но главный кумир этого музея, конечно же, Нельсон. Как объяснить ту сверхъестественную притягательность, которой обладает фигура Нельсона в наши дни, когда большинство людей знает о нем только то, что он был «надеждой Англии», полюбил Эмму

Гамильтон и погиб в момент триумфа? И все же образ Нельсона до сих пор привлекает внимание. Возле каждой посвященной ему экспозиции собирается раз в двадцать больше посетителей, чем у любой другой экспозиции музея. Наблюдая, как они разглядывают его портреты, удивляешься тому, сколь часто Нельсон, несмотря на кочевую жизнь военного моряка, находил время позировать портретистам. Затаив дыхание, посетители музея осматривают каждый предмет, освященный прикосновением адмиральских рук. Наибольший интерес вызывает, естественно, повседневный мундир, который был на Нельсоне в день Трафальгарского сражения, когда в него попал снайпер, укрывшийся на марсе бизань-мачты французского корабля «Редутабль». Хорошо заметно отверстие, оставленное пулей, которая угодила в верхнюю часть левой лопатки. Помимо прочего, этот мундир опровергает совершенно абсурдное мнение, что, в силу своего невероятного тщеславия, Нельсон выходил на палубу не иначе как при полном параде и что, сверкая наградами, он становился легкой мишенью для противника. На этом мундире, как и на двух других, выставленных в той же витрине, имеются дубликаты четырех орденов адмирала, не приколотых к ткани, а намертво к ней пришитых (так было принято в то время). Роковую мушкетную пулю привлекло не тщеславие Нельсона, а заметный издалека адмиральский мундир, выделявшийся на фоне остальных.

В каждом зале музея есть нечто достойное внимания, но зал Нептуна вызвал у меня особый интерес. Зайдя в этот зал, сотни людей могут полюбоваться лучшими моделями всевозможных кораблей, среди которых есть старинные галеоны, линейные корабли, фрегаты, бриги и суда других типов, вплоть до самого современного линкора и изящного океанского лайнера. А со стен зала на эту огромную

флотилию взирают издавшие виды ростры кораблей, бороздивших океанские просторы. Совершенно непохожи друг на друга две крупномасштабные модели. Одна воспроизводит битву при Трафальгаре, а другая морское сражение в Атлантике времен последней мировой войны. На первой показаны боевые корабли, которые находятся друг от друга на расстоянии абордажного боя. Они ведут огонь бортовыми пушками с дистанции в несколько ярдов, а команды вот-вот перепрыгнут со своей палубы на палубу противника. На другой корабли противоборствующих сторон не видят друг друга, поскольку их разделяет огромное пространство океана, но все же находятся в пределах пушечного выстрела.

Дворец королевы, который связан с музеем двумя колоннадами, также можно причислить к историческим достопримечательностям. Он был построен для Анны Датской, супруги Якова I. Строительство завершилось к 1620 году; доживи Анна до этого времени, она вполне могла поселиться в этом дворце — первом «современном» здании, возведенном в Англии. Архитектор Иниго Джонс, изумивший Лондон своей итальянской пьяцей в Ковент-Гардене, построил этот дворец в итальянском стиле, который впоследствии стал образцом для всех крупных зданий Англии.

Толпы посетителей, блуждающих ныне по залам этого дворца, не замечают никаких архитектурных новшеств и считают это здание одним из многих мраморных дворцов, у которых такие высокие окна и дверные проемы, словно их строили для великанов. Подобная невнимательность неудивительна, поскольку для того, чтобы заметить строгую простоту и благородство фасада этого дворца и его внутренних помещений, необходимо обладать чувством архитектурной гармонии (и, быть может, пожить, для контраста, в одном из хаотических дворцов династии

Тюдоров). Этот дворец стал первым в своем роде: он изначально предназначался для проживания семьи, а не для того, чтобы держать в нем свору средневековых слуг. Большой зал, издавна служивший в Англии общей гостиной, превратился в вестибюль, из которого можно попасть в другие помещения. Должно быть, в эпоху, когда еще считались новыми застекленные остроконечные громады Бэрли, Хатфилда, Ноула, Хардвика и Одли-Энд, Дворец королевы вызывал удивление. Он стал частицей Италии в Гринвичском парке. Тысячам англичан, получивших сегодня возможность повидать множество просторных частных владений, хозяева которых уже не в состоянии их содержать, стоит посетить Гринвич, хотя бы ради того, чтобы полюбоваться зданием, благодаря которому вошел в моду новый архитектурный стиль. Впоследствии эти архитектурные идеи привели к появлению таких каменных шедевров, как Бленхейм, Вентворт-Вудхаус и Ситон-Делаваль. Я упомянул лишь три здания, но на самом деле их куда больше. Все они, хотя и отличались от Дворца королевы большими размерами, были построены в той же манере и способствовали ее распространению по всей стране. Новые дворцы, возведенные Иниго Джонсом в Гринвиче и Уайтхолле, оказались первыми материальными свидетельствами изменения архитектурных пристрастий, что со временем привело к появлению не только классических дворцов, но и изящных домов из красного кирпича, в которых жили священнослужители, особняков и даже обычных домов, расположенных на известных лондонских площадях и улицах. Этот стиль изменил внешний вид всех строений, вплоть до крохотного обиталища самого заурядного ремесленника эпохи Регентства, который также притяжал на модный архитектурный стиль.

В этом доме жили две королевы династии Стюартов: жена Карла I — Генриетта Мария и жена Якова II —

Мария Моденская. Когда супруга Вильгельма Голландского Мария взшла на трон, она не захотела жить во доме, где все напоминало об отце, трон которого ей столь неохотно позволили занять. Об ее отношении к этому дому можно судить не только по отказу в нем жить, но и по той битве, которую она выдержала, желая его сохранить. Если бы не она, здание снесли бы во время перестройки Гринвичского дворца. Именно Мария предложила разделить новый дворец на две части и оставить между ними свободное пространство, благодаря которому из старого Дворца королевы открывался бы вид на реку и корабли.

Стараниями Марии новый Гринвичский дворец стал морским госпиталем. Королеве давно хотелось основать для моряков приют наподобие Королевского госпиталя в Челси. Выказав эти достойные восхищения желания, она в возрасте тридцати двух лет неожиданно умерла от оспы, а убитый горем Вильгельм приложил все усилия, чтобы осуществить планы своей супруги.

## 5

Я спускался с холма в направлении Королевского военно-морского колледжа. Наступила смена прилива. К берегу все еще причаливали моторные катера с толпами туристов. Размышляя о том, что мне сегодня удалось увидеть, а что осталось на следующий раз, я подумал, что поездка в Гринвич, пожалуй, самое лучшее развлечение, которое может предложить Лондон в жаркий летний день.

Полтора столетия тому назад, когда Гринвич все еще был сельской местностью, он считался одним из самых привлекательных пригородов Лондона. Но сегодня, увы, никто его так не назовет. Газопроводы, элеваторы и высокие дымовые трубы до неузнаваемости изменили

берега реки, а вода в Темзе стала серой и маслянистой. На покрытом тиной клочке береговой линии я заметил двух мальчуганов в купальных костюмчиках, неторопливо входивших в грязную воду. Это зрелище вызвало у меня чувство изумления и тревоги, но сидевшая неподалеку мать не выражала ни малейшего беспокойства.

Войдя на территорию Королевского военно-морского колледжа, я увидел, что в Гринвиче теперь полным-полно специалистов по морской технике (не называть же моряками тех, кто выходит в море на плавучих электростанциях!). Когда-то город кишел старыми моряками, получившими увечья во время Наполеоновских войн. Купив в колледже превосходный путеводитель, я выяснил, что здесь некогда проживали две тысячи ветеранов, из которых девяносто шесть человек были старше восьмидесяти лет, шестнадцать старше девяноста, а один утверждал, что ему сто два года! Общий возраст группы из ста таких вот старичков составлял приблизительно восемь тысяч двести пятьдесят два года!

Эти старики питались главным образом бульоном, а в постные дни получали гороховый пудинг. Мясо, как правило, не входило в их рацион, но в тех редких случаях, когда его выдавали, они устраивали самые настоящие поединки за кусок «бычьего мяса». Каждый из них еженедельно получал шиллинг на табак, а требование у администрации было только одно: вести себя «пристойно». Провинившихся стариков, в качестве наказания, заставляли носить желтые куртки с красными рукавами и подметать площадь — таково было худшее наказание, которое им грозило. В отличие от старых солдат, которые, насколько я помню, никогда не пытались улизнуть «на волю», пожилые моряки делали это неоднократно, причем их побегам способствовал длительный мир, наступивший на морях после



Трафальгарского сражения. Торговый флот испытывал острую потребность в опытных моряках, так что отставники без труда могли получить хорошую работу. Некоторое время спустя в Королевском военно-морском госпитале обнаружили, что количество его обитателей резко сократилось. В конце концов финансирование было приостановлено, и госпиталь прекратил свое существование.

Интересно, как эти старики, сражавшиеся в битвах на Ниле и при Трафальгаре, восприняли бы сегодняшних молодых людей, которые превосходно разбираются в радарах и учатся вести стрельбу по кораблям, скрытым за линией горизонта? Как отнеслись бы к летчикам палубной авиации? Что сказали бы, увидев в подзорные трубы какой-нибудь авианосец или современный линкор? Думаю, потрясение было бы столь сильным, что костыли, палки и деревянные протезы заходили бы ходуном, а глаза словно бы приклеились к окулярам подзорных труб.

Теперь в колледже, возведенном из серебристо-черного портлендского камня, уже не увидишь храбрых моряков прошлого. Вместо них сюда приходят сотни молодых людей с математическим складом ума. С учебниками под мышкой они бодрым маршем перемещаются из одной аудитории в другую. Их мысли заняты решением непостижимо сложных проблем современного судовождения. Среди них есть и студенты из различных частей света, поскольку теперь Гринвич стал военно-морским университетом стран Британского Содружества. Его ректором является адмирал, а функции старшего воинского начальника исполняет капитан 1-го ранга. Некоторые студенты в течение трех лет изучают кораблестроение или электротехнику, другие слушают курсы лекций по истории или иностранным языкам, а третьи занимаются металлургией, химией и прикладной механикой. (И

несмотря на это их, называют моряками!) Имеется также и колледж по подготовке штабных офицеров. Трудно в это поверить, но в нем можно встретить даже адмиралов, которые усваивают технические аспекты ведения современных морских войн.

Туристам, разумеется, запрещено нарушать учебный процесс, так что я покорно отправился изучать немногочисленные доступные публике достопримечательности колледжа: мрачную и внушительную часовню и Расписной зал — самую необычную кают-компанию в мире.

Я знал, что Расписной зал достоин внимания, однако, поскольку побывал в нем в разгар реставрации, и не подозревал, как он великолепен — построенный Реном, расписанный Торнхиллом, изобилующий картинами и другими предметами искусства. Четыреста офицеров могут пообедать в нем, разместившись за длинными полированными столами, а потолок поддерживают витые колонны работы Торнхилла. На столах сверкают серебром подсвечники, сделанные по образцу тех, что принадлежат Адмиралтейству. Все это создает ни с чем не сравнимую атмосферу пышности и роскоши.

Когда, поднявшись по ступеням,ходишь в этот зал, то сразу замечаешь группу изумленных посетителей. Запрокинув головы, они разглядывают потолок, роспись которого потребовала от Торнхилла девятнадцати лет напряженного труда. Большинство работ, выполненных им в сельских домах, не сохранилось, а фрески, которыми украшен купол собора Святого Павла, были закончены другими и подверглись реставрации. Лишь этот потолок в полной мере свидетельствует о том, каким он был художником. Вы видите Вильгельма и Марию, окутанных аллегорическим облаком, королеву Анну и принца Георга Датского, фигуры которых окружает такое же облако, высадку Вильгельма Оранского в Торбее и прибытие Георга I в Гринвич; в

углу художник оставил свой автопортрет, который часто можно увидеть на других его работах.

Торнхиллу было всего лишь пятьдесят девять лет, когда он скончался. Родившись при Карле II, он жил и работал при Якове II, Вильгельме и Марии, королеве Анне и Георге I, а умер спустя семь лет после восшествия на престол Георга II. Каким же бурным, наполненным великими людьми и событиями был этот исторический период! Он вместил в себя реставрацию монархии, мятеж, иностранное вторжение, мирное прибытие и вступление на престол Георга I. Различные образы, запечатленные Торнхиллом на этом потолке, символизируют насыщенную, беспокойную эпоху перемен, в которую ему довелось жить. Должно быть, роспись потолков является наиболее изнурительной и тяжелой формой живописи; судя по всему, Торнхилл считал ее в три раза более трудной, нежели роспись вертикальных поверхностей. Он согласился сделать роспись стен зала по цене 1 фунт за квадратный ярд, но запросил по 3 фунта за каждый квадратный ярд потолка. Когда девятнадцатилетняя работа была закончена, бессердечные подрядчики отказались пойти ему навстречу и расплатились, взяв за основу выставленную им предварительную стоимость работ, которая составляла около 300 фунтов в год.

Смотритель зала указал мне на расположенную наверху маленькую комнату, которая теперь служит одним из подсобных помещений.

— Когда здесь прощались с усопшим Нельсоном, — сказал он, — его тело на ночь переносили в ту маленькую комнату. Мы называем ее комнатой Нельсона.

Снова Нельсон. Головы всех присутствующих повернулись в указанном направлении, и я услышал шепот, который свидетельствовал о том, что это сообщение вызвало подлинный интерес. Но смотритель

умолчал о том, что желавших попрощаться с усопшим были чрезвычайно много и для соблюдения порядка пришлось выставлять караул из вооруженных абордажными пиками моряков. Когда люди входили в зал, они видели подсвечники с небелеными свечами и гроб, на котором покоилась корона виконта. Возле покойного стоял священник, с каждым днем становившийся все более изможденным. Священника звали преподобный Александр Скотт, и он был капелланом «Виктори», тем самым, который потерял присутствие духа, когда корабль вступил в бой, и принялся твердить, что фрегат становится «похож на лавку мясника». Но потом взял себя в руки и, спустившись в лазарет, опустился на колени перед умирающим Нельсоном и не отходил от адмирала до самой кончины последнего. Более того, он провел рядом с телом покойного две недели, не покидая Нельсона ни днем, ни ночью. К моменту похорон он от усталости и горя почти обезумел. Этот священник написал леди Гамильтон: «Когда я, отстраняясь от почитаемого всеми героя, вспоминаю о том, каким замечательным и дружелюбным человеком он был, какой обладал благородной и чистой душой и какими манерами, я теряю рассудок, понимая, кого потерял». Вместо «я» он имел все основания написать «мы» — за себя и за Эмму Гамильтон.

Сегодня, спустя почти сто пятьдесят лет, посещение Гринвича доказывает, что в нашей памяти все еще живет образ «замечательного и дружелюбного» адмирала Нельсона.

В ожидании катера, который должен был доставить меня в Лондон, я прогуливался по пристани и размышлял о первом Гринвичском дворце, который снесли ради существующих ныне зданий. Его лучшие времена пришлось на эпоху правления Генриха VIII и

Елизаветы. Должно быть, он имел сходство с дворцом Хэмптон-Корт, хотя его окружала более привлекательная местность, река была шире, а за раскинувшимися вдоль ее берегов лугами открывался чудесный вид на шпиль стоявшего выше по течению собора Святого Павла.

Генрих VIII родился в Гринвиче и обожал это место. На старинных гравюрах Пласентии, а именно так назывался этот дворец, можно различить прижавшиеся друг к другу низкие кирпичные строения, стены с башенками, ворота, внутренние дворы, башни и расположенные на берегу реки сады. На задворках дворца находились кузницы и мастерские немецких оружейников, именно там они ковали для Генриха доспехи. Имелось и ристалище, над которым возвышалась сторожевая башня, стоявшая там, где сейчас находится Дворец королевы. С башни королева и ее придворные дамы наблюдали за рыцарскими турнирами.

Этот дворец был свидетелем безумной страсти Генриха к Анне Болейн и его развода с Екатериной Арагонской. Еще когда Екатерина находилась в Гринвиче, король, как это было и в Хэмптон-Корт, завел себе любовницу. Когда же бедную королеву выгнали из дворца и состоялся развод, именно из Гринвича ненавистная лондонцам Анна Болейн отправилась на лодке в Тауэр, где и провела ночь перед коронацией.

— Тебе нравится город, дорогая? — спросил Генрих, когда на следующий день в аббатстве он помогал Анне сойти с ее великолепного паланкина.

— Город весьма хорош, — ответила она, — но я заметила великое множество шляп на головах.

Спустя четыре месяца в Гринвиче родилась будущая королева Елизавета. Родители были разочарованы ее появлением на свет. Они настолько не сомневались в рождении сына, что королевский печатник уже составил

уведомление о рождении принца, но теперь ему пришлось вносить исправления. Через три года Анна, наблюдая за турниром, бросила вниз носовой платок. Его поднял какой-то рыцарь, поднес ко лбу и вернул королеве на острие своего копья. Увидев это, король, к ужасу двора, резко встал и покинул турнир. Ночь Анна провела в Тауэре, в тех же покоях, которые занимала перед коронацией, а спустя несколько недель ее казнили на Тауэр-Грин.

В правление Елизаветы старый дворец снова познал радость и веселье, знакомые ему по юным годам отца королевы. Он стал пристанищем веселого двора, аренной кутежей и балов. В мае королева со своими придворными выезжала из дворца, и вся кавалькада совершала поездку к живым изгородям Льюишэма. В эти утренние часы в рощах и на лугах раздавался звонкий смех. В Гринвиче осталось множество следов пребывания Елизаветы. Куда менее, чем отчет Пауля Хентцнера, известен документ, составленный другим немцем, Лупольдом фон Веделем из Кремцова, приехавшим в Англию в 1585 году. Заслуживает особого внимания написание упомянутых им лондонских названий: Уайтхолл превратился в «Вейтхол», Хэмптон-Корт стал «Хемпенкортом». И неудивительно, что он отправился вниз по Темзе с целью встретиться с королевой в «Грюневице».

В то время Елизавете было пятьдесят два года. Ведель ожидал ее возвращения из церкви в дворцовой столовой.

Королева вошла, облаченная «в черный бархат, богато украшенный серебряным шитьем и жемчугом. Поверх платья на ней была серебристая шаль, которая сплошь состояла из ячеек и была прозрачной, словно кусок газовой ткани... Пока она была в церкви, в уже описанном мною помещении, под балдахином из золотой ткани, подготовили длинный стол. Когда она вернулась

из церкви, на этот стол поставили сорок больших серебряных блюд с различными сортами мяса. Каждое блюдо было сделано из золоченого серебра. Она в полном одиночестве заняла место за этим столом... После того как королева села, в конце помещения, подле двери, был установлен другой стол и пять графинь заняли места за этим столом. Одетый в черное молодой дворянин принялся резать на куски предназначенное для королевы мясо, а такого же возраста дворянин в зеленом подносил ей напитки. Он должен был стоять на коленях, пока она пила. Как только кубок пустел, кравчий поднимался с колен и убирал посуду. У стола, справа от королевы, стояли дворяне высокого звания, как, например, милорд Говер (лорд Говард Эффингемский. — Г. М.). Его именуют управляющим двором, но в Германии его звание соответствует званию гофмейстера. Далее находился главный конюший, милорд Лестер. Говорят, у него в течение долгого времени была любовная интрига с королевой. Сейчас он женат».

Затем Ведель излагает, как рыцари и дворяне, впереди которых шли оруженосцы с белыми жезлами в руках, вносили различные блюда. Играли музыканты, а королева постоянно с кем-нибудь разговаривала, подзывая к себе различных людей, которые стояли перед ней на коленях до тех пор, пока она не приказывала им встать. Когда королева покончила с едой, пять графинь поднялись со своих мест и, дважды сделав глубокие реверансы, удалились в другую часть помещения, где и встали в ожидании. Затем Елизавета поднялась и повернулась спиной к столу. Тогда вышли два епископа и прочитали благодарственную молитву. После этого на колени перед королевой опустились три графа с большим тазом из золоченого серебра и два дворянина с полотенцем. Сняв кольцо с пальца, она

передала его лорду-гофмейстеру. После того как ей на руки вылили воду, она снова надела кольцо.

Королева уселась на подушку, лежавшую на полу, и начались танцы. Сначала танцевали лишь самые именитые придворные, но затем и молодые люди, сняв мантии и шпаги, стали приглашать на танец молодых дам. Все это время королева сидела на подушке и, подзывая к себе мужчин и женщин, без умолку с ними беседовала.

«Она весьма мило болтала и шутила и, указав пальцем на одного из них, шкипера, или капитана Ролла (Рэли. — Г. М.), сказала, что на лице у него грязное пятно. Она предложила шкиперу свой носовой платок, но он предусмотрительно вытер лицо сам. Говорят, что сейчас она выделяет его более всех прочих, и этому вполне можно верить, поскольку еще год назад он едва мог держать одного слугу, тогда как теперь, благодаря ее щедрости, может позволить себе держать пятьсот слуг».

Рэли начал свое восхождение к славе в Гринвиче; считается, что знаменитый случай с плащом<sup>[55]</sup> имел место у сторожевой башни, когда-то находившейся там, где ныне стоит Дворец королевы. Легенда гласит, что на окне Гринвичского дворца Рэли нацарапал: «Охотно бы поднялся, да вот боюсь упасть». К этой фразе Елизавета добавила: «Если тебя подводит сердце, то лучше и не пробуй».

Великим для Гринвича стал тот день, когда Дрейк, первый англичанин, совершивший кругосветное плавание, вошел на своей «Золотой лани» в Темзу и двинулся вверх по течению, в Дептфорд. Проплывая мимо дворца, он дал салют из пушек в честь королевы. Елизавета прибыла в Дептфорд и посвятила Дрейка в рыцари прямо на палубе его корабля. Именно в Гринвиче Елизавета подписала смертный приговор Марии, королеве шотландцев. В этом старом дворце собирался



и совет, которому надлежало разработать план сопротивления Великой Армаде.

Вспоминается один любопытный эпизод пребывания великой королевы в Гринвиче. Она заставила шотландского посла ждать себя в комнате, где намеренно был приподнят угол гобелена. По этой причине посол мог заглянуть в соседнюю комнату, в которой престарелая королева танцевала под звуки скрипки. Будучи дипломатом, посол, вероятно, понял, что ему специально позволили это увидеть, в надежде на то, что, вернувшись в Шотландию, он скажет своему господину, королю Якову: Елизавета еще достаточно молода и энергична, так что лучше выбросить из головы мысли о наследовании ее престола.

Тем временем к пристани подошел маленький катер. Когда мы двинулись в направлении Лондона, я подумал, что замечательно провел день и что еще долго буду вспоминать эту поездку в Гринвич.

## 6

Я прибыл в Хэмптон-Корт в разгар летнего дня. Водную гладь Темзы усеяли гребные лодки, а на берегах разместились многочисленные группы людей, решивших отдохнуть у воды. Через равные промежутки времени причаливал пароход, доставлявший экскурсантов из Лондона, вверх и вниз по течению курсировали лебеди, казалось, попавшие сюда из какой-то волшебной сказки. Перекусив у носового иллюминатора «Митры», я обвел взглядом дворец и подумал о том, что в последний раз видел его во время снежного бурана.

Это случилось в один из воскресных дней посреди зимы, когда, в приступе благородства, я решил найти какого-нибудь мальчика из подготовительной школы в Эскоте и забрать его на прогулку до вечера. Мне пришлось

в голову, что, хотя мы и нарушим правила, если отважмся нагряться в Лондон, посидеть за чаем в моем клубе и вернемся к вечерней молитве, зато совершим волнующее путешествие.

В юности такого рода вылазки всегда приводили меня в восторг. Но когда я предложил свой план мальчику лет двенадцати, меня резко осадил, и я пришел к выводу, что современная молодежь стала либо законопослушнее, либо более робкой.

— Это запрещено, сэр, — заявили мне с убийственным высокомерием. — Мистер Уорнер будет крайне недоволен.

— Ну хорошо, а куда ты хотел бы съездить? — спросил я, сожалея о том, что провожу этот морозный день в Эскоте.

— А нельзя ли съездить в Хэмптон-Корт, сэр? — спросил мальчик.

Невозможно было представить себе менее подходящего дня для подобной экспедиции, но все же мы вскоре отправились в путь. Остановившись в Стейнсе, мы вышли на плавучую пристань и понаблюдали за проносившимися мимо нас ледяными водами разлившейся Темзы. Небо было синим, шел дождь, вскоре обещавший перейти в снег.

Когда мы прибыли в Хэмптон-Корт, на крыше дворца лежал тонкий слой снега, и возвышавшееся в серой дымке зимнего дня старое здание казалось заброшенным. Действительно, кроме нас с мальчиком, каких-либо экскурсантов заметно не было. Мне пришло в голову, что я, подобно большинству людей, посещал это место лишь в погожие (или предположительно погожие) летние деньки. Сейчас передо мной был другой Хэмптон-Корт, но на него явно стоило посмотреть. Этот Хэмптон-Корт напоминал об охоте в окрестных лесах, кострах и горячем вине. Он рисовал в воображении не Карла II и дам в спадающих с белоснежных плеч

атласных платьях, а кардинала Уолси и Генриха VIII в меховых накидках и ледяной ветер, свистящий в коридорах и пролетах каменных лестниц. За дверями облицованных панелями комнат с низкими потолками и гобеленами на стенах, уютно устроившись у камина, король и кардинал смотрели, как тянутся в дымоход языки пламени.

Как только мы оказались во дворце, мальчик, совсем недавно убеждавший меня, что история — его увлечение на всю жизнь, откровенно заскучал, хотя я изо всех сил пытался пробудить в нем интерес. Похоже, у него была какая-то идея. Нам пришлось пройти несколько галерей и приемных залов, прежде чем выяснилось, что он приехал в Хэмптон-Корт с единственной целью — взглянуть на Галерею привидений. После этого открытия мы направились напрямик в галерею, название которой звучало особенно заманчиво в этот пасмурный зимний день.

— Видите ли, сэр, у Ходжеса есть книжка под названием «Дома с привидениями», которую мы читаем в общей спальне по ночам. Так вот, в этой книжке написано, как призрак Екатерины Говард...

Когда мы услышали приближающиеся шаги, мальчик побледнел, на его лице появилось совершенно очаровательное выражение неподдельного страха. Это, разумеется, был смотритель, но он знал, что именно мы желаем услышать, и потому сообщил, что призраков здесь много, но три самых известных — это призраки Джейн Сеймур, Екатерины Говард и миссис Сибилл Пенн, кормилицы Эдуарда VI. Еще он поведал нам, что призрак Джейн Сеймур, с горящей свечой в руке, появляется темными ночами и что призрак несчастной Екатерины Говард, которой в момент казни было всего двадцать лет, с пронзительными криками бредет в направлении часовни, где Генрих слушал мессу, когда палач приводил в исполнение смертный приговор. Призрак

Сибилл Пенн ассоциируется со звуком прялки, который слышали во дворце много лет тому назад. Этот звук невозможно спутать с каким-либо другим и невозможно объяснить. Во время ремонта галереи, проводившегося Управлением общественных работ, был обнаружен проход в ранее неизвестную комнату. В ней те, кто знал о таинственных звуках, к своему удивлению, нашли старинную прялку, педаль которой оставила глубокую царапину в полу.

Как ни странно, о призраках тех, кого ожидаешь здесь встретить, никто никогда не слышал. А ведь логично было бы ожидать встречи в коридорах Хэмптон-Корта, допустим, с кардиналом Уолси, самим Генрихом, быть может, с Екатериной Арагонской и, конечно же, с Анной Болейн.

Те, кому приходилось вывозить школьников на экскурсию, возможно согласятся со мной: никогда не угадаешь, что еще может произойти. Вдруг окажется, что вы сидите верхом на слоне или переписываете номера локомотивов в Паддингтоне. Впрочем, финал моего дня оказался совершенно предсказуемым. В результате долгих хождений по дворцовому лабиринту я промерз до костей, но, поскольку перестал сетовать на собственную глупость и огорчаться из-за того, что оказался в смешном положении, мне даже стало нравиться это развлечение. Лабиринт был усыпан снегом, грунтовые тропинки заледенели, и мы, разумеется, были единственными узниками. Мальчик, как и все дети, без труда нашел выход и с ликованием ждал, когда я выберусь из лабиринта.

— Это и в самом деле очень легко, сэр, — объяснял он. — Я двигался по системе Смита Майнора, как можно быстрее направо, потом еще раз направо, а потом все время налево.

Когда-нибудь, подумалось мне, надо будет вернуться в лабиринт и проверить систему Смита

Майнора. По возвращении в школу ее директор пригласил меня в свой кабинет и угостил бокалом шерри. При этом он выразил надежду на то, что мы с пользой провели день.

— Я уверен в том, что вы углубили его знания, — сказал он с явным сарказмом. — Я и не знал, что этот мальчик так интересуется историей. Во всяком случае, сей интерес никоим образом не повлиял на его успеваемость.

Теперь, теплым летним днем, я снова шел по широкой аллее, которая вела к дворцу. На сей раз моими спутниками оказалась толпа экскурсантов, которые летом постоянно приезжают сюда из Лондона. Некоторые катили перед собой детские коляски, другие несли и детей, и корзинки для пикника. Кто, размышляя, может оценить то воздействие, которое подобные здания оказывают на воображение обычной публики? Они — часть наследия английской нации, они производят впечатление на миллионы людей. Некоторые бродят по их залам со скукой на лице, хотя подсознательно, быть может, понимают, что эти здания хранят в себе нечто важное. Другие просто отдают дань пристрастию англичан к выездам за город, третьи стремятся постоять среди шедевров прошлого и набраться впечатлений — и, может статься, осознать, что и сами каким-то непостижимым образом связаны с этим великолепием.

Для меня Хэмптон-Корт — место, где легче всего представить, какой была повседневная жизнь Генриха VIII и его великой дочери, увидеть, будто наяву, как зимой они сидели у камина, а летом играли в теннис и занимались садом, выезжали поохотиться на оленя, танцевали и веселились вместе с друзьями. Однако большинство прежде всего начинает осмотр с покоев Стюартов и лишь под конец заглядывает в более старые

комнаты Тюдоров и в Большой зал, в котором кутил Генрих VIII и в котором, возможно, играл Шекспир.

Я бы предложил посетителям осматривать Хэмптон-Корт в хронологической последовательности. Вместо того чтобы начинать осмотр с покоев Стюартов, я бы предпочел войти в Большой зал, пройти по немногочисленным комнатам Тюдоров, в свое время богато украшенных гобеленами и обставленных дубовыми креслами, столами, буфетами и часами; затем следует заглянуть в те комнаты, в которых четыре столетия тому назад жили Уолси и Генрих VIII.

Кардинал Уолси выбрал в качестве своего загородного дома Хэмптон-Корт, поскольку лекари сказали ему, что это самое здоровое место из всех, расположенных в пределах двадцати миль от Лондона. Как и многих других крупных и здоровых мужчин, Уолси пугала мысль о том, что он может заболеть; загородный дворец стал убежищем, куда он скрылся во время чумы, покинув людные улицы Лондона. Прежде всего он наладил снабжение дворца питьевой водой из находящегося в трех милях Кумб-Хилла. Для этой цели под Темзой, выше Кингстонского моста, были проложены свинцовые трубы.

У кардинала был хороший вкус, он обожал роскошь и великолепие и к тому же имел колоссальные доходы. Вскоре его дворец стал самым величественным в королевстве. Сначала этот дворец привел Генриха VIII в восторг, но потом король стал испытывать зависть. Количество людей, проживавших в этом дворце, изумило бы человека любой эпохи, но людям нашего времени, привыкшим обходиться без слуг, оно кажется просто невероятным. Во главе двух кухонь, одна из которых обслуживала только кардинала, стоял главный повар. Он одевался в бархат и был наделен властью над целой армией подчиненных. Вам покажут маленькую комнату, в которой он составлял меню. В его подчинении

находились восемьдесят поваров-помощников, йоменов и судомоек. Около сотни слуг трудились в гардеробной, прачечной и на лесном складе, не говоря о конюшне, где главный конюший руководил огромным числом конюхов и их подручных. Помимо домочадцев кардинала и челяди во дворце находились шестьдесят священников и служек при часовне, имелся хор и великое множество личной прислуги. Будучи лордом-канцлером, Уолси содержал и второй штат слуг, в который входили герольды, парламентские приставы, менестрели, клерки, оружейники и ливрейные лакеи.

Говорят, что однажды Генрих VIII поинтересовался, зачем его подданному понадобился такой громадный дворец. Уолси, который, очевидно, был готов к подобному вопросу, тактично ответил: «Для того, чтобы подарить его своему монарху». Возможно, он сказал так из вежливости, как это делают испанцы, говоря: «Мой дом — ваш дом», или как арабы, предлагающие гостю все, что его восхищает. Но и араб и испанец ужасно смутятся, если их поймут буквально! А Генрих поймал Уолси на слове и в конце концов стал владельцем Хэмптон-Корта.

После этого дворец превратился в декорацию всех супружеских трагедий Генриха. Каждая из его шести королев гуляла по внутренним дворам из красного кирпича, галереям, садам и парку, каждая познала здесь свое короткое счастье, а одна из них выносила единственного сына Генриха. Одна из королев венчалась с ним в часовне этого дворца. Именно в этом дворце Генрих провел несколько своих медовых месяцев. Впервые он появился в Хэмптон-Корте, еще когда тот принадлежал Уолси, — веселый молодой человек двадцати пяти лет, женатый на Екатерине Арагонской, которой исполнился тридцать один год. Она была вдовой его умершего брата Артура. Они жили счастливо в течение нескольких лет, пока Генрих не

положил глаз на Анну Болейн. Он поселил ее в том же дворце, в котором находилась королева. Став сама королевой, Анна Болейн застала своего мужа в одной из комнат дворца, флиртующим с ее будущей преемницей Джейн Сеймур. Именно в дворце Хэмптон-Корт Джейн умерла от родильной горячки после того, как родила Генриху сына, впоследствии Эдуарда VI.

После смерти Джейн Генрих ожидал в Хэмптон-Корте прибытия из Дувра «восхитительной фландрской кобылицы» — Анны Клевской. «Он был несчастлив в браке», — говорит немного приукрашенный портрет короля работы Гольбейна. Не в состоянии обуздать беспокойство, Генрих переоделся и выехал навстречу невесте. Он нашел ее в одном из домов Рочестера; Анна наблюдала в окно за травлей быков собаками. Генрих, который был необычайно сентиментален, подошел и, не раскрывая себя, преподнес подарок на память. Анна довольно холодно поблагодарила; было очевидно, что ее гораздо больше занимает травля быков. Тогда Генрих удалился в другие покои, облачился в костюм из пурпурного бархата и вернулся к невесте.

Вероятно, утверждать, что Генриху сразу же не понравилась ее внешность, не совсем правильно, поскольку на следующий день он сказал Кромвелю, что хотя Анна «вовсе не так прекрасна, как сообщалось», но все же «довольно хороша». Однако перед заключением брака жених выказал сильное нежелание в него вступать и даже осведомился у членов Совета, действительно ли ему необходимо «подставлять шею под это ярмо». В то утро, когда Генрих должен был вступить в брак, он мрачно заметил: «Если бы не желание доставить удовольствие всему свету и своим подданным, я бы ни за что не сделал того, что сделаю сегодня». Он даже назвал свою невесту «голландской коровой».



Однако самопожертвование короля Англии оказалось недолгим; спустя всего несколько месяцев Анна уже смиренно ожидала дня, когда получит развод и ей будет дарован титул «королевской сестры», который вполне ее устраивал. А находившийся неподалеку от садов и парков Хэмптон-Корта Генрих был пленен девичьей красотой Екатерины Говард. Впрочем, через два года выяснилось, что у его «розы» все же есть шипы, и он, убитый горем, спешно покинул Хэмптон-Корт. К этому времени старый дворец уже приобрел репутацию довольно непристойного места, но ему еще было суждено увидеть шестой и последний медовый месяц Генриха. Если опыт имеет в брачных делах хоть какое-то значение, то Генрих и Екатерина Парр должны были знать секрет успеха. Их бракосочетание состоялось в кабинете королевы. К тому времени Генрих стал тучным и неповоротливым калекой, а Екатерина была изящной светловолосой женщиной тридцати одного года, дважды побывавшей вдовой. Таких, как она, в восемнадцатом веке называли синим чулком. Екатерина владела греческим и латынью и могла вступить в теологический диспут с любым богословом; помимо этого, она обладала значительной долей женского сострадания, которое проявляла в отношении больного короля и трех забытых им детей. Временами Генрих, несомненно, восхищался Екатериной Парр, но когда его терзала больная нога, он не мог подыскать более подходящего человека, чтобы выплеснуть свое раздражение. Есть свидетельства того, что однажды, когда Екатерина посмела поправить его в каком-то богословском вопросе, король впал в ярость, что частенько случалось с ним в зрелые годы. «Хорошенькое дело, — кричал он, — когда женщины становятся такими вот грамотейками. Дожил, на старости лет жена меня уму-разуму учит!» Да, Генрих был больным и сварливым стариком и нуждался в уходе,

но вряд ли оправданно предположение, что его последний брачный опыт завершился превращением в подкаблучника. Впрочем, чего только на свете не случается...

Было бы чрезвычайно интересно узнать, что думала эта умная женщина о Генрихе VIII? Возможно, о чем-то говорит тот факт, что спустя всего несколько месяцев после смерти короля она в четвертый раз вышла замуж и ее супругом стал лорд Сеймур Садли. Говорят, он был влюблен в нее еще до того, как она стала королевой, так что их брак вполне можно было бы счесть браком по любви, если бы этот закончивший свою жизнь на эшафоте человек не отличался коварством и честолюбием. До брака с Екатериной Парр он уже успел поухаживать за Марией, Елизаветой и даже за Анной Клевской!

## 7

В правление Елизаветы Хэмптон-Корт стал дворцом для отдыха, в котором королева пыталась скрыться от государственных дел. Любой человек того времени, ясным зимним утром выглянув в одно из окон, выходящих во Внутренний сад, возможно, увидел бы королеву-девственницу, которая энергично шагает по саду, желая «разогреться». Во время пребывания в Хэмптон-Корте Елизавета регулярно совершала такие прогулки, хотя на людях никогда не позволяла себе ходить быстро, напротив, она «шествовала неспешно и величаво». Она любила Внутренний сад, со стен которого свешивались ветки розмарина, а живые изгороди и деревья были подстрижены так, что своей формой напоминали людей, животных и птиц. В подобной обстановке она беседовала с послом шотландцев Мелвиллом, который оставил

документальное свидетельство того, как Елизавета пыталась заставить его согласиться, что она прекраснее и вообще лучше, нежели королева шотландцев Мария. И хотя Мелвилл был чрезвычайно опытным льстецом, ему с трудом удалось выдержать столь суровое испытание и сохранить верность своей госпоже.

Подобно своему отцу, Елизавета обожала охоту, но, оставаясь верной себе, и здесь проявляла склонность к театрализованным зрелищам. Среди привидений, которые, быть может, обитают в окружающих Хэмптон-Корт небольших виллах из красного кирпича, наверняка есть и призрак Елизаветы, одетой для охоты, являющийся в сопровождении придворных дам в платьях из белого атласа, верхом на прогулочных лошадях. Когда Елизавета приближалась к оленю на расстояние полета стрелы, перед ней неожиданно возникали пятьдесят стрелков с украшенными золотом луками. Все они были в зеленой одежде и алых сапогах. На память стрелки преподносили королеве подарок — серебряную стрелу с оперением из перьев павлина. После того как королева метала свой дротик, вся кавалькада скакала в направлении какой-нибудь тенистой беседки, где для них пели менестрели, а под сенью дубов был накрыт стол.

Вопрос замужества Елизаветы, который в течение долгих лет определял внешнюю политику Англии, впервые обсуждался именно в Хэмптон-Корте, где Сесил представил Елизавете в качестве будущего супруга графа Арранского, первого из многих ее поклонников. Но граф ей не понравился: он не отличался ни умом, ни внешностью. В беседе с испанским послом Елизавета сказала, что «никогда не выйдет замуж за человека, который весь день сидит у камина». Ей нужен был муж, умеющий скакать верхом, охотиться и сражаться. Возможно, вспоминая несчастный брак своего отца, который решил жениться на Анне Клевской, лишь

взглянув на ее портрет (что, впрочем, было тогда традицией), Елизавета не стала делать поспешных выводов на основании миниатюр и картин и заставила молодых людей, которые хотели на ней жениться, ехать к ней через всю Европу. Пококетничав с очередным женихом, она ему отказывала. Думаю, современный психолог легко проследит связь между множеством неудачных браков отца Елизаветы и ее отказом выходить замуж. Итак, Хэмптон-Корт стал местом многочисленных медовых месяцев Генриха, и именно в нем началось длительное сопротивление его дочери вступлению в брак.

В Рождество Большой зал становился центром увеселений. Под потолком натягивали проволоку и подвешивали сотни масляных фонарей. Этот старинный театр становился сценой для маскарадов и пьес, начиная с сочельника и заканчивая Двенадцатой ночью. Сегодня, глядя на этот красивый, сверкающий чистотой и совершенно пустой зал, мы не в состоянии представить, каким он был во времена Тюдоров, когда плотники поднимали сцену, возводили замысловатые декорации, устанавливали деревья из парка, призванные изображать лес, и дома из крашеного холста. В ту эпоху актеры репетировали в Большой приемной палате, а костюмеры, портные и швеи занимались изготовлением необходимых костюмов. Почему бы не снять обо всем этом фильм? Вот если бы кинокамеру изобрели четыреста лет назад и она оказалась бы в руках Лестера, какие кадры, запечатлевшие Хэмптон-Корт в сочельник, дошли бы до наших дней! Мы увидели бы Елизавету и ее придворных дам, которые смотрят пьесу, королеву, танцующую каранто или гальярду, а может, даже отчаянное вольто. Хотя последний танец был запрещен при многих европейских дворах, Елизавета его танцевала; мы можем в этом удостовериться, взглянув на одну из

картин в Пешерсте — партнер Елизаветы по танцу поднимает королеву вверх, словно балерину.

Хэмптон-Корт видел Елизавету и юной рыжеволосой капризницей, отличавшейся крутым нравом, и старой своенравной дамой, дожившей почти до семидесяти лет и носившей рыжий парик. За четыре года до того, как Елизавета умерла, кто-то заметил в окно дворца, как старая королева танцует испанский танец под аккомпанемент свирели и тамбурина. Утро ее последнего выезда выдалось ненастным. Верховые лошади стояли во внутреннем дворе. Лорд Хэнсдон сказал, что «ни разу за все годы правления ее величество не выезжала верхом в такую бурю». Королева пришла в ярость. «За все мои годы! А ну-ка, девицы, быстро на лошадей!»

Так она крикнула и ускакала прочь, хотя ей уже с трудом удавалось держаться в седле. Этим и закончился ее последний приезд в Хэмптон-Корт, а с лордом Хэнсдоном она не разговаривала два дня.

## 8

Королевские покои, главная достопримечательность дворца, были построены Кристофером Реном для Вильгельма и Марии. Их королевские величества сочли старые покои слишком неудобными, и Рен создал покои таких колоссальных размеров, что по ним можно было бродить часами, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться великолепными картинами, высокими кроватями, роскошными часами работы Томпиона и замечательным барометром Дэниела Квора.

Присутствие на стенах этих комнат портретов развратных на вид и похожих друг на друга придворных красавиц эпохи Карла II заставляет некоторых посетителей предполагать, что они осматривают залы, в

которых этот веселый монарх держал свой двор. Но это, разумеется, не так. Приезжая в Хэмптон-Корт, Карл останавливался в старых тюдоровских апартаментах, впоследствии уничтоженных Кристофером Реном. Должно быть, по приезду Карла эти комнаты вновь наполнялись духом минувшей эпохи бесконечных браков. Он привез во дворец свою юную невесту Екатерину Браганца, причем ее прибытие совпало с рождением сына, которого родила Карлу Барбара Каслмейн. Среди напутствий, полученных Екатериной от матери перед отъездом из Лиссабона, было и указание ни при каких обстоятельствах не проявлять терпимости по отношению к леди Каслмейн и не принимать ее ко двору. Но, подобно Анне Болейн, которая в этом же дворце пыталась унижить Екатерину Арагонскую, леди Каслмейн заставила короля представить себя королеве. Совершенно неожиданно и без тени смущения Карл представил ее Екатерине, причем сделал это на виду у всего двора. Он вышел, держа прекрасную Барбару под руку, и подвел ее к трону. Екатерина Браганца не расслышала имени фаворитки и поначалу вела себя с ней чрезвычайно вежливо, но, когда все неожиданно выяснилось, она залилась слезами и упала в обморок. Ее вынесли из тронного зала, торопясь остановить кровотечение из носа.

После Карла II в Хэмптон-Корте не происходило ничего примечательного, если не считать эпизода с кротом. В 1702 году жеребец по кличке Гнедок споткнулся о кучку земли, оставленную кротом. Сидевший на коне Вильгельм III не удержался в седле, упал, ударился о землю и получил травмы, от которых скончался. Якобиты, радуясь смерти «голландского Вильгельма», поднимали бокалы в честь хэмптонкортского крота, «маленького джентльмена в сюртуке из черного бархата».

Осматривая королевские покои, я подумал, что, хотя мне очень хотелось бы увидеть, каким этот дворец был при Генрихе VIII, все же лучше всего он выглядел при Карле I, перед тем как хранившиеся в нем шедевры были выставлены на продажу. Мало кто представляет себе, какое количество сокровищ было утрачено Англией и оказалось в разных странах Европы. Многие из них были безвозвратно утеряны, когда после казни Карла I республиканский парламент продал сокровища королевских дворцов.

Список проданного из дворца Хэмптон-Корт, не говоря об Уайтхолле, привел бы в трепет современных искусствоведов и коллекционеров. Произведения искусства, которые сегодня доступны лишь миллионерам, продавались за несколько сотен фунтов. Тициановская «Венера», которая ныне демонстрируется в мадридском Прадо, ушла всего за 600 фунтов, а находящийся в наши дни в Национальной галерее замечательный портрет Карла I работы Ван Дейка, на котором король с непокрытой головой и в доспехах восседает на гнедом жеребце, был оценен в двести фунтов; наброски Рафаэля для шпалер Сикстинской капеллы были проданы за триста фунтов! (Теперь они находятся в музее Виктории и Альберта.)

Этот самый длительный в истории аукцион продолжался с перерывами в течение трех лет. Дворец изобиловал самыми разнообразными предметами искусства и древностями. Первым их начал собирать Уолси, затем это увлечение разделили Генрих VIII, Елизавета и последующие монархи. Он должен был стать настоящим музеем английской мебели, поскольку в нем хранились кресла и кровати, принадлежавшие еще Уолси, а также балдахины, одежды, музыкальные инструменты, столы, застекленные шкафчики и всевозможные редкости. Хотел бы я знать, в какую сумму оценили бы на аукционе «Кристи» прогулочную

трость Генриха VIII? В 1649 году она была продана за пять шиллингов! Зеркало кардинала Уолси, украшенное его же монограммой, ушло за пять фунтов, а пару перчаток Генриха VIII оценили в один шиллинг!

Распродажа картин из дворца Уайтхолл была не менее катастрофической. Карл разместил эту великолепную коллекцию в специальной галерее. В ней были выставлены двадцать восемь полотен Тициана, девять — Рафаэля, четыре — Корреджио и семь — Рубенса. Пуритане уничтожили все картины, на которых были изображения Христа или Девы Марии. Считается, что они сожгли три картины Рафаэля и четыре работы Леонардо да Винчи. В те времена снимали и прятали подальше все картины, которые могли признать нескромными. О существовании некоторых из этих картин забыли, и только поэтому они сохранились. Именно так сложилась необычная судьба картины «Адам и Ева» работы Мабузе<sup>[56]</sup>, которую сегодня можно увидеть в Хэмптон-Корте.

## 9

Я сидел в парке, наблюдая, как дети играют в мяч, любовался фонтанами, утками и Большой виноградной лозой<sup>[57]</sup>. Потом я увидел старый теннисный корт, построенный в 1529 году Генрихом VIII и по-прежнему используемый членами клуба Королевского теннисного корта, который, несомненно, является старейшим в стране спортивным объединением.

Генрих, который, кстати, был хорошим игроком, возможно, первым в Англии стал надевать теннисные шорты. В Уимблдоне нет и половины той зрелищности, которая была свойственна соревнованиям того времени, ведь шорты короля представляли собой обрезанные снизу кальсоны из шелка или бархата, края которых



были прошиты золотым шнуром. Король начинал свою теннисную карьеру, пользуясь вместо ракетки специально подбитой перчаткой, а твердый мяч был заполнен спрессованной шерстью. Теннисной сеткой служил обшитый бахромой шнур.

Я огляделся, вновь заинтересовавшись тем, что происходит в парке. Под большим деревом сидела парочка влюбленных; когда мне наскучило их разглядывать и гадать, как сложится их судьба и как долго они будут оставаться влюбленными, я стал размышлять об истории хэмптонкортского парка, самого очаровательного английского парка, спланированного в манере Версаля. Вдобавок он, как мне кажется, представляет собой последний из еще сохранившихся в Англии королевских парков в этом стиле. Весьма любопытно было бы проследить, как одни садово-парковые стили приходили на смену другим. Насколько мне представляется, средневековый парк был вариантом монастырского. Ему отводилось скромное место по ту сторону замкового рва, пролежавшего у самого подножья сторожевой башни. Это было обнесенное стеной пространство, внутри которого находились беседки, цветы и фонтаны. В те дни, когда Большой зал еще служил комнатой отдыха и отнюдь не пустовал, влюбленные, как в «Романе о розе», могли уединиться в тишине парка. Возвратившиеся с Востока крестоносцы видели сады Константинополя и Сирии и привезли оттуда неведомые в Англии фрукты, цветы и травы. Еще больше новинок привозили возвращавшиеся из Нового Света мореплаватели в правление Елизаветы. По мере того как эти пришельцы из дальних стран пускали корни в нашей почве, облик английского парка изменялся все сильнее. (Кто в наши дни задумывается о том, что картофель родом из Америки, а герань — из Южной Африки?)

Когда жизнь стала безопаснее, замковые рвы засыпали и на их месте разбили сады. Вскоре парки увеличились в размерах, а их планировка стала более продуманной. Но они всегда были участками земли, которые человек покорял и облагораживал, которым придавал форму и отделял от окружающего естественного ландшафта. Елизаветинский парк отличался полыми изнутри живыми изгородями, симметричными клумбами и фигурной стрижкой кустов. Это место радовало взгляд и было напоено запахами ивняка, деревьев и гвоздик. Здесь можно было и отдохнуть, и развлечься. Другими словами, парк служил продолжением дома. Самым замечательным примером симметричной садово-парковой архитектуры был Версаль Людовика XIV, чье величие нашло отражение и в парках расположенного неподалеку от Темзы Хэмптон-Корта. Парки этого типа вполне соответствовали эпохе корсетов и атласа, кресел с высокими спинками и утонченных манер. Осматривая парки Хэмптон-Корта, я не замечаю современников, а вижу мысленным взором изысканно одетых мужчин и женщин далекого прошлого, которые с достоинством шествуют в направлении тщательно спланированной аллеи.

Когда после реставрации монархии на трон взошел Карл II, английские парки находились в плачевном состоянии. Большие поместья были конфискованы, многие из их владельцев погибли во время гражданской войны, другие находились в изгнании. Всякий, кому приходилось на пару лет забросить свой сад, может себе представить, на что были похожи английские парки после одиннадцати лет запустения. Пуритане возделывали лишь огороды и считали искусственные парки баловством и мерзким распутством. После того как вернулись дворяне, наступила эпоха повсеместного увлечения садово-парковым зодчеством, во главе

которого стоял сам король. Считается, что ему оказывал помощь создатель версальских парков Андре ле Нотр.

Но уже близилась пора перемен в садово-парковой стилистике, перемен, к которым приложили руку политики и эстеты. В годы Наполеоновских войн англичане отвернулись от французского парка, отказались считать его образцом, как во время войны 1914 года некоторые люди отказывались слушать Вагнера. Однако высшие слои английского общества, воспитанные на классических образцах, вдохновлялись увиденным во время «большого путешествия»<sup>[58]</sup>. Выяснилось, что запущенные парки итальянского Возрождения представляют собой разительный контраст симметрии, которая тогда казалась олицетворением французского абсолютизма. Вернувшись из Италии, дворяне уничтожали свои симметричные парки и, чтобы создать подобие живописных альбанских озер, насыпали торф, перекрывали плотинами реки и умело рассаживали деревья. В рощах появились руины, гроты и пещеры. Расходуя уйму денег, аристократы измывались над непокорным английским ландшафтом, придавая ему аккуратный вид. В конце концов они добились того, что, покинув свои дома в палладианском стиле, вполне могли совершать пешие или верховые прогулки по сельской местности. Теперь ландшафт имел вид, пробуждавший те же романтические ассоциации, какие приходили им в голову, когда, сидя в своих экипажах, они спускались с предгорий Альп в долины Италии. Стоя среди развалин Колизея, они приятно проводили время в созерцании упадка былого величия. Об одном из таких садово-парковых революционеров Хорас Уолпол писал: «Перепрыгнув через забор, он обнаружил, что парком является вся Природа».

Тогда наступила эпоха заката парков, подобных тем, что окружали Хэмптон-Корт. Их стали считать признаком дурного вкуса. Новым идеалом стала тщательно

продуманная натуралистичность Гайд-парка и наличие построенных в классическом стиле небольших главных ворот, либо храма, либо какой-нибудь якобы случайно сохранившейся статуи. Все это должно было создавать иллюзию античного правдоподобия. Забавно, подумалось мне, сидя посреди хэмптонкортского формализма, наблюдать вполне логичную кульминацию любви к естественности в образе группы молодых велосипедистов в чрезвычайно коротких шортах. Одну девушку, в чрезвычайно откровенных синих тортиках, лорд Берлингтон и другие эстеты восемнадцатого столетия, несомненно, признали бы «очаровательной нимфой» и сочли бы ее вполне достойным дополнением к любому из вновь созданных ландшафтов. Но как неуместно смотрелись ее ноги (смею сказать, весьма красивые) на фоне парка, созданного для прогулок исполненных величия дам в широких юбках из золотой парчи!

## **10**

Однажды вечером я шел по Бонд-стрит в направлении Радиоцентра, где должен был выступать в передаче, которая транслировалась на африканские страны в соответствии с программой зарубежного радиовещания. Шагая по улице, я бормотал себе под нос то, что мог вспомнить из текста своего выступления. Мне казалось странным, почти сверхъестественным, что скоро мой голос услышат в расположенных за тысячи миль отсюда одиноких фермах, миссионерских центрах и торговых поселениях, в городах и поселках по всей Африке.

Мне очень хотелось знать, услышит ли меня старый мой друг Фредди, на своей ферме неподалеку от Олдини, что в Танганьике, и Джоан из Уганды, и

трудившиеся на плантациях табака Чарльз и Мейбл из Родезии. Я задавался вопросом, будет ли Джеймс сидеть на своей веранде в Кении, потягивая вечернюю выпивку и слушая, как завывает в кронах деревьев вечерний ветер и трещат сверчки. Но ведь уже слишком поздно для выпивки! Когда начнется передача, в Лондоне будет восемь вечера, в Нигерии — девять, а в южной и восточной Африке десять часов. (По всей вероятности, он уже наденет ночной колпак!)

Множество людей должны были услышать меня в Йоханнесбурге и Кейптауне, и я не сомневался, что получу письма и открытки от своих друзей в Сомерсет-Вест, что по соседству с Гельдербергом. Я заранее знал содержание этих писем. «Мы прекрасно тебя слышали. Казалось, ты в той же самой комнате». «Вот потеха, Джимми совершенно случайно включил радио, и мы сразу же слышали твой голос». И наконец, письмо моего давнего друга: «Нам показалось, твой голос звучит довольно уныло». Впрочем, пока ничего этого не случилось, я продолжал идти по вечерней Бонд-стрит.

Из всех современных зданий Лондона здание Радиоцентра, возможно, является самым замечательным и важным. Сейчас трудно представить, что эта огромная организация, вещающая из своей внушительной цитадели на Портленд-Плейс, появилась в двадцатых годах двадцатого столетия и размещалась в скромных маленьких помещениях на Савой-Хилл близ Стрэнда. Тогда мы радовались и удивлялись, получая письма от слушателей в Корнуолле, но что мы бы сказали, доведись нам заглянуть в будущее, увидеть сегодняшнее здание Центра радиовещания и узнать, что еще при нашей жизни эта новая игрушка будет поддерживать пламя борьбы за свободу в Европе и сделает так, что бой курантов Биг Бена станет знаком всему земному шару?

Здание Центра радиовещания воплощает в себе дух двадцатого столетия, как Лондонский Тауэр воплощает дух одиннадцатого века. И эти два здания имеют нечто общее. Оба они строились вокруг центральной башни. Сердцевиной Центра радиовещания является огромная башня, кирпичная кладка которой имеет невероятную толщину. В ней нет ни окон, ни вентиляционных отверстий, она изолирована от внешних шумов. Воздух подается в нее насосами вместе с распыленной водой, которая очищает его от грязи и копоти. На случай неполадок с электричеством в башне имеются аварийные аккумуляторы, которые при необходимости тотчас начнут давать ток. В этой странной крепости, лучшей из всех построенных в Лондоне после Тауэра, находятся все студии Би-би-си.

Зайдя в одну из них, я остался наедине с микрофоном. Зажегся красный свет, и я начал говорить, а как только мое выступление закончилось, свет сразу же потух. В студию вошел руководитель программы и сказал, что все было прекрасно. Затем он осведомился, не желаю ли я кофе, и мы направились к лифтам. Мы оказались в том сказочном мире, где в эфир выходят учебные и развлекательные программы, а по ту сторону стеклянной стены какие-то мужчины и женщины что-то говорят в микрофон. Здесь беззвучно играют оркестры, а комики смеются шуткам, которых мы не слышим, хотя нас разделяют всего несколько ярдов (зато где-нибудь в Канаде слушатели наверняка хохочут над ними), актеры заняты в немой (для нас) драме, и вся человеческая речь и прочие звуки бесшумно уходят в эфир и за тысячи миль отсюда вновь обретают звучание.

Кафе, в котором подкрепляются сами сотрудники Би-би-си и их гости, место довольно необычное и любопытное, поскольку оно обслуживает чрезвычайно разнообразных клиентов. Со многими из них слушатели знакомы лишь по голосам, других знают не только по

голосу, но и по имени, которое объявляют в эфире. И только немногие узнаваемы внешне. Невзрачного вида маленький человек с чашкой чая в руке был диктором и обладал голосом человека ростом никак не менее шести футов, способного, судя по его уверенному тону, взять на себя ответственность за весь Форин Офис, а в свободное от внешней политики время выполнять обязанности министра внутренних дел. Большой ошибкой является стремление людей воочию увидеть любимого писателя или радиожурналиста. Когда телевидение станет более доступным, оно разрушит множество иллюзий.

За соседним столиком сидели популярная актриса, летчик-испытатель, сельский священник и преподаватель из Оксфорда, а пригласил их сюда ведущий дискуссионной программы. Дальше сидел невозмутимого вида человек в причудливой одежде. Это был вождь туземного племени, впервые посетивший Лондон. Открылась дверь, и в кафе вошел член правительства, занимавший какой-то незначительный пост. Из его кармана высовывался текст выступления. Я был уверен в том, что, доставая документ, он обязательно захрустит бумагой. Был в кафе и дядюшка Мак, который обучил и развлек большее количество детишек, нежели любой из ныне живущих людей. Рядом с ним сидел шутник, получивший известность благодаря своему голосу, услышав который лично я немедленно выключал радио.

Какой интересной жизнью они живут, день и ночь передавая в эфир новости, учебные и развлекательные программы! И это совершенно не похоже на газету, которая, родившись сегодня, завтра будет мертва. Газета — квинтэссенция письменного жанра. Ее делают люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что они будут делать, когда приступят к своим обязанностям. А Би-би-си планирует работу на несколько

месяцев вперед. Это хладнокровная и целеустремленная организация, главным хозяином которой являются часы с большой секундной стрелкой красного цвета.

Провожая меня к выходу, мой любезный хозяин показал мне памятную плиту, на которой значилось:

«Первые руководители Радиовещания (сэр Джон Рейт — генеральный директор) в 1931 году посвящают этот храм искусств и муз Всемогущему Господу. Они молятся о том, чтобы доброе семя могло в дальнейшем дать добрые всходы, и чтобы все, что враждебно миру и чистоте, было изгнано из этого дома, и чтобы все, что люди услышат отсюда, было бы радостным, добрым и честным, и тогда, быть может, откроется нам дорога к мудрости и добродетели».

Прочитав эти строки, я вспомнил доктора Геббельса и голос с ужасным акцентом: «Здрафстуйте, коворит Джейрмания». Что ж, подумалось мне, в борьбе между добром и злом, которая, похоже, достигла своего кульминационного момента, радиовещание, как и любое другое изобретение, создало своего демона.

Чувствуя неприятную усталость, вызванную тем, что было уже начало двенадцатого, и гадая, как восприняли мою радиопередачу в Африке, я двинулся по Риджент-стрит в направлении Пиккадилли-Серкус. В театрах заканчивались спектакли, люди стали заполнять улицы. Такси либо уже везли пассажиров, либо не проявляли интереса к пешеходам. Один водитель остановился и спросил, не надо ли мне в сторону Паддингтона, но когда я ответил отрицательно, он умчался, не сказав и слова. Еще несколько лет назад такого невозможно было и представить.

Когда я вышел по Лоуэр-Риджент-стрит, передо мной открылся замечательный вид на освещенную дуговыми лампами Трафальгарскую площадь. В этот час она была пуста, только львы охраняли стройную черную колонну, которая исчезала во тьме. Уайтхолл тоже выглядел



опустевшим, если не считать нескольких человек, вышедших из пабов. Кенотаф одиноко и равнодушно высился посреди улицы. Сегодня никто не снимает перед ним шляпу, как это делали тридцать лет назад. Солдаты, которые бились с жестоким врагом, прошли долгий путь и видели цветущие розы Пикардии, сегодня невероятно от нас далеки. Даже их фотографии, в гражданской одежде или в бриджах и обмотках, выглядят архаично. Для современного школьника Ипр или Нев-Шапель ничуть не ближе Севастополя. Чему, собственно, удивляться? И все же я отчетливо помню тот день 1920 года, когда был открыт Кенотаф. Тогда все мы испытывали прилив чувств, наши воспоминания о войне были совсем свежими. Помню молодых женщин в черном и ощущение того, что наши друзья и товарищи по оружию все еще с нами. Ведь мы не забыли, как они выглядели и что говорили. Теперь мы, когда-то ровесники, постарели настолько, что годимся им в отцы.

Приблизившись к Площади парламента, я увидел свет фонаря Часовой башни — знак того, что заседание палаты все еще продолжается. Биг Бен пробил одиннадцать тридцать. Из тучи выкатился полный месяц и на мгновение озарил своим светом аббатство. Шагая по Вестминстерскому мосту, я увидел золотистую цепочку заполненных пассажирами поездов, которые мчались вдоль набережной, увозя домой жителей Кеннингтона, Кэмберуэлла, Брикстона и южных пригородов. Был прилив; когда очередной поезд замешкался в пути, я смог услышать, как вода ласково плещется о камни.

Темза... Все берет начало и заканчивается на этой реке, приливы и отливы которой представляют собой не что иное, как пульс Лондона. Подо мной текли темные, маслянистые, стремительные воды. История реки насчитывает девятнадцать столетий — невообразимый срок для живших на ее берегах людей, которые

соперничали, любили, ненавидели, строили и сносили, терпели неудачи и добивались успехов. Здесь жили бездари и таланты, добряки и злодеи. Так продолжалось из века в век, от римлян до сегодняшнего дня. Возможно, для каждого поколения Темза, которая приходит со стороны моря и снова возвращается к нему, была символом самой жизни.

В Лондоне легко стать одиноким, но не так просто найти уединение. Каждому лондонцу знакома магия тех редких мгновений, которые наступают ранним утром или поздним вечером, когда жизнь замирает и можно посмотреть на Лондон как на опустевшую сцену.

Есть города, которые, благодаря вкладу их жителей в историю человечества, становятся бессмертными. Лондон, Афины и Рим относятся к числу таких городов. Для истории Темза и Тибр всегда будут братом и сестрой. Что ни говори, существует некое родство между Вестминстерским аббатством и Парфеноном. Мы жили, боролись, любили и страдали в Лондоне и потому знаем, что эта местность на берегах реки, давшая пристанище миллионам людей, наделена духом — или душой. И эта душа, вкупе с — увы — неотъемлемыми от человеческой природы подлостью и алчностью, продолжает существовать в самом сердце Лондона; эта душа, эта непрерывность человеческих усилий, со всеми победами и постыдными поражениями, которые внушают тем, кто к ним восприимчив, гордость и предвосхищение счастья — и даже, как ни странно это произносить, веру.

Биг Бен пробил двенадцать. Над зданием палаты общин все еще горел фонарь. К моему несказанному удивлению, рядом со мной остановилось такси; голос, со столь непривычным в наши дни выговором старого доброго кокни, поинтересовался:

— Как насчет кэба, шеф?

Заметьте, он спросил не «такси», а «кэб»! Этот вопрос, как и многое другое в Лондоне, казалось, пришел из прошлого.

Я обвел взглядом темную поверхность реки, огни набережной, посмотрел на готическую громаду парламента и на призрачный силуэт Вестминстерского аббатства.

— Спокойной ночи... Спокойной ночи, Лондон.

## Благодарности

Автор хотел бы выразить признательность следующим писателям, чьими текстами он пользовался в работе над книгой:

*Bell Walter C.* The Great Fire of London.

*Brett-James Norman C.* The Growth of Stuart London.

*Davey Richard.* The Pageant of London.

*Davey Richard.* The Tower of London.

*Evelyn John.* Diary.

*Fitter R. S. R.* London's Natural History.

*Kent William.* An Encyclopaedia of London.

*Kent William.* London for Everyman.

*Kent William.* The Lost Treasures of London.

*Larwood Jacob.* The Story of the London Parks.

*Law Ernest.* A Short History of Hampton Court.

London Museum Catalogues: London in Roman Times.

*Malcolm James Peller.* Anecdotes of the Manners and Customs of London during the Eighteenth Century.

*Muirhead James F.* London and its Environs (Blue Guides).

*Pepys Samuel.* Diary.

Royal Commission on Historical Monuments: London. Five volumes.

*Sheppard Edgar.* The Old Royal Palace of Whitehall.

*Stanley Arthur Penrhyn.* Historical Memorials of Westminster Abbey.

*Summerson John.* Georgian London.

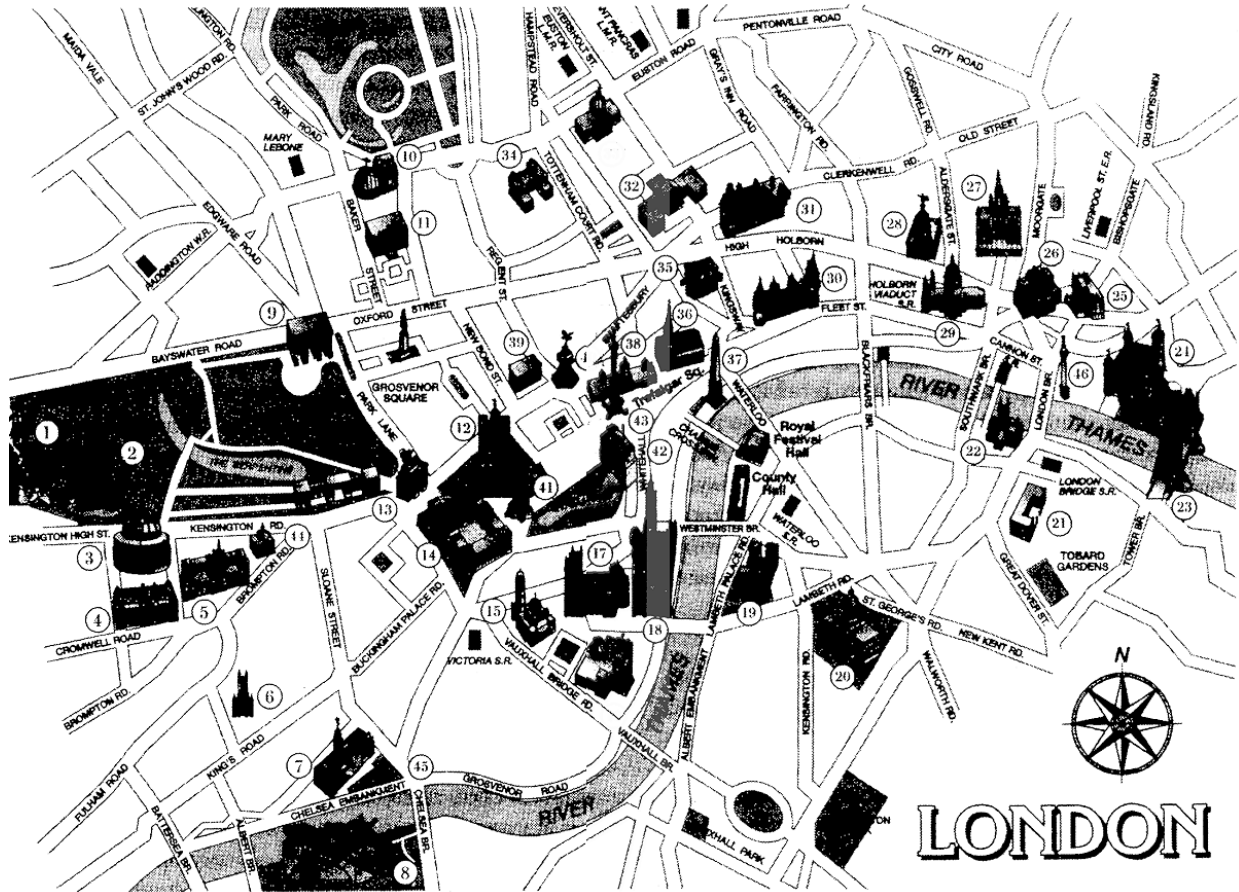
*Thornbury Walter.* Old and New London.

*Walpole Horace.* Letters.

*Wheatley Henry B. & Cunningham P.* London Past and Present.

*Younghusband George.* The Tower of London from Within.

# Иллюстрации



## **Центральная часть Лондона**

1 — статуя Питера Пэна; 2 — Мемориал принца Альберта; 3 — Королевский Альберт-холл; 4 — музей науки; 5 — музей Виктории и Альберта; 6 — церковь Святого Луки; 7 — Королевский госпиталь в Челси; 8 — Бэттерси-парк; 9 — Марбл-Арч; 10 — музей мадам Тюссо и планетарий; 11 — коллекция Уолласа; 12 — Сент-Джеймский дворец; 13 — арка Веллингтона; 14 — Букингемский дворец; 15 — Вестминстерский собор; 16 — галерея Тейт; 17 — Вестминстерское аббатство; 18 — парламент; 19 — дворец Ламбет; 20 — Имперский военный музей; 21 — госпиталь Гай; 22 — Саутуоркский собор; 23 — Тауэрский мост; 24 — Тауэр; 25 —

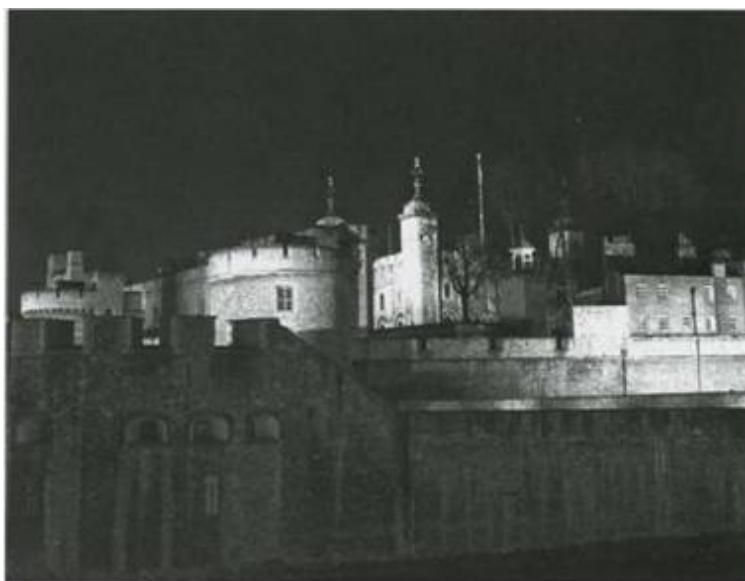
Королевская биржа; 26 — Английский банк; 21 — Гилдхолл; 28 — Центральный уголовный суд (Олд-Бейли); 29 — собор Святого Павла; 30 — Дом правосудия и Темпл; 31 — музей Соуна; 32 — Британский музей; 33 — Лондонский университет; 34 — госпиталь Миддлсекс; 35 — «Лавка древностей»; 36 — церковь Святого Мартина; 37 — «Игла Клеопатры»; 38 — Национальная галерея; 39 — Королевская академия наук; 40 — Пиккадилли; 41 — Мемориал королевы Виктории; 42 — арка Адмиралтейства; 43 — памятник адмиралу Нельсону; 44 — Бромптонская часовня; 45 — сады Ранелах; 46 — Монумент.



*Часовая башня здания парламента, где находится знаменитый Биг Бен*



*Дом правосудия. Вид с Флит-стрит*



*Тауэр-Грин и Тауэр*



*Тауэр. Вид с Темзы*



*Ворота изменников в Тауэре*





*Тауэрский мост в сумерках*



*Отреставрированный фасад собора Святого Павла*



*Собор Святого Павла и пешеходный мост через Темзу  
(проект Н. Фостера)*



*Старый рынок Ковент-Гарден*



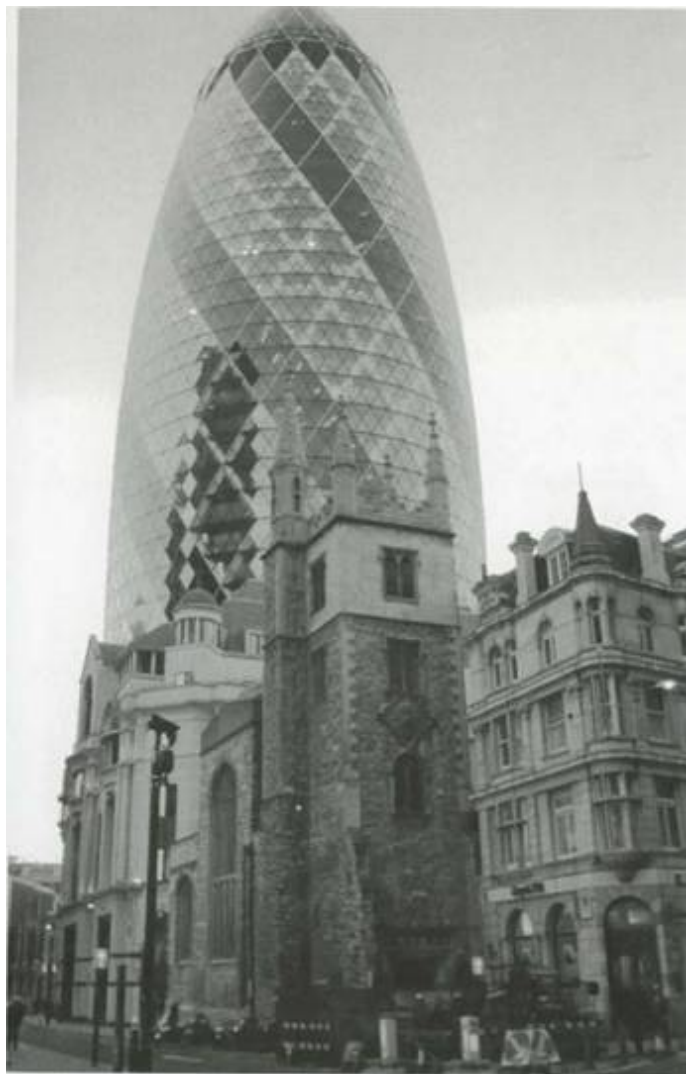
*Трафальгарская площадь: Национальная галерея, фонтаны и церковь Святого Мартына-в-полях*



*Памятник адмиралу Нельсону на Трафальгарской  
площади*



*Доки Святой Екатерины: современный жилой квартал на месте лондонских доков*



*История и современность: граница Ист-Энда и нового Сити*



*Монумент с грифоном на Флит-стрит на месте ворот Темпл-Бар*



*Вид с Темзы на Лондонский мост и новый Сити*





*Шлюз на окружном канале (район Кэмден-таун).  
Раньше по этому каналу из Темзы проходили баржи с  
углем*



*Ворота лондонского Чайнатауна*





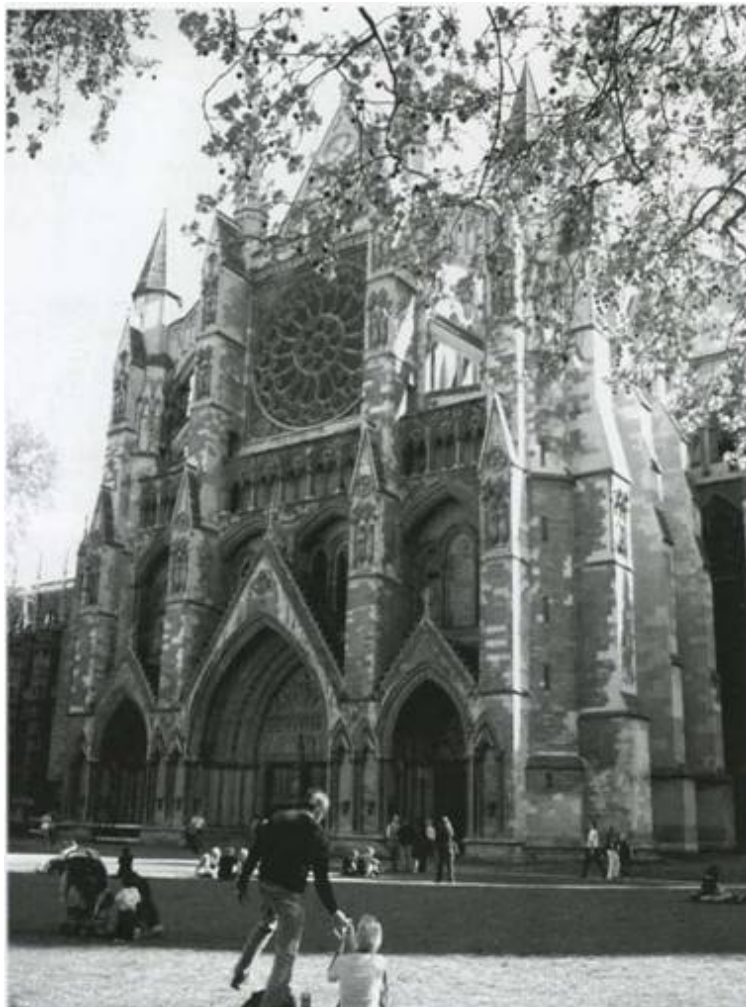
*Переулок в Уайтчепеле. В таких переулках подстерегал своих жертв Джек Потрошитель*



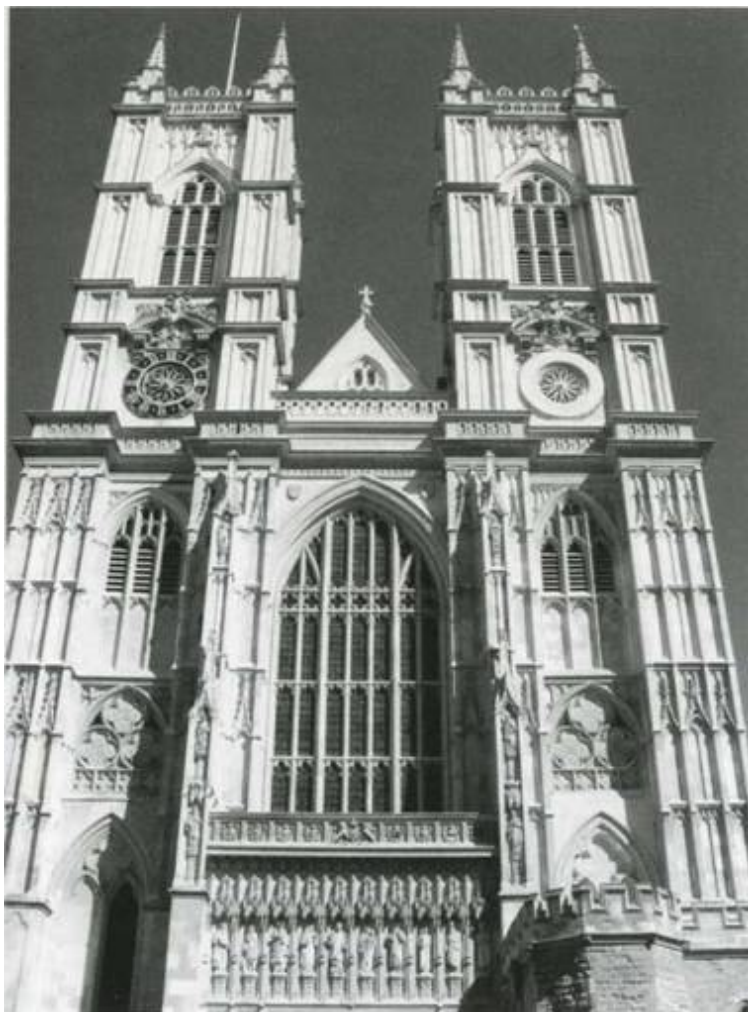
*Выезд Королевской гвардии у триумфальной арки Марбл-Арч*



*Грин-парк рядом с Пикадилли*



*Вход в северный трансепт Вестминстерского аббатства*



*Западный фасад Вестминстерского аббатства*



*Интерьер Вестминстерского собора и надгробие  
И. Ньютона*





*Памятник принцу Альберту в Гайд-парке*



*Монумент в честь королевы Виктории перед  
Букингемским дворцом*



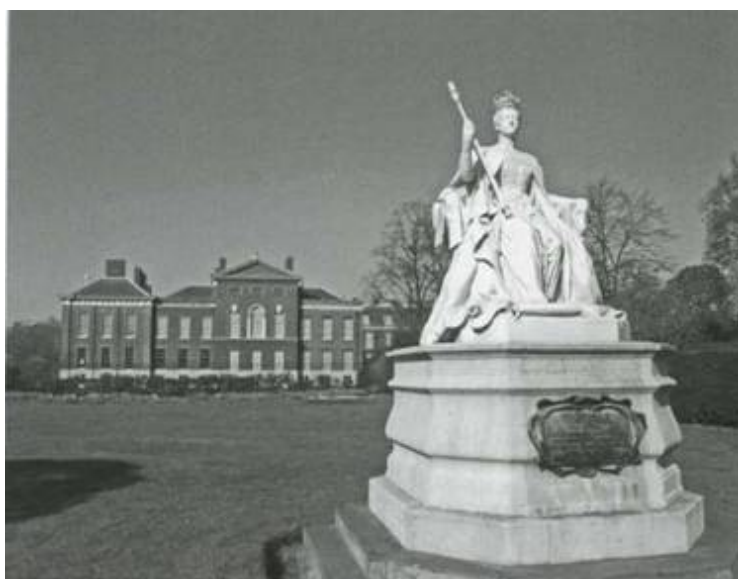
*Букингемский дворец*



*Гайд-парк и озеро Серпентайн*



*Кенсингтонский дворец и его садик*



*Памятник королеве Виктории у Кенсингтонского дворца*





*Набережная Темзы в районе Челси*



*Город Гринвич*



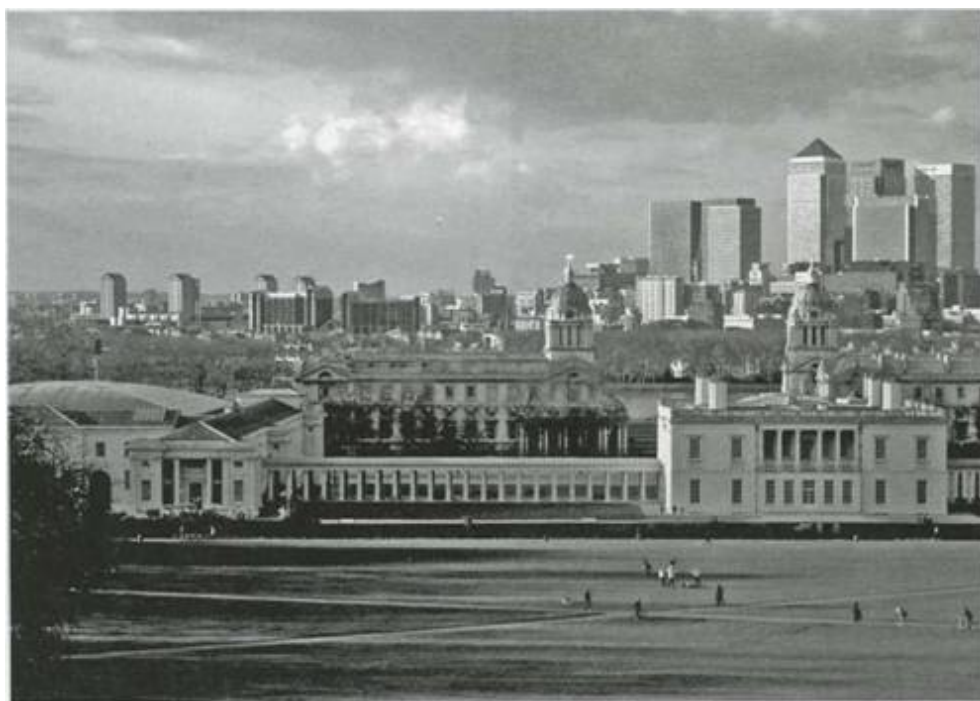
*Королевская обсерватория в Гринвиче*



*Эквиваленты британских мер в Гринвиче*



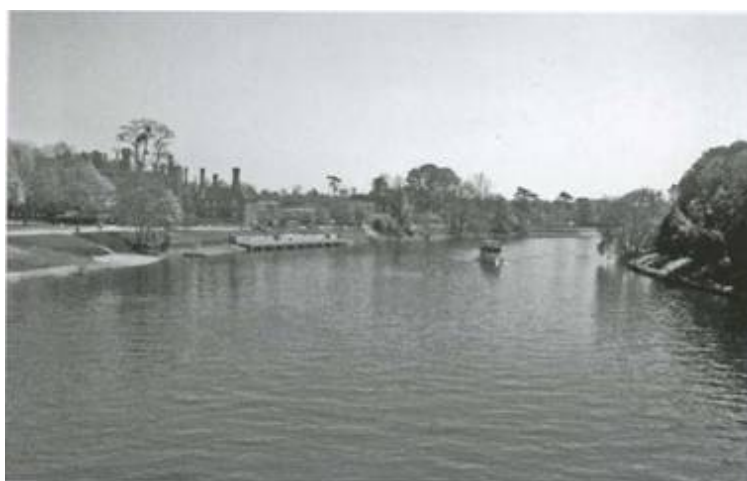
*Гринвичский меридиан обозначен памятным знаком и стальным брусом на земле*



*Вид от Гринвичской обсерватории на Военно-морской колледж и Собачий остров*



*Чайный клипер «Катти Сарк» в Гринвиче*



*Темза и вид на флигель дворца Хэмптон-Корт*



*Дворец Хэмптон-Корт*



*Дворец Хэмптон-Корт. Внутренний дворик*



*Королевский сад в Хэмптон-Корте*

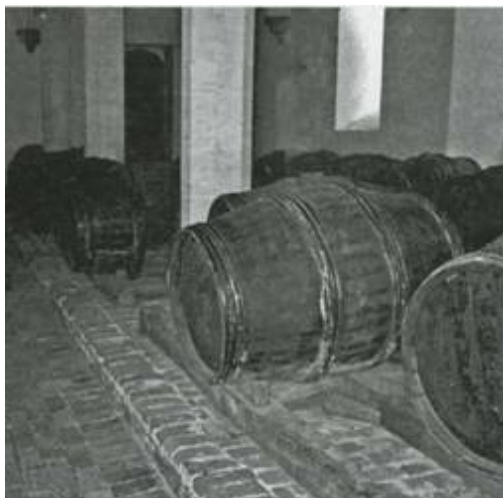


*Парк при дворце Хэмптон-Корт*





*Кухня Генриха VIII в Хэмптон-Корте*



*Винный погреб Хэмптон-Корта*



*Садовый лабиринт Хэмптон-Корта*





*Реплика «Золотой лани» Ф. Дрейка у Лондонского моста*



*Оксфорд-стрит — главная торговая улица*



*Рынок Лиденхолл в Ист-Энде*



*Типичный лондонский паб*



*Ассортимент элей в пабе*



*Новая эмблема Лондона — колесо обозрения  
Millenium Eye*

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

Биоскоп — одно из устаревших (ср. «иллюзион» и др.) названий кинотеатра. Это слово используется в значении «кинотеатр» в некоторых региональных диалектах английского языка — в частности, в южноафриканском и индийском. — *Примеч. ред.*

Колокола Bow Bells вновь зазвонили в сентябре 1961 года. — *Примеч. авт.*

Ныне восстановлена — 1961 г. *Примеч. авт.*



С 1953 года, когда на престол взошла королева Елизавета II, церемония, разумеется, изменилась. Теперь говорят «ключи королевы», соответствующим образом изменились и другие реплики. — *Примеч. авт.*

Crow (*англ.*) — ворона. — *Примеч. ред.*

Adventure (*англ.*) — авантюра, приключение. —  
*Примеч. ред.*

То есть приблизительно 101 кг. — *Примеч. ред.*

Эти вызванные войной лишения, к счастью, канули в Лету. — *Примеч. авт. к изданию 1961 г.*

Персонажи книги Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес». — *Примеч. ред.*

Дж. Дебретт — первый издатель ежегодного справочника английского дворянства, издающегося с 1802 г. — *Примеч. ред.*

Имеется в виду оратория Г. Генделя «Саул» (1738). —  
*Примеч. ред.*



Памятник на месте старинных ворот Темпл-Бар, увенчанный грифоном — геральдической эмблемой Сити. — *Примеч. ред.*

Вполне возможно, что миссис Джонсон умерла в Бромли. Она похоронена на церковном кладбище Бромли, где до сих пор стоит надгробная плита, треснувшая от взрыва бомбы. — *Примеч. авт.*

Книга, содержащая земельный кадастр и результаты первой переписи населения, проведенной в Англии в 1086 году по повелению Вильгельма Завоевателя. Прозвище «Книги Судного дня» получила на основании христианского предания о книге, по которой людей будут судить на Страшном Суде. — *Примеч. ред.*

Временный управляющий имуществом должника. —  
*Примеч. ред.*

Сегодня, по счастью, Темпл восстановили и он больше не вызывает печальных раздумий. — *Примеч. авт. к изданию 1961 г.*

Temple (англ.) — храм. — *Примеч. ред.*

Судебные инны — четыре корпорации лондонских адвокатов-барристеров, существующие с XIV века. В Темпле находились два из них — Внутренний Темпл и Средний Темпл. — *Примеч. ред.*

Имеется в виду восстание сипаев (1857-1859). —  
*Примеч. ред.*



Имеется в виду Управление общественных работ (старое название министерства общественных работ). —  
*Примеч. ред.*

Strand (*англ.*) — прибрежная полоса. — *Примеч. ред.*

Универсальный магазин, рассчитанный на богатых покупателей; известен экзотическими продовольственными товарами. — *Примеч. ред.*

LO (Line Occurance) — коэффициент использования линии связи. — *Примеч. ред.*

Cherry Garden (*англ.*) — Вишневый сад. — *Примеч.  
ред.*

Старший Претендент — прозвище Якова Эдуарда Стюарта, сына Якова II и претендента на английский престол. Его соперником был сын — Молодой Претендент Карл Эдуард Стюарт. — *Примеч. ред.*

Сражение 1746 г., в котором были разгромлены участники якобитского восстания в Шотландии. — *Примеч. ред.*

Chapel (*англ.*) — часовня, капелла; ассоциация печатников и профсоюзная ячейка этой ассоциации. — *Примеч. ред.*



In situ (лат.) — на месте. — *Примеч. ред.*

Строки из либретто к оратории Г. Генделя  
«Мессия». — *Примеч. ред.*

Яков II симпатизировал католицизму, находившему в стране под законодательным запретом. Впоследствии, когда Яков взошел на престол, эти симпатии вылились в попытку легализации католицизма. — *Примеч. ред.*

Прозвище роялистов, то есть сторонников Карла I и Карла II Стюартов. Их противники, воевавшие на стороне О. Кромвеля, носили прозвище «круглоголовых». — *Примеч. ред.*

Более вероятно, что эту идею высказал сэр Стивен Фокс, генеральный казначей. — *Примеч. авт.*

Стихотворение А. Теннисона. — *Примеч. ред.*

Титул главы охотничьего сообщества и владельца своры гончих. — *Примеч. ред.*

Green Park (*англ.*) — дословно «Зеленый парк». —  
*Примеч. ред.*



Эскот — знаменитое место ежегодных скачек близ Виндзора. — *Примеч. ред.*

Монумент — колонна в Лондоне в память пожара 1666 года. — *Примеч. ред.*

Пеллеас и Мелисанда — персонажи одноименной пьесы М. Метерлинка, на основе которой написал оперу с тем же названием К. Дебюсси. — *Примеч. ред.*

Звездная палата — судебная коллегия, состоявшая из членов палаты лордов и обладавшая практически неограниченной судебной властью. — *Примеч. ред.*

Serpentine (*англ.*) — Серпантин. — *Примеч. ред.*

Дик Терпин — знаменитый лондонский разбойник, наводивший ужас на горожан в XVIII веке. Черная Бесс — лошадь Терпина. — *Примеч. ред.*

Олдершот — город к юго-западу от Лондона; в 1854 г. здесь был организован большой военный учебный лагерь. — *Примеч. ред.*

Имеются в виду события 1534–1540 годов, когда Акт о супрематии провозгласил монарха светским главой англиканской церкви, а король Генрих VIII распустил своим указом все монастыри на территории Англии. — *Примеч. ред.*



Джордж Крукшенк — английский художник, иллюстратор романов Ч. Диккенса, знаменитый карикатурист. — *Примеч. ред.*

Серж — шерстяная костюмная ткань. — *Примеч. ред.*

Голландская война — принятое в исторической литературе название войны 1672-1678 гг. между коалицией государств во главе с Францией и Соединенными провинциями (Голландской республикой). К антиголландскому союзу Франция привлекла Англию и Швецию. В 1672 г. Англия начала войну на море, а Франция на суше. — *Примеч. ред.*

Майкл Арлен — английский писатель, автор весьма популярного в свое время романа «Зеленая шляпа», главная героиня которого — «роковая красавица» из Мэйфера. Действие многих других произведений Арлена также происходит в этом районе Лондона. *Примеч. ред.*

Питер Чейни — английский писатель, автор «крутых» детективов, «величайший на свете лжец и замечательный рассказчик», как охарактеризовал его Д. Уитли. *Примеч. ред.*

Брюс Барнсфазер — английский карикатурист, автор серии карикатур о Первой мировой войне, объединенных главным героем — «старинной Биллом». — *Примеч. ред.*

Название Уэльса, связанное с титулом наследника британского престола — герцог Уэльский (в английском языке связь более очевидна, ср. Prince Of Wales — Principality). — *Примеч. ред.*

Персонажи повести Л. Кэрролла «Алиса в  
Зазеркалье». — *Примеч. ред.*



По другому толкованию, в центре рельефа изображен не Нептун, а Вакх, которого окружают сатиры и менады. — *Примеч. ред.*

Имеется в виду картина «Анатом». — *Примеч. ред.*

Соверен — золотая монета достоинством в 1 фунт стерлингов; чеканилась до 1917 г. — *Примеч. ред.*

В 1581 г. У. Рэли бросил свой алый бархатный плащ под ноги королеве, чтобы Елизавета могла перейти лужу у Тауэра, не запачкав сафьяновых башмачков. Этот эпизод описан, в частности, в романе В. Скотта «Кенилворт». — *Примеч. ред.*

Мабузе (Ян Госсарт, ок. 1478–1532) — фламандский художник. — *Примеч. ред.*

Старейшая в Англии (и в мире) виноградная лоза длиной свыше 35 метров. — *Примеч. ред.*

Длительное путешествие молодых аристократов за  
границей после окончания учебного заведения —  
*Примеч. ред.*